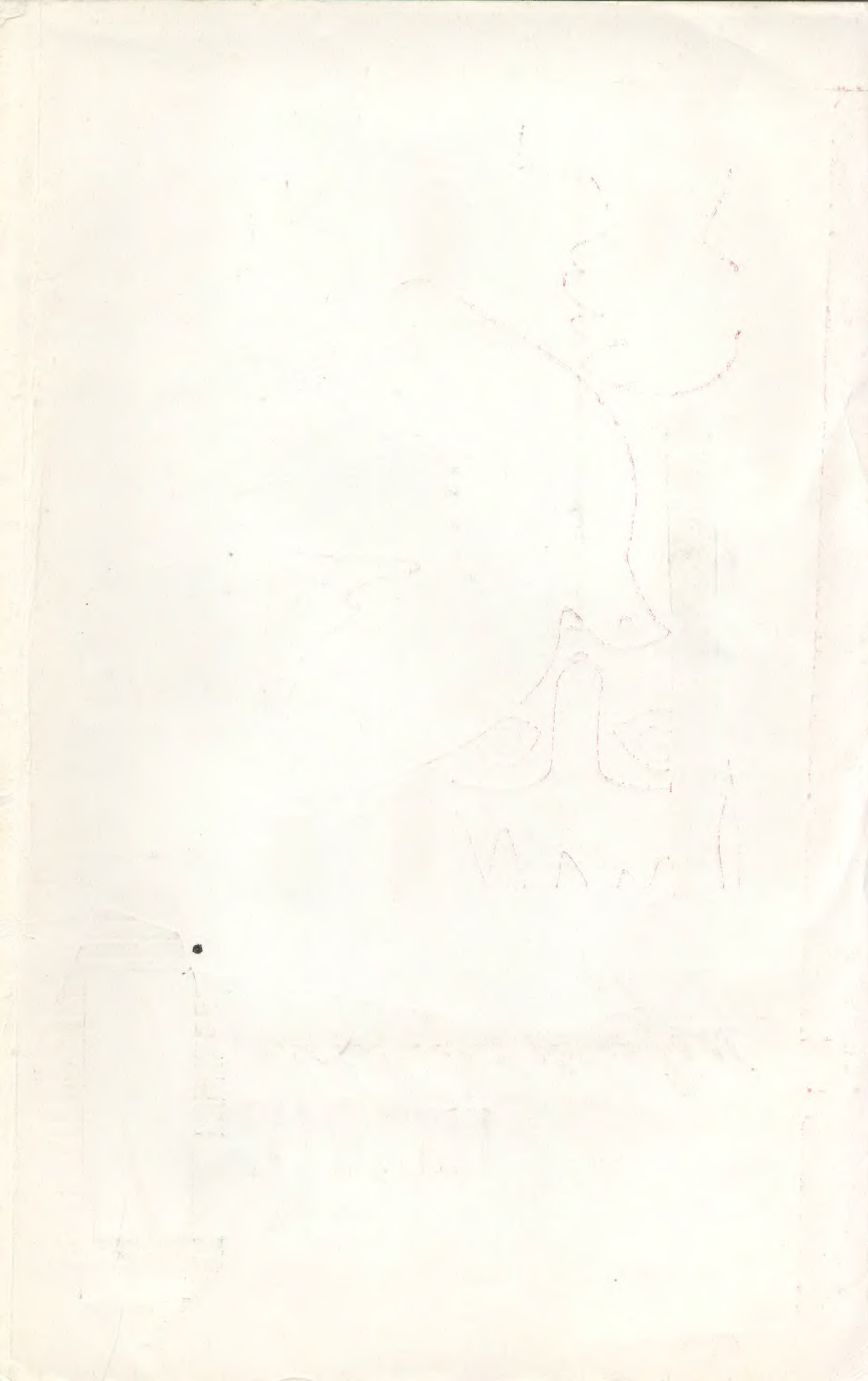
Иностранная литература

6

1962

6 1962 Иностранная литература



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЗЕМНУЮ СЛАВИМ МЫ КРАСУ (Стихи венгерских поэтов)

ДЮЛА ИЙЕШ. АНТАЛ ГИДАШ. ЛАСЛО НАДЬ. ШАНДОР ЧОРИ. ЛАЙОШ ШИМОН. БЕЛА ЧЕПЕЛИ САБО 4

ПЬЕР КУРТАД — Красная площадь (Роман) 10

ПОЭТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСПАНИИ

МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС — Стихи разных лет (Вступительная статья В. Ясного) . . . 63

ЭЛЬВИО РОМЕРО — Мигель Эрнандес — судьба и поэзия (Главы из книги) 71

ДИТЕР НОЛЛЬ — Приключения Вернера Хольта (Роман. Продолжение) 80

МАРСЕЛИНУ ДУС САНТУС — Земля содрогается (Отрывок из поэмы) 134

СЕМБЕН УСМАН — Тростинки господа бога (Роман. Окончание) 136

КРИТИКА

Т. МОТЫЛЕВА — О литературном новаторстве 209

Е. ТРУЩЕНКО — В поисках сущности человека 228

ИЮНЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 233

ПУБЛИЦИСТИКА

ХОЛЛАНД РОБЕРТС — Америка сравнивает, Америка задумывается 240

К ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ЗА ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ И МИР

ДЖОН БРЕЙН — Долг каждого из нас (Открытое письмо редактору) 245

ОЧЕРКИ

ЭУДЖЕН БАРБУ — Родина 247

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР — Матэ Залка — генерал Лукач (К 25-летию со дня гибели) . . . 257

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ — Караджале (К 50-летию со дня смерти) 260

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

А. ЧЕГОДАЕВ — Наш друг Рокуэлл Кент . . 263

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

И. Геевский — «Я верю в свой рабочий класс». ◇ Илья Сельвинский — Образ поэта. ◇ Р. Хлодовский — История и время 274

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Г. Злобин — Два цвета мира. ◇ М. Тарасова — Раздумья современника . . . 281

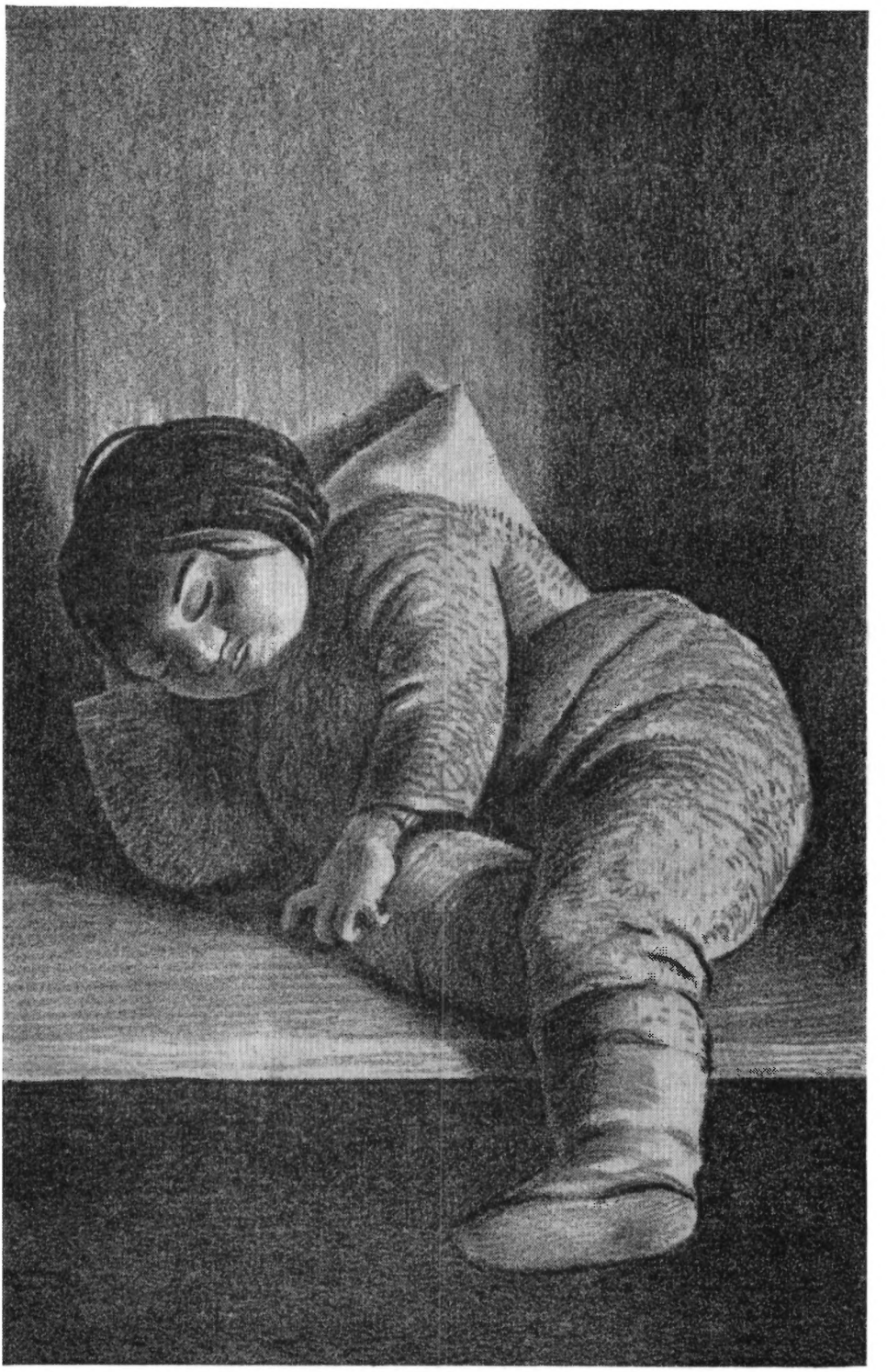
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 285

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 287

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 303

На обложке рисунок лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» ПАБЛО ПИКАССО



РОКУЭЛЛ КЕНТ **Спящая Елена**

В этом номере мы отмечаем восьмидесятилетие со дня рождения нашего друга Рокуэлла Кента, выдающегося американского художника-реалиста, активного борца за мир и демократию.

Репродукции работ Рокуэлла Кента и статью, посвященную его творчеству, мы печатаем на стр. 263—273 нашего журнала.

Земную славим мы красу

Стихи венгерских поэтов

ДЮЛА ИЙЕШ

Я НЕ БЫЛ ОДИНОК

— Там земной шар притягивать не мог,
Мелькало солнце пламенем в зените...
— Что было самым важным? Расскажите,
Майор Гагарин.
— Там, в космосе, я не был одинок.

— Взлетев на триста тысяч метров в небо,
Вы в космосе неслись, как небожитель...
Что было самым важным? Расскажите,
Майор Гагарин.
— Там, в космосе, я одиноким не был.

— Туда, откуда наш мирок
Земной, планетный
Покажется лишь точкой чуть заметной,
В космический простор
Сквозь холод лютый,
Наверно, полетят другие люди
И ваши повторят слова, майор:
«Там, в космосе, я не был одинок».

Ведь весь народ, как дружный круг семейный,
Вас охранял, ждал вашего возврата —
В окопах защищали так солдата,
Пробравшегося по земле ничейной.
По радио следили все за вами,
Как проносились вы сквозь мрак и пламя.
Не только все у стартовой площадки
Заботились о взлете и посадке,
А вся страна, работая и строя,
Вам помогла и встретила героя.

А вместе с ней —
Как выразить точней? —
Творцы науки
Коперник, Галилей
И Ньютон
Ввысь простирали руки —
Помочь вам, в те минуты,
Когда летели вы на корабле.
И Человечество все было радо,
Надеясь, что Грядущее
порядок
Создаст на небе, как и на земле.

Перевод МИХ. ЗЕНКЕВИЧА.

■ ■ ■

Надо мною голубое небо, голубые воды подо мною:
я один лежал на дне рыбачьей лодки,
и, пожалуй, никогда милее
не были еще воспоминанья,
и, пожалуй, никогда я не был
благодарней и тебе и миру,
неустанному в благодеяньях,
чем вчера на дне рыбацкой лодки
на волнах мягчайшего прибоя.

Перевод ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА.

РУКОЯТИ

Задумывается рука
Над смыслом рукоятей.
Блестит поверхность черенка
От всех рукопожатий.

Задумывается ладонь
Над каждой рукояткой —
Старинной, желтой как латунь,
Удобною и хваткой.

И, как лоснящихся коней,
Я глажу их, усталых.
Что может быть ловчей, складней?
Но кто же воспитал их?

Что было с ними? Вот лежат,
Прокурены, как трубки.
Одни — к любому поспешат,
Другие — однолюбки.

Кто их характер шлифовал,
Помог сформироваться?
Я с ними бы потолковал
И мог бы столковаться.

Как их движения умны,
Как дельны и толковы!
И приспособлены они
Для замысла людского.

Перевод Д. САМОЙЛОВА.

АНТАЛ ГИДАШ

ВСЛЕД ЗА ЭТИМ

Двадцать градусов морозца —
нелегко весне бороться
с резким ветром. Но весна
мчится — цель ее ясна —
и с зимой сшибается.
А зима?
Пугается.

СТОЛКНОВЕНЬЕ

От малейшего обидного
шороха такая бурища
подымается во мне,
что в лесах души деревья
бьют ветвями по земле.

И ВСЕ-ТАКИ

Стакан с вином сверкает мне
и говорит, лукав,
в мертвящей этой тишине:
— До дна пей, возалкав!
Ракетой, пущенной к луне
твоя промчалась жизнь!

— Ну что же,— яростно кричу
я, расплескав вино,—
подобно зыбкому лучу,
а только все равно,
о дни, к которым мы рвались,
до вас я долечу!

ВРЕМЯ

Тяжелые круги воспоминаний
прочь с черных глаз, бедою
закаленных,
сними, любимая моя,—
ведь все равно утраченную радость
не возвратишь, как ни гони коня.
Горюем вдвое мы, горюя из-за горя.

ПОХВАЛА ПЕРВЕНСТВУ

Начав с «Авроры»,
в космос взвиться,
в нем утвердиться. Вот какой
час грянул. Кто же не гордится,
что в это время и настало
истории твоей великой
доподлинное начало,
о человечный род людской.

Перевод ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА.

ЛАСЛО НАДЬ

ВО РЖИ

Ветер пену сбил с цветущей нивы,
Я прилег у самой пашни.
И услышал всей земли мотивы
От росинки, на ухо упавшей.

И казался мне прядильным цехом
Этот небосвод звездастый.
Но жасмина запахи со смехом
Мне сказали: здравствуй!

Прилетели и ко мне прильнули,
Звали прочь от сонной неги.
И во мне людской толпился улей,
Словно звезды в небе.

Перевод Д. САМОЙЛОВА

ШАНДОР ЧОРИ

БУДНИЧНЫЙ ЗАКАТ

Погасли красные накидки индюков,
закат последние мгновенья длится.
Скрипят возы с соломой. Стук подков.
И мгла окутала колес усталых спицы.

И тополя, подобные ракетам,
нацелены в прозрачный лунный рог,
и дети кружатся под синим звездным светом —
земные звездочки проселочных дорог.

Здесь не случилось ничего, лишь спелую пшеницу
успели смолотить, поставили машины, напоили скот,
в колодец заглянули — отразились лица! —
и взоры кинули в далекий небосвод.

Здесь не случилось ничего, лишь кто-то в ливне света
ослеп, любимую нагой увидев у реки,
и в полдень солнечный задумался о ветре,
когда соломинка, кружась, коснулася щеки.

А ветер дул с холмов, звенел в густых кустах.
О, трубы ветра, тот кто слышал их, поверьте,
жить жаждет, ничего не отдавая смерти,
и хочет заманить в свой сад всех певчих птах.

Здесь не случилось ничего. Лишь рой видений
живет вокруг... Я вновь в родном краю полей, садов и сел.
У дома о́тчего куст высохшей сирени.
Я глянул на него — и мертвый куст расцвел.

Перевод ЯКОВА БЕЛИНСКОГО.

ЛАЙОШ ШИМОН

СТАРИК

Говорили деду раз уж двадцать:
глянь, мол, осень, грязь вокруг усадьбы,
из дому, отец, тебе б не рваться,
сапоги напрасно не трепать бы.

Скоро понесутся над полями
хлопья снега — голубые гномы,
молодой мороз сверкнет зубами...
Слышь-ка, ты, старик? Сидел бы дома!

Да и в ясный день через проселок
незачем тебе брести куда-то:
сдует шляпу ветерок веселый —
чай, угнаться будет трудновато!..

Только бесполезны речи эти.
Холод старику, видать, не страшен!
Будто верный пес, скулящий ветер
поутру бежит за ним вдоль пашен.

Слышен здесь и там ворчливый голос:
«Вот ведь сорняки на свекле снова...
У саней вон не сменили полоз...
Гнать бы председателя такого!

Впрочем, шут с ним. Дело любит вроде.
Хлеб, смотрю, посеяли что надо!..»
И лицо его под стать погоде:
то на нем улыбка, то досада...

Говорили старику раз двадцать:
дескать, осень, грязь вокруг усадьбы,
из дому, отец, тебе б не рваться,
попусту обувку не трепать бы!..

Только что за толк в таких советах
для того, чей век над пашней прожит?
Сердце старика — я знаю это —
лишь с землею рядом биться может.

БЕЛА ЧЕПЕЛИ САБО

СЫН ЗЕМЛИ

Над морем, на краю Земли,
подняв гарпун, стою...
Мне ветры сердце обожгли,
сгустили кровь мою.

Не горд, не чужд я ничему,
что рук упругих ждет:
я драю скользкую корму,
дроблю гренландский лед,

сбиваю, как мой дед сбивал,
гвоздем доску с доской
и режу в Чепеле металл
под грохот заводской.

Лечу и ввысь, как столб огня,
и вниз — как водопад...
Что гонит, что ведет меня
через хребты преград?

Ко мне взывают неба синь,
развалины времен,
меня влекут пески пустынь
и древний Вавилон.

Вгрызаюсь в книги я — затем,
чтоб сплавились прочней
кристаллы формул, теорем
с лучом мечты моей.

Я и ответчик и судья,
и лекарь и больной,
и двигатели бытия
рокочут в лад со мной.

Из тьмы по лезвию ножа
я выйду, тверд, упрям,
в горящем разуме держа
ключи к любым дверям.

Хочу, чтоб бил свозь эту тьму
высокой цели свет.
На сотни тысяч «почему»
хочу найти ответ.

Хочу, чтоб растопил мне грудь
южанки юной вздох.
В глубины душ хочу взглянуть,
изведать боль эпох.

Хочу, взметаясь, как волна
под ураганный рев,
постигнуть — какова цена
кружащихся миров...

И не ищу — простой кузнец —
я участи иной.
Во мне — цветенье всех сердец,
во мне — весь шар земной.

В незнаемое взяв разбег,
я верю лишь борьбе,
и эту песнь — о, человек! —
пою я о тебе.

Она летит, светла, легка,
в немые небеса
и раздвигает облака —
земные паруса...

Меня вздымает и несет
бурлящий океан,
кипит веков водоворот,
страстями обуян,—

он жизнь за жизнью все властней
в свой вовлекает пляс,
сквозь решето ночей и дней
просеивая нас.

Во мгле пространств теряюсь я,
и дом мой невелик.
Но закрывает тень моя
луны холодный лик.

И в эту брезжущую рань
я, слыша звездный зов,
земного притяженья грань
переступить готов.

Тоскует и моя звезда
в мерцающей дали...
Но — люди, люди! — навсегда
я верный сын Земли.

Лишь ей служа, борьбу веду,
лишь к ней любовь чиста,
лишь для нее на ломком льду
горят мои уста.

Взлелеявшей меня Земле
убор скрою я сам,
я раны на ее челе
вновь бередить не дам!

Земную славлю я красу,
дарю ей свой порыв
и к солнцу весть о ней несу,
окно богов разбив...

Я песни пел. Косил траву.
Лежал в крови, в золе.
Я помню, что дышу, живу
благодаря Земле.

Пред нами выбор: тлеть в гробу
иль мир заполнить весь?..
О мать Земля! Твою судьбу
мы здесь решаем, здесь!

Перевод ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

ПЬЕР КУРТАД

Красная площадь

РОМАН

Перевод с французского О. ГРАЕВСКОЙ, Н. ЖАРКОВОЙ и Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1935

В БЕЛЬВИЛЕ

Двумя рядами впереди, слева, Симон сразу же увидел голову, вернее, лысину Андре Жида. Это было нечто кубическое, гладкое, мощное, несокрушимо здоровое. Как-то трудно было представить себе, что Андре Жиду суждено когда-нибудь умереть. Да и вообще, принадлежит ли он к человеческой породе? О прославленном писателе Симон знал лишь то, что не исчезнет вместе с ним: напечатанные типографским способом строки и фотографии. Потому-то он и имел право считать его бессмертным. То, что находилось перед ним, возвышаясь над спинкой стула, было, пожалуй, не черепом, обтянутым кожей, а скорее скорлупой, внешней оболочкой мыслящей и пишущей машины, которая выдала много тысяч страниц, и сотни из них будут по-прежнему будоражить умы, сеять зло, сеять добро, когда сам Андре Жид уже перестанет существовать. Пока что машина функционировала безупречно. Разве два года назад, в тридцать третьем году, в ответ на анкету, проведенную Инициативным комитетом Всемирного антифашистского конгресса молодежи, он не выступил с безоговорочным прославлением Октябрьской революции! Симон отлично помнил фразу, где говорилось о «великом призыве», брошенном СССР, и о том отголоске, который нашел этот призыв в стольких сердцах... Тогда Симону еще только исполнилось восемнадцать лет. Шествие штурмовиков Адольфа Гитлера перед зданием рейхстага в Берлине как-то сразу положило конец детству. Вместе с газетными иллюстрациями или кадрами кинохроники — белесое пламя факелов, исступленные белесые лица, черный силуэт диктатора в высокой амбразуре окна — в жизнь Симона вошла политика. Значит, прав был Наполеон: в наше время политика — это рок. «Можете не верить, если угодно: история все равно до вас доберется!» С тех пор Симон жадно читал газеты. События проносились, как листья, подхваченные ветром, предвещающим грозу. На собраниях, на страницах газет и книг, в нескончаемых разговорах он искал ответа на вопрос: «Что станется с тобой через два года? А через три?» Иной раз ответ давал номер «Иллюстрасьон» 14—18 годов: на фотографии — истлевший труп в стальной каске.

И он, Андре Жид, тоже считал сейчас, что политика — это рок.

Лишь поистине чрезвычайные обстоятельства могли заставить его выйти из своей скорлупы. Его присутствие буквально гипнотизировало Симона. Андре Жид набросил на плечи плащ из великолепного сукна. Это сразу чувствовалось: ткань грубая, однако превосходного качества. Экстравагантно, но просто, небрежно, и продумано до последней складки. Английское сукно, наверняка английское. Симон не имел ни малейшего представления о том, как должно выглядеть английское сукно. Андре Жид читал литературный фельетон в «Тан». Он слегка нагнулся вправо к своей соседке, даме в сером, весьма тусклой наружности, шепнул ей несколько слов и поправил очки. Руки у него оказались как раз такие, какими представлял их себе Симон: пальцы длинные... сильные... словно изваянные.

Зал был желтый, голый. Аскетически холодный, как будто приютский зал где-нибудь в бедном приходе. Для полноты сходства недоставало лишь черного распятья на стене да священнослужителя в слишком короткой сутане, из-под которой торчат грубые башмаки военного образца. Но запах тот же — холодный, сырой. И та же озабоченность, тот же пыл. Щелкали откидные сиденья. Знакомые, завидев друг друга, подымались с места, здоровались, пожимали руки. Сеанс был закрытый, и публика собралась все знакомая, шел «Броненосец «Потемкин» С. М. Эйзенштейна, как извещала у входа — похожего на вход в деревенский амбар — рукописная, словно изготовленная в подполье, афишка. Андре Жид поглощал все помыслы Симона. Не то чтобы он так уж восхищался писателем — говоря откровенно, Андре Жид казался ему несколько старомодным,— а просто-напросто потому, что он впервые видел так близко знаменитую личность. Очевидно, мало кто из публики узнал писателя. Его не окружал рой поклонников. Вокруг не слышалось почтительного шепота, не было ни восторгающихся, ни любопытных. Симона поразило то, что писатель был здесь так одинок. «Андре Жид! — думал он.— Среди рабочих в прозодежде — многие даже кепок не сняли,— среди кургузых пиджачков и свитеров с глухим воротом... Андре Жид... Человек со скандальной репутацией! Как могут коммунисты закрывать глаза на скандальную репутацию Андре Жида, гомосексуалиста? Уж не надеются ли они, что он станет на путь истинный, и этот зал, так похожий на приютский, быть может, возрадуется раскаянью одного грешника более, чем сиянию добродетели десятка праведников. Все это ерунда... Андре Жид неоднократно разоблачал колониализм, национализм. Вот это важно. И потом, ведь у него же имя».

Слева от писателя сидел какой-то молодой рабочий, прижимая к себе темноволосую девушку. Зеленое кашне, которым он замотал шею, было все в дырках, и, очевидно, чинить его уже не имело смысла. Правая рука, лежавшая на плече подружки, была в несмываемых пятнах машинного масла. Нелепая мысль промелькнула в голове Симона: наверно, когда-нибудь его так и похоронят, и ржавчина пятен будет все та же, только вот руки станут узловатыми, старческими. А у Андре Жида уже сейчас руки мраморные, нетленные, как и его голова, которую столько раз запечатлевали фотографы. От его соседа в зеленом кашне ничего не останется — в лучшем случае с десяток фотографий, и в числе их снятая на ярмарке на фоне картонной Эйфелевой башни. Чей-то голос с южной оттяжкой крикнул:

— Эй, Гранж!

Молодой рабочий в зеленом кашне живо обернулся, показав Симону в профиль худое грубоватое лицо. Он улыбнулся, обнажив испорченные зубы. Голос, окликнувший его, принадлежал школьному товарищу Симона, некоему Казо. Фамилия Гранж поразила Симона лишь потому, что на лангдуальском наречии она значила то же самое, что на лангедокском значила фамилия Симона Борд — «гумно».

Казо перегнулся через Андре Жида, чтобы поздороваться с Гранжем, и, протянув ему руку, навалился на писателя всей тяжестью своего длинного костлявого тела. Андре Жиду пришлось волей-неволей оторваться от газеты. Он попытался выпрямиться.

— Извините! — громко бросил Казо. Слово «извините» он произнес: «звинните».

Симону почудилось, будто Андре Жид пробормотал:

— Ничего... ничего...

«Экая деревенщина»,— обругал про себя Симон товарища, но тут же раскаялся в своей резкости. В конце концов Казо приехал в столицу только в октябре, где же ему за полгода набраться светских манер, да еще если учесть, что эти полгода он провел в лицее на окраине Парижа — в Сен-Реми, где целая орава провинциальных стипендиатов готовилась на курсах к экзаменам в Высшую Нормальную школу. Крестьянские повадки были в Сен-Реми своего рода традицией. Кое-кто из учеников этих курсов, куда поступали исключительно выходцы из народа, уверяли, что будут щеголять в Нормальной школе в тех же сабо, в которых они зимой являлись на занятия. В четыре часа на ломоть хлеба, выдаваемый экономом, намазывали паштет, присланный из провинции в засаленных картонках. Казо неторопливо, со смаком жевал хлеб, углубившись в чтение Ленина. И все-таки как это он даже не вздрогнул при звуке голоса Андре Жида? Неужели он ни разу не слыхал его на митингах? Взгляд Симона снова упал на руки писателя, и он вспомнил одно место из «Имморалиста», где Андре Жид рассказывал о том, как летним днем, мучимый лихорадкой, он лежал в постели, а по обе стороны ее стояли чашки с водой и камешками, и, чтобы освежиться, он перекладывал камешки из левой руки в правую и из правой в левую... Неужели этот самый человек сидит сейчас здесь в ожидании советского фильма и никто даже не знает его?

Еще не прозвучал дребезжащий звонок, обычно оповещающий в маленьких окраинных кинематографах о начале сеанса, а вернее, о начале того, что можно назвать «грезой субботнего вечера», «раем субботнего вечера». Впрочем, фильм Эйзенштейна не принадлежит к этой категории: слишком много в нем взрывчатой силы. Собственно, что значило для Андре Жида выражение «субботнее кино»? Правда, он делает трогательные усилия, чтобы понять. В поисках общения с живыми существами, как он любил говорить, он побывал на алжирских рынках, добирался даже до Конго. Но что знает он о жизни обитателей Бельвиля? Что знает он о жизни тех, кого называют теперь «товарищами»? Как представляет он себе жизнь рабочего человека? Единственное, пожалуй, что он может понять, это как раз то, что должно быть особенно невыносимо для самого, Андре Жида: необходимость выполнять одну и ту же работу, в одни и те же часы, каждый божий день, и неизбежная усталость, накапливающаяся за годы, проданные ради куска хлеба. «Но,— решил про себя Симон,— если он хоть это себе представляет, и то хорошо!»

Для самого Симона быт рабочих — это воспоминания уже десятилетней давности: квартира мелкого служащего в Париже, 1925 год, дрожащий свет газа, глубокие тарелки, так называемые «лохани», на клеенке, вытертой до того, что видны нитки основы. На лестничной клетке упорная вонь помоек, смешанная с чисто деревенским запахом жженого копыта: во дворе помещалась кузница. А потом, когда семья, в поисках «свежего воздуха», перебралась в предместье Сен-Реми, где был лицей, декорация переменилась — главной ее особенностью стали пригородные поезда, которые дважды в день, из года в год, мчат к старости, мчат к смерти полусонную толпу рабочих, встающих на час

раньше и ложащихся на час позже, чем парижане. Это-то и подразумевается под словами: «Такова жизнь».

Андре Жид никогда не ездил в пригородном поезде. В этом все дело. В его сердце, перед его мысленным взором никогда не встанет черный силуэт газового завода над мерзлыми садиками, где гниют капустные кочерыжки...

Но что же тогда у него в сердце? Симон вынужден признать, что он может составить себе представление о мире Андре Жида лишь по литературным, довольно пестрым и ничем не связанным между собою штампам: замок в Нормандии, огромные белые отели, мраморные лестницы, поэтессы, томно раскинувшиеся на софе (возможно даже — графиня де Ноайль?), сигары... Почему именно сигары? Словом, слегка модернизированный вариант роскошного существования, как это представляется юноше в двадцать лет, ни разу не побывавшему ни в огромных отелях, ни в замках (обитаемых) и знакомому с великосветской жизнью лишь по Бальзаку, Прусту, а с нынешнего года и по Арагону. Великосветская жизнь! Да на что она им? Они презирают не только богатство, но даже простой комфорт. Что требуется для жизни? Библиотека, письменный стол, немножко свободного времени. Так можно зайти очень далеко — недаром в пятнадцатилетнем возрасте Симон повесил над кроватью гравюру, изображавшую святого Иеронима в келье... Аскетизм Казо—это, пожалуй, посерьезнее. Он уже принял как должное скудость существования революционера. По примеру других он мог бы давать уроки. Но не дает. Все его свободное время посвящено политической работе. Пиджак вытерся на локтях. Фуфайка в таком же состоянии, как кашне Гранжа. Об Андре Жиде он думает так: очень хорошо (читай: полезно), что писатель встал на сторону коммунизма; но когда при нем говорят о духовном «риске», которому якобы подверг себя Андре Жид, следуя формуле Ницше: «Надо жить опасной жизнью», Казо пожимает плечами.

«Не смешите меня»,— говорит он, и непонятно, что тут смешного, если в душе известного писателя и впрямь происходит разлад. Должно быть, он считает это несерьезным. Андре Жид прожил слишком легкую жизнь в слишком легком мире.

«Так или иначе,— заявил как-то Казо,— его внутренний мир — совсем другой, чем у нас, и никогда не станет таким, но то, что он делает, это, конечно, хорошо...»

Интересно, что думает об Андре Жиде Гранж. Безусловно, то же самое, что Казо, только он иначе выражает свои мысли.

Гранж не читал Андре Жида, хотя вообще прочел немало книг, и знает писателя только по его декларациям в защиту СССР и против фашизма. Он испытывает благодарность к этому знаменитому деятелю культуры, который в тяжелое время перешел на сторону рабочих. «Ведь никто его, в конце концов, не тянул, верно?» В глазах Гранжа этот шаг очищает писателя от всей нечисти его класса. «Само собой разумеется, он человек другого мира! Мир Андре Жида — это мир богачей». Представление его, Гранжа, о мире богачей главным образом основано на кинофильмах. Богатство — это огромные, как храмы, апартаменты, меха, мундштуки, сигары, автомобили с капотом неестественной длины, крахмальные пластроны и цилиндры, в которых ходят прожигатели жизни. Каждый день у них воскресенье, и каждый день они спят до полудня. Самое смешное, что этот кинематографический и, если угодно, наиболее популярный штамп богатства, прививший ся простонародью, более соответствует истине, чем представление о роскоши, сложившееся по литературе у наших неимущих интеллигентов и полупровинциалов из лицея Сен-Реми. Они-то, увы, не верят, что богатые еще и теперь, в 1935 году, носят цилиндры. Они ни разу не бывали ни в ложах, отве-

денных для привилегированной публики на бегах, ни на премьере в нью-йоркской «Метрополитен-опера». А кроме того, нечто вроде умиления или скрытой снисходительности застилает им взор. Богатство — это, конечно, несправедливость, это эксплуатация человека человеком. Но богатство — оно также и досуг и роскошь, без которых — как они порой убеждают себя — не могли бы существовать персонажи Пруста, несравненные героини Бальзака...

Гранж таких поблажек не признает. Ни один литературный герой не может в его глазах извинить гнусное ограбление трудового люда. Он ненавидит богачей. Он даже не может представить себя в их шкуре. Как, скажем, в шкуре шпика. Все то соблазнительное, чем изобилует их жизнь в фильмах, ничуть не прельщает его.

Андре Жид сейчас не так уж далек от того, чтобы, подобно Гранжу, сурово осуждать богачей. Только его осуждение капитализма носит скорее моральный, почти религиозный характер, и он относится к своим новым друзьям-единоверцам с какой-то кротостью новообращенного. Поэтому-то он и сказал «Ничего, ничего» с такой настороженной любезностью, когда Казо навалился на него.

Близорукий Казо отправился на поиски места поближе к экрану. Симону вдруг подумалось: почему он не остановил приятеля, не пожал ему руку? И он вынужден был признать, что причина не только в развязном обращении Казо с Андре Жидом — что вызвало у Симона раздражение,— но и в том, что здесь, в зале, Казо производил впечатление человека, принадлежащего к какой-то особой касте. Он расхаживал по залу, пожимал чьи-то руки, кому-то кричал: «Привет!», по-приятельски окликал кого-то, как за минуту до того окликнул Гранжа. В ответ слышалось: «Привет, Казо! Ну как, будешь в воскресенье?» Очевидно, это был намек на какое-то собрание, а может быть, речь шла о продаже газет. Почти у всех, к кому обращался Казо, был, как и у него, значок Союза Коммунистической Молодежи — красное знамя с тремя буквами КИМ. К раздражению Симона примешивались горечь и восхищение: «Ну, куда мне до него! Этот тип всего полгода в Париже, и нате вам! Со всеми знаком!» В двадцать лет Симон ни разу не говорил с рабочими, если не считать чисто соседских бесед о тле, напавшей на фасоль, или о куриной чуме. В Сен-Реми не принято ходить к знакомым на чашку кофе. Кирпич, камень, железнодорожная насыпь, бутылочные горлышки по гребню сплошного забора разделяли на одинокие ячейки благоразумное, монотонное, скрытое от других существование обывателей.

Все там происходит в наглухо огороженных садиках, в наглухо замкнутых сердцах. Крохотные наделы, тысячи «своих» домиков дробили пригородное население. Каждый хотел иметь свой угол. И каждый имел. У каждого свой газовый счет, у каждого своя выгребная яма, у каждого своя ограда. И ни одна ограда не похожа на соседнюю.

Симон не совсем справедлив. Он забывает аромат сирени и горький запах костров, когда вечерами жгут вырванную днем с огорода повилику.

Казо переходит от ряда к ряду, продолжая пожимать руки. В чем его секрет? Он знает, какими словами надо говорить с людьми, подобными Гранжу. И, однако, он не один из них или, во всяком случае, уже не один из них. Как-то он признался Симону, что, приехав к своим родителям на их ферму где-то в Верхней Гаронне, он уже через полчаса не знал, о чем с ними говорить. «Собственно, отец мой теперь и читать не умеет. Разучился. Так что, понимаешь?.. Нелегко!»

Мы сами знаем, что это нелегко. В Сен-Реми левые еженедельно устраивают собрания, которые именуются «заседаниями совета курсов». Название шутливое, но дискуссии серьезные. В среду в четыре часа «совет» подводит итоги. Все рассаживаются в просторной классной комнате, где тридцать лет назад бородатые юноши в пенсне — наши «пред-

ки» — составляли адрес Золя. Передают друг другу газеты, уписывают хлеб с паштетом, полученным из провинции, а Казо тем временем всходит на кафедру Лебра и открывает дискуссию. Казо ловкач. Он умеет в нужной для данной аудитории пропорции подать цитаты из газет коммунистических, социалистических и даже радикальных. Не забывает он ни христиан, ни требований студентов. Он умерен в своих речах. Уж он-то никогда бы не допустил такой ошибки, какую совершил в прошлом году один из его предшественников во время дебатов, последовавших за событиями тридцать четвертого года. Было это десятого февраля, накануне полиция стреляла в рабочую демонстрацию на площади Республики, демонстрацию против фашизма. Были убитые. Ни Симон Борд, ни его товарищи не принимали участия в этой демонстрации, и каждый в глубине души корил себя за то, что упустил единственный случай подвергнуться риску, который в их собственных глазах придал бы их убеждениям непререкаемую ценность. Если говорить откровенно, ими вдруг овладело чувство удивления и страха, как случается с очень молодыми людьми, когда они обнаруживают, что верность идее, бывшей до этого дня лишь предметом споров, ну, в крайнем случае, поводом для стычек, может потребовать себе в жертву человеческие жизни. Фотографии убитых были помещены в газетах. Юноши не могли оторвать от них глаз. И им чудилось: мертвые осуждают их. Вот тогда-то Симон встал и спросил: «А стоило ли?» На что председательствовавший ответил, что приходится «взвешивать лозунги».

«Мерзавцы! — крикнул Симон.— Если вы ради этого посылаете людей на смерть, мерзавцы вы!

Эти два слова «взвешивать лозунги» нанесли ему рану, которая, как ему казалось, никогда не заживет. Полгода он сидел по средам на собраниях, не открывая рта. И только с началом занятий в октябре, когда Казо взял руководство в свои руки, Симон нарушил упорное молчание. Казо сказал ему:

«Ответ тебе, конечно, дали дурацкий.— Потом, после минутного колебания, добавил: — Но, между нами, это действительно так... Ведь это война, понимаешь? Разве на войне не стараются обнаружить слабые стороны противника? Иной раз это дорого обходится... Но, скажи, как иначе поступить?»

Это объяснение устроило Симона лишь наполовину. «Должно быть, Казо прав,— думал он.— Во время всех революций — не будем говорить о войнах — известному количеству людей суждено погибнуть бесцельно. Или, во всяком случае, та польза, которую принесла их гибель, скажется лишь много времени спустя. Возможно, в один прекрасный день убитые в феврале тридцать четвертого года будут считаться первыми героями длительной кровавой борьбы против фашизма во Франции, и как знать, может быть, и во всей Европе... Но так или иначе, это «взвесить»... Как можно говорить о человеческой смерти теми же словами, что и о научном эксперименте? Нет!»

Симон нередко размышлял, уж не из-за этой ли коротенькой фразы он до сих пор не вступил в партию. И упрекал себя за то, что не вступает. Надо следовать до конца своим убеждениям. Слишком удобно воздерживаться от решения... «Надо выбирать. Ты обязан выбрать... Ну а... взвесить лозунги? Нет!»

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

— О чем ты думаешь, почему, мой дорогой, ты молчишь? Ой, посмотри!.. Впереди нас... ведь это Андре Жид! Вот здорово...

— Почему «здорово?» Нет ничего удивительного в том, что сегодня он здесь...

— И все же,— говорит Камилла,— и все же...

Симон берет руку Камиллы и не выпускает плененные пальцы. Он любит в ней все, но больше всего любит ее руки — он сразу их полюбил. Все началось с этих рук — так, по крайней мере, он сам считал. Руки Камиллы решили все не потому только, что руки действительно были красивые, округлые и тонкие, совсем как на картинах мастеров итальянского Возрождения, где такие вот руки лежат на бархате платья или перебирают струны арфы, а потому, что Камилла была его первой любовью. Иными словами, не просто девушкой, которую он любил, а самой любовью. Ни один ее жест, ни одна улыбка, ни одна интонация не могли принадлежать никому другому, кроме нее, и их нельзя было даже сравнить с жестами любой другой женщины, с другой улыбкой, с интонациями другого голоса. Она была первая и единственная, и тем самым ничто на свете не будет никогда даже отдаленно походить на то мгновение ночи четырнадцатого июля, когда он впервые обнял ее, коснулся губами ее пухлых губ, вдохнул еще не знакомый ему запах, смешанный с ароматом роз и травы, доносившимся с лужайки муниципального парка в Сен-Реми при неверном свете последних вспышек дешевенького фейерверка, под иронические возгласы: «Вот это красота! Вот где шик-то!» Музыка, доносившаяся с танцевальной площадки, куда она отказалась из-за него пойти после того, как он признался, что не умеет танцевать, стала для него бессмертной. Всякий раз, когда он глядит на Камиллу и особенно когда она неожиданно напоминает ему о себе (как вот только что, прервав ход его мыслей не о ней, а о совсем другом), ее голос, улыбка ее затуманенных глаз, поворот ее головы — все это точно такое же, как четырнадцатого июля тридцать четвертого года. Она по-прежнему такая же, какой была в тот вечер, и лица всех его участников — танцевавших перед ними незнакомых парочек — врезались в память Симона, будто обведенные линией, рельефной, как свинцовый ободок, что выделяет на витражах фигуры из общего фона, давая каждой ее долю солнечного света. Он любит кожу Камиллы, матовую, гладкую. Чуточку бледную. Но лицо это живет — нежная улыбка сменяется нескончаемой чередою милых гримасок, всегда для Симона новых: слегка полуоткрытый для поцелуя рот, капелька слюны в уголке губ, запах красного дерева, исходящий от ее темных, гладко причесанных волос.

Он вдохнул этот запах, когда она нагнулась к нему и сказала: «Ведь это Андре Жид». И так как он по-прежнему машинально следил взглядом за Казо, который все еще пожимал протянутые ему руки, запах красного дерева напомнил ему стихи Бодлера: «Так мускус, и бензой, и нард, и фимиам...»

Они часто, шутки ради, просят Казо продекламировать их, и он произносит: «Так ммусскус, и беннзой, и наррд, и фиммиам...», превращая эту колдовскую строчку в комически пышный александрийский стих французской поэзии.

— От тебя мускусом пахнет.

— Мускусом? Почему мускусом?

Ни он, ни она понятия не имеют, как на самом деле пахнет мускус.

— Не знаю. Я тебя люблю. Я... ну и вот...— добавил он со вздохом.

Сердце его сжалось. Запах мускуса внезапно сменился совсем иным запахом — запахом хлора, которым несло от жестких, сыроватых простынь в той гостинице, где они встретились в прошлый раз. Перед его глазами проплыли выцветшие обои с жалкими цветочками, беспощадный свет единственной лампочки. Ох! Надо действительно любить друг друга, чтобы вынести такое! Вынести голос, который кричит неповоротливому слуге из-за гостиничной конторки: «Альбер, проведи в девятнадцатый!»

А затем расставаться с ней и возвращаться домой одному, когда на ладонях еще сохранился аромат ее духов и единственное, что остается,— это платочек, хранящий запах губной помады, который назавтра уже выдохнется — знак того, что время проходит,. что в один прекрасный день платок ее станет просто лоскутком, поблекшим, как воспоминание, и кто-нибудь скажет про него: «Откуда эта грязная тряпка?» С той ночи четырнадцатого июля в муниципальном парке Сен-Реми они десятки воскресений бродили без цели по улицам, заходили в бистро выпить кружку теплого пива, а потом пришла осень и загнала их на террасы кафе, где можно погреться возле печурки. Если бы в их распоряжении были хоть воскресные утра, позлащенные надеждой, просто мыслью, что, выйдя в полдень за покупками, можно встретить приятелей и выпить вместе стаканчик... Но Симон освобождался только после полудня: семейные завтраки были нерушимой традицией. А для Камиллы послеобеденные часы воскресенья уже омрачала тень близкого понедельника, и каждый понедельник вновь убеждал обоих, что счастье скоротечно и что так от воскресенья к воскресенью, от недели к неделе, от лета к лету, от года к году уходит жизнь... И эти разлуки, эти прощанья, раз от разу становящиеся все более мучительными, эти непрерывно накапливающиеся воспоминания расширяют ту брешь, в которую входит и примешивается к любви смерть.

К этим общечеловеческим горестям надо добавить еще и то обстоятельство, что Камилла работает в конторе. Значит, ей ведома грусть воскресных вечеров, как и всем, кому приходится в понедельник вставать рано утром и вновь шагать по длинному подземелью недели к брезжущему вдали свету — субботе. Время ей отмерено скупо. Она считает часы. Не смеет заснуть, когда разжимаются объятия. Если они встречаются где-нибудь в отеле у вокзала Монпарнас или у Лионского вокзала, она, чтобы не заснуть, прислушивается к грохоту поездов. Вот это скорый из Бреста, а этот поезд идет к Лазурному берегу и увозит множество счастливцев, у которых впереди целая неделя, если не целая жизнь... Она говорит: «Господи, который час? Пора уходить».

Оба знают, что так долго продолжаться не может. Знают они и то, что пришли сюда в кино сегодня вечером не только затем, чтобы посмотреть «Броненосец «Потемкин», но и потому, что уже не могут больше видеть улыбки коридорного.

Он сказал:

— Я тебя люблю.

Она говорит:

— Что ты сказал?

Он говорит:

— Ничего! — и сильнее сжимает в ладонях ее плененную руку.

Он начинает говорить об Андре Жиде. Говорит, что нет ничего удивительного в том, что писатель сегодня здесь. Ведь он всегда обличал несправедливость, дух собственничества! И не вообще, а по конкретным поводам. Например, колониализм в своем «Путешествии в Конго».

Она сказала:

— Я тебя не слышу.

Он извинился:

— Я тебе надоел?

— Да нет, но ты слишком тихо говоришь!

Он поворачивается и касается губами виска Камиллы. Он глядит на нее в упор, окутывает ее взглядом; она улыбается в ответ, и перед ним предстает лесная дорога, он видит отчетливо и ярко, как наяву, высокие деревья — лиственницы, черные и синие ели. В улыбке Камиллы он уже не раз видел эту дорогу, но впервые она освещена вся целиком. В прошлые разы дорога терялась в затуманенном взгляде, во вдруг промельк-

нувшей улыбке, которая то освещает ее лицо, то гаснет, как бы говоря, что все еще под вопросом, все неверно... Но сегодня все по-иному: дорога идет до конца жизни... «Что это значит? Просто я с ума сошел. Не знаю сам, что говорю!» Жилка на горячем виске пульсирует у самых его губ. Губы скользят ниже, к маленькому свежему ушку, полуприкрытому гладкими прядями волос, и шепчут:

— Я тебя люблю.

Камилла закрывает глаза. Она твердит про себя, что закрыла глаза, желая уберечь свое счастье. Это тайна ее жизни. Каждая жизнь должна иметь свою тайну. Тайна ее жизни в том, что любовь ее к Симону никогда не кончится. Так она и состарится с этой любовью. Она верит в это. Симон тоже верит. Все, что сказано поэтами о любви, правда. Правда и любовь — неотделимы друг от друга.

ВОЛОСЫ ПОЛЕТТЫ

Поль Гранж шутливо прижимается своей костистой щекой к виску девушки, которая зовется Полеттой. Если бы им было куда пойти, они тоже не сидели бы здесь сегодня. Но сейчас зима, а практически они могут любить друг друга только в теплое время года. Поль Гранж (или Гранж Поль, как пишется в документах и как сам он называет себя, когда его представляют незнакомым), Поль Гранж отнюдь не испытывает такого отвращения к привокзальным гостиницам, как Симон и Камилла. Подумаешь, что тут такого? Не в том дело. А дело в том, что у них нет денег. Или, вернее, у них не остается денег, после того как они израсходуют положенную сумму на то, чтобы провести стоящий вечерок, другими словами: выпьют, скажем, аперитив или сходят в кино или на гулянье и помечтают, глядя на лотерейное колесо, из которого выскакивают пачки сахара. Вот почему лето — правда, у них было всего только одно общее лето — для них подлинная пора счастья. Самые прекрасные мгновения их любви — это субботние вечера в июле и в августе, когда, пошатавшись по случайным танцулькам, они идут теплой ночью, нежно обнявшись, как поется в песенках, по лунной дорожке к Верьерскому лесу. Тогда волосы Полетты не пахли, как зимой, химикалиями, с которыми она возится в течение всей недели, или духами «Грезы вальса», купленными в лавочке,— перед тем как выйти из дому, она непременно подушит виски,— тогда ее волосы пахли сухой или свежей травой, опавшими или зелеными листьями, мхом, где ползают жучки, всеми запахами, напоминающими Полю две недели, проведенные в летнем лагере, в самой настоящей деревне,— последние каникулы в год окончания училища перед началом жизни без каникул. Потому-то так быстро и прошли весна и лето, и будущее настолько перемешалось с настоящим, что не стоит об этом и вспоминать. Но в субботние и воскресные дни дождливой осенней порой, но зимой, когда приходится встречаться в метро, а целоваться в подворотне, они начали мечтать о собственной квартирке, о кушетке, о кухне со всеми удобствами. Особенно Полетта, потому что Поль не строил себе особых иллюзий насчет возможности приобрести квартиру. Ему хотелось растолковать это Полетте, но хотелось также дать ей и помечтать. Надо бы, но...

«Но,— говорил он,— ты сама понимаешь: не стоит воображать бог знает что. При нынешнем положении...»

И Полетта спрашивала, что это за «положение», которое играло в их жизни такую огромную роль. Поль говорил ей лишь половину правды. Говорил ей лишь то, что можно прочесть в газетах, и то, что понимали все без исключения, кроме самых безнадежных дураков: «положение» означает, что дело неизбежно идет к войне, поэтому... Поэтому от

таких разговоров у Полетты начинались кошмары. Ее отца убили в восемнадцатом году. «В самом конце! Подумай только! Вот не повезло... Я его не знала. Говорят, я на него похожа!» Мать ее снова вышла замуж. Она подарила Полетте фотографию, наклеенную на толстый картон. На карточке был изображен молодой человек в солдатской форме, без кепи, с мечтательным взором. «Это он снялся, когда в последний раз приезжал в отпуск. Ох, вот уж не скажешь, что ему повезло в жизни!..» Полетта смотрела на карточку, для нее война была прежде всего вот этим юным новобранцем. Загадкой, которая принесла смерть молодому человеку, ее отцу.

«Да разве возможно, чтобы война снова началась?»

«Конечно,— отвечал Поль.— При капитализме это неизбежно».— Эти слова он произносил невозмутимо спокойным тоном.

Иногда он добавлял: «Не унывай, Пули! Жизнь, она длинная!»

Она не понимала, почему он говорит, что жизнь длинная, именно когда речь заходит о войне. Жизнь ее отца, какая же она была длинная? Поль не объяснял. А мог бы объяснить. Говоря, что жизнь длинная, он подразумевал, что может произойти множество вещей, не имеющих никакого отношения к их планам о мирном счастье. Никакого отношения к их квартирке. Он хотел сказать, например, что произойдет революция. Революция войдет в жизнь Поля, и поэтому не к чему расшибаться в лепешку из-за всяких нестоящих пустяков. А когда? Может быть, через несколько лет. Революционный кризис близится. Будет ли революция через десять или через пять лет — неважно. В сущности, именно это и подразумевал Поль Гранж, когда говорил, что жизнь, она длинная: он не отделял сроков своей жизни от сроков Истории. Он любил ощущать свою жизнь как часть Истории и поэтому любил современную историю, ту, что делается и происходит на наших глазах, ту, что живет. Понравился бы ему фильм из времен Парижской коммуны так, как понравился «Броненосец «Потемкин», который он уже видел? Вряд ли. Ведь Парижская коммуна, что бы там ни говорили, пока не имела продолжения, по крайней мере у нас, тогда как восстание русских матросов на «Потемкине», происшедшее тридцать лет назад в тысячах километров от Франции, продолжает будоражить весь мир. Незабываемые образы этого фильма имеют прямое отношение к нему, Полю Гранжу,— ведь именно так все и будет происходить. Он сам станет действующим лицом великих событий, которые непременно будут похожи на те, давнишние. Герои этого фильма, участники и участницы русской революции пятого года, не выдуманы Эйзенштейном. Многие из них еще живы. Большинство из них, без сомнения, принимало участие в Октябрьской революции семнадцатого года, а ведь только благодаря Октябрьской революции во Франции, да и в других странах тоже могла быть создана коммунистическая партия. Все взаимосвязано. Как в эстафете. Начавшись восстанием русских матросов, водрузивших на борту «Потемкина» красное знамя, революция докатилась до Поля Гранжа, который носит в петлице такое же знамя с тремя буквами КИМ, выгравированными на эмали. Этот фильм вселяет веру. Первая русская революция, восстание матросов на «Потемкине» были подавлены, но вторая революция восторжествовала. Первая тоже сослужила свою службу. Победы, поражения — это закономерно. Чем скорее пойдет дело, тем, конечно, лучше, но, в сущности, не так уж важен срок. Уверенность в том, что революция победит, настолько сильна, она окружена таким ярким сиянием, что Полю Гранжу уже видится шествие огромных толп, огромная демонстрация, над которой поднимается гул голосов и реют тысячи красных знамен. Если бы Поля спросили: «Так вот, значит, как это, по-твоему, произойдет?», он бы ответил: «Нет», чтобы не сойти за фразера или мечтателя. А между тем именно так он себе это представлял. Иначе, почему же у

него всякий раз подступают к горлу слезы, когда к концу митинга все встают и запевают «Интернационал»? И почему ему кажется, что песнь эта, даже умолкнув, продолжает звучать, доносясь откуда-то издалека, пролетая над неоглядными просторами, над огромными городами, ощетинившимися вышками заводских труб? Все это встает неясной громадой, могучей, как сама жизнь. И почему он, такой противник громких фраз, он, такой сдержанный в разговорах, приходит в трепет, когда слышит слова: «Вставай, проклятьем заклейменный», хотя сам, вероятно, потешался бы над ними, не будь они строчкой из «Интернационала»? Почему, как все это объяснить? Поль никогда не стремился ответить прямо на этот вопрос, но он твердо знает: с тех пор как он прочувствовал и понял все это, он уже не один. Он не шагает в одиночку между серых стен к какому-то обрыву, к черной яме, он движется вперед по широкой дороге вместе с толпой, которая, как и он, тоже хочет изменить лицо мира. Что и сказано в «Интернационале»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...»

Он вдыхает запах «Грез вальса», смешанный с запахом химикалий, который никак не вытравишь из волос Полетты, разве что ей пришлось бы ходить два раза в месяц к парикмахеру... Только вот... Он приближает губы к уху подружки и шепчет, желая ее рассмешить: «Цып, цып, цып!», словно швыряет воробьям хлебные крошки. Она хохочет и отодвигается.

— А фильм хороший? — спрашивает она.

— Фильм, как тебе известно, довольно старый. Словом, поначалу он тебе покажется, пожалуй, странным. Вначале все немножко суматошно, понимаешь? Но вообще это потрясающе!

— Это происходит во время войны?

— Нет, до войны. До революции в России. Во время первой революции.

— Ах так!

Поль спрашивает себя, знает ли Полетта, что в России было две революции. В политическом отношении она молодец, но большими познаниями не отличается.

— Я имею в виду не Октябрьскую революцию. А революцию предыдущую, пятого года. В тот раз их разбили, но та революция подготовила эту... В фильме показаны события, которые действительно имели место. Это восстание матросов на броненосце «Потемкин». Их кормили гнилым мясом. Они взяли и побросали офицеров в воду. Сразу видно, что это правда. В мясе будут настоящие черви, вот увидишь...

Полетта делает брезгливую гримаску.

— Не знаю, понравится ли мне такой фильм. Странная все-таки мысль — показывать червей.

— Но раз это правда,— возражает Поль.— Правдой-то он нас и берет.

Полю досадно. Иногда Полетта все-таки рассуждает, как дурочка.

РЫЦАРСКИЕ ДОСПЕХИ

Андре Жид сложил газету и не без интереса, доброжелательным взглядом окинул зал. Приятно было убедиться, что он без труда освоился с обстановкой, сидит в толпе, которая явно не обращает на него внимания, хотя вначале это его и раздражало. Но он тут же подавил неприятное чувство и постарался превратить поражение в победу, наслаждаясь своим умением играть роль человека «как все». Ему вспомнились слова Лебра, который упрекнул его в том, что он ищет различий, а не старается обнаружить то, что свойственно всем людям вообще. Но,

позвольте, каких различий ищет он здесь, нынче вечером? Разве не стремится он, и уже очень давно, к братству? Он обернулся и сразу повеселел: сзади сидели юноша и девушка, очевидно студенты, и, как ему показалось, смотрели на него с любопытством и восхищением. Как раз в эту минуту Камилла сказала Симону: «Ведь это Андре Жид!» В зале говорили о реализме фильма, громко топали ногами, торопя киномеханика. Говорили об экспрессионизме. Называли фильм просто «Потемкин», как Девятую симфонию Бетховена называют просто «Девятая». Восхищались мастерством, с каким Эйзенштейн сумел найти и выпятить наиболее выразительные детали, к примеру, этих самых червей в мясе, которые послужили поводом для восстания моряков, а Полетте показались малоуместными на экране. Но восхищение большинства зрителей вызывало политическое звучание картины. Почти у всех, включая и тех, кто еще не видел фильма, но представлял его себе по ореолу, какой обычно окружает великие произведения искусства, разговоры о «Потемкине» давали толчок мечте, заставляли сильнее биться сердце. Казо, несомненно, усмотрел бы в этом проявление «революционной романтики», тогда как в действительности это объяснялось глубоко сокрытой верой в свое дело. События, разыгравшиеся на «Потемкине», были как бы прологом к их собственной жизни. Именно в те дни девятьсот пятого года начался XX век. Занавес поднялся в России, и начался первый акт величайшей драмы, которой предстояло заполнить собою весь наш век, подобно тому как французская революция заполнила предыдущий. Второй акт разыгрался тоже в России, в семнадцатом году. А в последующих актах на сцену выйдут сотни миллионов людей на неоглядных просторах Азии, Африки и Америки и, как предсказал еще в начале века Ленин, народные массы России, Китая и Индии решительно перетянут чашу весов на сторону революции.

Зрители знали это ленинское предсказание, источник уверенности, неоспоримую истину века, в котором они жили. Они охотно цитировали эти слова Ленина, как пророчество, уже явно воплощавшееся в жизнь, но подобно тому, как любовь узнается по каким-то совсем второстепенным признакам, по тому, что ты наделяешь любимую чертами, которых, как потом выясняется, у нее и в помине нет, что отнюдь не мешает любви, рожденной такой иллюзией, жить и даже стать настоящей любовью, так и убеждения большинства зрителей, пришедших смотреть «Потемкина», переменились не столько под влиянием ленинского научного анализа, сколько в результате чтения одного романа, имевшего в то время немалый успех. В основу романа Андре Мальро «Условия человеческого существования» был положен один из наиболее кровавых и наиболее сложных эпизодов революционной истории Китая: Кантонское восстание 1927 года и подавление его правительственными войсками Чан Кай-ши. Хотя коммунистическая критика высказывалась весьма сдержанно по поводу некоторых политических положений романа, достоверность образов, вообще говоря, не ставилась под сомнение. В глазах Симона заслугой Мальро было то, что он сумел придать революционной деятельности наших дней, фигуре профессионального революционера величие героя античной трагедии. Правда, нелегко было отделить в его книге экзотику от событий, имеющих общечеловеческое значение, способных выдержать испытание временем. Кое-кто из критиков утверждал, что книга эта просто неплохо сколоченный приключенческий роман, не имеющий особого значения и уж во всяком случае — революционного. Их близорукость раздражала Симона. В отношении Мальро он задавал себе лишь один-единственный вопрос — не тот, что в отношении Андре Жида: его не интересовало, будут ли читать Мальро через двадцать лет, а вот способен ли он описать когда-нибудь драму, которая произойдет, скажем, где-нибудь в департаменте Луар-э-Шер!..

Когда читаешь Мальро, кажется, что герой-революционер может полноценно проявлять себя лишь в особо насыщенной атмосфере, на фоне декораций, которыми не располагает и никогда располагать не будет французская действительность. Можно ли вообразить себе где-нибудь на улицах Тулузы или Парижа эти пулеметы, это напряженное ожидание с гранатой в руке? Рядом с бистро, которое звалось бы «У Жежена» или «Норовистый пескарь»? Совершенно ясно, что эти встречи заговорщиков могли происходить только в лабиринте тесных улочек какого-нибудь азиатского города, кишащих людьми. Во всяком случае, «где-то там». Там. Противомоскитные сетки, фены, опиум, бронепоезда, шарики цианистого калия — все это было частью бутафорской игры со смертью, игры, немыслимой на берегах Сены. «Но,— говорил Симон,— будем справедливы, пренебрежем экзотикой. Суть ведь не в ней. Суть книги в ее накале и в манере автора то и дело смотреть на свою жизнь со стороны. Жить так, как будто твоя жизнь уже биография...» Эти рубленые, бьющие на эффект афоризмы, эти фразы, настолько вымученные, что трудно сказать, встанут ли они на ноги (многие так и не становились), усилия мысли, прокладывающей себе путь даже ценою бессвязности,— все это делало речи Мальро похожими на дымящиеся после боя развалины. Некоторые фразы из «Условий человеческого существования» стали для юношей образчиком того, что могут и должны говорить люди в драматические минуты своей жизни. Минуты «многозначительные», которые, разумеется, одни только и идут в счет. Они находили эту велеречивость «восхитительной»: «Ни один человек не живет ради отрицания жизни...», «Достоинство завоевывается...», «Гипнотические чары смерти...», «Великий индивидуализм может взрасти лишь на навозе лицемерия...», «Человеку требуется пятьдесят лет, чтобы стать человеком, а затем он умирает...» или что-то в этом роде... Умирает.

Казо не трогали все эти изыски. Он пытался бороться против увлечения Симона и большинства его товарищей, противопоставляя Андре Мальро другого писателя — Жюля Валлеса, пятидесятилетнюю годовщину смерти которого как раз отмечали коммунистические газеты и журналы.

«Не смешите меня с вашим Мальро,— говорил он.— Я не отрицаю литературных достоинств его книжонки, заметьте, не отрицаю, но признайтесь же, все-таки чудно учиться по книге, посвященной Кантонскому восстанию, когда у нас самих есть литературное свидетельство событий Парижской коммуны, оставленное ее участником».

Симон не мог не согласиться с этим доводом. Ну и что же! Времена валлесовского богемного сентиментализма прошли. Кроме того, Мальро удалось внушить своим читателям идею, что в революционном действии люди, и притом наиболее энергичные и наиболее сознательные, ищут решения не только социальной проблемы, но и своих индивидуальных проблем: уйти от гипнотических чар смерти, утвердить себя как личность путем осознания общности людей, братства сильных духом и т. д. и т. п.

Сама личность автора «Условий человеческого существования» весьма подходила для той роли, в какой вам хотелось его видеть. Симона завораживали не столько причудливые фразы оратора, сколько его изможденное лицо, отсутствующий взгляд, нервные тики. Вы только вообразите! Наконец-то у нас появилось наше дитя века! Мальро ввел в литературу новый революционный образ — образ некоего нервического персонажа, сочетание будничного и возвышенного. После него было невыносимо читать в книгах фразы вроде: «Он запер дверь». Если только...

Если только этот обыкновенный жест не обретал силою обстоятельств рокового значения. Например, вы запираете дверь, а за ней остается человек, которого вы никогда больше не увидите, причем в

глубине души вы сознаете, что тем самым отказались от какой-то важнейшей, еще живой, но уже обреченной части себя; примерно, как если бы в шахте произошел несчастный случай и пришлось бы завалить вход, хотя, возможно, под обвалом еще бьются сердца, еще дышат люди, но помочь им уже нельзя...

Что касается Андре Жида... Это совсем другой случай, хотя с некоторых пор он появляется на тех же трибунах, что и Мальро. Но не в том суть. Симон и его товарищи вовсе не стремятся углублять этот анализ, предчувствуя, что результаты его могут принести разочарование. Они достаточно хорошо знают историю литературы и всеобщую историю XVIII и XIX веков и вполне закономерно опасаются, как бы история их времени, если копнуть хорошенько, не показала, какую непропорционально огромную и притом чудовищную роль играют всякие мелкие, а подчас просто гнусные стычки литераторов, после которых не остается камня на камне от идеальных фигур великих писателей. А ведь молодежи необходимо верить в их идеальность. В то, что такие писатели существуют.

«И потом, никто ведь не знает, что сейчас происходит. В нашей богадельне, то есть на курсах в Сен-Реми, мы лучше знаем закулисную жизнь парижского общества тысяча семьсот тридцать пятого или тысяча восемьсот тридцать пятого года, чем нынешнего тысяча девятьсот тридцать пятого. О тысяча семьсот тридцать пятом или тысяча восемьсот тридцать пятом все уже написано. А вот о тысяча девятьсот тридцать пятом — ничего. Психология Виктора Гюго — пэра Франции — изучена лучше, чем психология Мальро. В конце концов, биографии живых писателей еще не завершены. Надо брать их такими, каковы они сегодня... Умри Виктор Гюго в двадцатипятилетнем возрасте, он был бы для потомков поэтом-монархистом».

«ПОТЕМКИН»

Камилла тихонько высвободила руку, зажатую в ладонях Симона. Ласково переплела пальцы с его пальцами, а он коснулся губами ее теплой шеи. Она смотрит прямо перед собой, куда-то сквозь белый экран. Симон заметил, что она улыбнулась. «Она любит жизнь. Может быть, она все-таки счастлива?» Он старался прочесть ее мысли. Но Камилла постоянно куда-то ускользала, далеко-далеко...

— Знаешь, что я только что видел? — спросил он.

— Андре Жида?

— Да плевать мне на него. Нет, я видел нашу с тобой жизнь.

— Видел нашу жизнь?

— Да, нашу жизнь. Это как аллея между высоких деревьев. Я видел ее в красках, выпукло, точно наяву. И она уходит в бесконечность.

— Ты уверен, что в бесконечность?..

— Да... в бесконечность. Ну... во всяком случае я говорю это применительно к себе.

— А! — сказала она.— Конечно.

Чей-то громкий голос потребовал тишины. Другой голос, принадлежавший рыжеволосому парню, который вышел на авансцену перед экраном, пояснил, что нет необходимости представлять фильм зрителям, потому что большинство уже видело его и вообще картина широко известна. Симону видны были только его рыжие волосы.

— Однако,— продолжал голос,— мне хотелось бы напомнить вам о тех событиях, которые Эйзенштейн положил в основу своей картины «Броненосец «Потемкин». Это прежде всего хроника действительных событий, воссозданных режиссером. Драма, главный герой которой не тот или иной персонаж, а масса. Русский народ...

Подобно тому как свет, проходя через линзу, дробится на бесчисленное множество лучей, так и вполне конкретные объяснения рыжеволосого докладчика преображались в сознании слушателей, рождая у каждого свой, неповторимый отклик: тут действовали не только слова, которые, конечно, звучали для всех одинаково, но и не имевшие прямого отношения к этим словам воспоминания, чаяния, картины жизни, составлявшие особое достояние каждого, а слова служили лишь толчком, вызывавшим к жизни всю эту работу мысли. Можно, пожалуй, представить себе только то, что думает такой человек, как Жид, поскольку он общественный деятель, писатель, передающий другим свои мысли, по крайней мере те из них, что способны, по его мнению, создать определенную версию его собственной жизни, которую он счел возможным обнародовать и на основе которой будет создана впоследствии его биография.

В конце июня пятого года, когда на «Потемкине» вспыхнул мятеж и началось восстание в Одессе, Андре Жид жил в своем фамильном поместье Кувервиль в Нормандии. Там он работал над книгой, которая будет называться «Узкие врата», но которая пока называлась «Узкая дорога». Забившись в жаркую оранжерею, чтобы не видеть нагонявшего на него уныние нормандского дождливого лета, он каждый день с трудом писал несколько строк и зачитывался Гете. А пока он сознательно лепил свой образ на потребу ограниченного круга утонченных современников, уже знакомых с его творчеством, а бессознательно — на потребу широкой публики, которую он завоюет совсем иными путями четверть века спустя,— русский броненосец «Князь Потемкин Таврический», мощностью в 12 680 лошадиных сил, недавно сошедший со стапелей, иными словами, ровесник века, вышел из Севастополя в Одессу, имея на борту шестьсот тридцать восемь человек экипажа.

Известия из России, русско-японская война уже в течение нескольких месяцев приковывали внимание небольшой группки писателей, к которым в ту пору примыкал Андре Жид и которые опасались, что военное поражение России может усилить модный в то время недуг, называвшийся желтой опасностью. Но, откровенно говоря, их представление о России, по крайней мере, представление большинства из них, не способствовало правильному пониманию событий. Россия — Россия Толстого и Достоевского — представала в их глазах то в образе простодушного жалостливого мужика, то в образе мятущегося юноши, а чаще всего в образе молодой женщины, бледной, веселой, безрассудной, отгораживающейся от всех житейских шквалов хрупким зонтиком с кружевной бахромой. А Черное море... Для многих оно было таким, каким пятьдесят лет назад увидел его граф Толстой, прибывший в Крым для участия в военной кампании,— увидел в тот час, когда за горой Сапун зажигается заря и розовеет небо, а море синее и холодное, знаменитое зимнее море «Севастопольских рассказов». Для других Черное море было лишь отдаленным придатком Средиземного, с которым оно сообщалось, как неведомая никому лагуна, как водослив, куда не заглядывают туристы, сообщается с залитым солнцем озером, усеянным празднично разукрашенными лодками... Та Россия, которую они знали, обитала в Париже или в Ницце. Это был М. П.— петербургский банкир, это был граф Л., «очаровательнейший» человек, это была графиня Н., скончавшаяся в прошлом году в Ментоне. И позади этих вполне реальных персонажей — лубочный силуэт русского матроса, этакого курносого парня с ленточками на бескозырке, совсем такого, какие появились на французской земле во время визита императорской эскадры в Тулон, такие, каким рукоплескала вся Франция, за исключением социалистов, поскольку социалисты уже давно предсказывали падение русского самодержавия и установление в России республики, с которой можно и нужно будет заключить

прочный союз. Но и французские социалисты, за исключением, пожалуй, тех, кто поддерживал отношения с русскими социал-демократами, не могли знать, какие настроения господствовали в начале лета пятого года на кораблях императорского флота.

Они считали, что русские матросы, как и большинство русского народа, конечно враждебны самодержавию, но не могли даже вообразить, что политическая работа на некоторых кораблях в царском флоте достигла такого размаха и что бунт, поднятый из-за гнилого мяса, которым хотели накормить матросов «Потемкина», может превратиться в настоящее восстание, когда впервые со времен Парижской коммуны красный флаг взовьется не просто над головами демонстрантов, как символ гневной вспышки, а как флаг вооруженной силы, флаг государственный. Понадобятся две революции и война, чтобы трагедия «Потемкина» приняла свои настоящие масштабы и чтобы мятеж русских матросов, воссозданный двадцать лет спустя волшебством киноискусства, вновь осветил своим заревом землю и заставил биться тысячи и тысячи сердец.

В те же далекие дни пятого года, вопреки аршинным заголовкам и пространным корреспонденциям в новой газете Жореса «Юманите», даже такой человек, как отец Симона, который держался скорее левых взглядов, не придал событиям в России особого значения. Ему было двадцать лет, и он только что приехал в Париж, получив по конкурсу место в почтовом ведомстве и соответственно сменив свой гасконский берет на соломенное канотье, которое он надевал летом на воскресные прогулки по Марне. На пожелтевшей фотографии, которую Симон видел сотни раз, отец запечатлен на террасе ресторанчика, помещавшегося неподалеку от вокзала Монпарнас, где он работал на разборке корреспонденции. Рядом с ним стоит гарсон, с непостижимой ловкостью держащий одной рукой огромную стопку блюдечек. Снимок сделан в жару, посетители пили пиво. «Было это в пятом году. Я только что перебрался в Париж. Все как сейчас помню. В том году еще бастовали служащие нашего почтового отделения, протестуя против грязи. Нас тогда крысы одолели. А вот этот гарсон, видишь, со стопкой блюдечек, он впоследствии стал летчиком, ассом и погиб на войне. Я потом заходил в ресторан в семнадцатом году, когда приезжал в отпуск с фронта. Тебе тогда было два года. Мне и сказали, что он погиб».— «Ну, а революция пятого года, какое впечатление произвела она на вас, на молодых?» — «Видишь ли, я был слишком молод... А Россия — это так далеко...»

Словом, отец Симона «заметил» революцию пятого года только много позже, в семнадцатом году, когда его потрясло известие об Октябрьской революции и когда Россия перестала быть страной на другом краю света: события, происходившие там, затрагивали всех, кем бы они ни были, как бы ни относились к Октябрьской революции.

А вот отец Поля Гранжа — тот очень хорошо помнил восстание на «Потемкине», о котором день за днем рассказывала «Юманите»: Жорес сам комментировал события. И Полю, когда он впервые увидел фильм Эйзенштейна, показалось, будто он не открывает для себя, а узнает события, о которых отец говорил так много и так часто, что со временем как бы превратился в очевидца восстания. Так иной престарелый обитатель Бельвиля, перебирая в уме уже смутные воспоминания о рассказах, которые он слышал в юности, может, выдавая желаемое за действительное, в итоге убедить себя, что он и впрямь дрался на баррикадах в дни Парижской коммуны.

Подобные иллюзии более чем простительны, особенно если вспомнить, что такие события, как восстание на «Потемкине», оставались долгое время для многих неясными, по-разному истолковывались и претерпели множество изменений, прежде чем стала известна вся правда.

— Современники,— говорил рыжий парень перед экраном,— не очень хорошо понимали, что происходит. Даже «Юманите», регулярно получавшая корреспонденции из самой Одессы, упрекала матросов «Потемкина» за то, что они капитулировали, не зная, что броненосец вынужден был зайти в один из румынских портов, так как у него кончались запасы угля и воды.

Точно установить, что происходило в Одессе в пятом году, стало практически возможно только через пятнадцать лет, когда после победы Октябрьской революции историки получили доступ к архивам императорского морского ведомства и к архивам царской полиции и могли расспросить многочисленных свидетелей и участников события. Руководствуясь этой исторической правдой и правдой искусства, Эйзенштейн и его сотрудники гораздо лучше, чем современники восстания, могли уловить и показать пафос отдельных эпизодов борьбы потемкинцев. В фильме воссоздан бурный ритм восстания, ритм взрыва, а затем пламя пожара... показано то,— заявил рыжеволосый комментатор,— чего еще никогда не показывал кинематограф: «Взрывчатая смесь, именуемая политикой».

. . . . . .

Симон положил руку на колено Камиллы. Потом тихонько скользнул ладонью по скрипучему шелку чулка. Чуть откинул подол юбки и коснулся теплой гладкой кожи. Замер. Рука его лежала спокойно, будто лапа нестрашного зверя.

— Ты с ума сошел! — говорит Камилла.

— Сошел.

В то же мгновение он подумал, что более точного ответа не мог бы дать. «Да, да, я сошел с ума, и я прав». Рыжий, под аплодисменты публики, скрылся, свет погасили. Зажужжал киноаппарат. От музыкального сопровождения решили отказаться. И сразу же экраном, а потом и всем залом завладели первые кадры.

«Потемкин» отправляется в плавание. Борозды, которые он проложит в умах, в сердцах, в том, что проще всего было бы именовать душой,— продержатся годы, а в некоторых случаях и всю жизнь. Вот он, огромный и грузный, на глади блестящих под солнцем вод, выплевывающий в белесое летнее небо густые клубы черного дыма. Вот море, до того настоящее, что на губах чувствуешь соленый вкус брызг. Вот она, эта тяжелая махина, несущая на своем борту не только экипаж «Потемкина», но и сотни миллионов, миллиарды людей.

. . . . . .

СМЕЮЩЕЕСЯ МОРЕ

После аплодисментов, взорвавшихся в конце фильма, и щелканья откидных сидений, воцарилась тишина. Седая дама помогла Андре Жиду надеть плащ. А сам он быстрым движением прикрыл свою лысину шляпой так называемого «спортивного» фасона, похожей на тирольскую и очень подходившей к плащу. Симон, основываясь на литературных описаниях, так как личных наблюдений у него явно не было, нашел, что писатель похож на богатого землевладельца, хотя зябкость и простуженный вид не очень-то вязались с представлением о жизни на вольном воздухе.

Теперь его узнали многие присутствующие, в том числе и Казо, который, несомненно, упрекал себя за то, что не заметил такого важного (с политической точки зрения) гостя, и, в качестве лица ответственного, решил исправить свой промах, проводив писателя до выхода. Может быть, Андре Жиду понадобится такси? Во всяком случае, было бы ошибкой отпустить его просто так. И еще один вопрос занимал Казо: следует

ли называть Андре Жида «товарищ»? Сам Андре Жид нередко употреблял это слово, но ведь он все же не член партии. И потом, удобно ли адресовать это боевое слово пролетарского братства человеку, пришедшему из такого далека?.. Казо решил обратиться к писателю в безличной форме, но вдруг кисть его руки охватили железные пальцы Гранжа:

— Мы еще увидимся сегодня?

— Да, если хочешь, валяй в «Будущее», только подожди, ты же видишь...

— А кто это?

— Андре Жид. Ты его знаешь? Нет?

— Знаю, конечно,— ответил Гранж.— Только я его не узнал.

— Кто это? — поинтересовалась Полетта.

— Это Андре Жид, писатель,— пояснил Поль.

— Ой! Он в партии?

— Нет,— сказал Поль.— Он сочувствующий. Понимаешь, когда такие типы выступают с правильными заявлениями — это очень важно. Это нам помощь.

— Понимаю,— сказала Полетта.— А он не притворяется?

— Что за вопрос! — возмутился Поль.— Какая ему выгода быть с нами? А ты что, не доверяешь ему, Пули?

Он шутливо ткнулся носом в шею подружки. Обнял ее за талию.

— Надо бы нам с тобой как-нибудь к морю съездить,— сказал он.

— Почему ты об этом вдруг заговорил?

— Да так... Посмотрел фильм, ну и подумал.

— Странно,— сказала она, и голос ее дрогнул,— я тоже об этом подумала.

Они никогда не видели моря. Никогда не видели чаек, разве что в холода, когда, гонимые стужей, морские беглянки долетали, случалось, до моста Берси.

Полетта сама не знает, действительно ли ее тянет к морю или просто ей хочется провести с Полем отпуск в одном из тех отелей, где вас с вечера спрашивают, подать утром шоколад или кофе. Она и представить себе не может, какой твердый бывает песок на пляже после отлива, где, едва успеет схлынуть вода, уже появляются первые курортники, вставшие пораньше, чтобы поискать мидии и морские ракушки, какой соленый бывает воздух — он, конечно, выветрил бы запах химикалий из ее волос, хотя его и не могут отбить даже «Грезы вальса». Ни просто счастье недельного отдыха.

— Море...— говорит Поль.— Это все-таки чудовищно — ни разу не бывать на море. В школе тебя учат, что Франция омывается четырьмя морями, а ты ни одного из них не видел!

Наконец-то Казо удалось представиться Андре Жиду.

— Может быть... проводить вас?

И пробормотал что-то еще, невнятное.

— Нет, нет,— ответил писатель.— Спасибо, не надо.— И добавил: — Великолепно.

Андре Жид имел в виду сцену, когда он аплодировал вместе со всем залом, ту сцену, где пенсне судового врача, которого матросы сбрасывают в море, с минуту раскачивается на цепочке в воздухе.

— Сцена с пенсне поистине изумительна.

— Да,— говорит Казо,— но...

— Вам не понравилось? — кротко спрашивает Андре Жид.

— Нет, конечно, понравилось,— торопливо отвечает Казо.— Конечно...

И трудно понять, что означает это «конечно» — то ли что сцена с пенсне бесспорно великолепна, то ли что он не хочет противоречить писателю.

На самом же деле Казо вовсе не убежден в том, что сцену с пенсне следует награждать алодисментами, правда, он хлопал вместе с другими, но сам не подал бы сигнал к таким овациям. Он подозревает, что зрители награждали аплодисментами эффектный кадр, прельстившись символикой, независимо от политического смысла... если таковой вообще в этой сцене есть. Ведь это пенсне, повисшее над бездной, может также означать: «Видите, как нелепа жизнь — человек умер, а то, что было частью его лица, его взгляда, еще существует, еще наделено жизнью». Нет ли тут формализма? Вот этот-то формализм, должно быть, и прельстил писателя.

— ...А этот свет над морем,— шепчет Андре Жид, следуя за Казо, который прокладывает ему путь к выходу.

Теперь публика узнала писателя. Его окружают. Он широко улыбается от удовольствия. Он думает: «Это море похоже на наше нормандское, с его туманами, с его чайками!» Волна воспоминаний уносит его в Этрета, каким он был в начале века. К причудливым виллам Кабура, похожим на надгробные памятники любимым собакам. К семейным склепам, прославившимся своим покоем. Ему нравилось это серенькое море, хотя именно на его берегах он привык кутаться в кашне, с которым не расставался даже на пляжах Средиземноморья, когда открыл для себя всю прелесть теплых морей и ласкового прикосновения солнца к коже. Черное море? Внезапно он вспомнил свое путешествие в Турцию, еще до войны, и воды Босфора. Ведь это те же самые воды. Но откуда же тогда туманы? Почему это море зовут «Черным»? Должно быть, в штормовые дни оно блестящее и черное, как агат, у горизонта. На память ему приходят строчки из собственного «Турецкого марша»: «Смеющееся море, где ликуют дельфины». Но это же стихи, а разве стихи не следует изгонять из прозы? «У меня это проскользнуло случайно. И самое смешное, что это чистейший Валери... Значит, независимо от...» Он слышит голос Казо:

— Да ну же, товарищи, дайте пройти.

Он думает: «Прекрасное это слово: «Товарищи».

Они уже пробирались к выходу, когда Казо заметил в поредевшей толпе Симона и крикнул, чтобы он приходил в «Будущее». Трудно было догадаться, действительно ли он этого хочет или просто считает, что так надо, что это такая же его обязанность, как и все прочие — как, скажем, провожать Андре Жида до машины, поскольку в его глазах Симон сочувствующий, который нуждается в помощи, которому надо вовремя протянуть руку.

— Пойдем? — спрашивает Симон Камиллу.

Он держит руку Камиллы в своей, но так, чтобы никто не видел. Никогда он не сделает при посторонних ни одного жеста, который подчеркивал бы их близость.

Она нерешительно бросает «да» и улыбается. Симон любит свет ее улыбки, но иной раз ему начинает казаться — именно в такие минуты,— что Камилла ужасно далека от него, что она в каком-то своем мире, куда ему ни за что не проникнуть. Поэтому-то он и нашел к этой улыбке единственный эпитет — загадочная. Чему она улыбается? Какому представлению о жизни, которое принадлежит одной только ей?

— ...А тебе не будет скучно?

— Конечно нет. Но я там никого не знаю.

— Там же будут все наши ребята.

Камилла думает о том, что до последнего поезда в Сен-Реми, на который должен поспеть Симон, осталось меньше часа и что она гораздо охотнее посидела бы с ним в задней комнатке кафе. На сердце у нее тяжелым грузом лежит жизнь, вся их трудная жизнь.

— ...Если тебе скучно, скажи откровенно, я не обижусь...

— Но ты же сам знаешь,— шепчет она, прижимая к себе его руку,— что с тобой мне везде хорошо.

— И у нас еще хватит времени...

Он знает, что это ложь. Время слишком часто берет его за горло. Он стал жертвой времени потому, что считает дни, часы, минуты, разлучающие его с Камиллой, и потому, что видит, как бегут, несутся часы, минуты, которые он проводит с ней.

Они смешиваются с группой людей, следующих за Андре Жидом, впереди которого маячит длинная фигура Казо — он доводит писателя до поджидающей его машины. Автомобиль показался Симону старомодным, но все же роскошным — наверно, тоже английский, как и сукно плаща. «Интересно, эта великолепная машина — его собственная или нет?» — думает Симон. Громко хлопает дверца.

Тем временем Андре Жид, забившись в угол машины, сложив руки на коленях, накрытых пледом, чувствует, как в нем нарастает огромное спокойствие. «Очевидно,— думает он,— это вызвано уверенностью в правильном выборе пути, рожденной фильмом Эйзенштейна». И он перенесся мыслью к началу века. Вспомнил, как их всех, его самого и ближайших его друзей, интересовала русско-японская война и как он, единственный в этой маленькой группке, предсказывал разгром царской армии. Друэн не поверил ему, когда в подтверждение он сослался на некомпетентность верховного командования и продажность прогнившей правительственной верхушки в Санкт-Петербурге. Он даже писал об этом Друэну и употребил именно это слово: «прогнившей». Самое странное, что нынешние молодые люди, очевидно, воображают, будто в те времена он был каким-то равнодушным к политическим проблемам эстетом!.. Видно, таков его удел — сеять недоразумения... Он вздохнул и повернулся к седой даме.

— Боюсь,— сказал он,— что мне не удастся заснуть.

«БУДУЩЕЕ»

А тем временем нынешние молодые люди, собравшись у цинковой стойки кафе «Будущее», продолжали плыть вместе с «Потемкиным». Наступила та минута, которой Эйзенштейн, по его словам, особенно добивался: когда образы, вызвав к жизни эмоции, начинают превращаться сначала в идеи, а затем в политические тезисы. И превращение свершается особенно быстро, поскольку эти юноши еще не обременены грузом пустопорожних экспериментов, не придавлены тяготами жизни, которые потом, позднее, станут своего рода фильтром, замедляющим все процессы.

Сначала пришли Казо, Симон и Камилла. Потом явились Поль с Полеттой, которых Казо кратко представил присутствующим:

— Товарищи из Союза молодежи. Гранж работает наладчиком у Фокара. Я уверен,— сказал он, протирая очки и близоруко щурясь,— что Андре Жид ни черта не понял...

Имя писателя, произнесенное с южным акцентом, звучало как-то особенно тепло, по-домашнему, словно Андре Жид держит где-нибудь в Верхней Гароне бакалейную лавочку и мать, посылая дочку за покупками, говорит: «Сбегай-ка к Андре Жиду за сахаром».

— Почему он ни черта не понял? — удивленно спросил Симон.— Почему?

Казо нацепил очки.

— Он просто поддался на формалистические трюки. Послушай, что я имею в виду: кадр с червивым мясом, кадр с пенсне, кадр с монументальной лестницей...

— Но в этом же и заключается фильм! — говорит Симон.

— Нет, фильм не в этом. Главное в другом. Более того, я боюсь, что это и отвлекает внимание зрителей от главного.

— А что же главное? — говорит Гранж.

— Связь с массами,— отвечает Казо.

— Согласен! — говорит Поль.

— Именно это и показано в фильме очень хорошо — проблема связи с массами,— горячо продолжает Казо.— Городские революционные организации, обеспечивающие снабжение корабля... Убитый моряк, перенесенный в порт... Это уже кое-что, но этого еще недостаточно... И ты, надеюсь, уловил также неопытность политического руководства восстанием.

— Возможно,— отвечает Симон,— но ведь в конце концов фильм это прежде всего призыв к действию, разве нет? Не столько урок революционной тактики, сколько призыв к действию. Это революционная поэма, разве нет?

— Это одно и то же,— говорит Казо.

Все согласны, что это одно и то же Их язык весьма напоминает те работы, из которых они узнали о революциях пятого и семнадцатого годов. Это, в сущности, еще и язык Коммунистического Интернационала. Хотя последнее время — особенно с момента возникновения Народного фронта — этот язык начал преображаться, стал ближе к революционным традициям Франции, однако он до сих пор не освободился окончательно от выражений, заимствованных из военной терминологии, что, впрочем, не только не отталкивает всех этих молодых людей, а, наоборот, восхищает. Такие выражения, как «подрывная деятельность», «лобовая атака», «недостаточная связь с массами» или «тактические ошибки недостаточно опытного руководства», ни в коей мере не разрушают очарования «Потемкина», очарования морских просторов, под властью которых они еще находятся. Больше того, эти слова лишь усиливают впечатление, позволяют думать, что и сам ты тоже участник огромного дела преобразования мира в строгом соответствии с наукой и исторической закономерностью. Им по душе эта закономерность. Им по душе строгое соответствие. Но почему же, в таком случае, Симон взбунтовался в феврале тридцать четвертого года, когда речь зашла о демонстрации, стоившей человеческих жизней, и кто-то сказал, что надо было «лучше взвешивать лозунги», а сейчас он готов считать «Потемкина» просто пешкой на шахматной доске? Должно быть, потому, что с русскими матросами, жившими в начале века, у него нет живой, ощутимой связи, они мало-помалу превратились для него в носителей идеологии, в некое знамя, в символ... А вот Казо, несмотря на упорное стремление не отрываться от масс, не замечает, что ни Камилла, ни Полетта почти не слушают спора и Гранж упорно молчит. Полетта утомлена. Она стала еще бледнее, лицо ее приобрело какой-то восковой оттенок. Раза два она смотрелась в зеркало, поправляла машинальным жестом волосы и вздыхала: «Ну и видик у меня!» Она вдруг так устала, что даже о завтрашнем воскресенье думает без всякого удовольствия. И к тому же в воскресное утро у них всегда такой шум и гам: брат, маленькие сестры, грохот молотка, вгоняющего в стену гвозди или приколачивающего доску! Поль должен решиться еще до военной службы. А там видно будет. Как-нибудь они устроятся. Кто же спорит, вначале всегда приходится трудно.

Камилла то и дело поглядывает на свои ручные часики. Она почти не слушает. Конечно, мальчики спорят интересно, но она-то что может сказать? Время уходит, то есть, конечно, не сама жизнь — жизнь, она длинная,— но вот из этого короткого часа осталось всего сорок пять минут, по истечении которых два поезда метро уйдут каждый в свою сторону и скроется лицо Симона. До каких же пор, господи боже мой, до

каких же пор будут повторяться эти минуты, когда в глазах темнеет и в голове стоит грохот разлуки!

— Во всяком случае,— говорит Поль Гранж,— одно я знаю точно: фильм берет за живое. Как будто ты сам с ними...

— Верно,— подхватывает Казо,— гебя берет за живое потому, что это фильм о русской революции. Содержание фильма. Его идеи. Представь себе, что существовал бы фильм о государственном перевороте в Мексике, и пусть там будут прекраснейшие, изумительные кадры, тебе на него начхать. Понимаешь?

Казо спрашивает себя, не перегнул ли он палку, не портит ли он всем удовольствие от картины, стремясь во что бы то ни стало превратить фильм в трактат. Он вынужден признать, что фильм был для него не занимательным зрелищем, а хроникой событий. И он не столько смотрел его, сколько старался осмыслить «политически», особенно методы, какими Эйзенштейн сумел или не сумел решить стоявшие перед ним политические задачи. Методы эти интересовали Казо так, как интересует любителя-шахматиста особо выдающаяся партия гурнира. Казо был взволнован, но он не любит такого рода волнений. Не любит слез, которые невольно выступили на его глазах, когда он впервые видел фильм, в той сцене, где матросы стоят под тентом в ожидании смерти. А море, кадры моря и туманов, которые, в сущности говоря, ни к чему,— разве это не формализм? Самый настоящий формализм.

— А лев? — продолжает Симон.— Что вы скажете о льве?

— Какой лев? — удивляется Гранж.

— Когда броненосец стреляет из пушки и снарядом разбивает каменного льва у подъезда какого-то богатого особняка.

— Да, это здорово,— соглашается Гранж.

— А я, если хотите знать,— говорит Казо,— очень сожалею, но я и тут с вами не согласен. Буржуазия — это не каменный лев... Мы боремся не со статуями, не с символами...

— Это уж ты придираешься,— возражает Гранж.— По-моему, каждому совершенно понятно, почему снаряд попадает в каменного льва... Лев — это... это царское правительство. Верно?

— Ты совершенно прав,— говорит Симон,— конечно, царское правительство.

Ему приятно, что Гранж понял смысл гибели каменного незрячего льва, равнодушного к судьбам людей, застывшего в неподвижности среди окружающего его мира, где все меняется.

Казо, закрыв глаза, аккуратно протирает очки.

— А вот я,— говорит он вполголоса,— а вот я, когда смотрю какой-нибудь фильм или пьесу или когда читаю книгу, я первым долгом спрашиваю себя: а поймут ли ее мои родители?

— Но ведь ты сам мне как-то говорил.— замечает Симон,— что, когда ты приехал к своим, тебе уже через час не о чем было говорить с ними!.. Как хочешь, но это еще не критерий... Если так рассуждать, то Ленин не должен был писать «Материализм и эмпириокритицизм».

Он чуть было не добавил: «Это демагогия, ты разводишь демагогию». Но на лице Казо написано такое отчаяние, что Симон не договаривает и берет его за локоть:

— Ну ладно, не сердись. Я понимаю, что ты хотел сказать.

— Нет,— мрачно говорит Казо,— ты думаешь, что понимаешь, а ты ровно ничего не понимаешь. Чтобы понять, надо видеть, как у нас жнут рожь. Серпом жнут, по крутым склонам, человека веревкой привязывают. Всего пять кинталов с гектара...

— А твои старики — коммунисты? — спрашивает Гранж.

— Да ты смеешься!

— Смотри-ка, вот еще гостей принесло! — говорит Гранж, радуясь, что можно прекратить неприятный разговор.

Два шпика, ведя велосипеды, появляются в темном проеме стеклянной двери. Они вглядываются, ничего не видя, и лица у них такие же невыразительно замкнутые, как морда каменного одесского льва.

— Не надо сегодня засиживаться,— говорит хозяин «Будущего».— Они уже несколько дней нервничают. Из-за дождя, должно быть.

— Не любят кино,— замечает Симон.

— Пять лет назад,— доносится чей-то голос оттуда, где стоят мраморные столики,— когда Эйзенштейн приезжал в Париж показывать свою «Генеральную линию», была мобилизована целая армия шпиков, и командовал ими сам префект полиции Шиапп, собственной персоной. Такое было впечатление, что вот-вот революция начнется... Пока Эйзенштейн выступал с докладом в Сорбонне, на улице Сен-Жак стояли грузовики со специальными бригадами. Один из слушателей спросил Эйзенштейна, правда ли, что большевики убили смех! Есть еще болваны на белом свете...— Говорящий делает паузу, потом добавляет: — Молодые этого понять не могут. В те времена за лишнее слово по морде били...

— Чего он добивается, этот тип? — сухо замечает Казо.— Просто бредит.

«Возможно, он и в самом деле бредит,— думает Симон.— И вне всякого сомнения, смотрит на нынешнюю политическую ситуацию со своей колокольни. В прежнее время он, наверно, принимал участие в стычках — вроде тех, что вспыхивали в связи с приездом в Париж Эйзенштейна, но сейчас, то ли потому, что он постарел, то ли по другим причинам, не хочет самому себе признаться, что держится в стороне от борьбы. Не участвуя больше в происходящих событиях — по своей или не по своей воле,— он выводит из собственной бездеятельности довольнотаки банальное заключение, что нынешние события не имеют прежнего размаха, хотя при желании он мог бы прочесть в газетах о яростных схватках сторонников Народного фронта с членами боевых отрядов правых».

— Да,— говорит Симон вслух,— есть люди, не способные видеть то, что происходит у них под носом. Вот этот, например, очевидно, был в самой гуще событий лет десять назад, а сейчас у него небось ревматизм и из-за этого самого ревматизма он стал иначе смотреть на исторические события. В связи с этим я и подумал, что замечание Паскаля о длине носа Клеопатры совершенно справедливо...

Казо бросает на него удивленный взгляд сквозь толстые стекла очков.

— Что это на тебя вдруг нашло? Ты это всерьез?

— Но...— мнется Симон, потому что в нем внезапно просыпается изумившее его самого желание найти для старика смягчающие обстоятельства, может быть, просто потому, что в голосе незнакомца прозвучала печаль.— Конечно, конечно же... я говорю вполне серьезно. Если бы у Клеопатры был нос картошкой, это не изменило бы соотношения сил в Средиземноморском бассейне, согласен, но она никогда бы не стала возлюбленной Цезаря, а значит, смотрела бы на историю по-другому. Вот и все, что я хочу сказать. Марк Твен пишет, что во время войны в Америке между северными и южными штатами произошла битва, в которой убили всего одного человека, то есть это была самая маленькая битва во время той войны, говорит Марк Твен, но ведь для погибшего она оказалась самой большой.

Казо решает, что можно снисходительно посмеяться. Сочувствующих надо щадить.

— Проклятый софист! — говорит он. И, обращаясь к Гранжу, добавляет: — Видишь, чему нас учат... Вот она, буржуазная культура...

Но Гранж не подхватывает брошенного ему мяча.

— Если фильм вас только на такие мысли навел, то...

В голосе его слышится легкое раздражение, и Симону кажется даже, что он незаметно пожал плечом. «Вот,— думает он,— вот он, занавес, который отделяет его от меня. Ведь я пошутил, но Гранж таких шуток не понимает, не может понять. Мы и шутим-то по-разному. Не способны понимать друг друга с полуслова. Вот она — драма». Он пытается представить себе, сколько всего пришлось бы объяснить Гранжу, чтобы до него дошла эта безобидная шутка. Пришлось бы ему объяснить не только, кто такая Клеопатра, но и кто такие Цезарь, Помпей, Антоний, Паскаль... Да и этого оказалось бы недостаточно. Подобные шутки могут быть должным образом восприняты лишь посвященными, для которых такая шутка привычна, как и намеки на определенные персонажи, на исторические события, почти или вовсе неизвестные широкой публике,— намеки, ставшие надоедливым общим местом, совсем так, как для Гранжа остроты насчет их монтерской работы и комбинага Фокара, которых не понял бы в свою очередь Симон. «А ведь живи Гранж в Советской России, он бы, конечно, читал труды по истории,— думает Симон.— И, вероятно, даже видел бы в театре шекспировского «Юлия Цезаря». А здесь у нас два разных языка, два разных мира. Вот она — драма».

Камилла рассмеялась, слушая Казо, который, пригнувшись пониже, шепчет ей что-то. Симону показалось, что он положил ей руку на плечо. Почему Камилла сейчас смеется, а раньше слушала их разговор с таким равнодушным видом? Ему стало не по себе. Чувство досады приходило всякий раз, когда он замечал, что существует другая Камилла, отличная от его Камиллы: эта другая работает в конторе, а он не смеет даже ждать ее у выхода; этой другой мужчины, не подозревающие о его существовании, говорят идиотские комплименты... Другая. Незнакомка. Он не раз винил себя за эти собственнические настроения, но что поделаешь? Есть один-единственный способ избавиться от тревоги — не притворяться, будто ему безразлично, а, наоборот, полностью завладеть Камиллой. Пусть все знают: «Это жена Симона Борда».

— Вы тоже с юга? — спрашивает Гранж.

«Вот он, барьер: ведь Гранж прекрасно видит, что я друг Казо, но не решается обратиться ко мне на «ты». Если бы у меня на лацкане был такой же значок, как у Казо, я мог бы сколько угодно шутить, говорить самые непонятные вещи о носе Клеопатры, забираться в любые дебри интеллектуализма в самом мерзком значении этого слова и все равно я был бы для него товарищем».

— Да, но в наших краях холоднее, чем у Казо, мы, так сказать, горцы. Однако это тоже юг.

— А пальмы там есть? — осведомляется Полетта.

— Есть, конечно, во дворе каждой фермы непременно есть хоть одна большая пальма. А почему вы спрашиваете?

— Да так,— говорит Полетта.— Мне бы очень хотелось видеть пальмы, которые растут сами по себе, как каштаны в Париже.

— Когда-нибудь увидишь,— говорит Поль.

Он обнимает ее за шею. А она замечталась о пальмах. Замечталась о солнце.

Вдруг Казо, разблагодушествовавшись, заказывает по второй рюмке сомюра.

— Нет, спасибо,— говорит Камилла,— я не хочу!

— Может быть, вам заказать что-нибудь другое?

— Нет,— отвечает она,— ничего не надо...

— Не хочешь ли выпить чего-нибудь горячего? — спрашивает Симон.

— Нет,— отказывается она,— нет.
Он понижает голос до шепота:
— Что с тобой?
— Ничего, ровно ничего.
— Но все-таки...
— Да нет, уверяю тебя.
— Хочешь уйдем?
— Нет, напротив.
— Почему напротив?
— Не приставай ко мне, мой дорогой.
Он вскидывает брови. Он ничего не понимает. И говорит:
— Ничего не понимаю.
Она молча трясет головой.
Он не понимает, что ей хочется брести об руку с ним в темноте под холодным дождем, потому что уже начался дождь.

СЕРП И МОЛОТ

За дальним столиком, где сидит незнакомец — тот самый, который утверждает, будто нынче не знают, что такое мордобой,— вдруг крикнули:
— Саша!
В эту минуту в распахнутых дверях на фоне дождливой ночи возникло улыбающееся лицо юноши, одетого так, как одеваются где-нибудь за городом, когда выезжают на лыжах,— в спортивной зимней куртке, узких спортивных брюках, лыжных ботинках,— и в этом лице, усыпанном веснушками, в голубых глазах чувствуется что-то необычайное, как и в имени «Саша». Казо перехватил юношу и представил его:
— Это Бернштейн, товарищ из Союза молодежи.
Благодаря новоприбывшему между компанией Казо и разочарованным незнакомцем, окликнувшим Сашу, между их столиками устанавливается контакт.
— Привет, ребята! — говорит Саша с таким неподдельным бельвильским выговором, что Симон сразу прощает ему залихватский тон парижских предместий, хотя поначалу он решил, что это просто кривлянье.
— Здравствуйте, господин Бернштейн,— говорит хозяин «Будущего» (как и Казо, он произносит: «Бернстайн»).
Со всех сторон несутся возгласы:
— Ну как? Скоро?
Казо поворачивается к сидящим за его столиком.
— Вам, очевидно, невдомек,— говорит он, указывая на Сашу,— что перед вами советский гражданин из плоти и крови...
Он довольно улыбается, как будто это открытие — его личная заслуга.
— Скоро уезжаешь?
— Ты в СССР едешь? — спрашивает Гранж.— Вот ведь повезло!
— Уезжаю всерьез и надолго,— говорит Саша.— Окончательно. А не в туристскую поездку.
Он вытащил из кармана куртки портмоне, а из портмоне бумагу.
— Возвращаюсь домой,— говорит он торжественно.
На бумаге — несколько строк русского текста, напечатанного на машинке, и синяя печать — серп и молот на земном шаре, пятиконечная звезда, колосья и надпись; очевидно, она означает: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И Сашин жест — жест, который вполне мог быть самым обычным в таком вот кафе и в этот час (просто человек под

хмельком показывает свои документы случайным собутыльникам, так как удостоверение личности — это единственное его достояние, итог всей его жизни, особенно когда речь идет о военном билете — а в большинстве случаев речь идет именно о военном билете), этот жест одиночества и бедности, которым выражается извечная потребность успокоить себя и других, показать, что все у тебя по закону, что ты тоже полноправный гражданин, хоть и одет неважно и у кого-то на подозрении,— скромный жест Саши сразу восхитил всех нас. Мы склонились над славянскими буквами и над синей печатью, как, должно быть, в давние времена посетители какой-нибудь испанской харчевни склонялись над первыми самородками золота, привезенными из Нового Света. Эта бумажка в Сашиных руках была как бы завершением того, что началось тридцать лет назад на «Потемкине». Она удостоверяла, что Советский Союз существует. «Я вспомнил, как мне в руки случайно попал официальный документ времен Парижской коммуны — пропуск за подписью Делеклюза, выданный какому-то гражданину города Парижа; в моих глазах он был свидетельством того, что Коммуна действительно правила страной, что она была реальной властью, а не просто идеей... Но если при виде пропуска, подписанного Делеклюзом, я пережил печаль неудачи, неотъемлемую отныне от всего, связанного с Парижской коммуной, то эта бумага, которую держал в руках Саша Бернштейн, была, наоборот, аттестатом жизни, свидетельством победы, гораздо более убедительным, нежели многие книги, многие газетные статьи. А Саша... Еще несколько минут назад я его не знал, но уверен, никогда не забуду его лица. Этот документ обладал волшебною силой, и поездка в СССР сразу перестала быть для Саши только проектом, только чаянием... Отныне он принадлежит к иному миру: он перешел из одной эпохи в другую, никто уже не может смотреть на него теми же глазами, что и прежде. Отныне он станет для нас — доводом, для наших врагов — вызовом и для всех прочих — проблемой».

— А когда уезжаешь? — спросил Казо.

— Точно не знаю. Думаю, месяца через два-три. Еще не все бумаги готовы.

Он рассказал, что едет в Москву к своему дяде. Дядя работает инженером на текстильной фабрике. Саша будет продолжать изучать химию. И станет химиком.

— А о Париже скучать не будешь? — спросил тот самый голос, который окликнул Сашу при входе.

— Еще чего! — горячо возразил Гранж. И повторил: — Еще чего! Парню повезло, а он...

— Знаете,— сказал Саша,— я ведь все-таки родился в Париже. В двухстах метрах отсюда. Это мой квартал. Конечно, я буду вспоминать Париж. Но я приеду сюда. Не на луну же я, в самом деле, лечу...

— Так,— вдруг бросил незнакомец, который жалел, что теперь не бывает таких расправ, как раньше,— при отъезде всегда так говорят. Только я думаю, вы строите себе иллюзии. Учтите, я считаю, что вы правильно делаете, решив ехать. Но когда вы там очутитесь... не будете же вы взад и вперед мотаться!.. А что касается переписки... Заметьте, я не критикую. А констатирую. Они обороняются — это вполне естественно. Но не надо строить себе иллюзий...

— А вы-то откуда знаете? — говорит Казо.— Вам известны какие-то факты? Разве советские граждане не бывают во Франции?

— Конечно бывают,— соглашается незнакомец,— но в порядке исключения. Впрочем, не в этом дело...

— А раз не в этом дело, тогда о чем же говорить? — сухо бросает Казо.

— Вы просто меня не поняли,— отвечает незнакомец усталым то-

ном, в котором Симону чудится что-то наигранное.— Вы меня не поняли. То, что я говорю, никак не влияет на наши идеи. Я говорю: «наши» идеи. Но надо видеть вещи такими, какие они есть.

— Не люблю я, когда идее предпосылают «но», не люблю,— замечает Казо.

Симон вполне с ним согласен.

Никто из нас не любит, когда идее предпосылают «но».

— Во всяком случае,— говорит Саша,— для меня это второстепенный вопрос. Я уезжаю потому, что хочу уехать. Никто меня не неволит. Можно ли сюда вернуться и когда — это уже другое дело... Сейчас труднее всего отсюда уехать...

— Ты совершенно прав,— говорит Гранж. Он широко взмахивает рукой, как бы призывая нас всех в свидетели.— Вот парень уезжает в СССР, а вы не нашли ничего лучшего, чем устроить дискуссию: вернется он или не вернется! А зачем, спрашивается, ему надо возвращаться? Чтобы спину на хозяина гнуть? Чтобы драться со шпиками? Не говоря уже о том, что будет война. Веселенькая перспектива!

— Разреши-ка мне сказать,— прерывает его незнакомец,— представь себе, что с семнадцатого года я думаю так же, как и ты. Срок немалый. Но я тебе повторяю: лучше, если бы кое-что обстояло иначе... Возможно, это второстепенное, и все-таки лучше, если б было иначе. Ты всего этого не знаешь, я тебя и не упрекаю. Но я-то не могу вести себя так, будто ничего не знаю...

Симон — не любитель такой таинственности. «Почему он не может выражаться яснее? Чего мы не знаем, а он, видите ли, знает? Что границы СССР закрыты? Но ведь мы это знаем. Ну и что? Если он имеет в виду личные трагедии, которые повлекла за собой революция, разлуки, ненужные смерти и несчастья гражданской войны,— то почему, спрашивается, он воображает, будто мы не способны это понять?»

— Такие психологические тонкости яйца выеденного не стоят,— говорит Симон.— Люди хотят знать, на чьей ты стороне — на той или на этой...

Незнакомец глядит на Симона прищурившись, и вокруг его глаз разбегается сеть мелких морщинок. Его, по-видимому, не задели слова Симона. Он склоняет к плечу седеющую голову и продолжает тем же усталым тоном, будто выполняя некую тяжелую повинность.

— Знаете ли,— продолжает он.— Есть вещи, которые я для себя уже давно выяснил. Уже давно. И это не мешает мне быть на стороне... на стороне матросов «Потемкина», если вы это имели в виду. А все остальное дело второстепенное.— Он поворачивается к Симону: — Вы член партии?

— А вы? — спрашивает Казо, не дав Симону времени ответить.

Казо удивительно ловко умеет маневрировать словами «вы» и «ты». Если он говорит «вы», то, значит, ответ наверняка будет отрицательный.

Незнакомец с минуту колеблется. Он взмахивает рукой, как бы отметая воспоминания, возражения, но жест его нетороплив, не навязчив.

— Я был в партии когда-то, но...— И быстро добавляет: — Меня не исключали, прошу заметить...

Казо пожимает плечами, снимает очки и жмурится. Чей-то голос говорит:

— Да брось ты! Он неплохой малый! Только чуточку анархист. Такие уж у них в Бельвиле настроения...

— В Бельвиле...— говорит Казо, поправляя очки своими длинными узловатыми пальцами.— Конечно, можно все на Бельвиль свалить. Не смешите меня, пожалуйста...

Воцаряется молчание, которое кажется всем слишком долгим: словно никому не хочется додумать до конца свою мысль.

Симону все ясно: незнакомец просто старый человек, и его отметающий жест означает обычное, извечное: «Откуда вам, молодым, знать».

Казо сердито рассматривает донышко своей наполовину опорожненной рюмки. Посетители начинают расходиться, становится просторнее — сначала у стойки, потом и за столиками; за уходящими то и дело хлопает дверь, и сразу обнаруживается висящая за ней холодная завеса дождя.

Незнакомец встал и ушел, ни на кого не взглянув, ничего не сказав.

— Возможно, зря я на него так насел,— говорит Симон.— В конце концов, это меня не касается. Он не член партии и я тоже...

— Что же между вами общего? — возмущается Казо.— Ты можешь стать членом партии, а он — он из партии вышел, что же тут общего?! Нет, ты правильно поступил. Все антисоветские листки твердят эти басни с семнадцатого года...

— Мы же не знаем,— замечает Гранж, как бы отвечая самому себе,— неизвестно, может быть, он еще вернется... все зависит...

— Нет,— говорит Казо.— Такие типы не возвращаются. Ты заметил, как он говорил, что не согласен только с вещами второстепенными? Говорил: второстепенными, а для него они главные. Это всегда так. Твердят, что критикуют второстепенное, а на самом деле второстепенное-то для них и важно, а в итоге...

Саша держит во рту сигарету, лицо его совсем заволокло голубоватым дымом. Он щурит глаза и тихонько кашляет.

— Конечно,— говорит он,— бывают особые случаи. Бывают семейные трагедии... А тут представляется такой случай, как мой отъезд,— тут уж трудно удержаться от соблазна. По-моему, это неизбежно. Что ты хочешь?... Невозможно перестроить общество, как они это делают, и не рубить лишнего, я хочу сказать: не просто лишнего, а чтобы не было несправедливостей.

Он пожимает плечами.

— Ничего тут не поделаешь,— продолжает он.— Во время французской революции было не так-то уж умно гильотинировать Лавуазье. Разве нет? И уж совсем неумно возводить это в теорию и заявлять, что Республике, мол, не нужны химики. Но видите ли, если сегодня какой-нибудь химик заявит, что он не республиканец только потому, что Лавуазье...

— Лавуазье,— перебивает Казо,— был гильотинирован не как химик, а как генеральный откупщик...

— До сих пор можно насчитать миллионы людей, которые не простили нам казни Людовика XVI,— замечает Симон.— Ученики частных школ, которые оплакивают беднягу дофина и Марию-Антуанетту в тюрьме Тампль, нам этого не простили.

— Ну и черт с ними,— заявляет Гранж.

— Точно,— подтверждает Казо.

Симон молчит, но в душе он с ними согласен. «Именно так. Необходимо идти до конца. Нельзя быть рохлями. Нельзя быть человеком в шлепанцах. Справа от гарсона, что держит одной рукой целую стопку блюдечек на фотографии, снятой в кафе на авеню Мэн,— того самого гарсона, который затем стал ассом и был убит в пятнадцатом или шестнадцатом году,— стоит некий Морне, впоследствии он стал близким другом моего отца. «Вообрази,— рассказывал мне потом отец,— что в июле четырнадцатого года, в день, когда на Больших бульварах состоялась огромная демонстрация против войны, я случайно встретил Морне. В ту пору он жил неподалеку, около Центрального рынка. Я его спрашиваю: «Куда направляешься?» Он отвечает: «Да так, говорит, прогуливаюсь». Гляжу, а он в шлепанцах. По-моему, он шел за женой, которая работала на телефонной станции. Так нас и затянуло в демонстрацию. Только что стало известно, что Жорес убит. Люди кричали: «Долой войну!» Все,

конечно, понимали, что она вот-вот разразится. Но нас не сразу мобилизовали. В то время почтовых служащих не трогали. Только потом нас начали призывать. Я опять встретил Морне, и он по-прежнему шлялся в шлепанцах. И так как он шел по улице в кепке — он всегда в таком виде ходил за покупками,— его принимали за рабочего. В те времена, если у человека не было шляпы на голове, он обращал на себя внимание».

«Ох эти шлепанцы! Да, Жорес... Но он погиб тридцать первого июля, а что бы он стал делать второго августа? Лучше не думать об этом. Одно бесспорно: такие вещи не должны повторяться. У нас лишь один путь, путь «Потемкина», путь Октября семнадцатого года».

— Но все-таки,— говорит Камилла,— вы уверены, что никогда не будете тосковать по Парижу?

Симон даже не заметил, что Камилла промолчала все это время. Значит, пока они спорили о таких важных для него вопросах, она была ему не нужна? Он еще не спрашивал себя, как отразится на ее жизни тот выбор, который он готовится сделать. Он ничего от нее не требовал в сердце своем и ничего не обещал — словно она существовала для него лишь в настоящем, в неуловимый миг непрестанного превращения настоящего в прошлое, нереальная, как сам этот миг. А что касается будущего, то стоит ли вообще представлять его себе? Кто знает, что станется с сегодняшней нашей любовью после войны, после революции, при том условии, конечно, что нас не разлучит смерть? Кто скажет, какая любовь нам будет нужна через двадцать, через тридцать лет? И, однако, нельзя жить на гребне волны. Однодневками. Нам нужна жизнь в перспективе.

Он обнял Камиллу за талию — ему хотелось ощутить сквозь ткань пальто тепло ее тела. Она улыбнулась.

— Конечно,— говорит Саша,— возможно, я и буду жалеть о Париже. Я ведь живу не в облаках. И понимаю, что еду не в свадебное путешествие. Но жизнь-то моя — там. Мой отец был русский революционер.— Он опускает глаза.— И вот сейчас, когда я смотрел фильм, кадры улиц Одессы... Мне казалось, что мой отец находится в этой толпе... Матери моей было в то время лет пятнадцать-шестнадцать, она жила тогда в России. И она прекрасно помнила все это... погромы. Для всех нас это имеет политический смысл, но для меня не только политический...— Он вскидывает глаза и улыбается, чтобы скрыть волнение.— ...Не только... Вот, например, освещение, лица, жесты... Как будто я смотрю старую семейную фотографию.

Вслух он не смеет признаться, какие чувства охватили его, когда на экране появились первые морские кадры, первые вспышки света, которые стали для него в ту же минуту сиянием русского света,— во всяком случае, такой представлялась ему Россия, когда он в детстве учил русский язык и вечерами, лежа в постельке, слышал сквозь сон, как рядом в столовой — обычной столовой парижской рабочей квартиры — шли за ужином разговоры. Его отец и мать приехали в Париж в десятом году. Они только что поженились. И оба умерли, так никогда и не увидев больше России, не приняв участия в столь чаемой ими революции, не желая признаться даже самим себе, что они уже обосновались, прижились во Франции и что Россия, вероятно, сделалась для них тем, чем становится для бывшего провинциала провинция, другими словами, она напоминала о себе лишь каждодневными будничными привычками, вроде, например, пристрастия к рубленым котлетам и к салату со сметаной, а не с оливковым маслом... Да еще песнями, языком, на котором они говорили дома, хотя французские слова мало-помалу вытесняли русские... Но в то время как родители Саши отдалялись от родины, сам он, став коммунистом, проделывал их путь в обратном направлении. Получая письма от своего московского дяди, черпая в них поддержку, Саша

готовился и внешне и внутренне к путешествию, которое в его глазах должно было положить конец изгнанию,— он смотрел на это путешествие как на свой долг. Он изучал русскую грамматику, старался, исходя из сложившихся у него в детстве представлений о России и русских, воссоздать облик новой России — вся в лесах новостроек, вся в гудении тракторов, но ему так и не удалось до конца избавиться от ее прежнего образа, который запечатлен на старых фотографиях, наклеенных на картон с золоченым обрезом и штампом на обратной стороне, гласящим, что они сняты «фотографом императорского двора»; глядя на эти снимки, Саша узнавал, что в России существовали молодые люди с бледными лицами, обросшими юношеской бородой, в косоворотках с вышитым воротом, глядящие на мир сквозь хрупкое пенсне пронзительным взором провозвестников бури. Лица эти столь живые, столь реальные, что Саша почувствовал слезы на глазах, когда на экране в одесской толпе, десять-двадцать раз промелькнуло лицо его матери, тогда еще молоденькой девушки, лицо его отца...

— Но,— продолжает Казо,— ты себя чувствуешь русским или это только, так сказать, политическая близость? Понимаешь, что я хочу сказать?

— И то и другое. Здесь, во Франции, сами знаете, сколько бы я ни твердил, что я из Бельвиля, всегда найдется какой-нибудь тип, который обзовет меня чужаком. Ты пойми... как смотрят на меня скоты полицейские или даже самый последний служащий в мэрии, когда я заполняю бумаги: родился в... и в... а главное фамилия...

— Бернстайн,— подсказывает Казо.

Симон снова видит ту улыбку, которая недавно сияла среди россыпи веснушек...

— Конечно, если ее произносить так, как вы, с твоим акцентом, тогда, конечно, все в порядке... Но ты пойми, что я хочу сказать...

— У тебя русская фамилия? — любопытствует Гранж.— Похоже больше на эльзасскую...

Улыбка разом гаснет.

— Нет, не русская. Имя у меня русское. А не фамилия.

— А какая же? — спрашивает Гранж.

— Еврейская,— отвечает Саша.

— Ты еврей?

— На мой взгляд — нет, но для других — еврей, а это все-таки решает.

— Да плевать тебе на других.

Казо смеется.

— Но это все меняет,— говорит Саша.

Улыбка застывает на губах Казо, он поправляет очки.

— Не пори чепуху. Это проблема, высосанная из пальца.

Фразу эту он произнес дружеским, но твердым тоном, веско, так он говорит на их студенческом совете, когда нужно вернуть дискуссию в прежнее русло.

— Вовсе это не высосанная из пальца проблема,— возражает Саша.— В СССР антисемитизм карается по закону. Будь это высосанная из пальца проблема, не требовалось бы издавать законы. Ведь не издают же законов в защиту, скажем, бородатых или лысых. А насчет евреев издают...— Он вскидывает глаза, словно хочет рассмотреть свое лицо в плохоньком зеркале, просвечивающем между бутылок аперитива.— И с евреями это еще далеко не решенный вопрос. Нечего себя успокаивать мыслью, что погромы, мол, это только в Германии. Что у нас здесь такого не может произойти. Да бросьте! Это передается — как зараза. Как сифилис...

— Но почему же тогда ты,— спрашивает Симон,— почему ты, на-

пример, не протестуешь, когда антисемиты называют тебя евреем? Ты еврей, если хочешь... Но ведь ты сам говоришь, что на твой взгляд ты не еврей, тогда в чем же дело?

Взор Саши устремлен по-прежнему куда-то за цинковую стойку, он по-прежнему ищет свое изображение в зеркале между бутылок с аперитивом.

— Не могу я запретить антисемитам говорить, что я еврей, и делать отсюда угодные им выводы. Переменить фамилию? Не хочу... Это капитуляция... Да к тому же...— Он вдруг поворачивает к ним свое круглое, усеянное веснушками лицо.— К тому же, поглядите на мой нос! Все равно ведь ничего не поможет!

— Почему? — говорит Симон.— Почему!

И тут же умолкает, потрясенный внезапным открытием: лицо Саши, которое поразило его прежде всего веселым блеском глаз — даже от веснушек исходило веселье,— кажется теперь совсем другим. Симону стыдно признаться, что на ум ему пришло выражение: «Еврейский нос».

— Ты неправильно ставишь вопрос,— говорит Казо.

— Да иди ты...— мрачно возражает Саша.— Это не я ставлю, а мой нос.

Он произнес слово «нос» в нарочито жаргонной манере, как говорят на парижских окраинах — словно желая подчеркнуть всю нелепость ксенофобии.

— Но у тебя вовсе не еврейская внешность! — заявляет Казо.— То есть я хотел...

Бернштейн не дает ему времени загладить промах.

— Ага! Видишь! — восклицает он, и в голосе его на этот раз звучит неподдельное отчаяние.— Видишь, значит, существует особая «еврейская внешность»? Значит, можно иметь «еврейскую внешность»?

— Можно иметь еврейскую внешность, как, скажем, можно иметь и бретонскую,— с трудом выдавливает из себя Казо.

— Конечно, но всякому понятно, что это влечет за собой неодинаковые последствия. Итак, я, значит, занимаюсь высосанными из пальца проблемами? К сожалению, лжепроблемы решать подчас труднее, чем настоящие проблемы.— Он негромко рассмеялся.— Вот он, талмудический ум... Талмудический ум в действии!..

— Неверно это,— говорит Казо, точнее, не говорит, а словно вещает с трибуны или, выражаясь его языком, «изъясняется по-ли-ти-че-ски».— Неверно. Ты говоришь с нами так, как с противниками. Это неверно. Ты споришь из-за слов.

— Ничего подобного, я просто констатирую факт,— возражает Саша.— Словом «еврей» пользуются для смертоубийства. Это факт.

— Послушайте,— вмешивается Гранж,— надоели вы с вашими спорами. Какое это, к дьяволу, имеет значение? Еврей, не еврей. Француз, иностранец — таким способом они и раскалывают рабочие массы. И так обстоит дело не только с евреями... Скажем... с североафриканцами — еще хуже. Им суют самую гнусную работу...

Прежде чем произнести «североафриканцы», Гранж на мгновение замялся. Он прекрасно знает, что нельзя говорить «черномазые», и все же слово это едва не соскользнуло с его губ. Хорошо, что он вовремя спохватился и подумал, что члену Союза коммунистической молодежи так говорить не полагается. Но что он думает на самом деле? Что думает, когда не делает над собой усилия, чтобы мыслить, как говорит Казо, «по-ли-ти-че-ски» правильно? Думает, что в нем еще есть какая-то зыбкая зона. Зона, где живут всевозможные «но»... «Но» это... «Но» то... Например, евреи такие же люди, как и все прочие, это само собой разумеется. Антисемитизм — тот же фашизм, и все же приходится признать, что среди евреев много хозяйчиков, спекулянтов. Среди евреев также и

много троцкистов. Североафриканцы тоже люди, как и все прочие, и не их вина, что они вынуждены переселяться во Францию в поисках работы. Там у них несусветная нищета. Их еще сильнее, чем нас, эксплуатируют... Ну, а что, если в один прекрасный день твоя родная сестра придет и заявит, что желает выйти замуж за алжирца? Представляешь себе, какой поднялся бы шум? Не говоря уже о том, что фашисты из «Солидарите франсез» вербуют себе подручных среди североафриканцев. И ты не можешь запретить остроты насчет черномазой солидарности... Это тоже факт. Но все так сложно...

— Ладно, дело все же не в этом...— вдруг говорит он.— Завтра для нас не праздничный день, Мне, к примеру, чуть свет вставать. Пойдем-ка домой спать.

— Нет, нет,— протестует Саша, и лицо его снова улыбается, как будто он научился по желанию путем длительной практики мгновенно отбрасывать то, что омрачает его жизнь.— Нет, уж это вы бросьте, я как раз собрался вас угостить.

— Ну что ж, чуточку сомюра.

— У них там нет такого вина,— говорит Гранж. Но тут же спохватывается, упрекая себя за то, что поддался на удочку антисоветской пропаганды.— Но, конечно, будет...

— Кто начинает? — спрашивает Казо.

— Давайте я,— говорит Гранж,— мне все равно. Пойду за газетами. Погода дрянная. Эти типы едва ли явятся. Они совсем как улитки, только наоборот. От дождя прячутся.

— Поглядите-ка на него! — по-отечески снисходительно замечает Казо.— Ему тоже подавай драку. Авантюрист!..

Симон не считает возможным вмешиваться в разговор. Это язык борьбы, и он обвиняет себя за то, что до сих пор стоит от нее в стороне.

— Авантюрист? Не заливай,— говорит Гранж.— Надо же на удары отвечать... Разве нет?

Но Гранж думает про себя, что он просто любит подраться. Вопреки тому, что сказал разочарованный незнакомец, почти каждое воскресное утро при продаже газет завязываются стычки. Гранжу не свойственно недооценивать противника. Он нередко говорит: «Этих парней обработали. Надо смотреть правде в глаза: среди них есть обманутые пролетарии. Ну, как, скажем, в Германии. Это же вполне нормально». Он вспоминает заголовок, появившийся однажды в понедельник, два года назад, в «Юманите» и державшийся до тех пор, пока гитлеровцы не пришли к власти: «Рабочие-коммунисты оказывают штурмовикам яростное сопротивление. Есть убитые и раненые». Эту фразу можно было прочитать каждое воскресенье или почти каждое. Ему запомнилось название «Альтона». Он так и говорит: «Парни из Альтоны». В воображении его рисуется окраина, ну, скажем, вроде Сен-Дени, только еще более мрачная, и выстрелы, нарушающие воскресным утром тишину пустынных улиц, где висят красные флаги. Во Франции до этого еще не дошли, но и это будет, наверняка будет. А пока надо их хорошенько проучить. Да и вообще... По-ли-ти-че-ски, возможно, это и не очень правильно, но он действительно любит подраться. Когда эти молодчики принимаются расхаживать вокруг него, он уже готов к бою, кулаки прижаты к груди, где под застегнутым пиджаком напиханы газеты, но вот они начинают о чем-то шептаться, потом медленно отходят — очевидно, признав его, так как он уже завоевал репутацию смельчака,— и Гранж переживает минуту горького разочарования, словно его лишили воскресных развлечений.

Настанет день, и тогда уже придется драться по-другому. Настанет день, и все будет как в России. Это уж наверняка. «Да здравствует Парижская коммуна, ее пулеметы и ружья. День отмщения настал...» Эту

песню поют демонстранты так, как, скажем, они поют «Время вишням цвесть», не особенно веря в смысл слов, но в один прекрасный день они поверят. Даже венским социалистам пришлось в тридцать четвертом году взяться за оружие.

Гранж поднимает рюмку.

— Ну, выпьем, что ли... Выпьем за советского товарища!

Саша слегка краснеет, и, так как глаза его встречаются с глазами хозяина кафе, он поднимает свой стакан и говорит:

— За будущее!

Он, видимо, хотел обыграть название кафе, да и не он первый: хозяин не раз слышал, как ему шутливо желали «хорошего будущего», но в эту минуту, когда аромат подогретого вина ударяет Саше в голову, он вдруг понимает, что действительно имел в виду кафе «Будущее», и, как бы репетируя сцену скорого прощания, бросает на хозяина кафе, на Бельвиль, на Париж, на всю уже отошедшую в прошлое часть своей жизни последний, самый последний, взгляд.

Хозяин начал сдвигать стулья и складывать их друг на друга, на мраморные столы и обитые медным листом столики, а жена его тем временем разбрасывает пригоршнями опилки на плиточный пол, извиняясь перед засидевшимися клиентами:

— Ничего не поделаешь, пора запирать, а то эти господа увидят свет и снова пожалуют.

Хозяева брюзжат, о чем-то спрашивают друг друга на том особом языке, какой вырабатывается у супругов после двадцати пяти лет совместной жизни: он непонятен для посторонних и звучит как некий условный жаргон, где все слова вроде знакомые, а что они значат, не поймешь. К примеру: «Ты видел эту свинью?», «Я прямо так и сказал Марселю — нет и нет», «Все они одним миром мазаны». Слушая их овернский выговор, Симон вдруг вспомнил, как его мальчишкой посылали к угольщику за пакетом лучины для растопки кухонной плиты, что в их семье вообще-то считалось роскошью, отец обычно сам колол старые ящики сечкой, которой рубили также сало и петрушку; потом от угольщика его мысль перенеслась к философии овернца, поселившегося в Париже. «Еще годдва, кончится срок их добровольного изгнания, и они решат, что добились своего, накопили достаточно и теперь можно жить, как рантье в Орийаке. А на самом деле они не заметили главного: что зря растратили невосполнимый капитал — время, и позже они будут ломать себе голову, зачем надо было так «надрываться», зачем они «лезли из кожи вон». Они постараются убедить себя, что это все «ради детей», и никогда им не узнать, что они прожили всю свою жизнь лишь для того, чтобы умереть».

— Закрываем! — увидев в дверном проеме двух ласточек — двух шпиков, крикнул хозяин шутки ради таким голосом, как кричат сторожа в скверах.

Симон глядит на хозяина, и сердце его тоскливо сжимается. Эта шутка означает, что пора расставаться с Камиллой. Хозяин ворча ходит взад и вперед по кафе и вдруг становится живым воплощением Времени, каким его изображают на аллегорических картинках. Он разбрасывает пригоршнями опилки, и они навсегда сотрут следы шагов, которыми мы отмеряли уже ушедшее мгновение нашей жизни. Длинной рукояткой щетки он опускает шторы, будто опускает занавес, кладя конец этому вечеру, на который не будет похож ни один из будущих вечеров. Разговор иссякает. Симону он уже перестает быть интересен.

— Ну, мы уходим,— говорит Камилла.

Глаза ее полны слез.

— Прости меня,— говорит он, нарочно понижая голос, чтобы она не услышала.

«ТРИ ВОЛХВА»

Падает холодный мелкий дождь, и вокруг фонарей светящимися блестками кружатся дождевые капли. Я различаю среди удаляющихся голосов голос Саши Бернштейна. В моей памяти он звучит так, как никогда еще не звучал ни один голос на свете. До того дня я о Саше почти ничего не знал, почти с ним не говорил. Но поскольку он уезжал в СССР, поскольку мы вместе видели «Потемкина», я никогда не забуду Сашу. Наступила тишина, почти ничем не нарушаемая, вернее, она становится еще ощутимее, когда мимо пробегают люди, спеша в метро, да рядом стучат каблучки Камиллы, милый сердцу стук, который я научился распознавать среди любого шума. Наконец мы остались с глазу на глаз с нашим одиночеством, с самими собой — этому способствуют ночь, дождь и чужие шаги. Опять — в который раз! — нам предстоит решить проблему нашей любви. И никто, ничто не приходит нам на помощь! Невообразимое множество романов посвящено этой теме, но ни один не может ответить прямо на наш вопрос: «Что же нам делать?» В этих книгах, по-моему, все ложь, все поверхностно. Неужели можно принимать всерьез поэмы о вечной любви, написанные людьми, любившими десятки раз? Не могу я относиться снисходительно к этой безответственной литературе, ни к чему не дающей ключа. А вдруг на наш вопрос вообще нет ответа!

— О чем ты думаешь?

— Да так, ни о чем. Тебе в кафе было не очень скучно? Ты все время молчала...

— Нет, вовсе не скучно, откуда ты взял?

— Не знаю... Ты все время молчишь... В сущности, такие разговоры тебя, видно, не особенно интересуют?

— Какие разговоры?

— Ну, разговоры о политике.

— Господи, мой дорогой, какой же ты дурачок. Конечно интересуют. Я слушаю, но что я, по-твоему, могу сказать? Вы там в своей компании.

— Как так «в своей компании»? А ты разве нет? Неужели ты считаешь, что, когда мы говорим, скажем, с Казо, тебя это не касается?

— Знаешь, это трудно объяснить. Я не умею говорить вашим языком. Вы ведь рассуждаете так, что другие не могут вас понять. Не знаю, может быть, вы этого сами не замечаете... Вот та, другая девушка, тоже молчала. А ведь она...

— Мне порой казалось, что ты мыслями была где-то далеко.

— Да нет же, глупенький. Просто, если обращаются прямо ко мне, я чувствую себя увереннее, чем когда вы разговариваете между собой. Тебя я ни в чем не упрекаю. Все вы такие...

— Наши разговоры в самом деле производят на тебя такое впечатление?

— Если говорить начистоту, да.

— Но почему же?

— Не знаю, но это так, ничего не могу поделать.

— Ты считаешь, что мы говорим слишком отвлеченно?

— Нет, дело не только в этом. Впрочем, что значит «отвлеченно»? Наоборот, все, что вы говорите, очень понятно, но со стороны кажется, что вы говорите только для себя. Ведь вы говорите не как все...

— Позволь, что значит «говорить, как все»? Что же, прикажешь нам говорить, как говорят в метро или в поездах? Тогда и слушай, о чем болтают в метро, страшно поучительно...

— А может быть, и в самом деле поучительно. Как знать... Может быть, и вам полезно было бы послушать... Вопрос ведь не в идеях. Фильм

мне очень понравился. Я думала, что вы о фильме будете говорить, а вас сразу занесло в сторону...

— Но думали-то мы о фильме. В сущности, о фильме мы и говорили. Вот, к примеру, когда я думаю об этом парне, о том, что я почувствовал, когда узнал, что он уезжает в Советскую Россию, в моем представлении сразу встает «Потемкин». Ведь это, в конце концов, продолжение «Потемкина». Может быть, его отец или мать находились в одесской толпе в пятом году, а он сидит сейчас с нами в кафе, в Париже. Странное это ощущение, когда вдруг замечаешь, что История, История с большой буквы, существует не только в книгах, но и мы сами составляем ее частицу... Ты такая скрытная. Иной раз мне кажется, что я тебя так никогда и не разгадаю.

Он берет Камиллу под руку. Она продолжает молчать. Он привлекает ее к себе. Ему хотелось бы, чтобы она держалась менее скованно, но она идет рядом с ним так, как если бы шла одна. От мелких капель дождя стынет лицо.

— А ты меня любишь? — вдруг в упор спрашивает он.

Он сам знает, что спросил об этом не для того, чтобы получить ответ. Это просто вопрос-ловушка, вопрос-игра, он привык задавать ей такие вопросы для того, чтобы убедиться, живая она или нет. Чтобы увидеть, такая ли она неуловимая, какой он ее представляет себе, хочет себе представить. А что, если она возьмет и скажет: «Нет»? Не может быть. Никто никогда не говорит «нет», если такой вопрос мог быть поставлен.

— Какой ты у меня глупый, мой дорогой,— говорит она,— конечно я тебя люблю. Ты сам знаешь, что люблю.

Он заговорил сдержанно, даже несколько отчужденно, словно обращался к самому себе:

— Я все усложняю, все порчу. Ты со мной несчастна. Это моя вина. Не отрицай, пожалуйста, я сам знаю..

— А что значит «несчастна»?

— Всем известно, что это значит. Я тебе надоел?

— Да нет же. Зачем ты так говоришь?

— Я вижу. Мне кажется, что нас интересуют разные вещи. Особенно когда мы не одни... Но в общем-то я сам ничего не знаю...

Они остановились перед зияющим жерлом метро. Сквозь холодный дождь оттуда, снизу, до них доносится теплое кисловатое дыхание тоннелей, где с грохотом проносятся поезда; они начинают спускаться по блестящим от дождя ступенькам. Камилла открывает сумку и ищет билетную книжечку.

— Подожди,— говорит она.

Голос ее дрожит. Симон даже не удивился, заметив на ее глазах слезы. Нет, это не капли дождя. Никогда еще он не видел, как плачет Камилла. Никогда еще никто не плакал из-за него, и он не знает, что в таких случаях полагается делать. Все, прочитанное в книгах, не может заменить живого опыта. Эти слезы ничем не напоминают те, что проливают в классических трагедиях. Это слезы, венчающие десятки любовных драм в метро, когда чета, еще не уверенная в будущем, уже разлучена двойной полоской рельс. Когда остается лишь долгий прощальный взгляд с одной платформы на другую, когда колеса поезда вот-вот оборвут последнюю нить, не дав влюбленным времени утешить друг друга, не дав времени хотя бы оправдаться на словах. «Прощай, моя любовь, прощай, я ведь не нарочно, и ты не нарочно».

Люди сбегали вниз по лестнице, толкали их. Симон понял, что пропустит последний поезд метро, а затем и последний поезд на Сен-Реми. Но почему она плачет? Не из-за того же, что он ей сказал? Он ведь ничего не сказал. Просто пошутил. Говорил, чтобы говорить. Какие-то слова. У него в голове полно слов.

— Симон, послушай...

Вместо билетной книжечки она вынула из сумки белый носовой платок и вытерла глаза, даже не заметив, что вместе со слезами размазала по щекам грязную дождевую воду. Потом она несколько раз негромко высморкалась. «Так вот как плачут. И неправда, что слезы катятся, словно жемчужины. Такова реальность. Но я устал от реального. Все это слишком трудно. Во всяком случае, для меня». Он сделал вид, что ничего не заметил.

— Ну ладно, не ищи. Сейчас купим новую книжечку. Не плачь по пустякам.

Она вскинула на него огромные, застланные слезами глаза и подняла брови.

Если бы сейчас она сделала хоть один шаг, он не остановил бы ее, дал бы ей уйти, и у него хватило бы сил никогда ее больше не видеть, и глаза эти, наполненные слезами, стали бы для него далеким воспоминанием юности, которое потоком времени унесет вперемешку с другими. Но он машинально повторил:

— Это же глупо, не ищи, сейчас купим два билета.

— Да я не из-за билетов,— покачав головой, ответила Камилла.— И я вовсе не плачу.

— Нет, плачешь.

— Нет, не плачу. Во всяком случае больше плакать не буду. Можешь не волноваться.

— Что ты хочешь этим сказать? Почему «не волноваться»?

Ему бы следовало обнять ее. Назвать «любовь моя». Но он не пошевельнулся. И даже лицо сделал такое, какое бывает у человека, не верящего слезам. Вдруг она разрыдалась по-настоящему. Вытерла рукой в перчатке тяжелую слезу, сползавшую по щеке, мокрой от холодного дождя.

— Давай пойдем скорее,— произнесла она разбитым голосом,— скорее, а то пропустим последнее метро, мне-то плевать, а вот тебе...

Симон не ответил. Он даже не осмеливался глядеть на нее, как будто приключилось что-то скандальное. И вздохнул с облегчением, когда билетная книжечка наконец нашлась. Они бросились вниз на платформу. Последний вагон последнего поезда увез их. Пассажиры, сломленные усталостью целой недели, дремали, подперев тяжелые головы рукой. Ничего нельзя было прочесть на этих лицах, как ни вглядывался в них Симон... Зато ему врезалась в память раклама Дюбонне. Камилла повернулась лицом к окну. Возможно, в приступе горя, она просто считала желтые рекламы: «Дюбо», «Дюбон», «Дюбонне». Перед ними мелькали серые, плохо освещенные своды, запасные пути, в вагон проникал через вентиляторы запах холодного погреба. Этот запах знаком Симону уже двадцать лет. Он ощутил его впервые ночью семнадцатого года, когда бомбили Париж и мать спустилась с ним в погреб. Сейчас он подумал, что это одно из самых ранних его воспоминаний и что он помнит войну. Он смотрел на мелькавшие станции с унылым безразличием, ожидая ту, которая вынудит его принять решение. На станции «Шатле» придется решать. Вот и более ярко освещенная пересадочная станция, веселые блики заиграли на стальных стрелках. Автоматические двери бесшумно раскрылись, и в теплом воздухе, окутавшем их на перроне, запахло мокрой капустой с Центрального рынка, куда уже начали подвозить овощи. Вот она, последняя черта. Если он отведет взгляд, чтобы не видеть веки Камиллы, покрасневшие от слез, вся его жизнь пойдет иначе. Он сознавал это, и собственная власть над событиями восхищала его. Даже в этой щемящей тоске была своя услада — единственным жестом, единственным словом он в силах разрушить то, что может стать смыслом его жизни.

Он открывал для себя свободу. Почему именно Камилла? Почему не другая?

Он открывал для себя необходимость.

Наступит день, и он забудет, какой именно он сделал жест, хотя жест этот выражал лишь то смутное, что бродило в нем в ту минуту, а ведь найдутся люди, которые потребуют, чтобы этому случайному поступку он подчинил все разумные решения, какие он будет принимать впредь! И с него еще спросят за этот поступок, совершенный неведомо почему, а вернее, потому, что в нем в разных дозах и в весьма противоречивой смеси живут порывистость его отца и покорность его матери. Прочитанные в шестнадцать лет книжки решили за него, что ему суждена великая любовь! Должно быть, его просто привлекало это колдовское сочетание слов «великая любовь», хотя он еще не знал, что оно означает — любовь, которая длится до гроба, или безумную любовь на час, любовь счастливую или любовь несчастную.

Он коснулся руки Камиллы, потом ее локтя. И вот они уже шагают рядом, так ничего и не сказав друг другу, не к тому выходу, который ведет на пересадку, а к выходу из метро. Они идут, и рядом с ними идут пары, и тоже не произносят ни слова, потому что спать они лягут в одну постель. Они уже стали Симоном и Камиллой Борд. Она опирается на его руку спокойно, как жена.

Последний поезд метро ушел. Они медленно бредут по улице. Симон сказал:

— Я тебя люблю.

Она сказала:

— Я тебя люблю.

Когда через два часа его разбудил скрип тормозов грузовика и голоса людей, которые, заказав себе луковый суп, болтали, предвкушая пиршество, он спросил:

— Спишь? Который час? — Потом снова: — Я тебя люблю.

Она спала, уткнувшись лицом в его плечо. Впервые гостиничный номер был для них не просто случайным прибежищем, а жильем. Они могли бы даже здесь просто переночевать, а не только провести ночь любви. Симон забылся сном, но сон его был неглубок. Его несло куда-то на гребне настоящей, очень темной ночи среди ночи посветлее, прозрачнее, и вдруг грудь ему сжал тоскливый страх, против которого он даже не боролся. Он знал, почему и откуда пришел этот страх. Это был прежний, давний страх перед Временем... Это оно, само Время обручилось с ним, когда он взял Камиллу за руку на платформе станции метро «Шатле» и они молчаливо, медленным шагом направились к выходу. Тогда решился вопрос не о крошечном ломтике времени, а обо всем времени всей его жизни. Разве эта мысль не должна была наполнить его радостью? Эта мысль должна была наполнить его радостью, если верить тому, что говорят о великой любви. Но откуда же тогда эта мучительная тяжесть в груди? Это тяжесть Времени. Симону не хватало воздуха. Он взглянул на спящую Камиллу. «Не надо ее будить. Не надо ей ничего говорить. К чему? Теперь уж это мое дело». Он задыхался. «Неужели я боюсь? Чего я боюсь?» Когда они шли в гостиницу, оба обратили внимание на безобразных женщин, прогуливавшихся у Центрального рынка.

— Как, по-твоему,— спросила его Камилла,— они зарабатывают себе на жизнь?

— Конечно,— ответил он,— это чудовищно, но это так.

На память ему пришла поговорка, гласящая, что если женщине не удается отдаться, она всегда может продаться. Банальность этих слов завораживала его. И как нарочно, гостиница, давшая им приют, называлась «Три волхва». Почему «Три волхва»? Он прислушался к мерному дыханию Камиллы. «Когда-нибудь ты еще будешь с сожалением вспо-

минать те минуты, когда ты подымался с ней по лестнице гостиницы «Три волхва». Тогда она предстанет перед тобой как сама юность. Невозвратимая пора юности. Тебе будет пятьдесят лет. Ты пройдешь мимо и спросишь: «А где гостиница «Три волхва»? Не здесь?» — «О, сударь, ее уже давным-давно снесли. Разбили на ее месте садик. Чтоб побольше было свежего воздуха. Для ребятишек...» Для ребятишек, которые родятся через двадцать лет. Как длинна жизнь! Тридцать лет назад твоему отцу исполнилось в Париже двадцать лет. Он любит ездить по Марне на лодке. Он пел: «Сердце Нинон, милое сердечко!»

Из соседнего номера до Симона донеслись голоса. Он отодвинулся от Камиллы и прижал ухо к стене. Мужской голос произнес:

— Надо же иметь такое имечко — Серафина! Не каждый день встречается...

Женский голос ответил:

— Это меня в приюте монахини так окрестили.

Мужской голос:

— Могли бы получше найти.

Женщина ответила, что очень уважает монахинь:

— Они для меня знаешь сколько добра сделали!

Мужчина ответил, что монахини очень своему делу преданы. Он тоже их уважает. Не то чтобы он в церковь ходил, но человек он верующий, без веры ведь люди чисто звери. Она называла его «волчоночек». Должно быть, это были не случайные знакомые. Симон представил себе, что это торговец птицей с Центрального рынка. Сегодня для него праздничная ночь. Быть может, ради такой ночи он и торгует птицей. Симон услышал за перегородкой щелканье выключателя, потом стоны, которые показались ему какими-то странными и слишком уж затянувшимися. «Я ведь ничего не знаю о любви. Все это ужасно. И это называется «Три волхва»! «Три волхва»! И мы будем с сожалением вспоминать об этом. «Три волхва»... Он резко отодвинулся от стены. Через тоненькие занавески проник яркий белый свет. Он узнал характерный лязг поливочных машин, который был для него подлинным шумом Парижа, уже наполовину забытым после переезда в Сен-Реми. Потом с грохотом рухнула целая лавина ящиков и корзин. Тот запах, который он почуял на станции «Шатле», заполнил весь номер, став в этот предрассветный час острее, став запахом деревни, каким он, в сущности, и был. Те двое за стеной снова начали болтать. Кто эти люди, этот Париж, которого он так никогда и не узнает? Да и к чему! Он и без этого обойдется. Настанет день, когда и он будет объяснять своим ученикам строчку Аполлинера: «Он был еврей, и пахнул чесноком, не розой, ее он вывез из борделя, когда прощался навсегда с Формозой». А ученики только того и ждут, чтобы засыпать его своими идиотскими вопросами: «А вы, господин учитель, были в борделе?» А я им скажу: «Нет ни одной застольной песни, написанной пьяницей».

Его левая рука лежала на животе Камиллы. Лежала нежная и тяжелая, как лапа уснувшей кошки. «Я продолжу урок: «Многих людей я знал, недостойных своей судьбы, несчастной, как мертвые листья, глаза у них тлели, словно уголья, сердце ходило, как дверь на петлях».

Но с ним этого не будет. Сердце его замрет. Он сам удивился тому покою, который пришел на смену страху и тоске. Если бы только эта ночь могла быть первой в череде тысячи схожих ночей...

У него складывался образ, новый для него образ многих тысяч ночей, проведенных вот так, возле Камиллы. Он тут же начал в уме подсчитывать: «Скажем, примерно сорок лет... Десять лет — это будет три тысячи шестьсот пятьдесят ночей, четырежды ноль — ноль, четырежды пять — двадцать, два в уме... четырежды шесть — двадцать четыре и

два — это двадцать шесть, пишу шесть, два в уме, четырежды три — двенадцать и два — четырнадцать: четырнадцать тысяч шестьсот ночей, скажем, пятнадцать тысяч или чуть больше». И страх снова сжал его грудь. Он понял, что между этой ночью, которая кончалась сейчас, здесь, рядом с Камиллой, и их последней ночью — через сорок, через пятьдесят лет будет отныне лишь одно Время. Еще вчера вечером Время текло при Камилле слишком быстро и слишком замедляло ход вдали от нее, оно то рвалось вперед, как поток, то растекалось грязной лужей, но все-таки текло... Это было живое, не заданное заранее время. А сейчас...

Он наклонился над Камиллой и поцеловал ее полуоткрытые губы. Ему так хотелось сказать ей что-нибудь милое. Он шепнул:

— Ну, хорошо спалось тебе, котеночек?

Она сказала, что ей снился сон, только она не помнит какой. Он проснулся уже давно. А что он делал, лежа в темноте с открытыми глазами? Считал! Да, да, считал.

— Ты можешь представить себе пятнадцать тысяч ночей? Не боишься?

— Чего боюсь?

Она приподнялась на постели, натянув на плечи конец грубой гостиничной простыни, пригладила волосы. В потемках лицо ее казалось незнакомым.

— Не боишься, что... что это будет слишком долго?

— Зачем ты так говоришь? Я об этом не думаю. А если и думаю, то, наоборот, ничуть не боюсь. А ты боишься... боишься всех этих ночей со мной?

— Вовсе не тебя я боюсь,— нежно сказал он,— а боюсь себя. Каким я буду через десять тысяч ночей? Не знаю. Одно бесспорно: не таким, как сейчас. Так не бывает.

— Ты несчастлив?

— Да нет же, счастлив.

Он берет ее в объятия и прижимает к себе. Ему так хочется, чтобы она поняла, что в ней — и начало, и конец. Что, владея этим телом, он победит время и смерть.

Натянув одеяло на голову и лежа рядом с Камиллой в этом искусственном полумраке, он начал говорить, произносил какие-то ничего не значащие для посторонних слова, черпая их из тайного словаря влюбленных, который выработался у них за полгода. Чистота этих слов восхищала. Камилла, слыша их, всегда мечтала о прекрасных движениях рук, о кружевах, о бабочках, порхающих в солнечном луче. Теперь они лежали рядом, не шевелясь, как две фигуры каменного надгробия в фамильном склепе, где покоятся верные супруги.

— Что это с тобой было? — спросила она.

— Да ничего. Какое-то чувство страха. Чисто физическое. Просто от нехватки воздуха. Может, во сне. Иногда я даже кричу во сне. А главное, всегда один и тот же сон. Что-то меня душит. Самое избитое сновидение. Всем или почти всем оно снится.

— Я не замечала, чтобы ты кричал.

— И не могла заметить. Ведь это первая наша с тобой ночь. Еще заметишь. не беспокойся...

Она сказала, что любит его.

Он сказал:

— Люблю тебя.

Он попытался вложить в эти слова все, что знал и представлял себе о любви, все, что о ней навыдумывал с того дня, когда впервые услышал слово «любовь». Он повторял: «Люблю тебя, люблю», стараясь, чтобы эти слова вобрали в себя все воспоминания о Камилле, ее жесты, цвет ее платья, угол улицы, браслетку, которую он ей купил и которая

была его первым подарком женщине и единственным подарком Камилле.

— Знаешь,— наконец произнес он,— я считаю, что просто очень, очень хорошо, что как раз вчера мы решили... то, что мы решили. Позже мы будем говорить: это было в вечер «Потемкина»...

Она ответила не сразу, но потом сказала каким-то необычайно серьезным тоном, во всяком случае, ей хотелось, чтобы ее слова прозвучали торжественно:

— Если бы ты меня не удержал, у меня хватило бы духу уйти от тебя навсегда. Да, да. Я обязана тебе это сказать.

Он пробормотал что-то: попросил у нее прощения. Но теперь он был уже по ту сторону прежней жизни. Страх ушел. Симон видел, как он уходит — так уходит море, местами быстрее, местами медленнее, обнажая глубины невиданного цвета, а главное совсем не такие, какие ты ожидал увидеть. Но через минуту все уже блещет, все отмыто, все — сплошное солнце.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Ни о чем.

Это неправда, что он ни о чем не думает, но они еще слишком чужие друг другу, слишком мало было у них ночей и дней, чтобы он отважился показаться в ее глазах смешным и рассказать ей, о чем он думает, так как он все еще верит, что все великие чувства смешны.

Он думает, он грезит наяву, и эта постель, где они лежат, как и подобает лежать влюбленным — бок о бок, держась за руки,— ему чудится, ему грезится, что эта постель — корабль. Вот он, их «Потемкин». Вот форштевень, разрезающий морские волны. Вот она, начинается битва жизни. Он думает также, что сейчас уже поздно и пора им уходить.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
1939

УЧЕНИЕ

Вторая рота первого батальона нехотя шагала по ровной дороге, будто с умыслом медлила перед крутым подъемом, когда придется поднажать, напрячься, оттягивая ремень винтовки, от которого ноет плечо. Кто-то в первом ряду затянул:

— «Она любит смеяться, и пить она любит, и петь она любит, как мы».

— Стараются, фанатики! — заметил Прево нарочно погромче, чтобы слышали соседи.

— Это и есть красивая война,— бросил Симон,— истинно французская, дьявол ее подери!

Когда рядом шел Прево, у Симона становилось легче на душе. Присутствие Прево вносило светлый луч в тусклый колорит ротного существования. Несколько дней Симон все пытался вспомнить, где он видел уже это лицо, почти неузнаваемое под каской времен первой мировой войны. Оказалось, что это тот самый рыжий парень, который выступал на просмотре «Броненосца «Потемкина». Вспомнив «потемкинский» вечер, Симон с облегчением почувствовал, что теперь этот бретонский город и взвод, в нем пребывавший, перестали быть чем-то отвлеченным, неведомым. Прево одним махом восстановил связи с реальной жизнью, с тем, что было реальной жизнью Симона до того сентябрь-

ского утра 1939 года, когда снова пришлось надеть шинель небесно-голубого цвета, удивительно напоминавшую военную форму, которую таскал еще его отец в 1917 году, так что порою трудно было даже понять, кто ты, к какому поколению принадлежишь, для какой войны предназначен. «Конечно,— сказал он Прево,— я прекрасно помню вечер, когда показывали «Потемкина». У меня есть на то особые причины, а впрочем, даже если бы их и не было, трудно забыть день, когда ты впервые увидел «Потемкина». И все-таки, сказать по правде, если бы не твоя шевелюра, ни за что бы не вспомнил. Но ты остался у меня в памяти как рыжий тип, который нам показывал «Потемкина».

Прево четыре года проучился в одном из провинциальных университетов и жил на стипендию. Если бы не рыжие волосы, выделявшие его среди прочих, он был бы для Симона одним из многих солдат взвода, в которых — несмотря на неуклюжую шинель и историческую каску, увековеченную на десятках монументов жертвам мировой войны,— нельзя было не признать парижских студентов, каких он сотни раз видел где-нибудь на террасе кафе Латинского квартала или склоненными над курсовой работой за столом в Сорбонне.

Прево утверждал, что небесно-голубая шинель, которую на него напялил каптер, вряд ли руководствовавшийся при этом дружескими чувствами — поскольку большинство солдат взвода получили шинели желто-песочного цвета,— не была обыкновенной шинелью, хранившейся в нафталине со времен оккупации Рура... Нет, она наверняка принадлежала какому-то солдату, погибшему под Верденом. «Кровь они отмыли специальным составом, чтобы казенное добро зря не пропадало,— пояснил Прево.— Они люди оборотистые, все предусмотрели. Так что гляди на меня во все глаза: может, это барахло прямо с плеча «Неизвестного солдата»! Шинелька на мне, а обмотки там, под Триумфальной аркой. В общем, они его, беднягу, надули. Шинель припрятали, а бляху с номером выбросили...»

И в самом деле, во взводе, состоявшем из курсантов, обучавшихся в школе младшего командного состава, все были выряжены так, что по вечерам, когда они возвращались в казарму, окутанные пеленой ноябрьского тумана, какой-нибудь участник войны 1914—1918 годов вполне мог бы счесть себя жертвой галлюцинации и увидеть в них воскресших призраков «своей» войны. Галстуки, аккуратно смазанные грубые башмаки, винтовки Лебеля, каски — все говорило о том, что история повторяется вплоть до деталей.

— А песня неплохая! — вдруг вспомнил Прево. И тихо замурлыкал: — «Она любит смеяться, и пить она любит, и петь она любит, как мы».

— А все-таки это черт знает что,— сказал Симон.— Мой отец тоже, прежде чем его отправили на фронт, месяца четыре валандался в тылу с такой вот пушкой и с котелком... Это въедается, как дурная привычка. Входит в жизнь...

— Благородная военная традиция,— усмехнулся Прево.— Может, и дедушка тоже?

— Представь, ты угадал! Дед мой попал в плен под Седаном. Заслужил медаль участника сухопутных и морских кампаний — она у нас висела в рамке.

— Одна война проиграна, другая выиграна, а теперь будет самая-рассамая... Она так и называется: красивая война!

Песня заглушала их голоса, залихватские слова ее, вившиеся над бесцветной, как туман, колонной, растянувшейся вдоль дороги, вызывали к жизни призрак войны, сотканной из кружев, любви, молодечества и хмельного вина. Симон на минуту остановился и стал возиться с обмотками, стараясь стянуть их потуже. Сзади уже кричали:

— Эй там, впереди! Давай двигайся! Какого черта на него глядеть! Топчи!

— Послушай, Симон, устроимся где-нибудь в сторонке. Надо поговорить,— сказал Прево, понижая голос.

Колонна начала подъем, направляясь к пустынному плато. Там, на плато, в терновнике, они вырыли за последнюю неделю несколько рядов траншей, подземных ходов, окопчиков для ручных пулеметов. Свежевскопанная земля, туман, дымок от холостых патронов — все это создавало пейзаж, не отличимый от картинок. которые можно увидеть на пожелтевших страницах «Мируар» или «Иллюстрасьон».

«Фанатики», шедшие во главе колонны, в упоении орали:

— Взбирайся, лодырь, не спи, не такая уж она высокая, горка-то!

Младший лейтенант, шагавший справа от взвода с сигаретой, являл собою олимпийское безразличие. Вид его вызывал противоречивые чувства: с одной стороны, конечно, многие хотели бы шагать вот так, без мешка, без винтовки, быть свободными, как ветер; а с другой стороны, он-то уж наверняка может быть брошен в весеннее наступление. Симон тяжело переставлял ноги. Как глупо таскать этот котелок, который никогда ему не пригодится, но над которым он трудится каждое утро с пяти до пяти тридцати, надраивая его до блеска, как больно бьет по спине тяжелый вещевой мешок! Он сильно вспотел.

— Ну и свинство. А? — сказал он.

— Что свинство? — спросил Прево.

— Это дурацкое снаряжение...

— Быть может, оно не так уж и плохо,— заметил Прево.— Если в один прекрасный день придется в самом деле пробираться ползком... Сам знаешь, чем кончают солдаты, которых ничто не обременяет...

— И то верно.

Симон вспомнил военную часть, прибывшую из Англии и стоявшую лагерем неподалеку от этого плато,— по словам англичан, они направлялись в Ле-Мане. Ото всех несло лавандой и трубочным табаком. С иголочки, буквально с иголочки! Безукоризненные складки на брюках. Ну, а война? Если война начнется по-настоящему? На войне ведь надо воевать, пока еще другого способа не изобрели. И война протекает так, как описано у Барбюса, а не иначе. Придется привыкнуть и шагать по трупам, упираться в них прикладом. Симон никогда не видел трупов, если не считать покойника-деда, лежавшего на смертном одре в Бейсаке, с лицом, накрытым кисеей. Это было летом. А вот труп юноши, которого убили рядом с тобой?! Кровь?! Что ты тогда скажешь?..

Ужаснее всего было то, что свои представления о войне, которую им предстояло вести и в которой они, вероятно, погибнут, если потери среди младшего командного состава пехоты останутся на уровне 1914—1918 годов, иными словами, если вернется только один из четверых, эти представления они могли черпать лишь из устных и письменных свидетельств того самого поколения, которое они так плохо знали и не слишком уважали. Они готовили себя к тому, что придется сидеть в траншеях, ползти по подземным ходам, привыкать к крысам, проволочным заграждениям, к грязи. Но они не знали Парижа девятисотых годов. Они не слышали Жореса, выступавшего на Пре-Сен-Жерве. А их убеждали, что война будет такой же, какую вели их отцы двадцать лет назад. Такой же, как и та, против которой Морне протестовал, не вылезая из домашних туфель.

— А нам в этом анахронизме подыхать! — заявил Симон Прево в тот вечер, когда им удалось устроиться на соседних койках.

Но все это были слова, действительность выглядела куда сложнее.

— Мы ведь совсем еще не знаем, что будет представлять собой эта

война, не знаем ни с технической, ни с политической точки зрения,— сказал Прево.— История, она не повторяется...

А много ли здесь было таких, кого волновали подобные вопросы? Прево утверждал, что он достаточно ясно представляет себе состояние умов своих товарищей по взводу. Он считал, что ими владеет тревога, что они сомневаются в справедливости этой войны.

— Но если они и сомневаются,— заметил Симон,— то не из благородных побуждений. Эти сомнения на руку реакции. Они не против войны, их просто не устраивает война против фашизма.

По правде говоря, он не был уверен даже и в этом. Никто не говорил о войне. Существовал как бы молчаливый уговор избегать в разговорах всего, что могло выявить политические убеждения. Ноябрьский туман пропитал собою все. Город стоял холодный, отрезанный, словно каменным занавесом, от мира. В пять часов пополудни взвод разбредался по мертвым улицам. Рассаживались за мраморными столиками и заказывали по стаканчику перно. Так сидели час, два часа среди привычных ароматов анисовой и табака и привычного стука биллиардных шаров. Резкий переход от влажной измороси плато к теплу алкоголя ввергал их в какое-то оцепенение. Говорили мало. Некоторым удалось познакомиться с местными девушками — продавщицами, машинистками. Рассказы на эту тему сопровождались смехом, наивной фанаберией. Менее удачливые не умели скрыть зависти. Мечтали об алькове, о любви. Для многих, кому уже исполнилось двадцать пять и кто до сих пор пользовался отсрочкой военной службы, любовь была связана с определенным именем, с воспоминаниями. Лишь немногие, в том числе Симон Борд, успели обзавестись семьей. Супружество выделяло их в особую категорию — они ближе всего подходили к образу солдата, который утвердился в газетах: ведь газеты любили толковать об отцах семейства и о традиционно волнующих сценах, происходящих в момент отбытия солдат на Восточном вокзале. Женатые не пели с тем же увлечением, как все прочие: «Она любит смеяться, и пить она любит...»

Семейная жизнь состарила их. Не для них было это наигранно-непринужденное отношение к войне, эта бравада. В одну из суббот к Симону приехала Камилла. Ему казалось, что с этой ночи у них началась иная любовь. До сих пор он любил ее в мирном мире, впереди, казалось, были тысячи ночей, которые он насчитал тогда ночью, в гостинице «Три волхва», после показа «Потемкина». А в ту субботу он обнимал ее с какой-то безнадежностью, словно прощался с нею навсегда. Сидя в комнатке провинциальной гостиницы, пропахшей кретоном и воском, он старался представить себе то мгновение, когда он расстанется с ней — и быть может, навсегда — на каком-нибудь вокзальном перроне. Нет! Не все могли петь с одинаковым увлечением: «Она любит смеяться, и пить она любит...»

Воспоминание об этой ночи, исполненной нежности, раздирало Симону сердце. Эта ночь затмила все остальные — даже ту, которую они с Камиллой привыкли называть «ночью после просмотра «Потемкина», и та начала казаться ему совсем далекой. Раза два он поймал себя на мысли: «Это было в те времена, когда я еще не существовал».

Рота сделала остановку на плато среди терновника, к которому цеплялись проплывавшие над самой землей клочья тумана.

— Давай постараемся занять вместе окопчик для ручного пулемета,— сказал Прево.

Ручной пулемет — это говорилось больше для красного словца, зато вполне реальными были лопата и окопчик, который полагалось вырыть по всем правилам. Прево вызвался первым, и никто не стал оспаривать у него этой чести. Разбившись на группы, спрятав руки под полы шинели, все слушали объяснения капитана. Это был маленький круг-

лый человечек в ополченческой шинели, на которой красовались орден Почетного легиона и Военный крест, если только могут красоваться выцветшие и покрытые пятнами знаки отличия. Симон не мог отвести от них глаз. Двадцать лет назад человечек в пенсне, подрагивавшем на носу, с глазами, слезившимися на утреннем холодке, был молодым учителем, фронтовиком, шел на приступ Шмен-де-Дам, размахивал пистолетом. Социалист? Очень может быть! С тех пор ему, должно быть, не раз случалось читать дрожащим голосом слушателям подготовительных курсов: «Счастливы те, кто сложил голову в справедливой войне; все благо: созревание колосьев и жатва спелых хлебов». А впрочем, он вправе говорить о войне все, что ему вздумается. Это право давали две ленточки на его егерском френче. Нет, прямо-таки удивительно, до чего он не похож на классическую фигуру воина! Заикаясь, путаясь в словах, он излагал им очередное задание и, прежде чем коснуться указкой полевой карты, долго вглядывался в записи, сделанные на клочке бумаги, который он подносил к глазам, чтобы незаметно смахнуть слезу с покрасневшей, угреватой щеки. Вторая рота займет высоту 117, обороняемую хорошо окопавшимся противником. Наступлению будет предшествовать артиллерийская подготовка, оно будет поддержано авиацией и танками.

— А почему не эскадрой? — вполголоса спросил Симон.

— Не умничайте слишком, Борд! — крикнул младший лейтенант.

Зато отнюдь не были плодом фантазии ни окопы, ни эти люди, ни та ферма, где инструкторов уже ждала еда, приготовленная заранее посланными сюда людьми. Каждому было выдано по три холостых патрона.

— В упор этим можно убить,— сказал младший лейтенант,— поэтому валять дурака не советую... Перекур!

Все не спеша разошлись по своим окопчикам, держа ружье на ремне. Туман еще усиливал сходство этих неясных силуэтов со взводом, пришедшим на смену отвоевавшей части в ту войну 1914—1918 годов.

— Только бород не хватает,— сказал Симон.

— Тебя положительно преследует образ солдата четырнадцатого года. А я тебе опять скажу, что история не повторяется. Разве что как фарс. Сейчас разыгрывается фарс, но когда дело дойдет до серьезного, все будет происходить совсем не так, как мы воображаем, совсем не так, как мы читали в книгах...

— А ты в самом деле думаешь, что дело дойдет до серьезного?.. Ну, скажем, весной?

— Весной или позже. На Западе или на Востоке.

— Ты думаешь, на Востоке?

Прево, который шел впереди, пожал плечами и бросил окурок в заросли терновника...

— Надеюсь, что нет. Но в конце-то концов, не думаешь же ты, что Гитлер стал другом Советского Союза?

— Однако пакт-то ведь существует,— сказал Симон.

Он не признался Прево, что в иные дни ему хотелось, чтобы пакт был расторгнут,— так было бы проще, и снова был бы восстановлен тот образ мира, который создал себе Симон, когда складывались его убеждения.

— Насчет пакта мы еще поговорим, если тебя это интересует,— сказал Прево.— Я во всяком случае не прочь поговорить об этом. Никаких тут особых загадок нет.

Они были одни, среди безлюдных ланд. Лишь вдали, на гребне холма, который полагалось взять «противнику», смутно виднелась приземистая фигура капитана, направлявшегося в сопровождении лейтенанта к расположенной в низине ферме.

— Эти времени не теряют,— заметил Прево.— Уже решили перекусить! Ну и армия...

— А ты хочешь, чтобы они все это принимали всерьез?

— А почему бы и нет?— не без задора сказал Прево.— Тебе прекрасно известны мои взгляды на этот счет... я имею в виду — на счет войны. Но это кривляние мне противно. Ну, хватит. Давай копать.

— Ты представляешь себе план?

— Какой план?

— Размеры окопчика?.. Положенные размеры?

— На кой дьявол они тебе нужны? Главное, чтобы твой пулемет был как следует замаскирован и мог вести огонь. При условии, конечно, что у тебя есть пулемет...

— А я все же считаю, что нужно держаться размеров, указанных в учебнике,— заметил несколько смущенно Симон.— Тебя трудно понять: упрекаешь людей за то, что они недостаточно серьезно все это воспринимают, а сам...

Дело в том, что Симон с первого дня пребывания во взводе твердо решил скрупулезно выполнять все правила и инструкции. Военные операции, описанные в учебнике, мало-помалу превратились для него в некие магические формулы, которые могут утратить всю свою силу, если отступить от правил хотя бы на один вершок. Конечно, он не раз думал о том, что в настоящем бою, вероятно, вряд ли придут на ум параграфы устава, но здесь, в этом условном мирке, где ручной пулемет изображала обыкновенная винтовка, а вместо танка стоял солдат, Симон не мог без дрожи думать о малейшем нарушении правил игры. Сколько раз он, бывало, застывал на месте и, несмотря на все насмешки и хихиканья лейтенанта, не мог вспомнить, как надо отдать команду: то ли «Стрелки, вперед! Стройся!», то ли «Стрелки, стройся! Вперед!» Хотя в бою он, наверно, крикнул бы то, что кричат в тех случаях, когда солдат надо бросить вперед. Некоторые технические моменты, как, например, точное согласование бросков пехоты с ритмом стрельбы приданной ей артиллерии, восхищали его, и временами он испытывал в душе преклонение перед офицерским ремеслом. Он не только пришел к убеждению, что существует особая наука пехотного боя, но радовался своему открытию, как будто оно могло оградить его от грозных случайностей войны. Не потому ли он так держался за букву уставных положений, что подсознательно ему хотелось превратить поле боя в шахматную доску! Тогда будет не так страшно. Симон старался убедить себя, что со временем обязанности кадрового офицера и заботы о точном выполнении инструкций вытеснят из его души все прочие чувства, в том числе и чувство страха.

— Ты не понимаешь,— наставительным тоном продолжал Прево (тон этот никак не соответствовал сегодняшнему разговору и напоминал скорее тон докладчика на вечере, посвященном «Потемкину»),— ты не понимаешь вот чего: именно потому, что я принимаю наше учение всерьез, я и плюю на уставные предписания. Важно научиться рыть яму. Вот это важно. Это понадобится когда-нибудь... И не ради выполнения уставов или завоевания благосклонности нашего лейтенанта...

— Ты уж прямо скажи, что считаешь меня солдафоном и фанатиком. А ведь сам ты, если хочешь знать, просто любишь все это...

— То есть что я люблю?

— Войну,— ответил Симон, заранее предвкушая эффект, который произведут его слова.— В сущности, ты любишь войну. Война тебя интересует...

— Я не люблю войну! — ответил Прево с какой-то даже торжественностью в голосе.— Но если надо будет воевать, лучше уж научиться заранее.

Они легли на мягкую землю, чуть отдававшую гниловатым запахом предзимья, и принялись рыть свой окопчик.

— А почему, в сущности, нельзя рыть, стоя на коленях? — спросил Симон.— Тебе не кажется, что это уж слишком... ползать вот так на брюхе!

— Нет,— сказал Прево,— одно из двух: либо мы плюем на их науку и вообще не собираемся ничего копать, либо если уж копаем, так пусть это будет предельно приближено к условиям войны. Значит, надо копать на брюхе! Еще неизвестно: может быть, наша сегодняшняя возня когда-нибудь спасет нам жизнь.

— Словом, мы с тобой идеальные солдаты,— заметил Симон.

Оба вспотели. Воротник шинели то и дело упирался сзади в каску, и она соскальзывала на глаза. Глупее трудно придумать!

— Хорошо еще, что существует на свете запах земли.

— Что? — переспросил Прево.

— Тебе этого не понять,— сказал Симон.— Земля... Ты ведь городской...

— А ты будто нет?

— И да, и нет. Я из пригорода. Я вырос в пригородном саду, и здесь тоже пахнет пригородным садом, взрыхленной землей, когда осенью сжигают опавшие листья.— Он рассмеялся.— Это я так, мечтаю в отличие от тебя... Ты не мечтатель. Ты не для этого создан.

Прево приподнялся с земли и, опершись обеими руками о лопату, посасывал сырую, чуть тлевшую солдатскую сигарету. Вдруг он отодвинулся и, не отпуская лопаты, подпер щеку правой рукой. Сползшая набок каска приоткрыла рыжую шевелюру.

— Ошибáешься,— сказал он.— Ошибаешься, и я даже могу сказать тебе, откуда твоя ошибка: ты полагаешь, что коммунисты не могут мечтать. Признайся, что именно так ты думаешь! — И после минутного колебания он вновь заговорил своим обычным тоном, каким, наверно, говорил, выступая с трибуны, когда хотел убедить слушателей и что-то им разъяснить.— Я хочу,— сказал Прево,— чтобы ты мне ответил на один вопрос, если, конечно, хочешь ответить... Почему ты, так близко стоящий к партии человек, до сих пор не вступил в партию? Случая, что ли, не было?

— Ах вот оно что! — промолвил Симон.— Я, кстати сказать, вовсе не считаю твой вопрос щекотливым, но... все это так сложно...

— Вполне представляю себе. Конечно, сложно. Да и не может быть просто для такого человека, как ты.

— Тебе кажется, что я не способен смотреть на вещи просто?

— Нет, я вовсе не это думал. Говоря «такой человек, как ты», я лишь имел в виду, что ты, как и я, мы оба интеллигенты. А для интеллигента вопрос стоит иначе, чем для рабочего. Рабочего побуждают к вступлению в партию классовые соображения, а для нас это... я не очень люблю подобные термины, и все же это означает... переменить веру. Вот почему я могу понять, что это непросто. Я не упрекаю тебя за твои колебания. Лучше это, чем парадная решимость тех интеллигентов, которые вступают в партию, что называется, одним махом, а затем при первой же трудности улепетывают... Но ведь ты — другое дело!.. Ты был очень близок к нам... Еще когда мы показывали «Потемкина»...

— А я и теперь не отошел,— сказал Симон.— Но... как-никак...

— Ты имеешь в виду пакт? — спросил Прево.

Он слегка передернул плечами с видом человека, который все понял и уверен, что сделал правильный вывод...

— Нет,— поспешил ответить Симон,— отнюдь! Конечно, в первую минуту это был для меня удар. Но только в первую минуту. Заметь, что ваши газеты в те дни были закрыты и мне не с кем было даже словом

перемолвиться. И тем не менее я был способен понять политические причины этого шага, хотя, конечно, предпочел бы, чтобы события развивались иначе... Все-таки легче, когда нет разлада между головой и сердцем.

Он взял комок рыхлой земли и стал растирать его пальцами.

— В общем,— сказал Симон неуверенным голосом,— ты полагаешь, что это действительно было необходимо?

— Неизбежно,— сказал Прево.— Это единственное, что можно было сделать, чтобы выиграть время.

— Значит, ты считаешь, что этим было только выиграно время?

— А по-твоему как? Неужели ты всерьез можешь думать, что Гитлер станет до бесконечности мириться с существованием СССР?

— Нет, само собой, нет.

Сказав это, Симон в который раз почувствовал, как страстно он хочет, чтобы наконец наступил момент, когда все станет на свои места: с одной стороны — красное знамя, с другой — гитлеровский флаг, с одной стороны — благо, с другой — зло. Так он думал, хотя одновременно пытался убедить себя, что не бывает совершенно ясных исторических ситуаций, так как под этой ясностью может скрываться величайшая путаница.

— Конечно, нет,— повторил Симон.— Но вот поди же... Всегда хочется, чтобы все было просто, кристально ясно... Понимаешь?.. Как на «Потемкине»! Когда существует только «да» или «нет». Когда с одной стороны — благо, а с другой — зло...

— Но,— сказал Прево, пощелкивая затвором винтовки,— на «Потемкине» тоже не так уж все было просто. Если же ты пришел к иному убеждению, то виноват я... Я, значит, тогда намудрил в своей речи... Как раз на «Потемкине» ситуация была чрезвычайно сложная. Восстание ведь было плохо подготовлено, особенно в Одессе, и город не поддержал по-настоящему восставших... Что тут смешного?

— Да я не над тем смеюсь,— сказал Симон.— Я просто вспомнил то время и себя, каким я тогда был. Свои взгляды.— Голос его дрогнул: в нем послышалась печаль.— Во мне было чертовски много романтики, даже романтизма, если хочешь. Будущее представлялось мне в виде огромного «Потемкина». Вот как!

— Возможно, ты не так уж и ошибался. Посмотри, как далеко зашло дело...

— Это — игра.

— Сегодня, быть может, игра, но через два или три месяца...

Прево взял на мушку невидимого и предполагаемого врага, который готовился противостоять атаке на его опорный пункт — высоту 117.

— А ты все-таки не ответил на мой вопрос...

— Насчет того... почему я не вступил?

— Да. Только не заставляй себя говорить. Можно ведь потолковать об этом и в другой раз...

Симон сделал жест, который как раз и означал: «не сейчас».

— Я уже сказал тебе... Это очень сложно. В двух словах не объяснишь. Во всяком случае, могу еще раз повторить, что сегодня я не дальше от вас, чем был раньше. Нет. Быть может, даже ближе. Хотя бы потому, что вас преследуют.

Он заметил на стволе винтовки маленькое ржавое пятнышко и стал выцарапывать его ногтем, удивляясь про себя, как он мог допустить такой непорядок.

Туман рассеялся, и осенний день сразу стал чудесным, сулящим первые радости охотнику. Голоса людей, скрытых в зарослях терновника, в складках местности, доносились сюда, как мирное журчание ручей-

ка. «Противник», несмотря на искусную маскировку и все хитрости, выдавал свое присутствие голубыми дымками сигарет. Стая ворон с карканьем пронеслась над полем битвы. Им-то пути не были заказаны! Прево поправил каску на своих рыжих волосах, отложил в сторону винтовку, взял сигарету, затем протянул Симону пачку.

— Прости...

Он тихо кашлянул, почувствовав раздраженной глоткой едкий вкус табака.

— ...а если бы ты вступил, ты бы... ты бы остался сейчай? И сейчас бы остался?

— Вне всякого сомнения. Я скажу тебу одну вещь, которая может показаться нелепой — да, наверно, это и в самом деле нелепо, но если бы даже я был несогласен, я все равно остался бы... Это вопрос чести. Слово это может показаться тебе слишком пышным. Но это верное слово. Пусть даже это мораль клана, но я не мог бы уйти в такой момент.

Прево недовольно скривил лицо.

— Ничего нелепого в этом не вижу. И не понимаю, почему ты называешь это «моралью клана». Слишком уж все вы боитесь высоких чувств! — Он немного помедлил.— При всем том лучше, конечно, было бы руководствоваться другими мотивами. Мотивами политическими...

Симону показалось, что Прево снова взял наставительный тон.

— С моей точки зрения, политических мотивов достаточно, но я понимаю, что это дается трудно. Пакт будет понят позднее. Все лето шла невообразимая политическая игра. Русские видели, что французское правительство не желает настоящего военного союза, и поняли, что могут остаться один на один с Гитлером и что Гитлер тогда нападет на них. Нужно было выиграть время, чтобы подготовиться...

— Но ведь идет война,— сказал Симон.— И ты не в состоянии помешать жителям Франции думать, что война разразилась именно из-за этого. То есть... из-за нас.

— Возможно. Но что поделаешь? Они поймут позже.

— Так или иначе, но есть еще один вопрос: война, та война, которую мы ведем... нужно ли действительно вести ее? Стоит ли отдавать свою жизнь в этой войне?

Прево поднял брови.

— Сегодня это абстрактный вопрос.

— Пусть так,— сказал Симон,— но через два месяца...

Пришел приказ сделать бросок на тридцать метров вперед. Во исполнение приказа Борд и Прево переместились в кювет, откуда вести огонь из их воображаемого пулемета было бы просто невозможно. Перебегали они по всем правилам, то есть согнувшись в три погибели. Первая рота, располагавшая настоящим пулеметом, дала залп, сразу создав иллюзию боя. Трудно понять, как это солдаты могут пробежать тридцать метров под огнем, бросаясь буквально навстречу смерти. Не впервые Симону хотелось разгадать эту гайну. Справа от него какие-то парни, стремясь воссоздать обстановку реального боя, примкнули к винтовкам штыки. Их учили этому, готовя к атаке, но колоть не учили. Странная стыдливость! «В четырнадцатом году,— рассказывал отец Симона,— нас учили штыковому бою. Учили ставить ногу на тело проколотого штыком врага и выдергивать штык». Симон не удосужился спросить отца, приходилось ли ему самому применять маневр.

У края кювета возникла фигура младшего лейтенанта.

— Господин лейтенант,— сказал Симон,— отсюда нельзя стрелять.

— Послушайте, Борд,— сказал младший лейтенант,— сколько раз я вам уже говорил, чтобы вы не умничали.

— Хорошо, господин лейтенант. Но по какой цели мы будем вести огонь?

— По самолету,— сказал младший лейтенант не без издевки в голосе.

И, пыхнув сигаретой, ушел.

Кювет был сырой и холодный.

— Летом,— заметил Симон,— здесь должны водиться лягушки.

Он вспомнил, как мальчишкой ловил лягушек в Бейсаке. Со всего размаха безжалостно швырял свою добычу о камень, а потом распарывал брюшко кухонным ножом. «Сейчас,— подумал Симон,— я вряд ли стал бы так делать»... А ведь его учат воевать!

Они поудобнее устроились в кювете, упершись подошвами в рыхлую землю. В этом облачении, уцелевшем от той, уже давней, войны, в касках набекрень, в шинели с подоткнутыми полами, держа винтовки на сгибе руки, с сигаретами в зубах, плохо выбритые, под серым пологом неба, с которого сползал, застилая горизонт, туман, они вновь стали на несколько мгновений похожи на своих отцов.

— Одним словом, «Верден или призраки прошлого»,— заметил Симон.

— Напрасно ты шутишь,— сказал Прево.— Веселого мало. Посмотрим, что ты скажешь весной...

— Так ты в самом деле считаешь?

— Да.

— А я временами вовсе не думаю,— сказал Симон.— В сущности, я и думал-то об этом всерьез всего несколько недель: в конце августа и в начале сентября.

— И о чем же ты думал?

— О том, о чем обычно думают в таких случаях.— Он бросил сигарету и спрятал руки под полы шинели.— Впрочем, это были не очень ясные мысли. Скорее страхи. Так бывает, когда годами ждешь, что на тебя обрушится беда, ждешь и все-таки не веришь. Вдруг беда приходит, она уже тут, и ты все твердишь, что этого быть не может. У нас был учитель — историк, мрачный старикашка, так он нам говорил: «После войны лет двадцать чувствуешь отвращение, а потом все начинается сначала». Когда вспыхнула война, я подумал, что старикашка ошибся всего лишь на год. Я был просто потрясен тем, как по-идиотски устроен мир... Я смотрел на свою жену, и слова «вдова солдата» приобретали страшный смысл. Представляешь себе?.. Вдова солдата... А я-то мечтал, что моя жизнь — мой корабль будет плыть и плыть вечность... Сейчас я уже не помню, как мы прожили эти четыре года — с тридцать пятого по тридцать девятый. Что это было за время...

— У тебя слишком буйное воображение, и ты любишь давать ему волю...— сказал Прево.— Ты остался таким, какими все мы были четыре или пять лет назад...

— А кто в ответе? Ты. Твое великолепное красноречие. Ведь корабль, на котором я пустился в плавание, это «Потемкин».— Он рассмеялся коротким смешком, в котором прозвучала легкая грусть.— А теперь я плыву на корабле-призраке. И все так нереально.

Прево аккуратно заткнул дуло винтовки промасленной пробкой, чтобы в ствол не попала земля. Ружейная трескотня приближалась.

— Мы окружены,— сказал Симон.— Я не сдамся. Пусть только попробуют!

— Ты получишь крест,— сказал Прево.

— Деревянный?..

— Легче на поворотах! — сказал Прево.— Берегись пацифистской демагогии!.. Ты был пацифистом?

— Я был как все. То есть как почти все в моем кругу. Мы читали Барбюса...

— Но Барбюс не был пацифистом,— возразил Прево.

— Барбюс — нет, а его «Огонь» — пацифистская книга,— парировал Симон.— Во всяком случае, именно так я ее воспринимал... И сейчас еще война для меня — это война, как она выглядит в «Огне». Одним словом, идиотская война, и все.

Прево осторожно придержал винтовку левой рукой.

— Я все-таки вернусь к началу нашего разговора. Так вот: в тридцать шестом или тридцать седьмом ты не ставил перед собой вопроса о вступлении в партию? В те годы движение ширилось... дул попутный ветер.— Он помолчал и уже совсем другим тоном, почти застенчиво, как бы осознав нескромность своего вопроса и боясь, что испортит дело, добавил: — Заметь, пожалуйста, я тебя не агитирую. Нет, мне это важно с точки зрения... да, если хочешь, с социологической точки зрения... Ты ведь... ты мне говорил, что к тому времени уже побывал в Советском Союзе? Так?

— Да,— сказал Симон.— Но это другой вопрос. Мне попутный ветер не требуется. Более того: я не люблю попутного ветра.

— Романтическое смакование трудностей — занятие бесполезное,— продолжал Прево.— Есть люди, которые пошли за нами в тридцать шестом году, когда это было легко, и которые в том же году или в будущем стали героями. Самое важное не то, каким был человек, а то, что из него получилось.

Прево снял с головы каску верденского ветерана и принялся раскачивать ее, держа за ремешок на кончике указательного пальца. Симону вдруг представился скромный садик на парижской окраине и веранда, где на цепочке рядком висят такие вот верденские каски с гортензиями: их используют вместо цветочных горшков.

КАК ПРИОБЩАЮТСЯ К НОВОМУ

— Мне трудно отдать себе отчет во всем, что произошло за последние годы,— сказал он не совсем уверенным голосом.— «Время идет, время покажет!» — думал я. Конечно, путешествие в Россию... было важным для меня событием. Но в каком смысле? Я еще и сам не знаю... Было... столько всего... Противоречивость впечатлений... Наконец, моя неподготовленность... недостаточная подготовленность.

— А...— сказал Прево.

— Я отправился туда... на «Потемкине»! Понимаешь, что я хочу сказать?

— Нет.

Прево на мгновение перестал играть каской и повторил:

— Нет! — Но тут же добавил: — Впрочем, кажется, понимаю... Ты увидел нечто такое, что оказалось сложнее твоих выкладок?

— Я отправился туда, полный самых фантастических представлений обо всем. Более чем фантастических. Россия виделась мне в смешении причудливых образов: романтика «Потемкина», матросское «ура». Ты понимаешь, конечно? Форштевень броненосца, форштевень — как символ. Итак, романтическая страна и в то же время — Столица будущего. Моему воображению рисовался некий «электро-динамо-механический» мир, населенный архангелами... Теперь даже трудно восстановить в памяти этот образ, вернее, систему образов. То была мечта. Не знаю, как тебе и объяснить... Фаланстер, социалистическая Икария...

— Все через это прошли,— сказал Прево.

Он медленно покачивал головой с деликатностью врача, которому описывают банальнейшие, в сущности, симптомы, тогда как самому больному они кажутся необыкновенными.

— Не в такой степени,— возразил Симон.— Для меня Советская Россия была, по сути дела, неким абсолютом... Это... человек, освобож-

денный от всех человеческих слабостей... Даже не так... вернее: просто безгрешный человек...— Он помолчал, устремив взгляд куда-то вдаль... Человек, каким он был до грехопадения! Очевидно, в молодости у меня был просто культ абсолюта, от которого я еще не избавился. Невероятно, но — факт... Учти также, что я отправился в путешествие с молодой женой. Весенняя пора любви и, конечно, уверенность, что любовь эта — совершенна. Как видишь, я и от любви тоже ждал совершенства...

В сыром воздухе слегка запахло порохом.

— Чувствуешь, как пахнет порохом? — спросил Прево.— Говорят, от этого запаха опьянеть можно...

— О реальном мире я ровно ничего не знал. Не знал даже, что такое Время. Революции не исполнилось тогда и двадцати лет: а что такое двадцать лет для Истории?.. Да еще какие двадцать лет! Со времени гражданской войны прошло всего пятнадцать лет... Крошечный кусочек времени, однако им измерялась почти вся моя тогдашняя жизнь... А я считал, что этого вполне достаточно для перехода от средневековья к Столице будущего и для превращения людей в архангелов! Сейчас мне это кажется настолько глупым, что даже немного стыдно. Нет, ты представь себе... На границе в Негорелом поезд проходил под аркой. Она была украшена красными флажками и надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я выглянул в окошко вагона... Стояло лето...

Паровоз оглушал своим пыхтением опушку леса. Кажется, это был березовый лесок? А может быть, березовым он стал лишь в воспоминаниях Симона. Трудно сказать. Симон держал в своей руке руку Камиллы. В жарком воздухе того далекого летнего вечера пронзительно заскрежетала сталь тормозов. Солдаты в фуражках играли в мяч. Арка, под которой они проехали, выглядела не очень парадно и напоминала легкое ажурное сооружение, возведенное для народного празднества. Ничего торжественного, ничего загадочного, и все-таки с этим мгновением, с этим дыханием паровоза, остановившегося летом среди деревенских просторов, не сравнится ничто. Наступила ночь. Симон и Камилла пристально вглядывались в потемневшую кромку леса, стараясь определить по желтому пунктиру редких огоньков, где начинаются русские деревни. Симон узнал свет керосиновой лампы, такой же, как в окошках знакомых хижин на бейсакском плато. Сердце его сжалось. Он ничего не сказал. Может быть, это просто зернохранилища, стоящие поодаль друг от друга? Он не выпускал руку Камиллы, лежавшей на верхней полке. Поезд шел, мирно укачивая пассажиров, как обычный поезд, в котором люди едут в дальние края на отдых. Поскрипывала деревянная обшивка вагона. В темноте непривычно позвякивали ложечки в стаканах. Звук этот шел из последнего купе, где пожилая женщина, закутавшись в платок, дремала у самовара.

— Я был как слепой. Мысли путались. Я сам себе испортил это путешествие в старом, еще до революции построенном русском вагоне, а все потому, что ожидал увидеть... сам не знаю что... Должно быть, поезд из стали, мчащийся со скоростью сто километров в час, среди ярко освещенных деревень двухтысячного года!

— Неужели ты предполагал, что все деревни электрифицированы?

— Ах, конечно, я знал. Но представлял себе все это иначе. Я же говорю... это необъяснимо. Тебя водили к первому причастию?

— Нет. А почему ты спрашиваешь?

— Значит, ты не можешь понять. Я был словно ребенок, который вообразил, что, как только ему положат на язык облатку первого причастия, произойдет нечто... нечто, скажем, воочию подтверждающее существование бога... И вдруг оказывается, что это только хлеб, причем довольно пресный. Чуда не произошло.

— Совершенно верно. Чудеса тут ни при чем. И если тебе открылось

это, следовательно, ты не потерял времени даром. Тебе открылось, что новое строится из того материала, которым располагаешь. А ты как считал?

— Тут вы немножко виноваты. Эта... эта пасторальная Россия, образ которой сложился у меня в мозгу, возник в какой-то мере по вашей вине. Разве нет? Если бы вы сказали: дело обстоит так-то и так-то, все достается очень нелегко, стране этой многое пришлось начинать на голом месте. В ее распоряжении не было даже полных пятнадцати лет, чтобы преодолеть отставание, измеряемое многими десятилетиями. Если бы вы так говорили, я бы понял.

— Но мы это говорили. Мы говорили, что Советский Союз гигантская стройка! Не мы, а ты сам выдумал этот идеализированный мир, этих архангелов, как ты изволишь выражаться. А что, по-твоему, мы должны были делать? Особо подчеркивать трудности, неудачи? — Прево повысил голос, будто разговаривал с враждебной аудиторией:— Нет уж, извини! Наши враги достаточно усердствуют в этом!

Автобус, на котором Симона и Камиллу везли с вокзала в гостиницу, был старый, его трясло, неумолчно позвякивали стекла. Ехавшая с ними переводчица была невысокого роста, ненакрашенная, в более чем скромном платье. Когда автобус вынырнул на Красную площадь, она продолжала стоять рядом с шофером и, не поднимая глаз, листала записную книжку. Все головы повернулись к мавзолею. «Вот,— подумал Симон.— Вот оно... Сердце мира. Средоточие всего значительного, что будет отныне происходить в веках». Он был счастлив, что Камилла находится рядом с ним в эту минуту его жизни, столь похожую на тот вечер после просмотра «Потемкина», когда они решили больше не расставаться.

«Какая красота!» — сказала Камилла.

Да, это было очень красиво, но Симон предпочел бы что-то более абстрактное, не принадлежащее никакому историческому прошлому, никакой определенной стране. Красота зубчатых стен Кремля и куполов Василия Блаженного восхитила Симона, но он пожалел, что красота эта столь типично русская. Русская действительность вторгалась в то, что до сих пор было для Симона,— когда он произносил слова «Красная площадь»,— чистой идеей, символом.

«Отсюда,— сказала переводчица,— вы видите нашу Москву-реку и строительство гранитных набережных».

Вдоль реки тянулись поросшие зеленью склоны, на лесах трудились строители — только возле подступов к мосту берега реки уже оделись камнем, и она приобрела городской вид. Пейзаж, тонувший в лучах благодатного августовского солнца, напомнил Симону своими далями, своей водной гладью фон на картинах с библейским сюжетом. Навстречу путешественникам попадались гремевшие на булыжных мостовых грузовики, прохожие в одних рубашках, без пиджаков, мальчишки с бритыми головами, белобородые старики, напоминавшие толстовских мужиков. Они проехали мост и оказались в предместье, где по неровно вымощенным улицам со звоном проносились трамваи, облепленные людьми, висевшими на подножках. Желтая краска домов местами облупилась. Кое-где в окна вместо стекол была вставлена фанера. Симон прекрасно понимал, что в любом другом пункте земного шара ему бы даже понравился этот провинциальный уголок, немного запущенный и так, в сущности, похожий — если забыть о специфически русском колорите — на площадь перед мэрией в старой, окраинной части какого-нибудь французского промышленного городка, но здесь ему хотелось, ему требовалось нечто другое...

— Мы еще к этому вопросу вернемся,— сказал Прево, понижая голос.— Заметь, я не утверждаю, что мы тут без греха. Мы не всегда

правильно все объясняем. Нам хочется проецировать будущее в настоящее. Словно нам необходимо... как бы это лучше выразить... продержаться до того момента, когда все, что мы говорим о Советском Союзе, станет действительно таким.— Он слегка пожал плечами.— А быть может, так и нужно... Может быть, иного способа и нет... И сколько еще лет это протянется, не знаю... Но может быть, и в самом деле нет иного способа поддержать в людях надежду...— Он в последний раз затянулся и далеко отбросил сигарету, как бы завершая разговор.— Во всяком случае, я не считаю, что твоя поездка дала отрицательные результаты. Ты станешь сильнее. Не думаю, что твоя поездка удержала тебя.

— Удержала?

— Да, удержала от вступления...

— Нет, не удержала, но отстронила. Потребовалось какое-то время, чтобы все встало на место. Реальный мир ведь посложнее, чем абстракция! И вот мало-помалу за последние годы Советская Россия стала для меня реальным миром, населенным живыми людьми... а раньше я, видимо, походил на человека, который невесть что вообразил о женщине, считал ее чуть ли не звездой экрана и вдруг обнаружил в ней изъяны... Тогда он начинает любить еще и эти ее изъяны. Теперь я живу воспоминаниями о вполне реальном мире. Иногда совсем пустяковыми... Запахи, краски, угол улицы... а не только, как прежде: идеи, знамя...

— А ты и впрямь романтик,— заметил Прево.

— Возможно,— согласился Симон.— Называй меня как хочешь, но так или иначе, мне это помогает.

Он вновь почувствовал легкий запах кожи и кислой капусты, смешанный с резким и сильным запахом бензина, который пахнет там не так, как во всей Западной Европе. И вдруг к этим запахам, существовавшим лишь в воспоминании, примешался запах сырой земли, по которой он машинально водил прикладом ружья, и запах пороха.

Он чуть было не сказал: «Есть вещи, которые не вырвешь из сердца»,— но счел эту фразу слишком напыщенной и промолчал.

— Я отправился в путь, готовясь увидеть некую Столицу будущего двадцать первого века, и вот... У меня остались в памяти разрозненные картины. Как сейчас вижу старика на одной из улиц неподалеку от Красной площади, он стерег свою курицу, привязанную веревочкой за ножку. Очевидно, это был, так сказать, его личный колхоз.

— Нельзя же из-за деревьев не видеть леса,— расхохотался Прево.— Нельзя, чтобы эта несчастная курица мешала тебе видеть колхозы!

— Вообрази, она ничуть мне не помешала. Наоборот, мне почему-то очень приятно вспоминать о ней, я лучше понял проблему снабжения городов.

— Ты молодец! — заметил Прево.

— Ну уж и молодец! Я боюсь показаться тебе чересчур напыщенным... Но когда моя Икария исчезла, я попробовал смотреть на все по-другому, глазами сердца. Я во всем видел надежду. С точки зрения политической, это не очень, а?

— Напрасно ты так думаешь.

— И это ты, Прево, мне говоришь?

— Странное у тебя о нас представление!

. . . . . .

Возвращались они той же длинной дорогой, по которой шли утром, но ночной мрак превратил ее в настоящую дорогу войны, где идет на передовые очередная смена, и завтра под настоящим, а не учебным огнем она станет крестным путем. Какая-то старушка в белом чепце посмотрела им вслед и перекрестилась.

— Давай закусим в городе,— предложил Прево.— Я приглашаю.

(Продолжение следует)

Поэт революционной Испании

МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Он мог бы сегодня, как его друзья, вместе с Фиделем Кастро приветствовать в Гаване народ революционной Кубы или, подобно испанскому поэту Маркосу Ана, почти 23 года проведшему в застенках у Франко, получить в Париже Золотую медаль Всемирного Совета Мира.

Но сегодня нет с нами поэта и коммуниста Мигеля Эрнандеса, как нет Федерико Гарсиа Лорки, как нет Антонио Мачадо и многих других, павших жертвами испанского фашизма.

Мигель был сыном бедного крестьянина, пастухом. Когда ему исполнилось 24 года, Испания признала его в числе лучших своих поэтов. В 25 лет он лежал в траншеях под Мадридом и стрелял из винтовки по фашистам. В 29, после поражения республиканской Испании, он осужден на смертную казнь и 7 месяцев провел в камере смертников.

Казнь была заменена тридцатью годами тюремного заключения. Это означало медленную гибель. Тюремные застенки и карцеры сломили здоровье поэта. Он в тюрьме умер 32 лет.

Написать он успел немного. Несколько поэтических сборников, четыре драмы, маленькие драматические сценки, две тоненькие книжечки стихотворений в прозе, несколько пламенных военных очерков и зарисовок. Но без того, что создано Эрнандесом, немыслимо представить испанскую поэзию XX века.

Пабло Неруда писал о нем:

«Однажды еще в довоенном Мадриде жарким, засушливым летом я в первый раз встретился с Мигелем Эрнандесом. Я тотчас понял, что ему суждено занять прочное и постоянное место в нашей большой поэзии...

В те жаркие мадридские дни он приходил ко мне каждый день, рассказывал о своем прошлом и о своих планах на будущее; я видел, как ярко горит в нем вечный огонь поэзии, которая то выражала самые интимные переживания, то вдруг выливалась целым потоком искрящихся звезд. Совсем недавно он пас коз в Ориуэле и приехал оттуда весь пропахший апельсиновым цветом, землей и навозом. Поэзия сочилась из него, как молоко из переполненных сосков... Песни соловьев Леванта, их трели, раздававшиеся в тишине ночи среди цветущих апельсиновых деревьев, неотступно преследовали его, беспрестанно звучали в ушах; они были частицей его крови, его души, сотканной из глины и звуков, его такой земной и такой необузданной поэзии, которая вобрала в себя все цвета, все запахи, все звуки испанского Леванта вместе с брызжущей силой и ароматом, свойственными здоровой и мужественной юности.

Его лицо было лицом Испании. Загорелое, иссеченное бороздками морщин, и круглое, как хлеб и земля. Его горящие глаза сияли на этом опаленном, огрубевшем от солнца и ветра лице, как два луча, в которых светились сила и нежность».

Уже в первом сборнике Эрнандеса «Знаток лунного света» чувствуется реалистическая основа, за поэтической условностью ощущается реальная деревня, слышится чистый голос поэта, с грустью говорящего о тяжелой доле испанского крестьянина. Лирика его проникновенна и поразительно

чиста. Ведь всю свою короткую жизнь Мигель и в стихах, и в жизни был поэтом одной любви, одного цельного чувства к своей невесте, а потом жене — Хосефине.

Муза его нередко настраивается на трагический лад. Слишком мрачна была действительность, окружавшая молодого поэта. Но уже и в ранних его стихах звучит тема, проходящая через все творчество,— тема борьбы света и мрака, тема жизни, торжествующей над смертью.

Освободительная война испанского народа вошла в жизнь Мигеля и превратила лирика в трибуна.

С первых дней этой войны он — боец на фронте в рядах легендарного 5-го коммунистического полка, затем комиссар, сотрудник фронтовых газет и радио.

Стихи военных лет собраны в сборниках «Ветер народа» и «Человек на страже». Эрнандес создает своеобразный поэтический эпос войны, новую форму народного героического романса.

В это же время он мечтает возродить народный театр, продолжающий традиции Лопе де Вега, пишет четыре пьески для фронтовых театров и четырехактную драму в стихах «Пастух смерти» — о боях на Гвадарраме и сражениях за Мадрид, о мужестве бойцов 5-го коммунистического полка.

Стихи, написанные в тюрьме, составляют в основном сборник «Кансьонеро и романсеро разлук». В этой книге есть и смерть, и одиночество, и горе. Она создана в то время, когда испанский народ переживал одну из самых трагических страниц своей истории. Но Эрнандес не сдался. Он проявляет большое мужество и твердость, поддерживает и ободряет упавших духом товарищей. Годы, проведенные в тюрьме,— это непрерывный, повседневный подвиг. До последних дней он не складывает оружия и не теряет надежды.

«Несмотря на решетки, свободно течет моя кровь»,— пишет он. На больничной тюремной койке в казематах Аликанте и Оканьи приходит к поэту поэтическая зрелость. Стих его приобретает философскую глубину, удивительную гибкость и почти скульптурную стройность.

Жизнь Эрнандеса оборвалась в 1942 году. Поэзия его жива.

Она — удивительный сплав классических поэтических форм, грубо реалистического крестьянского языка и неологизмов. Необычность его стихов, построенных на очень вещных, земных образах, объясняется отчасти постоянным движением этих образов, неожиданным столкновением понятий и ассоциаций.

«Сегодня в Испании почти невозможно найти книги, имеющей большее значение, чем произведения Мигеля Эрнандеса,— писал журнал «Нуэстрас идеас».— Вне всякого сомнения, произведения Мигеля Эрнандеса с каждым днем оказывают все большее влияние на современное литературное поколение нашей страны, с каждым днем становятся все популярнее».

Франкисты трепещут в страхе перед его славой; они запретили распространение в Испании полного собрания произведений Эрнандеса, выпущенного недавно в Аргентине.

В героической борьбе за свободу, которую ведет испанский народ, имя Мигеля Эрнандеса становится знаменем национальной демократической поэзии.

В этом номере журнала, кроме стихов Эрнандеса, публикуются главы из книги о нем, написанной молодым парагвайским поэтом Эльвио Ромеро, сегодня активно участвующим в строительстве новой жизни на Кубе.

Многое сближает этих поэтов. Как и Мигель Эрнандес, Эльвио Ромеро вышел из крестьян, юношей участвовал в революционной борьбе против диктаторского режима и стал коммунистом. Немало общего в поэтическом восприятии действительности и творческой манере Эрнандеса и Ромеро.

И поэтому не случайно обращение одного из крупнейших прогрессивных поэтов Латинской Америки Эльвио Ромеро к Мигелю Эрнандесу, который в совершенных лирических формах отразил пробуждение революционного сознания народных масс.

В. ЯСНЫЙ.

ВЕТЕР БОРЬБЫ НАРОДНОЙ

Ветер борьбы народной меня уносит,
ветер борьбы народной влечет за собою,
и становится шире сердце,
и свободнее льется песня.
Волы склоняют покорно,
с кротостью и смиреньем,
голову под ударом;
но лев никогда не отступит,
он смело удар наносит
своею стальною лапой.
Мой народ не сходен с волами,

мой народ — словно лев на воле,
словно горный орел в ущелье,
словно бык на высоких скалах,
круторогий, непокоренный.
Нет, волам у нас не водиться
на суровых испанских равнинах!
Кто посмеет надеть ярмо
на гордую шею народа?
Кто сможет сдержать ураганы
тенётами и сетями?
Кто сможет упрятать в клетку
свободные молнии неба?
Храбрые астурийцы,
баски из камня и стали,
веселые дети Валенсии,
кастильцы с суровой душою,
вольной, как крылья птицы,
и, как земля, плодородной,
стремительные андалусцы,
что роди́лись под звон гитары
и ковались в слезах и песнях
на наковальнях грома...
Колосья Эстремадуры,
непреклонные каталонцы,
Арагон старинных фамилий
и Мурсия из динамита,
наваррцы и люди Леона,
вы, знавшие бедность и голод,
вы — звезды в подземных шахтах,
вы — плуги зеленых пашен,
вы — глубокие корни,
вы — отважные люди,
как весело вы идете
по дороге жизни и смерти!
Злые люди решили
ярмо вам надеть на шею,
но вы ярмо разобьете
об их деревянные спины!
Волы умирают в потемках,
не видя зари небесной.
Волы умирают покорно
в спертом воздухе хлева,
но лев, и горный орел,
и гордый бык круторогий
умирают под чистым небом,
безоблачным и бескрайным.
Волы умирают безвольно,
жалка их агония смерти,
но гордая смерть орла
полна красоты и величья.
Коль умру я, то смерть я встречу
с поднятой головою.
И хоть буду лежать я мертвый,
лицом к земле прижимаясь,
но твердо сомкну я губы
в решимости непреклонной.
С песнею жду я смерти,
ведь песнь соловья не молкнет
даже под свист снарядов,
даже под гром сражений!

ЛУКОВАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

(Посвящается сыну, после письма от жены, в котором она писала, что питается только хлебом и луком).

Лук — это иней,
бедный, холодный.
Иней дней твоих детских
и моей ночи.
Лук — это голод,
круглый, огромный,
снегом запорошённый.

В колыбели голодной
сыночек качался.
Луковой кровью
сыночек питался.
Кровь его стынет.
Луковый голод,
сахарный иней...

Смуглая женщина
лунной капелью
плачет и плачет
над колыбелью.
Смейся, сыночек,
лунную нежность
пей сколько хочешь.

Смейся, соловушка
дома родного.
Смех твой — над миром
сияние новое.

Смейся, мой милый,
так, чтоб душа моя
в воздухе билась.

Смех твой дает мне
крылья свободы.
Рушит тюремные
темные своды.
И на губах,
где он тает,
сердце мое пылает.

Смех твой как шпага
победы крылатой,
он побеждает
цветов ароматы.
Птицей поет
смех твой —
будущее мое.

Сколько внезапности,
всплеска и света —
жизнь твоя в радугу
разодета.
Множество пташек
в маленьком теле
крыльями машет!

Я уж, печальный,
проснулся от детства.
Не просыпайся,
смейся и смейся.
Чтоб в колыбели
детские сны твои
пели и пели.
Птицей взмываешь
в небо бездонное,
сам ты как небо
новорождённое.

Как был он светел —
день, обозначивший
путь твой на свете!

Восьмой тебе месяц,
и пятеро смелых
смеются во рту твоем
цветиков белых.
Зубы жасминные,
дерзкие, маленькие,
невинные.

Станут они
поцелуя границей
в час, когда пламя
в губах загорится
и, разливаясь волнами,
сердце зажжет
это пламя.

Меж лун, напоенных
лишь луковым снегом,
живи, мой сыночек.
Про горе не ведай
покуда.
А впрочем —
будь твердым, сыночек.

Перевод с испанского ИННЫ ТЫНЯНОВОЙ

АСЕЙТУНЕРОС

Андалусцы из Хаена,
Молодцы асейтунерос *,
Расскажите откровенно:
Кто маслинам дарит зрелость?

Их питает, поднимая,
Не деньга, не власть, не что-то —
Кормят их земля немая,
Пот соленый и работа.

Эти чистые устои —
Три планеты, три прилива —
Наделяют красотою
Узловатый ствол оливы.

Встань, олива, встань, седая, —
Кто-то крикнул с края ветра.
И тогда рука витая
Вскинулась — тугая ветка.

Андалусцы из Хаена,
Молодцы, народ на диво,
Расскажите откровенно:
Кем же вскормлена олива?

* Сборщики маслин.

Вашей кровью, жизнью всею,
Вашей щедростью высокой,
А не кровью богатея,
Что питался вашим соком.

Он сумел на вас нажиться,
С вами делал, что хотелось,
Растоптал он ваши лица,
Молодцы асейтунерос.

Времена текли, как масло,
Вы в плену убогом жили.
Просыпалось солнце, гасло —
Днем и ночью кости ныли.

Андалусцы из Хаена,
Молодцы, народ на диво,
Расскажите откровенно:
Чьи же, чьи они, оливы?

Поднимись, Хаен, на стены,
Встань, отважный, в свете лунном,
Чтоб не знать вовеки плена
Старым стенам, рощам юным.

Тянут руки к небосводу
Ароматные маслины,
Чтоб увидели свободу
Вы, холмистые долины!

УЛЫБАТЬСЯ С ВЕСЕЛОЙ ПЕЧАЛЬЮ ОЛИВЫ

Улыбаться с веселой печалью оливы,
Ожидать, и надеяться, и ожидать.
Улыбаться, улыбкою дни награждать,
Веселясь и грустя, оттого что мы живы.

Оттого мои дни так трудны и счастливы,
Что в улыбке и ясность и мрака печать.
Ты раскрыла уста, чтобы бурей дышать,
Я же — летнего ветра вдыхаю порывы.

Та улыбка взмывает над бездной, растет,
Словно бездна, уже побежденная в крыльях.
И вздымает полет, пламенея вдали.

И светлеет, не меркнет, твердеет, как лед.
О любовь, ты всего достигаешь в усильях!
Ты с улыбкой ушла от небес и земли.

ВОЙНА

В селе нелюдимо.
И поле не о́рано.
Любовь без любимых.
Пыль, травы и во́роны.
А молодость где?

Погибла в беде.

Леса облетели.
Недвижной колодою
Вдова на постели.
И злоба холодная.
А молодость где?

Погибла в беде.

МОГИЛА ВООБРАЖЕНИЯ

Он возмечтал построить... Дыханья не хватило.
Тесать каменья... Стену воздвигнуть... А за нею
Воздвигнуть образ ветра. Хотел, чтоб воплотило
Его строенье света и вольности идею.

Хотел построить зданье, что всех строений легче...
Дыханья не хватило. А так ему мечталось,
Чтоб камень был из перьев, чтоб, вес с себя совлекши,
Его воображенье, как море птиц, взметалось.

Смеялся. Пел. Работал. Подобно крыльям грома,
С неповторимой мощью, из рук его рабочих
Просторные, как крылья, взрастали стены дома.
Но даже взмахи крыльев беднее и короче.

Ведь камень — тоже сила, когда в движенье. Скалы
Равны полету, если рождается лавина.

Но камень — это тяжесть. И тяжкие обвалы
В погибели желаний бывают неповинны.

Хотел создать строитель... Но камень у движенья
Заимствует лишь плотность и грубую весомость.
Себе тюрьму он строил. И сам в свое строенье
Низринут был. А рядом — и ветер, и веселость.

Перевод с испанского Д. САМОЙЛОВА

РАНЕНЫЙ

Я весь в крови, свобода. Я — огненная масса.
Тебе одной, свобода, мои глаза и руки.
Я — дерево из мяса. Как дерево из мяса
Я к вам иду, хирурги.

Из-за тебя, свобода, под кожей синеватой
Ношу сердец я больше, чем на ладони линий.
Слепящей красной пеной вхожу я в мякоть ваты,
Как в здание из лилий.

Из-за тебя, свобода, я отрываюсь долго
От тех, кто изваянья свои не удержали.
Отталкиваюсь пулей, ногами, домом, долгом
От этой страшной жатвы.

Ты молодец, свобода. Люблю твой блеск в работе —
Вернуть пустым глазницам всю достоверность взгляда,
Вернуть безруким пальцы, ступни — безногой плоти,
А землям — запах грядок.

И кровеносным соком ты веточки наполнишь,
Возникшие из тела, из ободочка раны.
Я — дерево из мяса. Приди ко мне на помощь.
Я выжил, как ни странно.

МОЕЙ ХОСЕФИНЕ

Как ярки твои письма —
Вино мое, мой хлеб,
Единственная пища,
Протянутая в склеп.

Просвечивают стены,
И видится, как сон,
Твое морское тело,
Горчащее, как соль.

Я снова пастушонок,
Я жив, я не скорблю,
Толпящиеся письма
Я сердцем накормлю.

И даже если буду
В земле встречать рассвет,
Пиши мне, чтоб оттуда
Хоть раз пришел ответ.

■ ■ ■

Здесь было море
С травой на дне.

Однажды оно вернется.

Поэтому полю так близок
Моря кочующий призрак,
Лишь капля травы коснется.

Однажды оно вернется.

ПОТ

Вода находит в море свой рай зеленоватый,
А пот находит в море свой шум и свой оттенок.
Он — светлая олива с листвой солоноватой
И пахнущей, как тело.

Он издали приходит — прозрачный, древний, острый,
И молча предлагает свой ствол с тяжелой кроной.
Он скромен и вынослив. И материк, и остров
Он озарил короной.

Он — лучший сын движенья и брат слезе и свету,
Он бродит вдоль столетий, за луч держась руками.
И стелется по свету и вяжет осень к лету
Цветочными вьюнками.

Когда гуськом крестьяне к тебе идут, работа,
И рукояткой плуга свой сон отодвигают,
Рубахи золотые из тихой ткани пота
К лопаткам прилегают.

И шелестит прозрачный, пахучий дождь подмышек.
И золотая роба идет крестьянским лицам.
Светлейшей, тихой ткани сияющий излишек
На пахоту ложится.

И делаются земли вкуснее и богаче,
Когда со лба роняю щепотку манны в поле.
Пускай мелькает пряжа, густая пряжа плача,
Колючего от соли.

Кто не потел ни разу, кто о ладонях сытых
Не вспоминал в ленивом дыму пустого спора,
Тот разве понимает блаженство пор открытых
И разъяренность торо.

Безделье дурно пахнет, над ним крыло возмездья.
Бессмертье — в жестких пятках. Бессмертье — свойство тела,
Которое и руки, и ноги, как созвездья,
Передвигает смело.

Пускай кристаллом соли пометит нас работа,
Пускай прозрачным станет овал лица от плача.
Пусть поровну разрежут кривые струи пота
Твой теплый хлеб, удача.

Перевод с испанского ЮННЫ МОРИЦ

ВЕЧНАЯ ТЬМА

Веривший прежде, что свет будет мой,—
ныне в плену я у темени грозной.
Мне не испить уже ласки земной,
солнечной ярости, радости звездной.

Кровь моя, неуловимо легка,
светом скользит по артерии синей.
Только зрачкам ни глотка, ни глотка —
тьма озарять будет путь им отныне.

Мрак без конца. Ни звезды. Ни луча.
Отвердеванье. Одеревененье!
Душно. Внести — задохнется свеча.
Выворот рук, и корней, и терпенья.

Скорби мрачнее, свинца тяжелей.
В черном зубов белизна захлебнется.
Лишь темноты облипающий клей
в теле, в заваленном глыбой колодце.

Тесно мне. Смех угасает во рту.
Ввысь бы рвануться — не ноги, две гири.
Словно резиновую черноту
сердцем, дыханьем никак не расширю.

Плоть не отыщет защиты ни в чем.
Дальше — ночная беззвездная бездна.
Кто или что в ней мне будет лучом?!
Искру — и ту в ней искать бесполезно.

Только огонь кулаков, и стоуст
страха оскал. Без конца только буду
слышать стеклянный разломанный хруст
пальцев и скрежет зубов отовсюду.

Не разгрести мне, не вычерпать тьмы.
День почернел над моей головою.
Кто я? Тюрьма. Я окошко тюрьмы
перед пустыней беззвучного воя.

Слышу, распахнутый в жизнь, как окно,
будни тускнеющие в отдаленье...
Все же в борьбе лишь добыть мне дано
свет, повергающий тьму на колени.

Перевод с испанского М. САМАЕВА

(Последнее стихотворение Мигеля Эрнандеса, написано им в 1942 году в тюремном госпитале.)

ЭЛЬВИО РОМЕРО

МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС — СУДЬБА И ПОЭЗИЯ

*ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ**

Перевод с испанского
Л. СТЕПАНОВОЙ и Ю. СТЕПАНОВА

ПОРТРЕТ

Я памятью своей — как горный кряж,
лицом — похож на виноградный склон,
распоротый зияющими бороздами.

Каким сохранится он в памяти людей? Каков тот неповторимый духовный и физический облик поэта, который встает из его стихов? Будет ли он долговечнее временной, бренной внешности, потому что в отличие от нее складывается в самых скрытых глубинах души? В искусстве всегда существуют два образа художника: один идеальный, другой реальный, и, к несчастью, они часто отличаются друг от друга, но, когда они составляют единство, когда между ними полная гармония, какое неизгладимое впечатление производит облик поэта!

...Чувства и мысли, запечатленные в творениях художника,— вот тот материал, из которого мы лепим портрет.

Мигель Эрнандес навсегда останется для нас в том возрасте, который даровал ему поэтический темперамент. Ни одному событию не удалось стереть неизменную молодость, которой светилось его лицо. Какие бы следы жизнь ни накладывала на него, молодость и живость всегда берут верх и смягчают тени. Воды реки почти всегда свежи, а лицо луны полно. У него была темная, как глина, кожа, голубые глаза под гордым и упрямым лбом, глаза большие, даже выпуклые, их выражение менялось от самого ребячливого, нетерпеливого любопытства до меланхолии человека, привыкшего к одиночеству; когда он прищуривал их улыбаясь, в них светилось удовольствие, которое преображало лицо. Нос слегка вздернутый, словно предупреждающий о готовом сорваться с губ смехе. Когда он смеялся, открывались белые ровные зубы. Но стоило умолкнуть смеху, губы плотно сжимались и лицо приобретало прежний вид: как будто его вылепили из глины. Неруда таким и запечатлел его, «с лицом, напоминающим батат, который только что выкопали из земли».

---

* Главы публикуются с сокращениями.

В любой компании люди тянулись к нему под влиянием каких-то притягательных сил и симпатий. Его лицо отражало все настроения и состояния духа. Жизненная сила и красота покоряли друзей с первой встречи.

Враги, напротив, чувствовали в нем неприязнь к себе. Его отношение было ясно без слов. Стоило ему улыбнуться в напряженный момент своей гордой улыбкой — и противник был уже уязвлен. Эрнандес знал об этой способности. «Моя улыбка, должно быть, их очень разозлила»,— писал он о жандармах, однажды задержавших его без документов. Разумеется, разозлила.

Искренность была его самым ярким качеством. Отсюда и обезоруживающая непосредственность его поступков. Ни в одном из них невозможно даже предположить скрытого умысла. Часто он совершает то, что «благоразумные» люди называют безрассудством. Он «безрассудно» говорит правду в глаза, «безрассудно» занимает ясную и недвусмысленную позицию.

Лишь много позже, когда жизнь взвалит на него огромную усталость, усталость страдания, только тогда изнеможение наложит печать на его лицо и радостное его выражение сменится похожей на гримасу маской. Но так как он постоянно стремился даже внешне оставаться самим собой, то таким измученным мы видим его только на одном рисунке — карандашном наброске Рикардо Фуэнтеса, сделанном в тюремной камере: брови выгнуты страданием, лоб обезображен глубокими, как ножевая рана, морщинами, глаза вобрали в себя все нерешенные вопросы. Болезненное лицо, отмеченное печатью заката. Но и в этот момент в поэте не иссякла духовная энергия; о ней говорят и густо исписанные, прорванные нажимом карандаша, испещренные вопросами страницы, которые дошли до нас.

И все же не этот, а другие, полные здоровья и свежести портреты рисуют истинный облик Эрнандеса. Они полны притягательной силы: кажется, будто перед нами человек, который вдруг из глубины темной галереи увидел свет и небо.

Облик Эрнандеса — это облик его поэзии, здоровой и крепкой, как бы залитой полуденным солнцем...

18 ИЮЛЯ

И драма бьет в арены барабана!

18 июля 1936 года явилось началом роковых для Испании событий. В этот день многие войсковые гарнизоны поддержали мятеж, вспыхнувший накануне в Марокко. Одни из зачинщиков мятежа были монархистами, другие — откровенными фашистами, все они видели в Республике угрозу для привилегий, дарованных им банкирами, помещиками и духовенством, то есть теми, кто истребил свободолюбивый дух в Испании.

Испания была накануне тягчайших испытаний. Бросалась в глаза неспособность правительства увидеть приближающуюся катастрофу. Многочисленные уступки насквозь разложившейся армии, состав которой не был обновлен, несмотря на заверения и обещания правительства, уступки помещикам и духовенству лишь ускорили ее приближение. Когда объединенные силы фашизма протянули к власти свою грязную лапу, то это оказалось новостью только для тех, кто нарочно закрывал глаза на приближение опасности, а большинство народа знало о ней и было готово дать решительный ответ на брошенный вызов.

Водоворот первых дней целиком захватил Эрнандеса. Вся Испания пришла в движение, в ее сердце клокотала горячая кровь народа, который был готов на невиданные подвиги. С огромным энтузиазмом и почти без посторонней помощи создавались в то время отряды народного ополчения. Эти мощные отряды послужили прообразом будущей дисциплинированной армии, проявившей чудеса героизма и политической сознательности.

Страшным ударом была для Эрнандеса весть о злодейском убийстве Федерико Гарсиа Лорки, о котором он скажет впоследствии: Лорка был «целым миром поэзии». Смерть поэта произвела на него такое впечатление, что через год Эрнандес сказал:

«Из праха его на меня смотрит чудовищное злодеяние, совершенное теми, кто никогда не принадлежал и не будет принадлежать к испанскому народу, и я чувствую, как кровь поэта настойчиво повелевает мне идти сражаться».

...Был сентябрь. Двух месяцев борьбы оказалось достаточно, чтобы народ сбросил с себя оцепенение; ясным доказательством тому было стихийное движение сопротивления фашизму, выразившееся в создании рабочего и крестьянского ополчения, которое дало первый серьезный отпор диким фашистским молодчикам. Но, чтобы обеспечить дальнейшие успехи, нужно было в срочном порядке создать постоянно действующую силу; такой силой должна была стать мощная регулярная армия, построенная на принципах единоначалия. Хотя энтузиазм и самоотверженность народа и сказались на победах в провинциях Валенсии, Каталонии, Аликанте, Альбасете и других, ясно было, что не это заставило противника умерить пыл. Испу́ганная огнем народного гнева, вспыхивающего повсеместно, реакция обратилась за помощью к фашистским силам за рубежом, и последние не заставили себя долго ждать. Получив помощь продовольствием и боеприпасами, противник продвинулся вперед, особенно в районе Талавера-де-ла-Рейна, стремясь захватить Мадрид. Были

взяты Бадахос, Мерида, Оропеса. Над Мадридом сгустились черные тучи. Столице угрожала смертельная опасность. Это всколыхнуло всю страну.

Мигель Эрнандес с головой ушел в работу; он был к тому времени сотрудником «Эль моно асуль» и ежедневно посещал Союз деятелей культуры. В сентябре он вступает в ряды 5-го полка, и его посылают вместе с саперным батальоном рыть окопы как раз в районе Талавера-де-ла-Рейна, откуда враг угрожал Мадриду. Его часто можно было видеть в окрестностях Мадрида, в местечке Кубас, по пояс в окопе, испачканного землей и глиной. Невозможно до конца понять душу Мигеля Эрнандеса, его самозабвенную работу в те героические дни, если не учесть, какое огромное значение имела для него жизнь среди людей, которые едва ли раньше слышали его имя и еще меньше знали, что происходит в его мятежном сердце; для них он был одним из многих, горячим парнем, таким же, как они. В эти дни, строя оборонительные укрепления, он живет жизнью простого солдата, пришедшего сюда по велению сердца. Здесь он учится познавать такие глубины человеческой души, которые раньше, когда он целиком находился во власти романтических мечтаний, были ему чужды. Дни он проводит на перерытой окопами земле, а ночи — в лагерной палатке. Обостренным чутьем он впитывает совершенно новые впечатления, анализируя их сущность... Он готов целиком раствориться в нахлынувших чувствах, считая, что только так можно понять происходящее. В радостной и суровой обстановке сформировалась позиция Мигеля Эрнандеса-бунтаря; наметился его дальнейший путь, закалилась его воля, которая не дрогнула перед лицом наступающего врага.

...Болезнь заставила его вернуться в Мадрид. Он увидел, с какой лихорадочной энергией люди готовились к защите столицы. Приближался ноябрь, легендарный месяц, которому суждено было стать свидетелем грандиозных событий. Мигель видел, как мадридцы готовились к великой схватке, и не было в них страха и уныния, наоборот, они трудились радостно и вдохновенно.

Он увидел город, весь объятый каким-то необычным энтузиазмом. Все слилось в одно желание — отразить нападение врага. Рабочие и студенты, интеллигенты и простые крестьяне, женщины и старики объединились, не сговариваясь, в один братский союз. Все горели одним желанием — как можно скорее доказать свою ненависть к фашизму, и тот посильный вклад, который каждый вносил в общее дело, превратился в огромную силу, показавшую вскоре свою непобедимую жизнеспособность. Это было грандиозное и захватывающее зрелище! Одного толчка было достаточно, чтобы поднялась огромная народная волна. Мигель Эрнандес познал эту силу, и она незаметно так глубоко покорила его сердце, что он уже никогда не смог освободиться от ее магического влияния. С тех пор каждый его шаг был продиктован горячей любовью к своему героическому и самоотверженному народу.

В Мадриде он снова встречает своих старых друзей. Но как изменилось все за такой короткий срок! Теперь все разговоры вращаются только вокруг одной темы: что будет с Испанией. Остались позади праздные споры. В тот грозный час все казались более суровыми и деятельными. Мигель Эрнандес, целиком захваченный всенародным порывом, окончательно отходит от благозвучной лирики. Он сильно изменился. Этому во многом способствовало его пребывание в Талавера-де-ла-Рейна. Теперь он был целиком в атмосфере войны. С коротко остриженной головой, в синем комбинезоне, который он носил с гордостью, Мигель Эрнандес позабыл думать о тех печалях, что раньше тревожили его.

В октябре, за месяц до незабываемых героических событий, его назначают комиссаром по культурным вопросам при штаб-квартире кавалерийских войск. Да, именно комиссаром по культурным вопросам, потому что в те дни (и это никогда не забудется!) народ жадно потянулся к овладению культурными богатствами страны, к знакомству с великими памятниками литературы и искусства. В то время все поняли, что культура — это не мертвая буква и не повод для пустой болтовни, а источник света и грозное оружие. Нужно было отдать все силы этому благородному делу и тем самым внести достойный вклад в будущую победу. Эту миссию надо было поручить самым честным и энергичным людям: они передадут в руки народа те духовные богатства, которых он был лишен во все времена, хотя только народ способен ценой собственной жизни обеспечить их дальнейшее развитие и небывалый расцвет. Судьба интеллигенции должна слиться с судьбой всего народа, так как народ отдал ей свою любовь. В те дни часто можно было наблюдать такие картины: бойцы теснятся вокруг писателя или поэта, который рассказывает им о том, чего они до сих пор и не знали. Но Мигель Эрнандес не ограничивался только тем, что открывал людям новые пути, принимал активное участие в работе различных культурных центров или устраивал беседы в окопах; когда пришел час, он принял участие в битве с оружием в руках. В ноябре оборона Мадрида достигла наивысшего накала. Батальон Мигеля Эрнандеса получил задание прорвать окружение противника в окрестностях города. Здесь в районе Бобадилья-дель-Монте и Алькала-де-Энарес он встретился лицом к лицу со смертью. На его глазах пал кубинец Пабло де ля Торриенте, и поэт скорбит о его смерти.

Мигелю Эрнандесу пришлось испытать вместе со своим народом и «голод и поражение», как говорил он впоследствии, но он пронес свой восторженный порыв через смерть и страдания.

ПОЕЗДКА В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

И обнаженное сердце замерло
перед правдой.

И вот внезапно, как и все случавшееся в те дни, 27 августа Мигель Эрнандес покидает Испанию. На следующий день он приезжает в Париж. Сохранилась его парижская фотография, с которой глядит на нас смуглый, улыбающийся парень с крестьянским лицом, в форме ополченца. Весь облик его выдает приезжего. Французские друзья сердечно принимают испанскую делегацию. Встреча завершается большим банкетом. Мигель, не зная французского языка, чувствует себя немного стесненным, что, однако, не мешает ему обегать весь Париж — он стремился как можно больше увидеть.

Этот первый выезд за границу помог Эрнандесу ощутить свою тесную связь с родиной. Уже через два дня после отъезда из Валенсии, он пишет: «Я все время думаю об Испании, как будто потерял ее навсегда». Его горячей натуре, привыкшей к щедрой природе и жаркому климату своих родных мест, где «так много солнца», трудно было освоиться в новой обстановке.

1 сентября 1937 года он приезжает в Москву, где в то время происходит пятый фестиваль советского театрального искусства. Остановившись в гостинице «Метрополь», он сразу же оказался в окружении друзей, чьи крепкие рукопожатия свидетельствовали о гостеприимстве и радушии.

Побывав на нескольких спектаклях и познакомившись с новым искусством, Мигель Эрнандес писал в газете «Известия»: «Несомненно, что народ, имеющий такое искусство, является сильным и могущественным народом, живущим полнокровной жизнью, исполненной света и радости».

Спустя несколько дней он отправляется в поездку по наиболее примечательным местам огромной страны. Его приводят в восторг бурный рост строительства, богатые урожаи, зреющие на тучных полях, и, наконец, сами люди, дни которых насыщены поэзией героического труда. По контрасту с сияющим блеском этого нового мира он с горечью вспоминает свою далекую родину, истерзанную страданиями и нищетой. Кроме Москвы, он побывал в Ленинграде, Киеве и повсюду горячо и живо наблюдал за всем, что он хотел узнать и в чем видел будущее Испании. По мере того как в нем укреплялась вера в правоту великого дела, воспринимаемого им как торжество справедливости, к которой он всегда жадно стремился, все с большей тоской его мысли обращаются к Испании, страдания которой не давали ему покоя. В интервью московской «Литературной газете» он говорит: «Я прибыл в СССР прямо с фронта и, когда приеду домой, снова вернусь в окопы. Там мое место, там место всякого честного испанца, который не на словах, а на деле стремится освободить свою родину и весь мир от фашизма».

Трудно, очень трудно представить себе Мигеля вне этой привычной для него обстановки. Все его письма проникнуты единым, всепоглощающим желанием снова вернуться к выполнению своего священного долга. И если в написанном тогда стихотворении «Россия» он запечатлел свой восторг, то в другом стихотворении, «Далекая Испания», выражена его страстная тоска по родине. Россия произвела на него неизгладимое впечатление. И, как всегда, все то, что трогает и волнует его душу, вызывает в нем еще неясные поэтические мелодии. Советская страна и благородный труд ее народа служат для Мигеля неиссякаемым источником вдохновения, покоряя его своим размахом и величием. Он был восхищен героическими буднями советского народа, полными великого созидательного труда.

На поездах, объятых безудержным стремленьем
довериться порыву угля и звонкой стали!
В тугих аэропланах с точеным опереньем
я проношусь по землям труда и снежных далей.
. . . . . .
Лишь стоит оглянуться — и свет в глаза незрячим.
Прислушаешься — слышишь в ушах крови удары!
Здесь каждый рот клубится дыханием горячим
сердец неисчислимых, соединенных в пары.
. . . . . .
Еще вчера их реки с трудом катили воды,
рабочей кровью алой растапливая льдины.
И вот сегодня, строя надежду и заводы,
они поют, цветами увив свои машины...

Перевод П. Грушко

Он был свидетелем сказочного обновления людей старого мира. Эти старики с пожелтевшими, как пергамент, лицами веками гнули спины под бременем нечеловеческой эксплуатации; теперь они распрямили плечи навстречу новой, прекрасной жизни.

А советская молодежь? В ее жилах бьется горячая кровь, и она своим самоотверженным трудом приближает счастливое будущее.

Но Мигель Эрнандес увидел больше того, что бросается в глаза с первого взгляда. В строительстве новой жизни он не стремился отыскать какие-то еще не описанные

стороны величия, зато он ощутил огромное чувство братской солидарности и безграничной веры. Народ, который порвал цепи рабства, не успокаивается, не почивает на лаврах — наоборот, он пристально следит за событиями в Испании и готов помочь ей в справедливой войне. Мигеля Эрнандеса глубоко трогает это проявление дружеского участия: рабочие, писатели, простые женщины — все расспрашивают его об Испании, и он чувствует, что их сердца бьются в унисон с сердцем испанского народа. «Эти люди переживают события в Испании так, как будто они происходят у них»,— пишет он. И в содружестве двух наций Вечный испанец, герой его стихотворения, видит залог грядущих счастливых дней.

Как две сестры — две силы: Испания с Россией,
они войну осилят, им рев ее не страшен.
И станет добрым домом планета в дымке синей
для юности и яблок, для тракторов и пашен.

Перевод П. Грушко

Ничто не в силах заставить его забыть далекую родину. Его единственное желание — отвоевать для нее все богатства, которых она лишена. В России сердце его радостно билось: он много видит, все его восхищает, между тем мысленно он нетерпеливо отсчитывал дни, оставшиеся до отъезда. Он был слишком привязан к родине, и поэтому нелегко ему было оторваться от нее даже ненадолго. «Для меня нет ничего, кроме Испании»,— говорил он еще в Париже. Быть может, потому, что он поехал за границу прямо с фронта, перед глазами его по-прежнему стояли страшные картины, и он неотступно думает о родине. Он только и живет известиями из Испании. Вынужденное бездействие за границей стало угнетать его. Его страшат суровые северные зимы, Стокгольм его раздражает, Парижу не удалось его очаровать. Словно крестьянин, оторвавшийся от родной нивы, он твердил лишь одно: «Я хочу вернуться домой! Домой! Домой!»

Однако бурное кипение жизни в Советской стране оставило в душе Мигеля неизгладимое впечатление. Повсюду он видел новую жизнь и, глядя на нее, многое понял и многому научился.

Он покидает Россию, чтобы снова вернуться в окопы, в привычную обстановку огня и земли. Едва успев побывать у Хосефины, он возвращается в армию. Теперь он счастлив вполне. Солдаты ставят его маленькие пьесы, написанные специально для них.

В отсутствие поэта вышла в свет его первая книга «Ветер народа». Как приятно было узнать по возвращении, что она тепло принята читателями! Год заканчивается еще одним радостным событием: валенсианская секция Союза деятелей культуры устраивает в честь Эрнандеса вечер в Атенео. Его провозглашают первым поэтом Испании военных лет. Мигель робко чувствует, что к нему пришла слава.

Между тем все более и более тяжкие беды обрушиваются на многострадальную страну.

ГОЛОС В ПОРОХОВОМ ДЫМУ

Ветер борьбы народной меня уносит,
ветер борьбы народной влечет за собою.

С первых же дней войны у Мигеля Эрнандеса, принимавшего активное участие в политической жизни страны, появилось настойчивое желание воспеть подвиги народа, и он целиком отдался этому желанию. В тот период лучшие представители интеллигенции в едином порыве заняли то место, которое повелевали им занять совесть и долг. Когда пробил роковой час, Мигель Эрнандес откликнулся не только как поэт, но и как никому не известный простой окопный солдат. Поэт-пастух превратился в поэта-воина. Отныне его поэзия пропиталась пылью и потом фронтовых будней. Эта тема настолько прочно вошла в нее, что порой трудно было отличить, где кончается творчество и начинается жизнь. Так, постепенно, вбирая в себя неповторимые ощущения этих лет, испытывая неистовые взлеты и падения, Мигель Эрнандес вынашивал в себе волнующие стихи книги «Ветер народа»; она стала своеобразной поэтической хроникой страданий и надежд.

Но, чтобы дать пищу своему пылкому вдохновению, ему нужно было лично принять участие в боях, окунуться в жизнь, ибо ее не может заменить никакое воображение. Волны жизни захлестывали Мигеля Эрнандеса со всех сторон, в горячем порыве он бросился навстречу им. Он был полон энергии и сил и не знал того быстрого перехода от энтузиазма к апатии, который с годами умеряет самые пылкие желания молодости. Он был живым воплощением той молодежи, которая мгновенно загорается от малейшей искры, молодежи, которая может, со своей точки зрения, дать оценку происходящим событиям и принять в них участие в соответствии с теми выводами, которые она из них извлекла. Слова Эрнандеса всегда точно отвечали его мыслям, были их реальным воплощением, потому и его поэзия несла на себе печать достоверности и безупречной правдивости.

Он считал себя неотделимой частью борьбы, подобно песчинке, подхваченной вихрем событий. Вся прошлая жизнь поэта, его характер и убеждения властно влекли его на этот путь.

Народ, на зов мой приди,
нас одним молоком вскормили,
ты — дерево, мой народ,
я опутан корнями твоими,
я здесь, чтоб тебя любить,
защитить от страшной лавины,
зубы мои и кровь —
два ружья для твоей защиты.
Я вышел из глуби земной,
я в мир нищеты и обиды
из мрака явился на свет
затем, чтоб на древе битвы
быть соловьем обид,
эхом горькой судьбины,
чтоб те, кому я пою,
слыша мои мотивы,
о горечи, о жажде,
о боли земли не забыли.

Перевод П. Грушко

Как ему было не петь, когда его окружали загорелые, словно высеченные из земли и камня, родные ему лица. Он был частью этих простых трудолюбивых людей, от которых зависела заря будущего. Поэт был вместе с ними.

Книга стихов «Ветер народа» целиком завладела его помыслами. Весь отдавшись работе, он поставил перед собой задачу создать стихи, близкие народу, понятные бывшим рабочим и крестьянам, а ныне бойцам, сражающимся против фашизма. Для этого его поэзия, как поэзия великих национальных поэтов прошлого, должна была стать отражением реальной жизни и тех происходящих в ней социальных явлений, которые поэт хотел воспеть или заклеймить. В какой-то степени народ сам готовит ему материал, а поэт расширяет и обобщает его и затем снова возвращает людям... Поэт много работает над языком своей книги, отказывается от сложного, понятного лишь ему одному изложения и принимает формы, доступные широким массам.

Мигель Эрнандес прекрасно понимал назначение поэта. Вот что он пишет в своей книге: «Мы, поэты,— ветер народа. Мы возникаем, чтобы врываться в его душу и увлекать его взоры и чувства к прекрасным сияющим вершинам. Наше время, время страстей, жизни и смерти, обязывает тебя, меня, всех поэтов стать как можно ближе к народу. Во все века народ ждет поэтов с открытой душой, ловя каждое их слово». И немного выше: «Нас, кому суждено стать поэтами, делает таковыми жизнь с другими людьми». Такие чувства были свойственны лучшим поэтам прошлого. Их поэзия выражала горести и страдания народа.

С самых давних времен переходят из века в век их пламенные строки, их ясный огонь не угаснет, пока существует на земле вера и страстный порыв. Это ни для кого не секрет. «Мы, поэты,— пишет Эрнандес,— рождены из звуков гитары, которые извлекает сам народ, ударяя по струнам, и каждый поэт, умирая, завещает другому тот инструмент, который с незапамятных времен живет в нашем мятущемся сердце. Если сегодня уходит один поэт, завтра на смену ему приходит другой. И мы всегда твердо будем стоять на земле и творить для народа. Только его честные руки смогут сохранить то, что поэт написал кровью сердца». Сколько глубины и ясности в этих словах!

Да, он любил жизнь. И поэтому, когда увидел, что все пришло в движение, природа и люди слились в одну упругую силу, в нем пробудился неистовый дух борьбы. Поэт откликнулся на зов жизни и, повинуясь собственному инстинкту, с открытым сердцем устремился в самую гущу битвы.

Как же можно было оставаться безучастным, когда повсюду он видел великую самоотверженность своего народа! В Мадриде, например, несмотря на пронизывающий холод на улице и в домах (отопление не работало), люди не срубили ни одного дерева на дрова, чтобы хоть немножко согреться. В тяжелые дни, когда враг рвался к Мадриду, залы театров были переполнены любознательной публикой, с жаром аплодировавшей веселым комедиям. Во время бомбежки Дворца герцога Альбы и других музеев люди, рискуя собственной жизнью, бросались спасать из огня картины и иные художественные ценности. Готовя мешки с песком для защиты Мадрида, они с тем же энтузиазмом укрывали в надежных местах лучшие полотна музея Прадо. В Мурсии, как и в Мадриде, народ спас ценнейшую церковную утварь великолепного собора. Нет, нельзя было оставаться безучастным: он должен был воспеть все это в героической песне, достойной великой эпохи.

Как вдохновенно трудился он в эти дни! Стремительным, бурлящим потоком ложились на бумагу взволнованные строфы его стихов. Эрнандес, казалось, избегает привычных поэтических форм, использует новые стихотворные приемы. Его поэзия — сплав порохового дыма и вдохновения — приобрела несокрушимую мощь и реалистическую глубину, его стихи исполнены страсти, они зовут к борьбе. Строгие законы стихосложения не в силах сдержать бурный поток чувств, которые кое-где прорываются сквозь форму стиха, рискуя повредить его стройность. Как стрелы из туго

натянутого лука, рвутся из стиха призывы и гневные проклятия. В дни войны, полные неисчислимых страданий и жертв, чувства поэта были обострены до предела. Вся его энергия и воля подвластны единому порыву. Так, подчиняясь мятежному вдохновению, создавал Мигель Эрнандес свою книгу. Этот титанический труд доставлял ему и муки и радость, и оттого все 1545 пламенных строк книги спаяны в целостное единство страстью автора.

Он писал свою книгу стихов, явившуюся самым сильным произведением эпохи гражданской войны, исходя из строгих канонов поэтики романсеро. Но, опираясь на классические традиции, он умело использует те новые поэтические приемы, которые принесла позднейшая поэзия. Мигель Эрнандес вступил в войну уже зрелым художником, имея за плечами богатый поэтический опыт.

Он сформировался под влиянием крупных поэтов, своих современников, которые помогли ему овладеть сложным искусством стихосложения. Его учителями были Неруда, Алейксандре, Альберти, Рауль Гонсалес Туньон. Тесное общение с ними помогло Эрнандесу сделать свои стихи более стройными и отточенными. В один из приездов в Мадрид Мигель познакомился с произведением, которое произвело на него особенно глубокое впечатление. Отдельные отрывки из него он слушал в исполнении автора в Атенео. Это была «Роза в броне» Рауля Гонсалеса Туньона. К тому времени Мигель уже знал его «Анархистку», получившую всеобщее признание, и «Бронепоезд из Мьереса»,— все это показывал ему сам автор. Эрнандес читал Туньону свои первые стихи о войне, а тот познакомил Мигеля с отрывками из поэмы «Смерть в Мадриде», над которой он в то время работал. Это был пример тесного духовного общения двух поэтов, вылившегося в большую творческую дружбу. Сколько раз в часы долгих волнующих бесед они разжигали друг в друге огонь поэтического вдохновения. В этих беседах каждый поверял другому свои самые сокровенные желания.

В последний раз Туньон видел Мигеля Эрнандеса, когда тот возвращался на фронт. Туньон посвятил Эрнандесу прекрасное четверостишие:

С «Канте Хондо» повремени,
отложи «Романсеро» древний.
Пой «Интернационал» —
он полезней по этому времени.

Перевод П. Грушко

В душе Мигеля постоянно звучали полные драматического пафоса стихи Пабло Неруды из сборника «Испания в сердце», первые песни которого ему показывал автор. Их своеобразная форма произвела большое впечатление на Мигеля Эрнандеса. Уже давно он находился под влиянием могучего таланта чилийского поэта.

Камень за камнем воздвигал он стройное здание своего сборника стихов, согретого дыханием народа. Эту книгу, созданную фактически тут же, в окопах, Мигель читает солдатам на фронте. Гулом одобрения встречается каждое стихотворение. Подобные сцены повторялись ежедневно. Поэт по-настоящему делил с солдатами все радости и горести военной жизни: подолгу беседовал с ними, спал тут же, укрывшись солдатским одеялом. Так познал Эрнандес неизведанное им прежде радостное чувство выполненного долга. Эти простые люди считали его своим поэтом и верным товарищем в борьбе. Их глаза, светившиеся на суровых обветренных лицах сердечной теплотой и какой-то трогательной, почти детской наивностью, наполняли сердце поэта ни с чем не сравнимым счастьем: в этих глазах он прочел доверие и любовь. Такое счастье могут испытать лишь те, кто возвысился до понимания великих деяний народа.

С песней жду я смерти,
ведь песнь соловья не молкнет
даже под свист снарядов,
даже под гром сражений.

Перевод И. Тыняновой

И действительно это были люди его нищего, безрадостного детства. Никогда не думал Мигель, что все они поднимутся на великие подвиги в этот грозный час, стряхнув с себя вековую сонливость, и только от них будет зависеть будущее Испании. Потому что одно дело представлять себе народ в период всеобщего восстания, а другое — видеть это воочию. Какие огромные, безграничные возможности созидания таятся в недрах народа! Все отступает перед его твердой поступью, и осуществляется то, что казалось ранее невыполнимым. Эти суровые молчаливые люди, одетые в лохмотья, сами решают свою судьбу, от них зависит будущее страны. И Мигель чувствует себя одним из них.

Навсегда связав свою жизнь с народом, Мигель Эрнандес обрушивается на тех, кто судорожно цепляется за уходящее прошлое. От его взгляда не скрылся другой мир, населенный мелкими людишками, отравленными ядом малодушия и трусости, которые, как сорная трава, мешали в эти героические дни пышному цветению всех духовных сил народа. Гневным обвинением, полным ненависти и презрения, прозвучали его стихи, в которых он заклеймил трусов и ренегатов.

Вы в страхе хотите весь мир
за крепкие спрятать ограды,
в свинцовые стены одеть
пропасти и провалы,
чтоб жалкую жизнь влачить,
лишенную сердца и страсти.
Вам мало того, что за вас
другие на поле брани
свою проливают кровь,
которая ливнем горячим
падает день за днем
на сухие кастильские кряжи.

Перевод П. Грушко

Но в то же время с каким искренним волнением откликается поэт на всякий благородный поступок, который, подобно яркому лучу, рассеивает мрак. Стихи его преисполняются великой благодарностью. Когда 19 июля Пассионария произнесла свой бессмертный лозунг «Они не пройдут!», Мигель Эрнандес почувствовал, как в сердце его запылал неугасимый огонь веры.

Он назвал Пассионарию «басконкой с несметными богатствами в душе», и она стала для него символом несокрушимой воли к победе. С сыновним доверием и признательностью посвящает ей Эрнандес следующие строки:

Поцеловать улыбку и ступни
израненной испанки,
чей жест — скорбящей нации сродни,
и землю, где она ступает смело,
как будто в шаг один
вобрать всю землю захотела!

Перевод П. Грушко

С особым, братским чувством обращается поэт к простым беднякам, которых векам обманывали, продавали и избивали и которые продолжали верить и, не жалея жизни, демонстрировали чудеса героизма, принимая с глубокой благодарностью правдивые слова, указывающие им путь к новой жизни.

Эти люди застенчиво, но жадно прислушивались к каждому слову Эрнандеса. И отдав им в полной мере все, что у него было, он получил высшую награду: люди подарили ему любовь, которой удостаивали лишь немногих. Поэтому в его стихах сквозь скорбь и печаль вдруг прорывается крик как бы вновь воскресшей ликующей радости, которая свидетельствует о всепобеждающей силе жизни. Его стихотворение «Клятва радости», как яркий цветок, расцветший в дни тяжких испытаний, помогает людям не падать духом, заставляет сильнее биться их сердца в предчувствии близкого счастья.

«КАКАЯ ТЫ НЕСЧАСТНАЯ, ХОСЕФИНА!»

И умерев — ты не закрыл глаза,
мой милый, мой убитый.

...Сколько мыслей обуревало, должно быть, Мигеля, когда 28 июня 1941 года он снова попал в Аликанте и его провели по узким улочкам города до тюрьмы, пышно именуемой «Исправительной колонией для взрослых». Его провели по тем же самым улицам, по которым не так давно — о ирония судьбы! — он весело бродил; он был тогда так же далек от ужасов сегодняшней действительности, как теперь — от беспечности тех счастливых дней. Превратности судьбы щедро «одарили» Мигеля, развили и углубили его чувства; они заставили его острее видеть, проникать в самую суть вещей; теперь он нашел ответы на самые животрепещущие вопросы. Он возвратился в те же края, откуда когда-то начинал свой жизненный путь, не растеряв, однако, своей непоколебимой веры в торжество справедливости; возвращался к своему очагу, которому не суждено было стать местом спокойствия и радости; он возвращался туда, где ему суждено было испытать новые горести и страдания.

Когда-то Мигель уехал отсюда никому не известным юношей, уехал с дерзкой мечтой завоевать славу, полный сил и энтузиазма. Тогда это был крепкий крестьянский парень, готовый сокрушить все преграды, теперь он возвращался измученный, больной, одинокий и печальный.

По прибытии в тюрьму он был заключен на несколько дней в одиночку. Еще раньше по тюрьме разнеслась весть, будто новый заключенный обвинен в том, что был «писателем и поэтом революции». Вот почему с такой ненавистью франкистские палачи накинулись на Мигеля!

...28 марта 1939 года после трех славных лет борьбы оделось трауром сердце страны — реакция победила в Испании. Три года спустя, в тот же день оделось трауром сердце Поэзии. На рассвете, в час, в который отныне всегда надлежит вспоминать о нем, Мигель Эрнандес произнес свои последние слова: «Какая ты несчастная, Хосефина!».

Веривший прежде, что свет будет мой,—
ныне в плену я у темени грозной.

Перевод М. Самаева

Он остался лежать с открытыми глазами. Он не собирался умирать, хотя и умел с таким мастерством вызывать духов тьмы. И даже когда смерть уже стояла перед ним, уже иссушила его тело, он доказал свою жажду жизни отчаянным порывом к свету, заключенным в его глазах.

Их так и не смогли закрыть. Его последние слова — тихие слова любви; в них не было никакого смирения перед смертью, он просто думал о том сиянии, которое нес в сердце. Он сам позаботился, чтобы оно не погасло, как и сияние его глаз: «Какая ты несчастная, Хосефина!»

Друзья говорят, что, когда тело его было отдано родным, молодая женщина, как легкая дрожащая тень, бросилась к гробу и прижалась к нему. Это была Хосефина, его любимая Хосефина, которая, рыдая, возможно, повторяла эти строки Мигеля:

Пусть выроют в моей груди могилу,
и тебя похоронят в ней.

Перевод П. Грушко

Она была его выстраданным созданием, отлитым из единого чувства, жена и мать, она поддерживала его, и к ней было обращено из-за решетки его горькое последнее слово.

Мигель Эрнандес похоронен там, где он родился,— в земле Аликанте.

Мигель Эрнандес выступает перед бойцами республиканской армии.

ДИТЕР НОЛЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ Вернера Хольта

РОМАН

Перевод с немецкого
Е. ЗАКС и Н. МАН

10

В первых числах июня активность англо-американской авиации заметно пошла на убыль. Этот спад служил неисчерпаемой темой для разговоров. Вольцов сидел над картами и пророчил «новую проклятую уловку», Цише с нескрываемым торжеством кричал:

— Вот он, результат нашего отчаянного сопротивления! Скоро они выдохнутся окончательно!

Вольцов, который целые дни проводил над учебниками стратегии, а теперь под влиянием Цише взялся за чтение «Моей борьбы», решил воспользоваться временным затишьем и применить к новичкам метод самовоспитания. Жертвой он наметил некоего Фойта, наводчика орудия «Антон».

— Этот Фойт,— пояснял Вольцов,— единственный из новичков, не вступивший в армию добровольно. Ну да я уж сумею придать ему воинской доблести!

Хольт и Гомилка в этой затее не участвовали. Итак, Вольцов и окончательно одичавший Фетер однажды ночью отправились в барак «Антон», где в большом помещении спали Фойт и еще двадцать три человека. При таком численном превосходстве можно было бы дать должный отпор, но новички предпочли оставить товарища в беде и спокойно взирали на вломившегося в спальню Вольцова. Фойт приготовился к защите, но его попросту выволокли из барака и вниз головой окунули в пожарную бочку. Следующей ночью, как только он заснул, Вольцов окатил его ведром грязной воды из той же бочки. Готескнехт прознал о случившемся и под страхом строгого наказания запретил Вольцову издеваться над новичком.

■

В жаркий июньский день Хольт и его одноклассники томились на уроке истории и с тоскою поглядывали в распахнутое окно. «Полежать бы теперь на солнышке у реки»,— мечтал Хольт. Внезапно раздался сигнал воздушной тревоги. И вот уже, голые до пояса, они принимали солнечные ванны у орудия. С командирского пункта послышался крик·

Продолжение. Начало в №№ 4, 5.

— Направление девять, шум моторов!

Подошел Кутшера со своей собакой. Стволы орудий повернулись на запад. На высоте десять тысяч метров небо прорезал «локхид».

Не прошло и нескольких секунд, как Надлер во весь голос крикнул:

— Господин вахмистр, «локхид» падает!

— Вздор! — сказал Кутшера.

Это была сенсация. Кутшера оттолкнул Надлера, прильнул к оптической трубе, протер глаза и объявил:

— Ну, парни, вы просто бредите!

На командирском пункте все опять успокоилось.

— Подбит бомбардировщик на высоте десять тысяч метров! Кто бы мог это сделать? — волновался Вольцов.

Осторожный Готескнехт велел спросить об этом в подгруппе, но и там никто ничего не знал.

Дали отбой. Кутшера, по обыкновению, ругался: и дисциплина никуда не годится, и наблюдатели дрыхнут, и Надлер жрет конфеты во время несения службы! Но вдруг наблюдатель за воздухом не своим голосом крикнул:

— Направление три, самолет! — и ткнул пальцем вверх.— Вон там!

Шума мотора никто не слышал. Все в полном смятении задрали головы кверху.

Кутшера крикнул:

— Какого типа самолет?

Наблюдатель не отвечал. Командир приборного расчета доложил:

— Цель поймана.

Кутшера с ума сходил от ярости:

— Тип самолета, отвечайте же, сукины дети!

Наблюдатель оторвался от оптической трубы.

— Понятия не имею, господин капитан.— Потом стал докладывать:— Самолет безмоторный, без горизонтального оперения, без шасси...

— Вы что, пьяны? — гремел Кутшера.— Или с ума посходили?

Готескнехт протянул ему бинокль.

— Неизвестная машина!

— Ну, тогда — огонь!

Маленький, отливающий серебром самолет неслышно кружил в небе. Загремели орудия, дым застлал командирский пункт. Из укрытия кто-то заорал:

— Стой! Огонь отставить! Истребитель догнал противника!

— Где ж это видано! — крикнул Кутшера, когда в небе еще глухо рвались снаряды.

Кто-то испуганно закричал:

— Господин капитан, на машине немецкие опознавательные знаки!

На батарее теперь все до одного смотрели в небо, на самолет, бесшумность которого вселяла ужас.

— Еще одна очередь, и он бы свалился,— заметил Вольцов. Самолет, сделав новую петлю, заскользил к югу.

Этот истребитель и сбил «локхида»!

Цише первый заговорил о «новом оружии». После обеда Вольцов помчался из канцелярии в барак и торопливо облачился в парадную форму. Наблюдателей и командиров приборных расчетов всех батарей телефонограммой вызывали в штаб подгруппы. Вольцов, разумеется, увязался за ними. И вечером вернулся в барак, насквозь пропитанный пивными парами.

Остальные уже спали.

— Встать, сони несчастные! — Он уселся на стол и начал свой рассказ.— Мы были на аэродроме. Потом всей гурьбой пошли в кафе «Италия» и начали, я хочу сказать, почали большую бочку пива.

— Что это за история с машиной? — крикнул Хольт.

— История сумасшедшая! — воскликнул Вольцов.— Это новый самолет! Реактивный! Называется «М-163». Говорят, скорость у него фантастическая.— Слова Вольцова были встречены криком.— Тише! Истребитель и подбил «локхида» западнее Дортмунда.

«Поворот в воздушной войне,— подумал Хольт. Мысленно он видел тучи новейших истребителей, преследующих бомбардировщики.— А я,— каялся он,— так сомневался, не верил...»

На следующий день в кафе «Италия» сидели молодые зенитчики со всех батарей. Вчерашние события распалили фантазию юнцов. Здесь рассказывались самые невероятные истории — будто бы новые машины могут уничтожить целые соединения бомбардировщиков. То, что воздушное наступление стало задыхаться, тоже объяснялось появлением новой машины.

Хольт в приятном состоянии легкой сонливости прикорнул в уголке старого плюшевого дивана, а девушки, его окружавшие, болтали о курсах медсестер, на которых они обучались. Он едва слушал их, прикидывая, можно ли в это время застать дома фрау Цише. Потом оставил девушек и побежал к ней по разрушенным улицам. Из ворот завода Круппа выходила смена — огромный поток людей. «Заводы не так-то просто вывести из строя»,— подумалось Хольту.

■

Фрау Цише терпеливо выслушала его рассказ о таинственном самолете.

— Так или иначе, а Рима твой реактивный истребитель не спас,— сказала она, и он огорчился.

Они решили пойти в кино.

На улице их встретил тихий, теплый летний вечер. Ветерок смягчал зной. Они медленно шли по улицам пригорода. Ни дерева, ни кустика, только пыль и копоть, воздух душный, засоренный... Хольту вспомнились безбрежные леса, горы, обвалы.

— Если б можно было теперь куда-нибудь уехать,— сказал он.

Она испытующе поглядела на него, потом довольно долго шла молча.

— Последнее время ты часто дерзил мне и вел себя отвратительно.

— Пойми меня,— взмолился Хольт.— В апреле и в мае очень было тяжело и вдобавок...

— Вдобавок что?

— Я попал в заколдованный круг, только сейчас, когда это позади, я понимаю, в какой депрессии находился. Я сомневался во всем. Более того...— он запнулся, а она ободряюще подтолкнула его локтем,— я не знал даже, хочу ли я тебя.

Она звонко рассмеялась и пожала ему руку.

— Еретика на костер!

— Ты сердишься на меня? — спросил он.

— Ужасно! Тебе придется принести присягу, что ты...

Улица, по которой они шли, лежала в развалинах. А над руинами царил мирный вечер.

— Сегодня все, как в тот день, когда мы с тобой познакомились. О чем ты, собственно, думала тогда?

— Так не спрашивают, ты никогда не научишься вежливости. Ну можно ли принуждать женщину думать о том, о чем лучше не думать. Что должно быть неясно и смутно. Женщины не любят размышлять о чувстве.

— Но почему?

— Зачем мне сознание своей слабости? Тебе этого не понять. У вас все по-другому...

Он действительно плохо понимал ее.

— Я тогда чувствовал себя рабом.

Она засмеялась.

— Женщина хочет немножко бояться мужчину, иначе ей становится скучно.

— Как мог я тогда предполагать, что ты...

— Не волнуйся и договаривай. Что я замужняя женщина и так далее, это ты хотел сказать? Вот она, твоя неопытность. Будь ты постарше, ты бы знал, что всего легче добиться любви замужней женщины.— И, словно дразня его, продолжала: — Каждая замужняя женщина доступна. Каждая! Мужчина только должен дать ей почувствовать, что сопротивление бесполезно.

Ему был неприятен этот разговор. Он вызывал в памяти все то сомнительное, нечистое, что было в его отношении к ней.

— И все-таки я думаю, ты будешь очень недовольна, если я в один прекрасный день потребую большего.

— Да. Потому что твое упрямство глупо!

— Неужто ты не понимаешь, не видишь, как мне тяжело играть только второстепенную роль в твоей жизни!

— Если бы ты, большой ребенок,— сказала она,— был хоть чуть-чуть поопытнее, ты бы понял, что скорее моему мужу надо жаловаться...— она умолкла.— Может, хоть сегодня они нас оставят в покое.

И правда, ночь прошла без воздушной тревоги. На рассвете Хольт спал крепко, без сновидений. Вдруг фрау Цише стала будить его. Во сне он забыл обо всем — о батарее, о войне, о зенитках и, проснувшись, почувствовал разочарование.

— Слушай! — крикнула фрау Цише и повернула ручку маленького радиоприемника на ночном столике.

Хольт недоуменно жмурился. Из приемника рвались слова:

— «...противник начал свое давно готовившееся и давно ожидаемое нами вторжение в Западную Европу... вступил на кровавый путь по велению Москвы... в ряде мест противнику удалось высадить... в бухте Сены... крупные воздушные десанты... прямое попадание в военный корабль... бои против войск вторжения в полном разгаре...»

Она выключила радио и стала трясти его.

— Да проснись ты наконец! — Потом сказала: — Ну, ты доволен?

Его знобило, и он натянул стеганое одеяло до подбородка.

— Это будет новый Дьепп.— У него точно пелена с глаз упала: «Так вот почему перестали появляться бомбардировщики!»

Фрау Цише сунула ему в рот зажженную сигарету.

— Вот и война на два фронта.

Он еще боролся со страхом, но все-таки сказал:

— Не будь же такой пессимисткой!

Фрау Цише пошла вместе с ним в ванную комнату. Он брился. Она высоко подобрала волосы обнаженными руками и спросила:

— Ты хочешь идти на батарею?

— Теперь я обязан быть там,— ответил он.

■

Гюнтер Цише стоял перед бараком вместе с несколькими новичками из Силезии.

— Наконец-то и американские войска почувствуют наши сокрушительные удары,— говорил он.

Фетер, как всегда растрепанный, высунувшись из окна, съязвил:

— Смотри, как бы бомбардировщики не дали тебе сокрушительного удара по черепу!

Во время школьных занятий Вольцов стоял в комнате, наклонившись над своими картами. Несколько дней спустя он еще ниже склонялся, еще больше задумывался, глядя на карту.

— Русские наступают на Карельском перешейке!

Цише комментировал это по-своему:

— Натиск русских в Карелии — свидетельство их слабости.

— В Нормандии,— продолжал Вольцов,— войска вторжения вчера соединились.

— Тем лучше,— кричал Цише,— значит, мы одним ударом сбросим их в море.

Диктор в маленьком приемнике Цише проговорил:

— «Штурм начался. Грудь каждого немца вздымается в предчувствии решительного часа».

Вольцов долго чесал затылок.

На построение после обеда пришел Кутшера.

— Внимание! Я получил известие, сегодня оно будет передаваться по радио, дело началось! Час возмездия настал! Не разговаривать в строю! Начиная с сегодняшнего утра Лондон находится под непрерывным огнем новых немецких сверхтяжелых снарядов.

Через несколько дней стали известны дополнительные подробности и название — «фау-1».

Разговоры о применении новых снарядов заставляли забыть удручающие сообщения из Франции. Радио и газеты соревновались в оптимизме, и Гомилка был единственным, кто скептически отнесся к известию о том, что американцев выбили из Котантена. На следующий день на батарее узнали о падении Сен-Совёра.

Английские и американские бомбардировки начались снова, и с неистовой силой. Один за другим, почти без перерыва, следовали американские дневные налеты на близлежащие промышленные объекты и английские ночные — на Оберхаузен, Дуйсбург и Гельзенкирхен.

Оптимизм и восторженное настроение уже совсем отошли в прошлое. А одно известие, поначалу просочившееся как слух, но вскоре подтвердившееся, повергло в страх всех юнцов. Севернее Реклингхаузена, а также под Дуйсбургом и Дортмундом бомбардировке подверглись зенитные батареи. Самолеты-разведчики средь бела дня обозначили район огневых позиций дымовыми сигналами, а бомбардировщики, заходившие волна за волной, сбросили свой груз на орудия.

— Придет и наш черед,— сказал Гомилка.

Хольтом овладевал страх. При звуке колокола, которым подавался сигнал воздушной тревоги, у него мороз пробегал по коже. Успокаивался он, только заслышав грохот орудий. «Я должен, должен подавить страх,— убеждал он себя.— Хотя в конце концов я не хуже других, все боятся».

Цише три раза в неделю слушал комментарии Ганса Фриче и пытался вдохнуть бодрость в своих товарищей. Вольцов между тем в задумчивости стоял над картой.

— Генеральное наступление на Востоке,— говорил он.— Ребята, что там делается! — От его спокойствия Хольту становилось жутко.

■

Цише был в городе, Рутшер, Фетер и Кирш играли в скат. Вольцов достал из шкафа свои карты. Хольт вскочил с кровати и с наигранным безразличием спросил:

— Ну, что нового?

Подошел и Гомилка.

— Все это выглядит довольно серьезно,— сказал Вольцов.— Полуостров Котантен в руках американцев.— Он развернул карту Франции.

Хольт следил взглядом за острием циркуля, которое Вольцов остановил на Шербуре, и с облегчением воскликнул:

— Так ведь полуостров Котантен только малая часть Франции!

— Тем не менее это стратегическое пространство,— пояснил Вольцов.— Теперь они могут позволить себе наступление широким фронтом. Но все это еще вполне безобидно по сравнению с тем, что делается на Востоке.

— Разве там все уж так плохо складывается? — удрученно спросил Хольт.

В комнату вошел Готескнехт.

— Продолжайте!

— До двадцатого июня,— снова начал Вольцов,— немецкий фронт проходил следующим образом: от Черноморского побережья западнее Одессы через Яссы до Карпат и далее на север от города Броды до Припяти. Здесь, на центральном участке, фронт огромной дугой километров на триста углублялся на восток. Он шел вдоль Припяти, затем поворачивал на северо-восток до Жлобина и Рогачева, дальше, тоже дугой, дважды пересекал Днепр и, обогнув Витебск, тянулся на запад до самого Полоцка, где примыкал к северному участку. Потом, идя строго на север, он огибал с востока Чудское озеро и подходил к Нарве.— Вольцов показывал линию фронта на карте.— Когда я смотрел на эту дугу, мне становилось смешно, ведь в любом учебнике стратегии и тактики мы читаем, что такие изгибы фронта гибельны, вспомните сражения на Волге! Правда, гигантский южный фланг здесь, в центре, на протяжении трехсот километров, прикрыт Припятскими болотами. Ни один человек не в состоянии летом вести боевые действия в этих краях. Тем не менее вся дуга с ее огромной протяженностью — яйцо уже подпорченное, если можно так выразиться. Вот русские и нанесли свои удары по этой дуге в четырех местах,— продолжал Вольцов,— тут, по обе стороны Витебска, тут, возле Орши, у Могилева и, наконец, по обе стороны Бобруйска. В сводке верховного командования в первый же день сообщалось о «неглубоких вклинениях», которые будто бы локализованы. Правдой это было только до следующего утра. Возьмем, к примеру, оба прорыва севернее и южнее Витебска. Двадцать первого там началось наступление, а уже двадцать третьего русские прорвали нашу оборону в двух местах, и двадцать четвертого оба их клина соединились. То, что в сводках верховного командования еще долго упоминалось о тяжелых оборонительных боях и тому подобное,— это обычная болтовня, а на самом деле...— Вольцов заколебался.

— Что же на самом деле? — спросил Готескнехт.

— Господин вахмистр, если русские уже далеко продвинулись на запад, а восточнее, в районе Витебска, идут тяжелые бои, это может значить только одно — котел.

Молчание. Готескнехт судорожным движением вытащил сигарету и закурил.

— Кольцо вокруг Витебска замкнулось,— говорил Вольцов.— Русские продвигаются на запад с такой быстротой, что у меня на душе кошки скребут! То же самое, надо думать, произошло в районе Орши и Могилева. Нам сообщали о «неглубоких вклинениях», а днем позже уже назывались пункты, расположенные много западнее. Но хуже всего, по-моему, дело обстоит вот здесь — удар на бобруйском направлении, видимо, обладал чудовищной силой. Я очень внимательно следил за ходом боевых действий на этом участке, особенно когда русские форсировали

Днепр севернее Бобруйска. Я знаю, это звучит как глупая шутка, но похоже, что русские переправлялись через реку одновременно с нашими дивизиями! И теперь там образовался огромный котел. Во всяком случае, сейчас бои идут уже между Могилевом и Березиной, хотя наши продолжают еще сражаться в районе Могилева, Орши и Бобруйска. Да, котел огромнейший.— Вольцов отложил циркуль и обеими руками опер-ся о стол.— Оршу сдали, Могилев тоже, Бобруйск окружен. Между Днепром и Березиной действуют русские. Со дня на день они достигнут Березины. Видимо, они уже вышли на оперативный простор, а на севере, от Нарвы до Полоцка, наш фронт, можно сказать, повис в воздухе, да еще с открытым южным флангом. Войскам противника, прорвавшим нашу оборону севернее Витебска, достаточно повернуть на север, и они обойдут Полоцк, если, конечно, у противника нет других планов. Например, мощными охватывающими ударами в направлении на Минск окружить группу армий «Центр» и как можно скорее выйти к границе Восточной Пруссии.

Готескнехт был очень серьезен, спрашивая:

— Что же нам тогда делать?

Вольцов улыбнулся.

— Это экзаменационный вопрос для генштабиста, господин вахмистр! Среди классических принципов военного искусства один остался незыблемым и поныне — при любых обстоятельствах не допускать окружения своих войск. Я бы лично попытался создать новый фронт обороны на линии Минск — Слуцк.

Готескнехт долго рассматривал карту, потом, не поднимая глаз, сказал:

— Но такой фронт будет уже чертовски близок к Восточной Пруссии!

Вольцов пожал плечами.

— Раньше, чем на линии Двинск—Минск—Слуцк, русских не остановить, тут я готов голову прозакладывать.

Готескнехт поднялся, надел фуражку и, глядя потемневшими глазами на Вольцова, спросил:

— Но вы ведь доверяете фюреру и его людям?

— Так точно, господин вахмистр!

Готескнехт постучал согнутым пальцем по столу.

— Я бы не советовал часто устраивать такие обсуждения, а напротив, рекомендую с неослабным доверием уповать на нашего фюрера, особенно когда в комнате находится Цише. Вы меня поняли?..

— Так точно, господин вахмистр!

— Ну что ж, ложитесь-ка поскорее спать, ребята, ночью вряд ли удастся выспаться.

— Спокойной ночи, господин вахмистр!

Вольцов молча сложил карту. Гомилка подошел к окну, за которым спускались предвечерние сумерки.

— Ну и оригинал этот Готескнехт,— заметил Хольт, и тут же тихо и быстро добавил: — Гильберт, скажи по чести, ты не ошибаешься? Все действительно обстоит так, как ты говоришь?

— Я могу ошибиться, и все окажется еще значительно интереснее. Ведь я понятия не имею, сколько дивизий попало в котел и какими резервами мы располагаем на западе.

— В таком случае не понимаю, как ты можешь равнодушно говорить об этом. Что же будет дальше? Речь ведь идет о Германии! Неужто тебя это не трогает?

— Меня? — удивленно переспросил Вольцов.— Но ведь одно ничего общего не имеет с другим. Ты можешь валяться в грязи и тем не менее

здраво судить о создавшемся положении. А кроме того, что толку вешать нос на квинту?

— Я так не умею. Я всегда думаю — а что же дальше?

— Откуда нам знать? Фюреру что-нибудь уж придет на ум. Не первая же это война, где армии отступают, а потом победа все-таки остается за ними. После битвы при Каннах Рим был беззащитен, и никто гроша ломаного не дал бы за Римскую империю, а как все обернулось?— Вольцов привел еще множество исторических примеров.— Фридрих после Кунерсдорфа... Чудо на Марне в 1914 году, французы тогда были не в лучшем положении, чем мы сейчас...

Эти аналогии возымели действие. Хольту стало стыдно: «Мой дух неустойчив и слаб. Ничто не потеряно, если каждый будет неуклонно выполнять свой долг».

II

В июле все еще стояла хорошая погода. В воскресенье Шмидлинг, прислонившись к стенке орудийного окопа, рассказывал, какие планы он лелеет на время отпуска. Цише был в наушниках. Вдруг он изменился в лице.

— Несколько больших групп скоростных бомбардировщиков над Голландией. Возможно нападение с малых высот!

«С малых высот? — удивленно подумал Хольт.— А почему бы, собственно, и нет».

Вольцов всерьез принял это предупреждение.

— Начиная с пасхи, они везде бомбят с малых высот. Зепп, Вернер, готовьте снаряды для стрельбы по низко летящим самолетам!

Прошла минута, другая. На командирском пункте какой-то голос прокричал:

— Направление девять, шум моторов! — И сразу же: — Направление девять, самолеты противника!

Вдали на небольшой высоте прошла группа одномоторных самолетов. Вдруг шум моторов стал стремительно нарастать. Цише прерывающимся голосом крикнул:

— Направление девять, самолеты на малой высоте.

У Хольта остановилось сердце. Непроизвольным рывком он повернул орудие на запад.

Взрывной волной Хольта бросило на пушку, орудийный окоп наполнился дымом, зазвенела сталь, затрещали деревянные подпоры. Один из самолетов ринулся на орудие и так низко прошел над ним, что сквозь стекло кабины видно было неподвижное, как маска, лицо летчика. Хольт бросился в убежище. Вольцов, надевая каску, крикнул:

— Орудие вышло из строя! Поврежден накатник! Вернер, Кристиан, бегом... к «Берте»!

Серая куча бараков у проезжей дороги была объята пламенем. Рядом с орудийным окопом зияла большая воронка. Не помня себя, Хольт бежал. Шум моторов, невыносимый шум моторов, и он бросился наземь. Самолеты пронеслись над ним. Хольт поднялся, добежал до орудия. Фетер и Гомилка с обнаженными головами открывали нишу с боеприпасами, Вольцов, торопясь, вкладывал в ствол снаряд. Снова пронесся самолет. Хольт втянул голову в плечи. Орудие дернулось. Хольт не слышал выстрела, туча дыма заволокла все кругом.

— Левее, Вернер, так, так! Еще ниже, Зепп!

Прогремел выстрел, орудие снова качнулось, Хольт облегченно вздохнул: «Стреляет Гильберт!» Фетер проревел:

— Новая волна. Направление девять, самолет!

Но машина уже промчалась над их головами.

Вольцов нажал на спуск, прогрохотал выстрел.

— Точка! Гильзу заело!

Внезапно воцарилась тишина. Гомилка застонал:

— Проклятие!.. О-о, проклятие!

Хольт, шатаясь, поднялся с сиденья. Вольцов высматривал что-то над бруствером. Вдруг он крикнул:

— Ушел! — и добавил: — А здорово полыхает, только капитанская хибара еще цела!

Хольт снял каску и ощупал голову. Огонь трещал. Они вышли на воздух. На командирском пункте толпился народ. С севера от орудий донесся протяжный крик:

— Са-а-а-нита-а-а-ров сюда!

От барака «Антон» остались одни развалины. Шмидлинг недвижно лежал в луже крови. Около него стояло несколько перепуганных силезцев.

— Помогите кто-нибудь Цише! — крикнул чей-то голос.

Цише был придавлен балкой, ноги его по колена были засыпаны землей. Он не шевелился, широко открытые глаза, казалось, выступали из орбит, нижняя челюсть дрожала. Балку подняли и из-под нее извлекли Цише.

Потом все сгрудились вокруг Шмидлинга. Он лежал ничком, вонзив пальцы в землю.

— А он меня назвал трупом! — воскликнул Фетер.— Вот бы посмотрел на себя.

— Заткнись лучше,— посоветовал Гомилка.

Хольт стоял молча, не сводя глаз с мертвого Шмидлинга. «У него четверо детей»,— думал он.

Цише поднялся целый и невредимый, только руки и ноги у него дрожали.

К орудию подошел Готескнехт.

— Потери?

— Шмидлинг убит, Цише слегка контужен,— доложил Вольцов.

Пятеро убитых и одиннадцать раненых. Таков был итог воскресного утра. Молоденькая телефонистка заживо сгорела в канцелярии. Четыре орудия получили повреждения, два уже к вечеру были исправлены. У «Антона» снарядом разбило накатник. В Шмидлинга, видимо, угодил осколок. В «Дору» также попала бомба. Два номера из расчета «Доры» убиты, пятеро ранены. На командирском пункте погиб Надлер.

■

После обеда капитан вместе с Готескнехтом обходил комнаты. Цише лежал на своей койке, дрожь у него не унималась. Кутшера распахнул дверь и крикнул:

— Как дела?

Взгляд его упал на Цише, лежавшего на соломенном тюфяке.

— Что за вид у вас, старик?

Готескнехт что-то шепнул ему, и Кутшера спросил:

— Хотите в госпиталь?

Цише замотал головой:

— Ни в коем случае, господин капитан.

Кутшера удовлетворенно кивнул. На глаза ему попался Хольт.

— Не могли раньше прийти на помощь Цише, бандиты эдакие?

— Господин капитан, я поначалу его не заметил. Мы мчались к «Берте» и ни о чем другом не думали.

Кутшера опять кивнул.

— Ну, Вольцов, только смотрите, честно — очень страшно было?

Вольцов склонил голову набок и взглянул на капитана.

— Господин капитан, нам необходимы две двадцатимиллиметровые пушки! Наш огонь по низколетящим самолетам малоэффективен.

— Умничать каждый умеет,— отрезал капитан и взялся за ручку двери.

Хольт улегся. Закрыл глаза. «Все миновало, а если и повторится — пускай, не так было страшно, как я думал. Некогда было бояться. Вот так же, наверно, некогда чувствовать боль, если угодит в тебя... Шмидлинг умер быстро». И вдруг Хольта охватил ужас при мысли, что он мог лежать вот так, как Цише, в полнейшей прострации, устремив глаза к небу, в котором лютуют вражеские самолеты... «О, это страшно!»

Санитар принес Цише снотворное. Но только он вышел, как Цише вышвырнул таблетки за окно.

— Молодец! — одобрил Вольцов.

Хольт думал: «Цемтцкий, Надлер... Уже двое из нашего класса. И Шмидлинг. Шмидлинг так боялся фронта, а убило его в родных местах. На фронте он, возможно, остался бы жив. Может быть, ему суждено было пасть? Что это — рок, предназначенье? Или только случайность?»

Дежурный унтер-офицер рванул дверь.

— Проверить проводку, ребята!

Хольт, Вольцов и Фетер пошли к «Берте». Пленные засыпáли воронки, исправляли настилы, убирали остатки сгоревших бараков.

Кутшера приказал выдать своим людям водки и консервированного мяса. Вольцов откупорил бутылку и протянул ее Цише.

— Сегодня твоя очередь первая. Если б ты вечно не нес околесицу, мы бы с тобой могли быть лучшими друзьями.

Цише улыбнулся и отпил из бутылки. Вольцов приподнял его руку, державшую бутылку:

— Еще немножко, старик!

Цише поперхнулся, водка пролилась ему за ворот.

— Хорош германец,— съязвил Вольцов,— даже пить не умеешь.— Он передал бутылку дальше.

Алкоголь обжег глотку Хольта. Мурашки побежали у него по спине. Но благотворное тепло разлилось по жилам, а заодно пришла ясность и довольство. «Жизнь *все-таки* хороша! — думал Хольт.— Она опасна, но жить стоит. Сейчас пойду позвоню Герти».

В блиндаже на командирском пункте, временно служившем канцелярией, сидел Готескнехт и читал «Фёлькишер беобахтер». Хольт набрал номер телефона фрау Цише.

— Вернер! Слава тебе господи! Здесь ходят самые страшные слухи, неужто это правда?

При Готескнехте Хольт не хотел называть ее по имени.

— Приходи! — сказала фрау Цише.

— Сегодня это невозможно.

— Цише жив-здоров? — спросила она под конец.

— Ему повезло,— отвечал Хольт. Теперь Готескнехт, конечно, догадался, с кем он говорит.— Не ранен, только нервы сдали.

Ему показалось, что разговор прерван.

Но вот опять послышался ее голос:

— Жаль, что тебе нельзя отлучиться. Приходи поскорей, да смотри береги себя.

«Она обо мне беспокоится»,— подумал он, кладя трубку.

Вечером Цише все же пришлось отправить в госпиталь. Озноб не прекращался.

— Надеюсь, он не останется навек трясуном,— заметил Рутшер.

Санитар с видом знатока объяснил:

— Ему введут протонзил, и он опять будет человеком.

Вольцов весь день проторчал в столовой.

— Там сидят эсэсовцы из лагеря военнопленных,— рассказывал он вечером,— и ведут какие-то таинственные разговоры.

■

Ночью небо грохотало. Далеко на востоке полыхали пожары.

— Дортмунд! — сказал Хольт.

Он был теперь командиром орудия «Берта». Вокруг все гремело от огня зениток. Вскоре и 107-я батарея открыла огонь.

— Только у орудия жизнь еще кажется сносной,— заметил Хольт.

Под вечер он в изнеможении повалился на свою койку. Вдруг в дверь просунулась голова Гомилки, который вызывал его в коридор. Гомилка был явно взволнован.

— Ты только посмотри! — показал он рукой в окно.

Русские военнопленные засыпáли на огневой позиции воронку. Вдруг конвоир-эсэсовец ударил прикладом одного из пленных и, когда тот упал, стал топтать его ногами.

Хольт ринулся обратно в комнату, где Вольцов, Фетер и Рутшер играли в карты.

— Гильберт, там эсэсовец избивает пленных!

— Ну и?.. — удивился Вольцов.— Мне-то что за дело до русских?

— Мы не должны допускать такого, Гильберт!

— Отвяжись от меня с этой ерундой,— разозлился Вольцов.

Но Хольт закричал:

— Помни, ты поклялся, что если я тебя попрошу...

«На что я пускаюсь?»

Вольцова все это не устраивало.

— С этим парнем ты и один справишься.

Теперь Хольт твердо знал: это безумие!

— Давай мне в дядья генерала, и я обойдусь без помощника.

Вольцов все еще был в нерешительности. Затем разозлился, швырнул карты на стол и мрачно взглянул на Хольта.

— Да, собственно, мне все равно, с кем драться.

Хольт понимал, что Вольцов сожалеет о данном им слове.

Фетер распахнул окно. Избитый военнопленный все еще лежал на земле. Остальные продолжали работу. Эсэсовец стоял в сторонке. Вольцов подбежал к нему, крича:

— Эй ты! Может, будешь вести себя здесь малость поприличнее!

— Не то он делает,— прошептал Гомилка.

Что отвечал эсэсовец, разобрать было невозможно. Они слышали только голос Вольцова:

— Кто я? Я старший рядовой вспомогательной службы Вольцов! Хватит с тебя?

Эсэсовец опять что-то проговорил, отступил на шаг и вскинул винтовку. Вольцов продолжал бушевать.

— Лупи этих иванов в лагере, но не у нас на батарее!.. Эй, ты! — Вольцов подскочил к эсэсовцу и схватил его за рубаху.— Ты зачем за винтовку взялся, спятил, что ли? Не хватало еще, чтобы немцы в немцев стреляли!

Он с силой тряхнул его и ушел.

Ни слова не говоря, Вольцов уселся за стол и снова взялся за карты. Потом вдруг накинулся на Хольта:

— Первый и последний раз я позволил тебе втянуть меня в такую историю! Ну тебя к черту с твоими дурацкими идеями! Рохля ты и больше ничего!

Хольт так и подскочил:

— Ты, значит, хочешь порвать со мной? Так прямо и говори! Или ты воображаешь, что я тебя боюсь?

Вольцов изумленно взглянул на Хольта:

— Обалдел, что ли? Я же не с тобой дрался.

■

Ночь у орудия длится долго. Кутшера был в краткосрочном отпуске. На батарее за него остался Готескнехт. Утром во время школьных занятий ребята дремали, сидя на скамейках. Преподаватель монотонно читал им что-то.

В середине урока за Вольцовом пришел дежурный унтер-офицер, чтобы препроводить его в канцелярию батареи. Хольт немедленно пробудился от сна и переглянулся с Гомилкой. Через десять минут дверь снова приоткрылась. Готескнехт кивком вызвал Хольта.

Хольту вспомнился первый вечер на батарее. Тогда у Готескнехта лицо было усталое и постаревшее, но сегодня на нем было написано отчаяние.

— Хольт, вы знаете дядю Вольцова, генерала? Надо немедленно что-то предпринять. Вольцова только что забрало гестапо.

Эти слова Хольт принял как удар. Бессмысленный страх охватил его.

— Я ничего не мог поделать,— словно издалека донесся голос Готескнехта.— С точки зрения военного законодательства, вы, рядовые вспомогательной службы,— гражданские, и военный трибунал вас судить не имеет права. С другой стороны, это облегчает возможность вмешательства сверху.

В блиндаже командирского пункта у телефона дежурил обер-ефрейтор. Готескнехт отослал его и заказал разговор-молнию.

Мысли у Хольта мешались. Наконец он с трудом проговорил:

— А за что?

— Оставьте, пожалуйста,— вскинулся Готескнехт.— Вам это известно лучше, чем кому-либо! Вольцова я знаю, он бы и пальцем не шевельнул. За всем этим стоите вы, Хольт, и никто иной.

— Господин вахмистр, я...

— Придержите язык! Вы оказали своему приятелю плохую услугу! — Готескнехт был взволнован как никогда. — Если бы во всей этой комедии была хоть доля смысла! Но из-за русских ввязаться в драку с эсэсовцами — это же бессмыслица! О чем вы думали?

Зазвонил телефон, лицо Готескнехта исказилось от напряжения.

— Одну минуту, прошу вас, господин полковник!

Он протянул трубку Хольту и прошептал:

— Добейтесь, чтобы сам генерал подошел к телефону!

— Господин полковник! — хриплым голосом крикнул в трубку Хольт.— У телефона старший рядовой вспомогательной службы Хольт. Нельзя ли мне переговорить с господином генералом Вольцовом? Это касается его племянника.

— Убит? — спросил чей-то резкий голос.

— Нет, господин полковник. Но дело неотложное.

Где-то в трубке, далеко-далеко раздался сигнал «занято». Хольт шепнул:

— Он пошел за ним.

Готескнехт торопливо зашептал:

— Скажите, что он вмешался только потому, что это происходило под самыми окнами барака. Может, со сна или что-то в этом роде. Скажите — все чистое недоразумение!

На другом конце провода послышались шаги. Спокойный голос сказал в трубку:

— Вольцов. В чем дело?

Хольт, запинаясь, рассказал как и что.

В трубку закричали:

— Да будет вам известно, что мне надоели комедии с этими соплями!

— Господин генерал!..— в отчаянии проговорил Хольт.

Но разъяренный генерал крикнул:

— Вы что же думаете — я господь бог? — И уже спокойнее добавил: — Посмотрим, что тут можно сделать. Всего. — Трубку положили. Кончено. Хольт отер пот со лба.

— Что он сказал? — нетерпеливо спросил Готескнехт. И коротко рассмеялся.— Зол? Еще бы.

Только сейчас Хольт полностью уяснил себе, что́, собственно, произошло. Если Вольцов назовет его как зачинщика, он, Хольт, будет немедленно схвачен, и никто не поможет ему выпутаться из петли.

— Ну, как мне доложить об этом капитану? И что мы будем делать, если они и вас заберут, Хольт?

— Господин вахмистр,— отвечал Хольт, мобилизуя всю свою волю, чтобы не обнаружить страха,— я прошу вас доложить начальству, что... зачинщик я! — Он всей душой уповал на то, что вахмистр отклонит эту просьбу.

— Вы кретин! — сказал Готескнехт.— Дурак, да еще скоропалительный, а это уж многовато! Теперь вы, наверно, воображаете себя очень благородным. Подлинно тевтонская честность, а? Из дурацкой мальчишеской выходки вы хотите сделать заговор с зачинщиками, пособниками и прочим? Это была идиотская мальчишеская выходка, понятно? Вольцова хлебом не корми, дай только в драку затесаться. Это здесь все знают. Он дерется с каждым встречным и поперечным, а на сей раз, случайно, подрался с эсэсовцем. Причина? Ему причин не требуется. Дерется из спортивного интереса! Вот вам и вся вчерашняя история!

— Так точно, господин вахмистр!

— Запомните на случай, если вас спросит командир или еще кто-нибудь. Но что же мне-то с вами делать? — Он подумал.— Знаете что — исчезните. Если о вас спросят, я скажу —ушел по увольнительной. Таким образом мы оттянем время, а там начнет действовать генерал. Завтра угром вы уже будете на батарее. Повсюду не разгуливайте, а ждите меня у «Антона», я туда приду и скажу вам, как обстоят дела. Идите. Да, кто еще знает об этой истории?

— Гомилка, Рутшер и Фетер.

Готескнехт только покачал головой.

■

Хольт переоделся и через лес побежал к трамваю, но передумал и пошел пешком. «Какое счастье, что есть на свете Герти». Он позвонил ей по телефону. Никто не ответил. Он зашел в кафе и сел в углу, подальше от двери. «Может, они уже выслеживают меня?»

Гестапо — привычное слово. Но представление, с ним связанное, туманно и смутно. Хольт вспомнил, как учитель истории комментировал характер всех национал-социалистских организаций, а также сущность и задачу тайной полиции, гестапо. Хольт даже попытался вызвать в памяти некоторые из этих определений. Тайная полиция — неумолимый страж внутренней безопасности рейха или что-то в этом роде. Омоложенный немецкий народ твердо и беспощадно защищает свою расовую

основу, свое единство и мощь. Или гестапо — это рука фюрера, которая немилосердно истребляет всех врагов рейха, и т. д.

Только сейчас Хольту пришло на ум, что каждое из этих определений было сопряжено со словом «немилосердно», «беспощадно», «жестоко», и это уже само по себе сообщало нечто страшное понятию «тайная полиция». «Во что я ввязался! Что вызвал на свет божий? Чем это кончится?» Воспоминания, далекие, разорванные, только памятью сплавленные воедино, снова и снова вставали в его сознании. «...Отец Рут так и не вернулся домой, и никто не знает, где он теперь...» — рассказывала Мария Крюгер. Никто не знает, где он теперь... «В генерал-губернаторстве эсэсовцы сотнями тысяч истребляют евреев». Это уже слова Герти. И отец в своей душной комнатушке: «...Эсэсовцы уничтожают миллионы людей».

Мир ужаса открылся перед ним. Он вскочил, бросил на стол несколько монет и вышел на улицу. Вот телефонная будка. Аппарат не действует. Хольт бежал по разрушенным улицам, покуда не достиг почтамта. Здесь он наконец дозвонился.

— Я только что пришла,— сказала фрау Цише.— Навещала Гюнтера в госпитале... Что слышно? Откуда ты говоришь?

— Мне нельзя возвращаться на батарею раньше завтрашнего утра... Можно мне будет остаться у тебя? — Она засмеялась. Он не понял, чему она смеется.

— Ну что ж, приходи!

Она встретила его в передней, сняла с него каску и под руку повела в комнату.

— Что это с тобой? Неужто надо выдумывать какие-то небылицы, когда ты хочешь переночевать у меня?

Он понял, почему она смеялась, и недовольно сказал:

— Дело не в том. Я попал в очень тяжелое положение.

Она слушала его, и лицо ее мало-помалу каменело.

— А при чем здесь ты?

— Я подстрекнул Вольцова.

— Ты в уме или нет? — взволнованно воскликнула она.— Как ты себе такое позволил?

Вне себя от огорчения он взглянул на ее бледное, враждебно замкнутое лицо.

— Ты права,— устало сказал он.— А я был неправ. Но понять меня ты все-таки должна.

— Нет,— отрезала она.— Ты ошибаешься. Я немка! И сочувствия к таким поступкам во мне нет ни на грош.

— Как же так, как же так!..— задыхаясь от волнения, говорил он.— Разве не ты сбила меня с толку «русской душой»?

— А-а-х...— протянула она, глядя на него с каким-то странным выражением,— выходит, что я виновата в твоем безумии?

— Да, ты! — крикнул он.— Подумай немножко, и ты вспомнишь!

— Э, нет, голубчик,— проговорила она тихо, но с угрозой.— Так не пойдет! Ты, видно, хочешь и меня втянуть в эту историю. Не надейся! У меня характер потверже твоего.— К нему было повернуто ее искаженное лицо.— Не заставляй меня обращаться за помощью к Цише.

Хольт окончательно утратил самообладание. Он хотел ударить ее. Но вдруг им овладели отчаяние и слабость. Не шевелясь, сидел он в кресле. Значит, эти речи о «русской душе» были просто болтовней, всерьез она своих слов не принимала.

— Вину ищи в себе,— снова заговорила фрау Цише,— в нашептываниях твоего папаши, в собственной твоей мягкотелости и антинемецкой терпимости!..

«Ну, это уж слишком»,— возмущенно думал Хольт, не замечая, что и в нем роятся низкие мысли.

— Угроза? А стоит ли пугать меня твоим мужем? Тебе и в голову не придет натравливать его на меня. Право же, я мог бы рассказать ему довольно интересные подробности из твоей жизни.

— Однако ты, оказывается, премилый юноша!

— Не я начал.

— Ты не вправе так со мною разговаривать!

— Ах вот оно что? Тогда мне хотелось бы узнать, что́ еще надо с тобой проделать для получения этого права?

Впервые в жизни он был циничен. Она вздрогнула, как от пощечины.

— Все! — сказал он.— Я ухожу! — Ему уже не доставляло радости позорить ее. Ни стыда, ни удовлетворения он больше не чувствовал, только безразличие и где-то за ним темный и леденящий страх. В передней он никак не мог найти свою каску, а когда, наконец, обнаружил ее на соломенном стуле, дверь гостиной отворилась. Перед ним стояла фрау Цише. Темные глаза пылали на ее побледневшем лице. Она проговорила тихо, но очень отчетливо:

— Сейчас же проси у меня прощения, наглец!

Он посмотрел на нее не без удивления, но снова чувствовал себя скованным ее взглядом.

— Я очень сожалею,— сказал он. И взял ее руку.— Прости меня.

■

Около батареи строились новые бараки. Готескнехт кивком подозвал к себе Хольта.

— Вольцов вернулся! Я так и думал, что это было недоразумение.

— Не знаю, как вас благодарить,— пробормотал Хольт.

— Да идите вы к черту!

В комнате Вольцов сидел за завтраком и разглагольствовал:

— Минск мы сдали! Как видите, я был прав!

Когда вошел Хольт, он непринужденно воскликнул:

— Значит, снова дома! — и убрал в шкаф хлеб и колбасу.— Зепп, Вернер, пошли к орудию.

У орудия он начал рассказывать.

Его втолкнули в машину и привезли к обер-группенфюреру. Он, Вольцов, тотчас же подтвердил предъявленное ему обвинение — оскорбление эсэсовца во время несения службы,— но категорически отрицал, что это произошло из-за русского. Он твердо стоял на том, что все носило глубоко «частный» характер, даже когда ему пригрозили силой принудить его к признанию. Потом его заперли в подвальную камеру, но уже через два часа выпустили и опять повели к обер-группенфюреру. За это время, видимо, последовал звонок из Берлина, потому что обходились с ним теперь значительно мягче. Если он скажет истинную причину, побудившую его наброситься на конвоира, то немедленно будет отпущен. Тут он вспомнил, что вечером, накануне всего происшедшего, эсэсовцы, сидя в столовой, отпускали довольно грубые шутки в адрес девушек, пришедших к зенитчикам. Это-то он и выставил причиной. Эсэсовцы позволили себе поносить немецких женщин, а этого он выдержать уже не мог. Его показания запротоколировали.

— Ну а потом они меня отпустили.

— Я боялся, что ты выдашь меня,— сказал Хольт.

Вольцов взбесился:

— Если тебе еще раз придет такая идиотская мысль, ищи себе в друзья кого-нибудь другого. Только помни, что я твоей гуманистиче-

ской ерундой сыт по горло. Бери пример с Цише! У него солдатской выдержки побольше, чем у тебя.

Июльские дни шли и шли, то сухие и знойные, то серые и дождливые. В один из пасмурных дней батарея снова была атакована с малой высоты. Целая цепочка «мустангов» ринулась на орудия «Цезарь» и «Дора». На этот раз было двое убитых и шестеро тяжелораненых.

— Это еще только начало, можете быть уверены,— изрек Гомилка.

12

— Хольт,— сказал как-то раз Готескнехт,— хоть вы этого и не заслужили, но я дам вам хороший совет. Подайте-ка немедленно рапорт с ходатайством об отпуске, вы, Вольцов и Гомилка. Сделайте это, пока не поздно! Как у нас обстоит дело с кадрами, вы знаете не хуже меня. Еще двое-трое убитых, и отпуска будут отменены.

Над Рурской областью висел зной. Дымкой подернулось полуденное солнце. Все двери и окна барака стояли раскрытыми настежь, но в раскаленных комнатах не чувствовалось никакого освежающего дуновения.

«Надо немедленно ходатайствовать об отпуске»,— решил Хольт.

Вольцов читал вслух газету.

— «...Таким образом, битва на Востоке становится все более трудным испытанием для солдат. Наши боевые группы на отдельных участках оказывают упорное сопротивление продвижению советских механизированных соединений...»

— Ты тогда правильно определил положение,— заметил Гомилка.

Вольцов продолжал читать.

— «Хотя противнику удалось прорваться к Минску с юго-востока и северо-востока, немецкие войска, действующие юго-восточнее города до самой Березины, продолжают отражать непрекращающиеся попытки противника прорваться на запад».

— Значит, котел,— сказал Гомилка и взял газету из рук Вольцова.— Вдобавок из этого явствует, что война на Востоке стала маневренной или, как говорят: «Противник пытается сохранить свободу маневра».

Хольт искоса взглянул на Цише. Тот спал или притворялся спящим.

— И что же, мы не принимаем никаких контрмер? — поинтересовался Хольт. — Читай-ка сводку верховного командования.

Гомилка стал просматривать газету.

— Контрмеры? — Лицо у него подергивалось.— Стоп! «Фронт вторжения». Итак: «На центральном участке Восточного фронта наши войска в условиях мучительной жары ведут бои, неся при этом большие потери...»

Вольцов перебил его:

— Что-то там произошло!

Цише, по-прежнему сонный, поднялся.

— Такого еще за всю войну не было,— глубокомысленно заметил Гомилка.

— Нечего строить недоверчивую физиономию, Цише! Почитай сводки верховного командования, начиная с польской кампании и до сегодняшнего дня. Впервые мы пишем «неся большие потери».

Вольцов читал дальше:

— «Героический гарнизон Вильно...»

— Вильно? — испуганно крикнул Хольт.

— «Минуя Вильно, противник продвигается дальше на запад и юго-запад». Контрмер что-то не видно.

Хольт сидел подавленный. Всего несколько минут назад он радовался отпуску. Сейчас радость была отравлена. Он удивлялся, как это другие равнодушно выслушивают столь убийственные сообщения. «Или они лучше умеют скрывать свои чувства?»

■

Они подали рапорты об отпуске. Хольт опять подумал: «А на что мне, собственно, этот отпуск? Ехать к матери? Нет. К отцу? Нет». Хольт с самого рождества ничего о нем не знал. Оставалось, значит, приглашение Вольцова. Вольцов и Гомилка настойчиво уговаривали его ехать с ними. Когда есть друзья, все не так уж плохо. А может быть, между ним и Вольцовом началось отчуждение? Он вспомнил о заброшенной даче, о летних днях у реки, об Уте. Неприятная мысль. Ведь на свете все-таки есть фрау Цише. Нельзя ему уехать в отпуск, не повидав ее. А что, если она сейчас свободна, и они смогут уехать вместе, как тогда, на рождество?

Хольт чуть не бегом бежал к трамваю. У центрального вокзала он вышел и дальше отправился пешком. Через десять минут он уже звонил у двери фрау Цише. Она почему-то была в пляжном костюме, в кухне во льду стояло несколько бутылок пива.

— В связи с последними налетами Цише настаивает, чтобы я уехала. К нему в Краков! Не говоря уж о том, что на меня здесь зубы точат из-за большой квартиры. Цише пишет, чтобы я отдала две комнаты, а то пойдут разговоры, что национал-социалисты только для себя стараются. И почему в Краков? Там же скоро будут русские. Здесь в убежище мне куда спокойнее.

— Подожди, я хочу кое-что обсудить с тобою.

Он изложил ей свои планы. Она задумалась.

— Конечно, хорошо бы. Я знаю один уголок в Баварских лесах... Нет! Ничего не выйдет! У тебя отпуск, домой ты не едешь, и вдруг я уезжаю в неизвестном направлении... Это не может не броситься в глаза.

После отбоя очередной воздушной тревоги Хольт лежал рядом с нею в постели. Окна были распахнуты. Он еще раз попытался уговорить ее.

— Разве у тебя нет родственников, к которым ты могла бы поехать?

— Нет, нет, это невозможно! Мне очень жаль.

Ему послышались шаги в квартире. «Ерунда, никого здесь нет».

— А если тебе поехать раньше, а потом приеду я... Кто же догадается...

Дверь открылась, на пороге спальни стоял Цише, старший рядовой вспомогательной службы Цише собственной персоной, держа в правой руке каску. Хольт обомлел, но успел прикрыть одеялом фрау Цише.

Цише беспомощно лепетал: «Ага... ага... ага!» и, прежде чем они успели отдать себе отчет, скрылся, словно призрак. Дверь осталась распахнутой настежь. Потом щелкнул замок в передней. Хольт в ярости шипел:

— Скотина, грязная жирная скотина...

Фрау Цише, бледная, как полотно, дрожала от страха.

— Боже мой, боже мой!

Он пытался ее успокоить, но тщетно.

— Кончено, все кончено, он напишет отцу!

Тут уж и Хольт почувствовал страх. Мысль его лихорадочно работала. «Что делать? Гильберт поможет». А Цише должен поклясться не выдавать их. Но это все чепуха. На Вольцова нельзя рассчитывать, а Цише скорее даст себя убить, чем откажется от удовольствия сделать гадость мачехе и заодно ему, Хольту.

Фрау Цише, не шевелясь, лежала рядом с ним. Она сразу как-то сникла.

— Он выгонит меня,— горестно шептала она,— выгонит, и все тут.

— Погоди еще, он ничего не узнает, я уж об этом позабочусь.

Что именно он сделает, ему было неясно, но до батареи дорога длинная, какая-нибудь мысль уж обязательно его осенит. Он встал, взял свои вещи, пошел в ванную. Окатил голову ледяной водой. Фрау Цише дрожала, несмотря на жару.

— Нельзя допустить, чтобы он написал отцу,— говорила она уже несколько спокойнее,— я не знаю, что́ ты придумаешь, Вернер, но нельзя допустить,чтобы он написал отцу. Ты не знаешь старого Цише, он самолюбив и мстителен.

Страх сжимал Хольту горло. Он причесал волосы и отшвырнул гребенку.

— Посмотрим, что можно будет сделать.

■

Когда Хольт вошел в барак, Вольцов сидел за столом и циркулем что-то мерил на карте. Гомилка читал. Цише в комнате не было.

— Оставь лучше его в покое,— сказал Гомилка.— Он ушел было в увольнение на ночь, но вернулся злой, как черт. Теперь он сидит в столовой и что-то строчит.

«Так, значит, Цише уже пишет отцу? Пора действовать!»

В пустой столовой было сумеречно. За перегородкой на стуле спал повар. У одного из маленьких грязноватых окошек сидел Цише и писал. Увидев Хольта, он сгреб свои бумаги. Хольт, ни слова не говоря, уселся напротив. Лицо Цише сейчас было еще одутловатее, чем обычно, и покрыто красными пятнами, глаза горели ненавистью.

— Послушай-ка... — сказал Хольт.

— Убирайся! — прошипел Цише.

— Ты не кипятись!

Но Цише уже не шипел, а рычал:

— Убирайся! Мерзавец! Мне не о чем с тобой говорить! Ты, ты посягнул на честь моего отца...

— Кричи громче,— предложил Хольт. — Кричи, кричи, пусть в кухне все об этом узнают.

Повар за перегородкой проснулся и в недоумении смотрел на обоих юнцов. Потом встал, запер шкафы и ушел.

— Слушай, что я тебе скажу,— начал Хольт.— Ты видел то, что тебе лучше было бы не видеть. Мы с тобой по-разному на это смотрим, и долго нам разговаривать смысла не имеет. Но то, что ты тут же сел писать своему старику, это, знаешь ли, мерзко! Если ты чувствуешь себя обиженным и есть в тебе хоть немножко мужества, сведи счеты со мной. А своего отца не трогай.

Это была спасительная мысль. Но Цише прошипел ему прямо в лицо:

— Не старайся,— и тут же взвизгнул,— я не позволю тебе посягать на честь моего отца, теперь все тебе припомнится, все: твоя гнилая интеллигентность... твоя антинемецкая распущенность, все, словом, все... — Голос у него прервался. Хольт не нашелся, что ответить. Цише хрипло продолжал: — ...Что ты эту женщину... эту... сделал шлюхой, ты и за это ответишь перед моим отцом!.. Ты, и она тоже! И вы очень пожалеете, что так поступили, очень, очень горько пожалеете!

Раздался сигнал тревоги. Цише схватил в охапку свои бумаги и побежал к орудию.

■

— Группа скоростных бомбардировщиков проходит над северо-западом Франции, приближаясь к границам рейха!

Бомбардировщики не появились. Прошло более трех часов, настала ночь. Зенитчики дремали. Вдруг Цише крикнул:

— Воздушная тревога!

В городах завыли сирены.

— Большая группа самолетов противника проходит над Голландией в направлении района Кёльн—Эссен,— снова крикнул Цише.

Но самолеты противника изменили направление и прошли значительно севернее.

— Ложные налеты, чтобы скрыть действительные объекты нападения,— заметил Гомилка.— Они дурачат нас!

Сирены провыли отбой, позднее в газетах появились сообщения о бомбардировке Большого Берлина.

Хольт оживленно беседовал с Гомилкой. С командирского пункта доносился громовой голос Кутшеры. Несколько прожекторов обшаривали небо. Ночь была светлая, звездная.

И опять налет. На востоке небо казалось огненно-красным. За маленьким леском, побитым осколками бомб, за огородами взвились языки пламени. Один из солдат опустился на землю и закрыл лицо руками.

— У него там семья,— сказал хриплый голос.

— Все равно! — крикнул Вольцов.— Возьми себя в руки!

Воздух дрожал от рева моторов.

— Дюппельные помехи! — крикнул осипшим голосом Цише.

«Ишь, доорался!» — со злорадством подумал Хольт.

— Заградительным! Азимут сорок восемь—двадцать... Взрыватель—двадцать... Угол возвышения тридцать пять—тридцать.

Хольт поправил наушники.

— Заградительным... Огонь! — орал Цише.

На ночном небе вспыхнули красные точки разрывов.

Сухой песок бил Хольту в лицо. Пламя слепило глаза. Он не слышал, как через несколько минут Цише выкрикнул команду:

— Стой!

Все стихло.

И в этой тишине раздался задыхающийся голос Вольцова.

— Сволочи! Они бросают фугасные бомбы в огонь.

Снова тревога. Со стороны Франции соединения бомбардировщиков подходили к району Кобленца—Саарбрюккена.

— Нынче ночью у них обширная программа! — заметил Гомилка.

Вольцов вместе с одним из солдат принялся протирать канал ствола орудия. Только около четырех утра, когда стало совсем светло, им сообщили, что последние самолеты противника скрылись.

Хольт даже представить себе не мог, как уладить ссору с Цише. Натягивая чехол на орудие, он втихомолку наблюдал за своим врагом. Цише вместе с другими отправился в барак и бросился на койку. Хольт вздохнул с облегчением.

«Свою писанину он, разумеется, все еще носит под рубахой,— соображал Хольт.— А что, если отнять у него недописанное письмо?»

Цише спал, слегка всхрапывая. Спали и все вокруг. Только Хольт, вконец измученный, лежал на своей койке и думал об одном: «Что же делать?..»

Около семи, когда раздался сигнал тревоги, он снова побежал к орудию.

Было ясное и холодное утро. По телефону сообщили о приближении скоростных самолетов. Машины летели на юг, вдоль Рейна.

— Большая группа бомбардировщиков и истребителей,— передал Цише.

— Бомбардировщики с прикрытием? — переспросил Гомилка.— Нечего сказать, хороший сюрприз для наших истребителей.

«Только бы не нападение с малых высот!» — замирая от страха, подумал Хольт.

Вольцов разразился громкими проклятиями. Ночная смена — рабочие с местных предприятий, помогавшие зенитчикам,— ушла. Возле орудия остались одни подростки. А весь боекомплект первой очереди был уже израсходован.

— Скорей! — кричал Цише.— Запасные снаряды! Живо!

Они тащили через поле корзины, как вдруг завыла сирена. Хольт бросил пятидесятикилограммовую корзину и стремглав кинулся к орудию. В волнении он позабыл подключить наушники.

Кто-то крикнул:

— Разведчики!

Хольт слышал только слабое гудение моторов. Он взглянул вверх. В небе с чудовищной скоростью мчались три самолета. Вероятно, «локхиды». В прозрачном воздухе поднялись узкие, высокие, резко очерченные столбы дыма. Хольт не сразу понял, что происходит.

— Они обозначают дымовыми знаками наше местоположение! — вне себя от волнения прокричал Цише.

Хольт, все еще ничего не понимая, смотрел во все стороны. Да, над их позицией стояло множество дымовых столбов. Вот очень большой, вероятно, над деревом, над тем, которое подстрижено шаром. А вот позади него еще один, возле столовой. И только сейчас он сообразил: противник обозначает цель, а цель эта — они...

Голос Вольцова тоже звучал хрипло.

— Да, мы влипли сегодня!

Вдали все сильнее нарастал рев моторов.

— Направление девять! Самолет! — надрываясь, орал Цише.

У Хольта в наушниках раздался ясный и четкий голос:

— Азимут сорок девять — тридцать...

— Огонь!

Хольт втянул голову в плечи и крепко прижался к орудию. Им овладело спокойствие. «Стреляет Гильберт»,— подумал Хольт, и не успел еще услышать чудовищный гул, рев приближающегося урагана, как утро погасло, земля вздрогнула, встала дыбом, закачалась, и он полетел в бездну...

Он очнулся. Что произошло? Он ничего не понимал. Воздух все еще дрожал от гула моторов, но орудия уже не было. Кругом — перепаханная земля, расщепленные балки. Вольцов сидел на земле, перед ним на коленях стоял Гомилка и бинтовал ему голову. Хольт сплюнул землю и шлак. Куда же все-таки девалась пушка? Наконец он увидел ее. Она валялась перевернутая. Вместо стройного ствола к небу вздымался обломок крестовины, а дальше на черном шлаке лежали неподвижные серо-синие фигуры. Хольт подполз к Вольцову, который уже успел нахлобучить каску на забинтованную голову.

— Скорее! К «Берте»!

Хольт, шатаясь, поднялся, взглянул на неподвижные фигуры у перевернутого орудия и побежал по изрытому воронками полю. Сквозь дым он увидел группу четырехмоторных бомбардировщиков, летящих низко-низко прямо к их позиции. Хольт бросился на землю. Разда-

лись выстрелы, стреляли два орудия. Вне себя от страха Хольт скатился в огромную воронку прямо на Вольцова. Лицо Гильберта было в крови.

— Вторая волна! — прокричал Вольцов.

Бомбардировщики летели так низко, что за ревом моторов Хольт почти не слышал, что кричал Вольцов. И тут над ними пронесся ураган. Взрывная волна невероятной силы ударила Хольта в грудь. Он задыхался.

— Боеприпасы!.. Взорвались боеприпасы! — простонал ему на ухо Вольцов.

Грохот моторов не затихал. Стреляло уже только одно орудие. Скоро и оно смолкло. Хольт и Вольцов выкарабкались из воронки и бросились к «Берте». Там в укрытии они застали Гомилку, Фетера и одного из силезцев. Все с лихорадочной поспешностью бросились к пушке. Помучившись, Вольцов открыл наконец затвор.

— Вернер — командир, Зепп — первый номер, Кристиан — шестой. Ну-ка, Шрёдер, нечего болтаться без толку, ты будешь седьмым.

Хольт уже повесил себе на шею ларингофон. Просто чудо какое-то: в проводе был ток. С чувством неописуемого облегчения он услышал в наушниках голос Готескнехта.

— Нам нужны подносчики! — крикнул Вольцов.

— Здесь «Берта»,— сказал Хольт.— Расчет из шести человек с «Антона». Нужны подносчики.

— Сейчас пришлю людей с радиолокатора,— ответил Готескнехт.— «Берта»! Кто командир орудия? Хольт, вы?

— Так точно!

— Какие потери у «Антона»?

— Не знаю.

В наушниках послышалось гудение.

— Отвечайте, орудия! Орудия!

— Здесь «Берта»!

— Здесь «Цезарь»!

Остальные орудия не ответили.

— Как дела на командирском пункте? — спросил Гомилка.

— Разрушен.

■

Хольт бегом бежал к «Антону». Земля вокруг орудий казалась перепаханной. Повсюду зияли воронки. Место, где стоял «Антон», превратилось в бесформенную груду земли, из которой торчали куски дерева. Хольт перелез через остатки бруствера, подбежал к опрокинутому орудию и наткнулся на Рутшера. Он лежал раздавленный между бревнами разрушенного убежища и лафетом. Хольту стало дурно. Ему вспомнилась высокая красивая сестра Рутшера... Он перелез через труп. Рядом лежали еще двое. Того, что поменьше, опознать было нельзя. Лицо убитого было расплющено, каска съехала на глаза. Возле лежал Гюнтер Цише. Кабель еще связывал его с орудием. Кровь хлестала из ушей, из носа, изо рта Цише. Лицо его как-то странно раздалось в ширину. Он лежал на спине, раскинув руки, в луже крови.

«Почему это? — подумал Хольт.— Рутшер и Цише?..» Он опустился на колени. Расстегнув на Цише рубаху, он вытащил из-под нее тетрадь и сунул себе в карман. Потом снял с него личный знак, и с маленького, которого не сумел опознать, тоже. Хольт даже не заметил, как рядом с ним оказался Гомилка и еще несколько человек. Поодаль с блокнотом в руках стоял Готескнехт.

Хольт отдал ему оба личных знака.

— Рутшер, господин вахмистр...

— Хорошо... Займитесь «Бертой».

Хольта мутило. Он спрыгнул в воронку. Его вырвало. Он подошел к Готескнехту.

— Весь расчет... «Фриды»... В куски...

И вдруг перед ним мелькнуло что-то далекое-далекое... «Мне осточертел дом. Мне осточертела школа. Я не мог больше выдержать, я рвался на войну...» — думал Хольт.

Подавленные и молчаливые, собрались они возле «Берты». Один Вольцов вел себя так, будто ничего не случилось.

— Тридцать шесть воронок от бомб по семьсот пятьдесят и даже по тысяче килограммов. А в результате? Выведены из строя два орудия. Умелые хозяева, нечего сказать!

— Ступай перевяжись! — повелительно сказал Хольт.

Повязка Вольцова промокла, волосы слиплись, лицо было залито кровью. Он ушел, Хольт заново распределил обязанности своих людей.

«Нет у нас настоящего седьмого номера,— думал он.— Ночью придет пополнение. Но что нам делать днем?»

— Пошли чистить орудие! — крикнул Хольт.

Силезцы покорно принялись за работу. На дороге остановились санитарные машины.

— Я так и не пойму, что случилось с «Антоном»? — сказал Гомилка.

Внезапно возле них выросли Готескнехт и Кутшера.

— Жаркое утро, правда? — прогремел капитан.— Бандиты убили мою собаку. В жизни им этого не прощу!

— Нам нужен третий и седьмой номера и еще подносчики.

Готескнехт записал.

— Господин вахмистр,— сказал Хольт,— разрешите позвонить по телефону?

— Погодите, линия занята.— Готескнехт помолчал.— Раз вы будете звонить, значит, я могу... не сообщать?..

Когда Хольт пришел в канцелярию, Готескнехт уже сидел там, склонившись над списком личного состава батареи.

— Тринадцать убитых, Хольт. Ужасно! На «Фриде» весь расчет. До последнего человека. Девять силезцев. Все шестнадцатилетние.

— Как это случилось? — спросил Хольт.

— Прямое попадание. Очевидно, девятисоткилограммовыми.

— А у нас? У «Антона»? Просто не понимаю!

— Бомба упала возле самого брустверa. Все, кто стоял на северной стороне, угодили прямо в пламя. А тех, кто стоял подальше, смело взрывной волной и изрешетило осколками...

— Значит, Зеппу чудовищно повезло. Он стоял слева, у подъемного механизма.

— Вам всем чудовищно повезло.— Готескнехт встал.— Звоните. Я ухожу. Пожалуйста, окажите мне эту услугу.

Хольт долго ждал, покуда освободится линия. Вчерашний день все еще был сегодняшним. И был так далеко, словно прошел целый год. «Значит, теперь она сможет со мной уехать»,— подумал Хольт, и при этой мысли кровь ударила ему в голову.

Фрау Цише подняла трубку.

— Я всю ночь глаз не сомкнула. Что случилось? Вас тоже бомбили? Ходят страшные слухи.

— Да. Нам пришлось трудновато. Тринадцать убитых.

— А Цише? Что с Цише? Нельзя допустить, чтобы он написал отцу.

— Цише уже не напишет отцу. Он убит.

— Убит? — протянула она.— А ты уверен, что он не написал вчера вечером?

Хольт окаменел.

— Нет. Не написал...— сказал он.

Их прервали. Штаб подгруппы вызывал командира батареи. Хольт переключил телефон на барак Кутшеры. Его бил озноб. Он вышел на улицу.

13

На другой день Вольцов уже вернулся на батарею. Он казался совсем больным. У него извлекли бесчисленное множество огромных заноз, впившихся ему в голову.

— В санчасти нет ни одной свободной койки. На сто девятой батарее пятеро убитых, на сто тридцать шестой — четырнадцать. Пришлось переправлять раненых в Бохумский госпиталь,— сообщил Вольцов.

Вечером он взял портативный радиоприемник Цише и включил его.

— Ящик не работает,— сказал Вольцов, и в ту же секунду раздался металлический голос диктора. Хольт выпрыгнул из постели...

— «...Июля тысяча девятьсот сорок четвертого... Покушение на фюрера... Взорвалась бомба. Из ближайшего окружения фюрера ранены генерал-лейтенант...»

— Да ведь это...— вскричал Гомилка.

— Тише! — цыкнул на него Вольцов.

— «...Бергер. Легкие ранения получили: генерал-полковник Иодль, генералы Кортен...»

Хольт переводил глаза с Вольцова на Гомилку и обратно. Склонившись над радиоприемником, Вольцов весь превратился в слух. Гомилка стоял, словно загипнотизированный, уставившись в пятно на стене.

— «...Боденшац, Хойзингер, Шерф...»

Фетер медленно-медленно выпрямился. Лицо его выражало полное непонимание.

— «Фюрер не пострадал, если не считать легких ожогов и царапин,— продолжал диктор,— и тотчас же приступил к работе. Согласно предварительной договоренности, он принял для длительного собеседования дуче...»

— Дуче? — сказал Фетер.— Он принял дуче?

— Тише! — крикнул Вольцов.

— «...Дуче явился к фюреру...»

Все. Конец.

Металлический голос замолк. Вольцов тоже молчал, склонив голову набок. Из приемника раздались звуки марша. Фетер все еще ничего не понимал.

— Покушение? Они подложили бомбу? Нет, правда?

— Надо немедленно всем сообщить,— принял, наконец, решение Вольцов.— Может быть, кроме нас, никто ничего не слышал. Пошли, Вернер!

На улице было еще жарко. Солнце, окутанное туманом, стояло над самым горизонтом.

— Что все это значит? — воскликнул Хольт, хватая Вольцова за плечо.

— Да я-то почем знаю!

Они бегом бежали по уцелевшему настилу. На огневой позиции, у орудий, копошились, засыпая воронки, пленные. У дверей канцелярии курил свою короткую трубку Готескнехт.

— А, диоскуры! — сказал он приветливо.— Что с вами, Хольт? Никак не оправитесь после вчерашнего потрясения?

Вольцов шагнул к Готескнехту. Вахмистр вынул трубку изо рта. На лице его появилось странно напряженное выражение. Он молчал.

— Хорошо,— произнес он, наконец.— Капитана вызвали в подгруппу. Он еще не вернулся. Фюрер жив?.. Вы так сказали?

— Так точно. Ранено несколько генералов — Иодль, Хойзингер, адмирал Фосс. Я не всех запомнил.

Готескнехт, погруженный в свои мысли, рассеянно кивнул. Потом поправил фуражку и, ни слова не говоря, исчез в канцелярии.

— Может быть,— сказал Вольцов,— наш шеф узнает подробности у майора.

— Ничего не понимаю,— беспомощно пробормотал Хольт.

— А я, думаешь, понимаю?

Они вернулись в барак. В радиоприемнике все еще гремела музыка. Фетер ожесточенно спорил с Гомилкой.

— А Бадольо? — орал Фетер.— А с Бадольо-то как было?

Гомилка презрительно махнул рукой.

Хольт поглядел на часы. Не было восьми..

— Ты чего здесь болтаешься? — набросился на него Вольцов.— Хорош командир, нечего сказать! Ты подготовил ночную смену?

Хольт поднялся с явной неохотой. Придя на огневую позицию, он увидел Готескнехта, переходившего от орудия к орудию.

— Пока вам временно дадут трех человек с «Доры» и еще трех гражданских из города. А утром посмотрим.

Хольт на ногах не стоял от усталости. Мозг его сверлила только одна мысль: «Спать! Все что угодно, лишь бы спать!»

Наконец он вернулся в барак, бросился на койку. Но не прошло и часа, как Вольцов ткнул его в бок.

— Вставай! Тревога!

Над Рурской областью, как обычно, пролетала группа скоростных бомбардировщиков. На помощь зенитчикам пришли гражданские. Весть о покушении распространилась по всей батарее.

— Так. Теперь мне все ясно,— сказал Фетер.— Это большевики.

— Интересно, как же это они забрались в ставку фюрера? — полюбопытствовал Вольцов.

— Ну, значит, коммунисты,— сказал Фетер.

Один из гражданских тихо и как бы безучастно произнес:

— Коммунисты? Это немецкие-то коммунисты? Да они все в концлагерях и по тюрьмам.

— Там им и место! — резко перебил его Вольцов.

Около полуночи служба оповещения сообщила, что группа скоростных бомбардировщиков удаляясь идет над Немецкой бухтой. Вольцов и Хольт надели чехол на орудие.

— Странные у нас помощники,— заметил Фетер.

— Пролетарии! — проворчал Вольцов.

Они вернулись в барак, и Фетер включил радио. Оттуда по-прежнему неслись звуки марша. Вдруг Фетер взволнованно воскликнул:

— Фюрер говорит!

Распахнулись двери. На пороге, огромный и грозный, вырос Куттшера.

— Встать! — рявкнул Фетер.

Капитан махнул рукой.

— Все в столовую! Слушать радиосообщение.

Хольт одетый лежал на койке. Он был так утомлен и измучен, что все происходящее видел в отдалении, словно на киноэкране. «Не касается меня это,— думал он безучастно.— Сейчас я проснусь, а Цише си-

дит на своей койке и треплется: нордический тип предназначен установить новый порядок в Европе, или еще что-нибудь в этом роде»... Хольт вскочил с койки. Неужели все случилось только вчера? Этот день — словно тысяча лет. Но почему Кутшера не послал за ними дежурного унтер-офицера?

— Фетер,— загремел Кутшера, и голос его был подобен звуку гонга.— Что вы скажете о покушении на нашего фюрера Адольфа Гитлера?

— Я? — пролепетал Фетер.— Я? Вы хотите сказать... Я?..

— Да. Вы. Дрыхнете вы, что ли?

— Господин капитан,— вмешался Гомилка,— за последние четыре дня мы не спали и пяти часов.

Кутшера повернул к нему свое лошадиное лицо, но в эту секунду в коридоре раздался голос Готескнехта:

— Господин капитан, начинается речь фюрера!

В столовой уже столпились зенитчики. Готескнехт возился около большого радиоприемника, обычно стоявшего в командирском бараке.

Хольт забился в самый дальний угол, где его никто не мог видеть. Рядом уселся Вольцов. Хольт дремал. Музыка действовала на него усыпляюще. Но в тумане между бодрствованием и сном мозг его ни на секунду не успокаивался.

— Работают все радиостанции страны,— услышал он голос диктора. Тишина. Долгая, долгая...

«Сейчас начнется»,— Хольт склонил голову набок, стараясь смотреть на профиль Вольцова. Рассудок его бродил где-то на границе беспамятства... «Вольцов — лучший солдат батареи».

— ...Немецкие соотечественники и соотечественницы...

«Второго такого заряжающего поискать нужно!»

— ...Не знаю точно, в какой именно раз готовилось на меня покушение... Не знаю точно, в какой именно раз пытались его осуществить...

«Да, в какой именно? Уж это фюреру полагалось бы знать, смешно даже, я и то запомнил бы, ведь бомбу подкладывают не каждый день»...

Хольт широко раскрыл глаза... «Фюрер говорит! — подумал он.— Волшебные слова, с самых детских лет — фюрер говорит! И говорит он сегодня, главным образом чтобы...»

— ...во-первых, чтобы вы услышали мой голос и знали, что я жив и невредим, а во-вторых, чтобы вы узнали во всех подробностях о преступлении, беспримерном в немецкой истории...

«Гоп-ля! Не спать!»...

— ...Ничтожная клика бесчестных, преступных и глупых офицеров...— Хольт вздрогнул в полусне.—...организовала заговор с целью устранить меня!..

Хольт изо всех сил пытался стряхнуть с себя сон. Стряхнул! Только глаза у него жгло. На несколько секунд он очнулся. Ему казалось, что на голову ему вылили ведро ледяной воды. «Офицеры? Заговор немецких офицеров против величайшего фюрера всех времен?»

— ...Бомба, подложенная полковником графом Штауфенбергом, взорвалась в двух метрах от моего...

«Штауфенберг?» — Хольт изо всех сил старался следить за речью, не пропуская ни слова, но до его сознания доходили лишь разрозненные обрывки фраз. «Полковник граф Штауфенберг? Полковник подложил бомбу? Что это значит? Зачем? С какой целью?»

— ...кроме самых незначительных царапин и ожогов. Я принимаю это как доказательство того, что мне предопределено осуществить цель моей жизни...

«Предопределено»,— подумал Хольт и опять погрузился в сон. Он так устал, что усталость пересиливала даже волнение. Мысли его мешались, сознание окутывала пелена. «Предопределение... Судьба... Сегодня утром погиб Цише — это тоже предопределение, не то мне пришлось бы скверно, мне и Герти... Как хорошо, что есть предопределение. Вера в предопределение... Вера в бога... Я верю в разум истории... Я как-то слышал об этом. Должно быть, в выступлении доктора Геббельса... Это он говорил... Да, кажется... Но отец, отец... Он всегда морщился, когда кто-нибудь говорил о вере, о предопределении... Фокусы. Интеллигент не верит просто потому, что не способен верить. Это я тоже где-то вычитал. А отец мой типичный пораженец, жалкий нытик! В школе меня заставили выучить наизусть, что в области веры не существует сомнений. Тогда я не понимал этого, а сейчас понимаю. Мы верим в фюрера, в предопределение, в конечную победу, в «мессершмитты-163», в «фау-1», в новый реактивный самолет. И пусть даже русские повернут от Вильно на запад и начнут вторжение, все равно... Грудь вздымается от предчувствия решающего часа...»

— Не спи! — ткнул его в бок Вольцов.

«Ах, да, фюрер говорит!»

Хольт, щурясь, осмотрелся вокруг. Все словно зачарованные уставились на радиоприемник. Охрипший голос орал:

— ...нанести кинжалом удар в спину, как в 1918 году...

«Верно,— подумал Хольт сквозь сон,— удар в спину!..»

— ...Ничтожнейшая клика преступных элементов, которые будут истреблены без всякой пощады...

— ...Истреблены,— услышал Хольт и снова задремал, а Вольцов снова толкнул его в бок:

— Да слушай же, идиот!

И Хольт опять выпрямился, и опять попытался слушать голос, несшийся из радиоприемника.

— ...Поэтому приказываю. Первое: ни одно гражданское учреждение не смеет подчиняться приказам, исходящим от инстанций, которые находятся в ведении узурпаторов. Второе: ни одно военное учреждение, ни один командир, ни один солдат не смеют подчиняться приказам, исходящим от узурпаторов...

«А что значит «узурпатор»? — размышлял Хольт.— От латинского, ах да, от usu rapere, это как-то Визе объяснял. Петер Визе, ему-то хорошо, он дома, ему можно спать!»

— ...Немедленно арестовывать и в случае сопротивления расстреливать на месте.

«...Расстреливать, убивать, уничтожать»,— думал Хольт.

— ...Радостно приветствовать...— слышал он, потеряв уже всякую связь с предыдущим и ничего больше не понимая.— ...что мне дано избежать участи, ужасной не для меня, а для немецкого народа. В этом я вижу перст судьбы, повелевающей мне продолжать мое дело. И я буду его продолжать...

Тишина. И другой голос:

— Передача окончена.

Тишина.

Возбужденный негромкий гул голосов. Все заговорили разом.

У Хольта стучали зубы.

— Встать!

Все с грохотом встали. Зенитчики застыли на месте. Громоподобный голос Кутшеры заполнил низкое помещение:

— Исполнять приказы только прямых начальников!

Тишина.

— Если кто-нибудь из зенитчиков думает, что теперь можно бунтовать, агитировать...

Тишина.

— Собственной рукой застрелю на месте! Без всяких церемоний!

■

Прошло дня три. Каждую ночь в темном небе висели светящиеся ракеты. Полыхали огни пожаров.

Хольт как убитый, спал на своей койке. Кто-то тряс его за плечо. Он ворочался с боку на бок и никак не мог проснуться. Перед ним мелькали желтый шнур, каска. У койки стоял дежурный унтер-офицер. Хольт приподнялся. Дежурный сказал вполголоса:

— Да проснитесь же, наконец! К капитану, быстро!

«К капитану? — Хольт обалдело смотрел на дежурного.— В четыре утра? Что понадобилось от меня Кутшере?»

— Меня?..

— Молчите! Вставайте! Скорее!

Зашнуровывая ботинки, Хольт старался сообразить, что могло случиться. Им овладело чувство панического ужаса. «Может быть... Что понадобилось ему от меня среди ночи? Дневник Цише!.. Дневник? Но его взял Готескнехт, а Готескнехт... Нет!..» Машинально он проверил, все ли пуговицы застегнуты. «Русские! Ну конечно же русские! И зачем только я затеял тогда эту дурацкую историю? Ну какое мне дело до пленных?»

— Надеть каску! — приказал дежурный.

«Кто мог на меня донести? Сейчас, через три недели!»

Уже почти совсем рассвело. На дороге стояла легковая машина. Перед бараком капитана маячил Готескнехт. Проходя, Хольт бросил на него умоляющий взгляд. Кажется, Готескнехт кивнул успокаивающе?

В полутемной комнате Кутшеры тускло светила лампочка. Дежурный унтер-офицер доложил и вышел. Хольт остался один. Один как перст. Он овладел собой. Раз! Каблуки щелкают. Рука взлетает, отдавая честь.

— Старший рядовой Хольт явился по вашему приказанию.

Нескончаемые секунды. Наконец голос Кутшеры:

— Вольно!

Только сейчас Хольт начал различать предметы в этой тускло освещенной комнате, полной табачного дыма. Застеленная походная кровать, телефон, большой радиоприемник... За письменным столом какой-то штатский. В одном из кресел Кутшера в расстегнутом кителе, рядом с ним чужой офицер, эсэсовский командир. Хольт быстро поглядел на знаки различия на погонах — обер-штурмфюрер. Только бы не ошибиться. К счастью он вспомнил, что, обращаясь к эсэсовцам, говорить «господин» не полагается.

— Хольт! Подойдите ближе! — сказал капитан. Даже когда он говорил тихо, голос его гремел.

Хольт подошел к столу. Незнакомый эсэсовец сказал:

— Вы Вернер Хольт?

— Так точно, обер-штурмфюрер!

Кутшера невозмутимо слушал и курил.

— Доброволец?

— Так точно.

Вопросы и ответы падали один за другим.

— Кто ваш отец?

— Медик, обер-штурмфюрер.

— Ваш отец в тысяча девятьсот тридцать восьмом году был отстранен от занимаемой должности. Как вы к этому относитесь?

Хольт замялся.

— Я уже много лет не имею с ним связи. Он мне почти чужой.

— Почему же, в таком случае, вы поехали к нему в отпуск на рождество?

— Он... пригласил меня, обер-штурмфюрер,— солгал Хольт.— Я счел своим долгом...

— Вы провели у своего отца только один день. И не отметились в районной комендатуре, как положено отпускникам. Где вы были остальные три дня?

«О господи, да откуда же он все знает?»

— Отвечайте!

— Я был в деревне, в округе Везель... В Дингдене. Я остановился в гостинице. В гостинице «Источник».

— Вы там отметились?

— Да, в книге для приезжих и в комендатуре, обер-штурмфюрер.

Движение рукой налево, штатский за столом кивнул и записал. «Проверят,— сообразил Хольт.— Черт! Там ведь и Герти значится в книге для приезжих! Но что ему от меня нужно? Это все еще только наводящие вопросы».

— Знаете ли вы полковника Барнима?

— Да, обер-штурмфюрер, то есть нет...

— Так как же: да или нет?

Вот он, главный вопрос. Хольт чувствовал это совершенно ясно. Пот из-под каски струйками лился у него по лицу.

— Лично его я не знаю, обер-штурмфюрер. Никогда не видал и не разговаривал с ним.

— С кем из его семьи вы знакомы?

— С обеими дочерьми, обер-штурмфюрер. Старшую дочь знаю лично, младшую только по виду.

— Старшую дочь зовут Ута?

— Так точно, обер-штурмфюрер!

— Когда вы виделись с ней в последний раз?

— В сентябре. В начале сентября прошлого года, обер-штурмфюрер.

— Где вы храните письма, которые получаете от нее?

Хольт судорожно глотнул.

— В моем шкафу, обер-штурмфюрер!

Любезное движение рукой в сторону Кутшеры.

— Готескнехт! — рявкнул Кутшера. За спиной Хольта отворились двери.

— Господин капитан?

— Объясните, где лежат письма!

Хольт посмотрел на Готескнехта.

— Мой шкаф не заперт... Наверху слева... В папке. Письма связаны в пачку...

— Принесите всю папку! — приказал обер-штурмфюрер.

Двери затворились, щелкнул замок. Прежде чем Хольт собрался с мыслями, вопросы снова посыпались на него.

— Знаете ли вы лейтенанта Кифера?

«Кифер, Кифер...» — думал Хольт.

— Отвечайте!

— Однажды в обществе я встретился с лейтенантом, женихом Уты Барним. Фамилии его я не помню. Лейтенант служил в танковых войсках.

— Когда это было?

— В июле прошлого года, обер-штурмфюрер!

— Что это было за общество?

— Сестра моего школьного товарища праздновала день своего рождения. Я попал туда случайно.

— Как фамилия школьного товарища?

— Визе, обер-штурмфюрер!

Взгляд на Кутшеру. Кутшера отрицательно покачал головой. Движение руки налево. Штатский записал.

— Вы уже были тогда знакомы с Барним?

— Нет, обер-штурмфюрер. Я познакомился с ней там, в этот день.

«В этот день... Незабываемый!» — Хольт почувствовал себя таким несчастным, что боялся расплакаться.

Скрипнула дверь. Голос Готескнехта сказал:

— Приказ выполнен.

Папка Хольта легла на стол. Обер-штурмфюрер вынул письма и перелистал их. Пачка была довольно толстой.

— Здесь все письма, которые она вам писала?

— Так точно, штурм... прошу прощения, обер-штурмфюрер.

— До одного?

— Так точно, обер-штурмфюрер.

— Что с вами?

— Ничего, обер-штурмфюрер!

— Письма изымаются.— Он просмотрел всю папку. В ней лежала только чистая бумага.

Движение руки налево. Штатский поднялся и, не поклонившись, вышел из барака. Обер-штурмфюрер смотрел на Хольта пронизывающим взглядом серых глаз. Хольт выдержал этот взгляд, но почувствовал такую слабость, что у него задрожали колени. Голос обер-штурмфюрера звучал совсем близко.

— Вы знаете, где скрывается Барним? Вы можете сообщить, где она находится?

— Право, не имею ни малейшего представления об этом, обер-штурмфюрер,— сказал Хольт. Голос его дрожал.

— Если Барним подаст вам о себе весть — в письме, по телефону или еще каким-либо способом,— если вы услышите о ней или узнаете о ее местопребывании, вы обязаны немедленно сообщить об этом полиции, тайной полиции, полевой жандармерии, в крайнем случае, своему начальству, указав, что ее разыскивают. Понятно?

— Так точно, обер-штурмфюрер.

— Смирно!

Хольт щелкнул каблуками.

— Предупреждаю вас, что в случае недонесения вы навлекаете на себя жесточайшее наказание.

— Так точно, обер-штурмфюрер!

Обер-штурмфюрер обернулся к Кутшере.

— Я кончил, капитан Кутшера!

— Ступайте! — рявкнул Кутшера.— И извольте держать язык за зубами!

Хольт не двигался с места, изо всех сил стараясь стоять навытяжку.

— Господин капитан, разрешите обратиться к обер-штурмфюреру?

— Почему же вы спрашиваете меня? — разозлился Кутшера.

Обер-штурмфюрер удивленно посмотрел на Хольта.

— Что вам угодно?

— Разрешите спросить,— с трудом выговорил Хольт. Он хотел, нет он должен быть уверен...— Ута Барним... Полковник Барним...

— Полковник Барним,— быстро и сурово произнес обер-штурмфюрер,— расстрелян.

«Расстрелян. Расстрелян. Расстрелян».

— И вы, как немец, должны до конца дней своих стыдиться того, что были знакомы с этим отребьем.

— А теперь убирайтесь! — скомандовал Кутшера.— Быстро!

«Отдать честь. Кругом. Открыть дверь. Закрыть дверь. Солнце сияет. Оно поднимается из тумана, как всегда. Все идет, как всегда. В восемь подъем. Меня будят. Все было тяжелым сном. Цемтцкий жив. Нет никакого самолета, нет орудия, нет дежурства по бараку. Все как в детстве, как давным-давно, когда отец, утешая меня, говорил: нет, злые ведьмы водятся только в сказках. А все, что произошло с тех пор, все, что между далеким вчера и сегодня, все это — сон».

■

Хольт направился к орудию «Берта». И когда около семи раздался сигнал воздушной тревоги, он уже вполне владел собой. Вольцов отозвал его в сторонку.

— Мне пришлось дать кое-какие показания,— сказал Хольт.— Но это неинтересно и никакого отношения к нам не имеет.

— Что ж,— согласился Вольцов,— нет, так нет!

Уже привычный утренний самолет-разведчик рыскал в небе над Южной Германией. За ним вскоре последовали бомбардировщики, они сбросили бомбы в районе Бремена. Около одиннадцати часов сообщили о больших группах истребителей над районом Кёльн — Эссен. С подгруппы сигнализировали о бомбардировщиках и возможности нападения с малых высот. Вольцов и Гомилка пытались успокоить силезцев, которых любое сообщение о самолетах ввергало в панику. Из Дорстена, Гальтерна и Люнена поступили данные о налетах авиации противника на различные объекты, в том числе и на зенитные батареи. Фетер сменил силезца и занял место наводчика. Вольцов снял с головы сверкавшую белизной повязку и нахлобучил каску на раненый лоб. Из Реклингхаузена и Динслакена также сообщили о налетах. Затем — из Мёрса, Крефельда и Дюссельдорфа. Бомбардировщики везде наносили удары с малых высот.

— Сейчас они появятся здесь! — сказал Хольт.

— Я буду бить по ним до последнего. Пусть я подохну! — воскликнул Вольцов.

Прилетели... Низвергаясь с неба, самолеты мчались вдоль горизонта, низко-низко. Вдали вспыхнул гигантский столб пламени.

— Нефть! — крикнул Вольцов.— Нефтеперегонные заводы в Гельзенкирхене!

С северного направления подошла группа одномоторных бомбардировщиков и сбросила бомбы на батарею.

Два орудия вели огонь по низко летящим самолетам. «Цезарь» выстрелил несколько раз и замолчал. Бомбардировщики сделали еще несколько заходов на огневую позицию. Один из силезцев упал на станину. Оттащив его в сторону, Вольцов опять зарядил орудие и выстрелил. Вдруг Фетер свалился с сиденья наводчика, и «Берта» замолчала тоже. Бомбардировщики быстро набрали высоту и скрылись.

Хольт и Гомилка бросились к Фетеру. Осколок ударил по его каске, но не пробил ее. Фетер скоро очнулся.

— Ну, братец,— сказал Вольцов,— ты всех нас переживешь!

Он подошел к убитому силезцу, перевернул его на спину и накрыл брезентом. Гомилка снял с себя каску и сказал:

— Кажется, самое время дать нам, наконец, передохнуть!

И, словно в ответ ему, Хольт крикнул:

— Большая группа самолетов противника из района Бремена повернула на юго-запад. Возможен налет на район Вестфалии.

Гомилка опять надел каску. Вольцов силой поставил к орудию второго силезца, обезумевшего от страха. Фетер забился в угол, сжимая голову руками.

— Ступай к орудию,— крикнул Вольцов.— У нас всего три подносчика!

Бомбардировщики пролетели в северо-западном направлении и сбросили бомбы на Дуйсбург. Батарея стреляла без перерыва. Около пятнадцати часов был дан отбой. Прошел час. Появились разведчики, потом бомбардировщики, потом истребители и опять бомбардировщики. Зенитчики не отходили от орудия тридцать шесть часов кряду. Затем наступила передышка.

— Так все и будет!— сказал Гомилка.— Лучше не станет. Этому конца не видно.

Хольт молчал.

14

Они вчетвером занимали маленькую комнату. Но Готескнехту вздумалось вдруг перевернуть все вверх дном. Барак «Берту» очистили для нового пополнения, которое должно было прибыть со дня на день.

— Выбирайте, пожалуйста, сами, кого вы хотите взять к себе,— сказал Готескнехт.— Не правда ли, я хорошо отношусь к вам?

Они решили взять Кирша и Бранцнера.

Впрочем, Бранцнер оказался чрезвычайно сомнительным приобретением. Гомилка понял это уже на другое утро. Бранцнер перещеголял даже Цише, ибо был еще разговорчивее и красноречивее. Правда, памятуя о своих черных волосах, он мало распространялся о расе.

— Послушай,— сказал Вольцов, когда Бранцнер изложил им свою идеологическую программу.— Ты вот говоришь: непоколебимый фанатизм.— Он помолчал, размышляя.— Понимаешь, если человек ущемлен, ограничен, глуп, как глупо большинство, что ж, фанатизм прекрасно помогает действовать по указке. Без фанатической веры большинство, у которого нет ни воинской доблести, ни высокой сознательности, просто сбилось бы с панталыку. Но мы? Даже если бы мы проиграли войну, попросту проиграли, так что это слепому было бы ясно, я все равно продолжал бы драться, без всякой фанатической веры, просто потому, что так полагается солдату. Другого пути у нас нет. Послушай, Бранцнер, как ты думаешь, почему мы сегодня стреляли вдогонку врагу? Мы — единственное орудие? А вот вы, с вашей верой, задрали кверху все четыре лапы. Неужели же я фанатически верил, что из этого будет какой-нибудь прок? Ерунда! Стрелять вдогонку совершенно бесполезно. Но так полагается. Солдат обязан воевать, а не спрашивать, какой в этом смысл. Солдат существует для того, чтобы воевать, и ни для чего больше! Твоя вера, дорогой, чертовски непрочная штука. Бац — и нет ее, и ты висишь в воздухе. А у меня пропадать нечему. Я одно знаю: солдат должен воевать. И я воюю!

Слова Вольцова пришлись Хольту куда больше по душе, чем требование слепой, фанатической веры. Он понял теперь, в чем черпает спокойствие Вольцов. «Правда, думать так, как Вольцов, нелегко. Для этого нужно, чтобы предками твоими с тысяча семьсот пятидесятого года были боевые офицеры».

— Борьба как самоцель! — сказал Гомилка.— Попробуем встать на эту точку зрения. Итак, для тебя борьба — самоцель, Гильберт. Что ж, неплохо. При подобной точке зрения тебе не нужна вера ни в конечную победу, ни в фюрера. Но то, что ты утверждаешь, вызывает возражение. В твоей концепции кроется противоречие.— Гомилка излагал свою

мысль с таким напряжением, что лоб его прорезали морщины.— Ты часто разъяснял нам, в чем состояли ошибки полководцев прошлых времен: Теренция Варрона, Дауна, Карла Лотарингского. Значит, ты не можешь отрицать, что одну цель борьбы все-таки признаешь — победу. Так вот, не разлетится ли твоя уверенность в необходимости драться в ту самую минуту, когда ты увидишь, что борьба безнадежна?

— Нисколько! Разумеется, борьба должна вести к победе. Война живет победой. Это ее хлеб насущный. Пока есть надежда, мы воюем, чтобы победить. Но бывает, что мы сражаемся, хотя знаем, что нас разобьют. И даже если положение наше становится безнадежным, мы все-таки сражаемся, потому что нам положено сражаться...

Дверь распахнулась. В комнату вошел Готескнехт.

— Не угодно ли вам, господа мои, отдохнуть хоть немного, прежде чем спектакль начнется опять? А вы,— сказал он, увидев Хольта,— следуйте за мной. Мне надо поговорить с вами.

Смеркалось. После ночного допроса Готескнехт ни разу не заговаривал с Хольтом. Сейчас вахмистр казался еще более озабоченным и усталым, чем всегда.

— Вам разрешен отпуск,— сказал Готескнехт.— Но прежде чем отпустить вас, я хотел бы поговорить с вами об этой... Барним.

— Я ничего не знаю,— перебил его Хольт.— Просто представить себе не могу, что там стряслось. Неужели это связано с покушением?

— Вы сможете отправиться, как только прибудет пополнение. Вы едете к Вольцову, не правда ли? Так вот, слушайте! Не вздумайте совать нос в это дело. Не разыскивайте их. Не говорите о них ни с кем. Держите язык за зубами... Вы поняли меня?

— Так точно!

— А теперь скажите по чести, вас очень угнетает то, что случилось?

— Я просто не думаю об этом.

Готескнехт горько улыбнулся.

— Не думаете? Никто ни о чем не думает,— пробормотал он.— Никто... Ступайте! Ложитесь спать.

— Слушаюсь, господин вахмистр!

■

В бараке все еще шел спор. Вольцов сидел на столе и курил.

— Да...— услышал Хольт, входя.

— Один большевистский писатель,— кричал Бранцнер, уже лежа на койке,— кажется, его зовут Эренбург, заявил, что перед большевиками стоит только одна цель, и называется она — Берлин.

— Что же тебя так удивляет?— спросил Вольцов.— Неужели ты полагаешь, что русские не хотят выиграть войну? Овладение вражеской столицей и есть та стратегическая цель, которая означает победу. Можешь прочесть это у Клаузевица.

— Мне кажется, ты слишком сочувствуешь русским,— со злостью сказал Бранцнер.

Вольцов рассмеялся. Но тут взбеленился Гомилка.

— Просто с ума сойти можно! Не успели избавиться от Цише, так вот, пожалуйста, новый молодчик лежит на той же койке и разглагольствует на тот же манер! Когда же наконец передохнут все эти доносчики!

— Нет!— вскричал Бранцнер, повернувшись к Гомилке, и в глазах его появился злой блеск.— Нет! Они не передохнут! Ты обзываешь так всех лучших немцев, всех истинных национал-социалистов, да, да! Все, все думают так же, как я! Это вы — позорное исключение! Вся батарея думает так же, как я. Весь немецкий народ думает так же, как я. Народ

верит в фюрера, потому что фюрер величайший из немцев и величайший из полководцев, и... и...

— И... и...— передразнил его Хольт.— И после фюрера следуешь уже непосредственно ты. Второй по величине немец, второй по величине полководец, второй по величине дурак...

— Спокойно!— прорычал Вольцов.— С ума вы посходили, что ли?

Но Бранцнер уже сидел на койке, белый как мел, и, стараясь выудить из-под нее ботинок, твердил:

— Так... так! Вы все слышали! Вы свидетели. Он назвал фюрера дураком. Я немедленно заявлю.

— Перестань трепаться, болван!— прикрикнул на него Гомилка.— Дураком он тебя обозвал.

— Вторым по величине,— настаивал Бранцнер.

— Будь же рад, значит, есть еще большие дураки, чем ты,— утешил его Гомилка.

Но Бранцнер натягивал ботинок и упорно тряс головой.

— Нет, нет и нет! Пожалуйста, никаких уверток. Нет! Я совершенно определенно заявляю, что другого толкования здесь быть не может: фюрер величайший дурак.

Дверь стремительно распахнулась, и вошел Готескнехт.

— Бранцнер!— суровым голосом сказал Готескнехт.— Что я слышу! Что вы сказали?

Молчание.

— Случается, что я закрываю глаза, когда кто-нибудь из вас позволяет себе острое словцо о руководстве. Но то, что вы заявили сейчас, переходит все границы!

Бранцнер стоял возле своей койки полуодетый, держа ботинок в руках.

— Я?.. Но ведь я...— пролепетал он.— Но ведь это же Хольт. Я ведь только хотел... Ведь другие... Да ведь я никогда... Я... я...

— Извольте привести себя в порядок!— крикнул Готескнехт.— Что вы себе позволяете?

Бранцнер весь как-то обмяк. Он стоял, бросая умоляющие взгляды то на Вольцова, то на Хольта, то на Гомилку.

Наконец вступился Вольцов:

— Бранцнер, в общем, приличный парень. Может, он и вправду не думал того, что сказал.

— Самое лучшее, если бы вообще никто ничего не слышал,— произнес после долгой паузы Готескнехт.

— Я ничего не слышал,— сказал Гомилка.

— Я тоже.

— Я уже спал.

— Как национал-социалист, — величественно заявил Вольцов, — я должен был бы, в сущности, настоять на том, чтобы этому делу был дан ход, но я решил тоже ничего не слышать.

— Прекрасно!— заключил Готескнехт.— И прошу вас, чтобы впредь ничего подобного не было. Спокойной ночи!

Все стояли молча, пока дверь не закрылась.

— Какие же вы негодяи! — сказал Бранцнер.

«Комедия, сплошная комедия»,— думал Хольт.

■

— Вижу, что, если не отпустить вас, это может повлиять самым пагубным образом на ваше моральное состояние. Убирайтесь-ка, да поживей,— сказал Готескнехт в ответ на просьбу Хольта.

Через час Хольт вошел к фрау Цише.

В коридоре громоздились чемоданы, сундуки, корзины. Фрау Цише, повязав пестрый передник, стояла в спальне и укладывала белье в корзину. Хольт с удивлением посмотрел на нее.

— Да ты на луне живешь, что ли?— воскликнула фрау Цише.— Геббельс назначен имперским уполномоченным по проведению тотальной мобилизации. Все театры, варьете и увеселительные заведения закрыты. И почти все газеты. Со дня на день должны выйти новые законы о трудовой повинности, самые строгие. Не думаешь ли ты, что я горю желанием делать снаряды? Да я на всю жизнь испорчу себе руки. Шестьдесят рабочих часов в неделю, нет уж, благодарю покорно!— Она села на кровать и закурила.— Квартиру я запру, а вещи перевезут на склад... Как у тебя с отпуском?

— Отпуск мне дали. Могу ехать хоть сегодня.

— Хочешь, поедем в Баварский лес?

Он курил и, не отвечая, внимательно рассматривал ее. Она улыбнулась, обольстительно, маняще. Странно — на него это не произвело никакого впечатления. Он думал: «Она даже не спросила меня, как погиб Цише... Да, действительно жаль, если она набьет на ладонях мозоли!» И вдруг, словно повинуясь чьему-то принуждению, он увидел большие волосатые руки Шмидлинга, вцепившиеся в опаленную землю. И руки Цемтцкого. И руки Рутшера...

— Не знаю...— произнес он мрачно.— В Баварский лес? Конечно хорошо бы. Только не знаю, смогу ли я изменить...

Она сказала совсем тихо:

— Там нам будет так хорошо!

Он подумал: «Она действительно красавица». Но ничто в нем не шевельнулось.

— Пусть они переделают твои бумаги: отпускной билет и проездные документы. Позвони мне завтра.

Он кивнул. Она встала с кровати.

— Оставлю-ка сейчас все, как есть. Я непременно хочу попасть в кино. Ты пойдешь? В Ваттеншейде идет «Нора» по Ибсену. Я пропустила этот фильм в прошлом году.

Они добирались до Ваттеншейда чуть не час. Транспорт очень пострадал от бомбежек. В тесном и душном кинозале Хольт никак не мог избавиться от гнетущего чувства. Ну зачем они пошли на вечерний сеанс? Просто нелепость. Обязательно будет тревога. Погода — идеальная для действий авиации.... «А мы сидим здесь, в незнакомом районе, далеко от дома Герти, далеко от батареи». Сняв каску и положив ее на колени, Хольт в прострации откинулся на спинку стула. «Нора» нисколько не интересовала его. Он с облегчением вздохнул, когда фильм наконец кончился.

— Пойдем!

Нет, она хотела посмотреть еще и хронику.

— Говорят, что показывают покушение...

Не успела смолкнуть музыка, предшествующая хронике, как на экране появились слова: «Тревога! Немедленно покиньте театр!»

— О, дьявол!— воскликнул в бешенстве Хольт.— Вот тебе и развлеклись!

— Может быть, это только разведчики,— успокоила его Герти.

Все кинулись к выходу.

Было десять часов. Их встретила полная темнота. Только чуть светилось покрытое тучами небо. Хольт быстро сориентировался. Улица, в обрамлении развалин и обгоревших фасадов, тянулась в северном направлении, вероятно к Гельзенкирхену... Сам черт не нашел бы дороги в этих развалинах. Трамвай уже не ходил. Кучка людей, выбравшись из кино, сразу растаяла, на улице не было ни души. Хольт и фрау Цише шли

очень быстро. Скоро они очутились в каком-то районе, еще не тронутом бомбежкой. Они шли по узким улочкам. Внезапно раздался воющий рев сирены. Они побежали. Загрохотали зенитки — вдали, потом совсем рядом. В небе гудели моторы. «Это только разведчики, они пролетают над нами»,— успокаивал себя Хольт и вдруг почувствовал, что кровь стынет у него в жилах. Ночь превратилась в день! Какой-то мужчина с противогазом через плечо преградил им дорогу.

— Стойте!.. Стойте! Уходите с улицы! Ступайте в бомбоубежище!

Фрау Цише стала что-то быстро и испуганно возражать, но Хольт перебил ее: «О господи, да будь же благоразумна!» и втащил ее в подъезд.

— Вы останетесь наверху!— сказал Хольту дежурный по бомбоубежищу.

— Нет! Я больна,— воскликнула фрау Цише.— И совсем беспомощна. Я не могу остаться одна,— и она потащила Хольта за собой вниз по крутой лестнице.

Вход в подвал был забит людьми. Хольт увидел еле освещенное помещение, белые лица — меловые пятна, плывущие в воздухе, чемоданы, рюкзаки, ванны, наполненные водой. До его слуха донесся крик ребенка.

— Не загораживать выход!— кто-то втолкнул Хольта в дверь. Он стал пробираться в самый конец длиннейшего прохода, вероятно потому, что заметил там свободное место. Они шли, перелезая через сумки и вытянутые ноги. Место было, право же, неплохим, только, пожалуй, далеко от входа, возле самой бреши, проделанной в стене. Два столба, словно две колонны, подпирали низкий сводчатый потолок. Оберегая свою спутницу, Хольт обнял ее за плечи. Она дрожала в легком летнем плаще.

— Надень мою каску!

Каска была ей велика, зато она закрывала шею и даже плечи. Прямо напротив Хольта сидела маленькая девочка в красных туфельках. Ей было не больше четырех лет. Она крепко спала, сжавшись в комок и уронив голову на грудь. Рядом с девочкой валялся какой-то скарб. А еще чуть подальше на скамье сидела большая грузная женщина в куртке, сшитой из плащ-палатки, и в синих лыжных штанах. Хольт стал шарить у себя в карманах, ища электрический фонарик, нашел и засунул обратно.

— Я готова до конца жизни есть один сухой хлеб,— произнес глухой голос,— только бы кончились бомбежки!

Подвал был очень глубоким, но рев бомбардировщиков проникал даже сюда. Дрожащий ветхий старик уселся рядом с фрау Цише. Так и сидели они все трое, забившись в угол. Напротив спал ребенок.

Чудовищный удар. Второй, третий. Подвал дрогнул. Хольт почувствовал, как закачалась стена у него за спиной. По бомбоубежищу пронесся вихрь.

— Святая Мария... Матерь божья... Защити и охрани нас грешных!..— лепетала фрау Цише.

— Горим!— раздался пронзительный крик у входа. И тотчас в ответ послышались вопли.

— Мужчины!... Все сюда!.. Тушить!

Хольт вскочил, но фрау Цише вцепилась в него.

— Горит... Я хочу уйти... Я хочу уйти отсюда...

«Безумие!» — стучало в голове Хольта. Вдруг он ощутил невероятной силы удар, его стукнуло головой о стену, и свет погас. Хольт, задыхаясь, ловил ртом воздух, его раздирал чудовищный кашель, ему казалось, что он умирает...

Он долго искал свой карманный фонарик. Конус света наткнулся на стену белой известковой пыли. Хольт отшвырнул фрау Цише, которая

вцепилась в него, встал, наступил на чье-то тело, перешагнул через него, ощупью пробрался направо, споткнулся об обломки и ударился головой о что-то твердое. Это был обрушившийся свод подвала.

Хольт все еще кашлял, хотя туча извести уже осела. «Засыпаны! Надо кричать!» Но мучительный приступ кашля не давал ему крикнуть. Наконец он перевел дыхание. Мысли его разбегались. Пылевая завеса стала прозрачной. В скользящем свете карманного фонарика Хольт осмотрел ту часть подвала, где их засыпало. Он подавил владевший им ужас, но в голове его мелькали какие-то бессвязные слова...

Старик со стоном поднялся с пола. Девочка лежала, задыхаясь, словно в приступе коклюша. Воздух со свистом проникал в ее легкие. Из груды щебня торчали ноги в синих лыжных штанах. Фрау Цише кашляла, стараясь перевести дыхание... «И если надо умереть, я готов... Я должен, я должен,— думал Хольт.— Я должен!»

Он протер глаза, их жгло известковой пылью, словно кислотой, и схватил фрау Цише за плечо, пытаясь поднять ее. Но она только крепче вцепилась в него. Тогда он толкнул ее с такой силой, что она упала на кучу мусора. Схватив деревянную скамью, на которой они сидели, он ударил ею об стену. Напрасно. Он никак не мог размахнуться как следует. Мешала противоположная стена. Скамейка раскололась во всю длину. Хольт отшвырнул ее и принялся молотить по кирпичам кулаками. «Помогите!» — орал он что было силы, бросаясь всей тяжестью своего тела на стену, туда, где должна была быть брешь. И вдруг свалился лицом на острые камни. В ушах у него гудело. Он застонал от боли и остался лежать недвижимый.

Наконец он встал. С него посыпались камни. Он все еще держал в руке погасший карманный фонарик, встряхнул его, фонарик вспыхнул снова. Хольт увидел длинный, теперь пустой подвал. Где-то вдалеке мерцал красный огонь. «Все уже давно выбрались отсюда»,— сообразил он. «Бежать!» — пронзила его мысль. Он слышал несмолкаемый крик...

Хольт поднял с пола девочку и, словно узел, сунул ее под мышку.

— Помоги!— кричала фрау Цише.— Помоги мне! Брось ребенка!

Ему снова пришлось оторвать ее от себя, чтобы перелезть с ребенком в соседний подвал. Потом он помог перебраться туда же фрау Цише. Потом старику. Фрау Цише опять судорожно вцепилась в него. Он поволок ее за собой. За стеной ревело пламя.

— Я не хочу в огонь!— кричала фрау Цише.— Не хочу!

Хольт отчаянно искал выход — выход обязательно был где-то здесь, иначе откуда же такой сквозняк. Но он слышал только, как над головой рушатся и рушатся стены. «Выбраться!»— сверлила его единственная мысль. «Горечь поражения...» В нише, рядом с лестницей, стояла большая цинковая ванна, полная воды. «Рейхсминистр доктор Геббельс, «Слово о воздушной войне»,— вспомнилось Хольту.— Мокрые одеяла». Здесь не было никаких мокрых одеял. Он окунул ребенка в ванну, еще раз, еще. Девочка очнулась и закричала. Он положил ее на пол. Фрау Цише упала на колени.

— Святой Иосиф, кормилец! Молись за нас в смертный наш час... Пресвятая дева Мария! Молись за всех, погибающих сегодня!

Хольт взял ее за руку.

— Я не хочу в огонь! — кричала она.

Он швырнул ее в ванну. Его тряс хохот. А может быть, рыдания?

Хольт погрузил фрау Цише в воду с головой, потом вытащил. Глаза у нее были безумные. Он взял на руки девочку в красных туфельках. Но фрау Цише снова обхватила его:

— *Меня* должен ты спасти. Иисус Мария, брось же ребенка!

Он высвободился, схватил ее за руку и потащил за собой вверх по лестнице. Девочка беспомощно болталась у него под мышкой. Они дошли

уже до половины лестницы, и тут снаружи перед самой входной дверью рухнула горящая балка, огненные искры залетели в подъезд. Палящий жар ударил им в лицо. Хольт вытащил фрау Цише на улицу. На них обрушился огненный шторм. Ревя, он хлестал их искрами по лицу. Куда бежать? Где спасение? Им жгло легкие. Все дома были объяты пламенем. Кругом валялись черные обугленные тела, тлели матрацы, пузырясь, горел асфальт. За спиной у Хольта рухнул дом. Перед ними обвалился пылающий фасад огромного здания... Назад! Хольт обхватил фрау Цише за талию и потащил ее за собой. Почти теряя сознание, он споткнулся о мертвеца.

Они опомнились где-то возле угольной шахты. За ними бушевал огонь. Повсюду на земле сидели и лежали люди, казавшиеся мертвыми или немыми. Слышался только детский плач. Фрау Цише, съежившись, неподвижно сидела на земле. Хольт снял с нее каску. Девочка у его ног не шевелилась. Он надел каску на себя, чтобы руки были свободны, поднял ребенка и понес его на санитарный пункт, помещавшийся в большой палатке.

— Родители?

— Не знаю,— ответил Хольт.

Врач склонился над ребенком, выпрямился, опустил стетоскоп и сказал через плечо:

— Напрасно старались.

Хольт, не двигаясь, смотрел на девочку. На ней были красные туфельки.

Какая-то девушка разносила кофе в выщербленных фаянсовых кружках. Хольта оттеснили от девочки. Он взял кофе и отнес его фрау Цише.

— Выпей!

Скоро они присоединились к колонне людей, уходившей в северном направлении.

Было три часа ночи.

Последние километры Хольту пришлось нести фрау Цише на руках. По лестнице он просто волочил ее за собой. Он и сам уже обессилел. Они вошли к ней в комнату. Хольт положил Герти на кровать, снял с нее обгоревший плащ. Она лежала, закрыв глаза. Зубы у нее стучали. Он прошел в ванную комнату, не обращая внимания на крик «Останься!», и посмотрел на себя в зеркало. Лицо его было в крови, лоб и подбородок разбиты. Он стал умываться. Лицо, руки, шея горели, словно в огне.

■

Хольт подошел к своему бараку. На лестнице возле канцелярии стоял Готескнехт. Хольт доложил. Готескнехт медленно оглядел его с обожженной головы до ног.

— Надеюсь, вы не угодили в самое пекло?

— Так точно, угодил.

— В Ваттеншейде?

— Так точно, в Ваттеншейде.

Готескнехт помолчал.

— Сдрейфили?

Хольт отрицательно покачал головой.

Готескнехт набил трубку и закурил.

— Ступайте к фельдшеру. Пусть даст вам мазь от ожогов и пластырь. Или, может быть, хотите в госпиталь? Нет? Хорошо. Смените обмундирование. Каска пропала? Напишите рапорт, я подпишу.

— Слушаюсь, господин вахмистр.

Готескнехт опять оглядел Хольта:

— Видно, еле выскочили?

— Так точно.

— Один?

— Я тащил еще маленькую девочку. И женщину. Она мне очень мешала. Я вынес девочку, но она была уже мертвая...

— Хольт! — сказал Готескнехт, спускаясь по низенькой лестнице, и вдруг взял его за руку и повлек к орудию.— Вернер... мальчик... голову выше! — Вахмистр говорил совсем тихо.— Стиснуть зубы!.. Выдержать!.. Не дрейфить! Это наша единственная надежда. Вы, молодые, *должны* уцелеть, хоть несколько человек. Война скоро кончится, может быть, совсем скоро. Вы *должны* жить.— Они подошли к орудию.— Поймите меня как следует,— продолжал Готескнехт, словно убеждая.— Я учитель, я учил в школе таких мальчиков, как вы, я хочу делать это и впредь. Неужто же мне стоять перед пустым классом? Вы *должны* выжить! Когда кончится война, начнется еще более тяжелое сражение. Погибла не только маленькая девочка, Хольт. Погибших не счесть. После войны работы будет по горло! Кашу заваривали пять лет, а расхлебывать ее будут столетие.— Он посмотрел на Хольта твердым взглядом.— Всякий, кто сейчас добровольно сел на управляемую торпеду или пошел в истребительные противотанковые части, является дезертиром. Он бежит от более тяжелой борьбы, которая нас ждет впереди. Но тот, кто решил уцелеть, не из трусости, Хольт, нет, а совершенно сознательно, тот сохранит себя для Германии.

Германии... Впервые в жизни Хольта это слово не парило на крыльях пафоса, не мчалось сквозь вопли «ура», нет, оно предстало во всей своей наготе, словно с него сорвали позолоту и героическую мишуру.

— Германия! — сказал Готескнехт.— Она уже не великан, владычествующий над Европой. Она только жалкое кровоточащее нечто. И станет еще более жалкой, но не давайте ей истечь кровью! Умереть за вчерашнюю Германию — это и есть трусость, Хольт... Но жить ради завтрашней Германии — это героизм, для этого нужно мужество. Хольт, вы ищете смысл, цель, путь... Этого пути я не знаю. Я не могу вам помочь. Мы все поражены слепотой, но мы должны пройти через семь кругов ада, чтобы снова обрести себя...

■

Утром у орудия Гомилка спросил Хольта:

— Скажи мне откровенно, что было сегодня ночью?

— Скажу, но только тебе. Это был неописуемый ужас. Я и представить себе не могу ничего более страшного. Уж лучше воздушные налеты с малых высот и массированные бомбежки, их легче переносишь.

Гомилка помолчал и сказал, словно без всякой связи:

— Вольцов получил письмо от своего дяди. Того опять повысили, назначили командиром корпуса на Западном фронте. Он командовал авиаполевой дивизией в России, но под Воронежем она попала в котел. Он-то улетел на самолете, а дивизия осталась.

«В котел под Воронежем? А ведь год назад такое известие меня бы убило»,— вдруг с удивлением подумал Хольт.

— Я тоже получил письмо из дома,— сказал Гомилка, словно между прочим.

— Да?..— Хольт почувствовал, как у него защемило сердце.— Да? И что же тебе пишут? Это связано с покушением? Ее арестовали?

Гомилка покачал головой.

— Нет, исчезла бесследно...

«Не разыскивайте их,— вспомнил Хольт,— не говорите о них ни с кем...»

— Говорят,— прошептал Гомилка,— что полковник Барним сдался вместе со своим полком, но в момент, когда он уже переходил на сторону русских, его...

Хольт вскочил.

— Надеюсь, они хоть этой ночью дадут нам выспаться,— сказал он.

■

На другое утро прибыло пополнение. Фетер вернулся в барак в семь часов. Все еще лежали в постелях.

— Сапожные подмастерья явились! — крикнул он.— Ну, парни, это вам не благородные господа гимназисты! Настоящие болваны! Всякие там пекари, слесари — словом, мелюзга из ремесленных училищ... Подходит один ко мне и говорит: «Камрад, я тут никак не могу найти одно место»... А я и говорю: «Об этом ты должен спросить у дежурного унтер-офицера», а он говорит: «Спасибо!» Ну, братцы! Уж и будет нам с ними потеха. Если они не станут вести себя как полагается, я совершенно официально введу наказание розгами.

Вольцов крикнул со своей койки:

— А мы с ними вообще не будем знаться!

В это утро на построение явился Кутшера, против обыкновения, тщательно одетый. Сопровождали его три высокопоставленных представителя гитлерюгенда. Готескнехт принес из канцелярии папку. Вольцов в недоумении ткнул Хольта локтем. Кутшера громким голосом выкрикнул:

— Дузенбёкер, Чёршельман, Вольцов... Выйти из строя!

Они вышли. Капитан вручил каждому Железный крест. Готескнехт продернул ленточки в петлицы награжденным. Представители гитлерюгенда пожали им руки. Кутшера зачитал список имен:

— Эберт, Гомилка, Груберт, Хольт...— и прочие, и прочие.

Все двадцать седьмого года рождения. Вместе с двумя гамбуржцами их осталось теперь всего семнадцать человек.

«Когда мы приехали сюда, нас было двадцать восемь,— вспомнил Хольт, выбегая вперед.— Тринадцать убитых из одного только класса». Готескнехт приколол ему значок за отличную стрельбу, вожделенный серебряный значок, который положено носить на левой стороне груди...

■

Пополнение распределили по орудийным расчетам.

— Хольт, Вольцов, Гомилка, завтра можете ехать в отпуск! — сообщил Готескнехт.

— Господин вахмистр! — сияя сказал Вольцов.— Железный крест мы должны вспрыснуть все вместе. Закатим грандиозную попойку!

— С ума вы сошли? — вознегодовал Готескнехт.— С семнадцати лет пьянствовать! Нет, уж этого я поощрять не стану!

Но вечером Вольцов все-таки принес бутылку коньяку. Хольт отпил несколько глотков и сразу почувствовал приятную усталость. «Отпуск, отдых, наконец-то!» — думал он, счастливый.

15

Над виллой Вольцова нависло мрачное утреннее небо. Шел дождь.

Хольт и Вольцов внесли в дом рюкзаки. Хольт сел и с наслаждением вытянул ноги.

— Дом битком набит посторонними,— объявил Вольцов.— Всякие там разбомбленные, эвакуированные. Мы поставим твою походную кровать в моей комнате, а их и видеть не будем.

Хольт спал без сновидений. Проснулся он уже после обеда. Вольцов открыл банку консервов. На сковороде, стоявшей на спиртовке, кипело сало. Хольт даже испугался, увидев чудовищный беспорядок, царивший вокруг. Каски, мундиры, развороченные рюкзаки, какая-то рухлядь, чучело куропатки, дуэльные пистолеты, череп, разбитый в куски,— все валялось вперемешку, как на свалке.

— Надо сперва убрать, Гильберт!

— Зачем? По-моему, здесь очень уютно,— возразил Вольцов, опрокидывая содержимое консервной банки на сковороду. Комнату наполнил запах жареного мяса.

— Мой дядя был тут проездом во Францию,— пояснил Вольцов.— Он оставил массу всякого хлама и бесконечные запасы — консервы, вино, русский табак, даже икру. Я открыл одну коробочку, на вкус — селедка, но наесться ею нельзя, разве если сожрать десяток коробочек в один присест...

— Не пойти ли мне поздороваться с твоей матерью?

— Лучше не надо. Ты помешаешь ей голосить. Я сказал, что мы приехали, и хватит с нее.

Дом был невероятно запущен. В разрушенной ванной Хольт принял душ. В зеркале он увидел, что кровоподтеки на его теле побледнели и стали сине-зелеными.

Они ели прямо со сковородки.

— Хлеб? Мясо гораздо полезнее,— наставительным тоном говорил Вольцов.— Аттила питался исключительно мясом.

Он первым делом вытащил из своего рюкзака Клаузевица. Хольт заглянул в книгу.

— Если ты решишь наконец заняться военным искусством,— заметил Вольцов,— то лучше всего для начала прочитать «Канны» Шлиффена.

Хольт захлопнул книгу.

— Спасибо! — сказал он, беря протянутую ему сигарету.

— Разумеется, для человека неграмотного в военном отношении,— продолжал Вольцов,— все, что делается сейчас на фронтах, совершенно непонятно... Знаешь, почему всякие бранцнеры не хотят слышать правду о нашем военном положении? Потому что втайне они не уверены, потому что вопреки всем своим прекрасным словам они ненавидят войну! Фюрер твердит, что войну нам навязали. Но он это только так говорит, а вовсе не думает. После 1918 года война была неизбежна. Я знаю от моего отца, что настоящий солдат не может примириться с поражением и не мечтать о реванше. Именно об этом говорится и в книге фюрера «Моя борьба». Там сказано, что мы должны мечом завоевать себе новое пространство на Востоке.

Слова Вольцова пробудили в Хольте неожиданные воспоминания. «Подготовили и развязали захватническую войну»,— сказал отец. Хольт вспомнил и лаконичные слова Гомилки, когда они увидели умирающих от голода пленных: «Не они начали».

— Я, например,— продолжал Вольцов,— как бы это тебе сказать? Я *утверждаю* войну. Если бы войны не было, ее надо было бы начать как можно скорее. Только настоящую, а не такую дерьмовую, как в тысяча восемьсот шестом году. Войну по всем правилам искусства, как те, что вел Александр или Наполеон. Знаешь, каково сейчас наше положение? Сражаемся уже перед своей территорией, а все наше великолепное предполье тю-тю.

■

Они встретились с Гомилкой, затем отметились в комендатуре и отправились бродить по городу. Проходя мимо продовольственной лавки, они увидели, как из дверей вышла очень худенькая девушка. Она тоже заметила их и тотчас вернулась в лавку. На девушке было поношенное пестрое платье, в руках она держала кошелку.

Волосы у девушки были каштановые, глаза карие. Она скользнула взглядом по Хольту, и вдруг в памяти его всплыли слова: «Стоял у дороги ребенок...» Строка из стихотворения, которое он где-то прочел: «Стоял у дороги ребенок». Он вспомнил девочку в красных туфельках. «Почему эта девушка такая грустная?»

Незнакомка направилась к той самой улице, по которой он пришел сюда. Над ними нависло тяжелое небо, покрытое тучами. Но сквозь разрыв в туче потоком лился солнечный свет и слепил Хольта. «Что это было? — спрашивал он себя.— Кто это был?»

— Парень бредит средь бела дня,— бранился Вольцов.

Ночью Хольт проснулся от ужаса. Ему снился огонь. Всюду огонь... «Да ведь прошло только три дня! Всего три дня! Время смешалось. Сколько мне сейчас лет? Семнадцать с половиной. Когда меня взяли в зенитную артиллерию, мне было шестнадцать с половиной, значит, с тех пор прошло тридцать лет, нет, пятьдесят, нет, больше. Ночь в Ваттеншейде длилась целых сто лет». Он снова заснул счастливый: не слышно сигнала воздушной тревоги, не летают бомбардировщики, не стреляют орудия... И уже засыпая, вспомнил: «Стоял у дороги ребенок... с рыночной кошелкой».

■

— Великолепная погода! — воскликнул утром Вольцов.— Небо не оставляет старых вояк.

Они уселись завтракать, Вольцов поделился с Хольтом своими планами.

— У меня лежат дневники отца. Я непременно должен их прочитать. А потом отправлюсь в горы и выкопаю наши пистолеты.

Хольт решил навестить Петера Визе.

— Зачем тебе горе-Петер? — спросил Вольцов.— Что ты в нем находишь?

Однако прежде всего они решили пойти выкупаться. Правда, Хольту не хотелось демонстрировать свои кровоподтеки.

— Герои лежали, и раны зияли у них на груди,— продекламировал он.— Древние германцы прогнали бы меня с позором.

— Но тогда еще не было воздушной войны,— сказал Вольцов, натягивая на себя спортивные штаны.

■

Купальня была почти безлюдна. Несколько мальчиков и девочек расположились у вышки для прыжков. В отдалении, совсем одна, сидела вчерашняя незнакомка.

— Кто же это его так разукрасил? — сразу спросила Фридель Кюхлер.

Гомилка, обычно не любивший крепких выражений, грубо перебил ее:

— Там, где Вернера так разукрасило, там ты, дуреха, от страха... с головы до ног!

— Скажите, а что такое, в сущности, воздушная война? — спросил кто-то.

Вольцов усмехнулся.

— Что такое, в сущности, воздушная война? Воздушная война самое, в сущности, простое дело. Это самая простая война из всех, какие только бывают. Мы сидим внизу и палим вверх, а они летают вверху и швыряют бомбы вниз, прямо на нас.

— Кто эта девушка, вон там? — отважился наконец спросить Хольт.

Все повернули головы. Некоторые из девчонок засмеялись. Хольт разозлился.

— Дуры!

— Она не здешняя,— пояснила Фридель Кюхлер.— Она эвакуированная, кажется, из Швейнфурта. Говорят, у нее здесь, под крышкой,— она постучала себе по лбу,— не все в порядке. Я знаю от шарфюрерши, что у нее нет родителей, в Швейнфурте она работала прислугой, вернее, отбывала трудовую повинность. Ей еще только пятнадцать. Говорят, ее засыпало во время бомбежки. Подвал отрыли только через неделю. Все, кто там были, умерли, она одна выжила, ее положили в больницу. Здесь она тоже отбывает трудовую повинность в одной многодетной семье. Хозяин у нее эсэсовец, но живется ей хорошо. В мае она опять лежала в больнице. А теперь ей дали отдых после болезни, и она работает только полдня.

— А почему вы не позаботитесь о ней? — спросил сиплым голосом Хольт.

— Она не хочет. Она всех сторонится.

Хольт вскочил.

— Единство нации! — воскликнул он с насмешкой.— Все за одного...

Они уставились на него в недоумении.

— Несколько дней тому назад он сам испытал почти то же, что эта девушка,— сказал Гомилка.

Усевшись на краю мостков, Хольт опустил ноги в воду. Река сверкала на солнце.

«Засыпана! Целую неделю!» — ему казалось, что он несет девочку в красных туфельках на перевязочный пункт и кто-то говорит: «Напрасно трудились». Пылающие стропила с грохотом обваливаются на мостовую, искры летят в подъезд... «Вы знаете полковника Барнима? Расстрелян! Что с Утой?» Жива ли она? Может быть, ее вообще не было? Может быть, она мне только снилась, как «мустанги», как Шмидлинг, как массированный налет?»

Он встал и медленно пошел к девушке, которая все еще сидела на солнце, прислонившись спиной к парапету.

— Меня зовут Вернер Хольт,— сказал он, садясь рядом с ней.— Я служу в зенитной артиллерии. Сейчас у меня отпуск.

Она повернулась к нему. Лицо ее медленно краснело. А ведь он как будто уже видел это лицо, эти веки, опушенные длинными ресницами, эти темные брови, яркие губы. Не надо так смотреть на нее, не то она убежит. Что ей сказать?

— Я тоже не здешний. Я только в прошлом году поступил в гимназию, проучился несколько месяцев и ушел в зенитную артиллерию.

«Про зенитную артиллерию это я напрасно. Напоминает ей о бомбежках».

— Извините. Извини, пожалуйста,— заговорил он, окончательно сбившись.— Я мелю чепуху... Но очень трудно говорить с незнакомой девушкой. И я ужасно боюсь, что ты убежишь.

Она не шевелилась.

— Я еще вчера увидел тебя, ты шла с кошелкой. И мне очень хотелось пойти за тобой, когда я узнал, что ты...— Она подняла глаза,

но смотрела по-прежнему в пространство.—...что ты из Швейнфурта.— «Что это я мелю?» — подумал он.— Когда я услышал про это, я подумал, что здесь тебя никто не может понять.

Она опять закрыла глаза. «Понять? — думал Хольт.— Да разве можно понять другого?»

— Мы стоим в Рурской области. Я и сосчитать не могу, сколько раз мы слышали «Воздух, самолеты противника над районом Вюрцбург—Швейнфурт».

И вдруг отчетливо вспомнил.

В октябре американцы послали на рейх тысячу с лишним бомбардировщиков под прикрытием истребителей, и воздушные бои развернулись от самой голландской границы над всей территорией Германии. Немецкая зенитная артиллерия сбила более ста бомбардировщиков, но Швейнфурт все-таки был подвергнут жестокой бомбежке... И Хольт увидел море домов, окутанное пеленою дыма, которую непрерывно прорезали грохочущие молнии. Над ним вздымалось зарево пожарищ, тускнея в огромных клубах дыма... Он стряхнул с себя воспоминания — как это их учил Готескнехт? Стиснуть зубы!

— Хорошо, что тогда я еще не знал тебя. У меня не было бы и минуты покоя. А помочь тебе я бы не мог,— Хольт замолчал.— Может, мне уйти? — спросил он нерешительно, не зная, как истолковать ее упрямое молчание.

Она едва заметно покачала головой.

— Я даже не знаю, как тебя зовут.

— Гундель, Гундула,— сказала девушка глуховатым ломким голосом.

— Гундель! — повторил он.

Она повернула к нему лицо.

— А фамилия?

— Тис.

Ему нравился ее голос.

— Тебе не холодно?

— Они рассердятся, если ты не пойдешь с ними,— сказала она, не отвечая на его вопрос.— Ведь они твои друзья.

— Только Гильберт и Зепп,— пояснил он.

Она улыбнулась, мелькнули ослепительные зубы.

— О чем ты думаешь?

Она улыбнулась еще шире и сказала:

— Мне хотелось бы знать, о чем ты подумал вчера...

— Я? — спросил он, не понимая.— Ах вот что! Я смотрел тебе вслед. И вспоминал стихи: «Стоял у дороги ребенок...»

Она склонилась к нему головой.

— А дальше как?

Он изо всех сил старался припомнить.

— «Стоял у дороги ребенок... и его манили домой...» Кажется, это Шторм.— Он увидел, что она шевелит губами, словно повторяя про себя строчки.— А ты,— спросил он,— о чем ты подумала?

Она опять покраснела и поднялась. Он был выше ее на полголовы.

Хольт долго смотрел ей вслед и вдруг бросился в кабину. Одевшись с лихорадочной быстротой, он побежал к выходу из купален и остановился, поджидая ее.

На ней было то же потрепанное пестрое платьице. Он молча шел рядом с ней через парк по направлению к городу. Они дошли до моста, где дорога сворачивала налево.

— Не надо,— сказала Гундель, остановившись.— Не надо, чтобы они видели тебя.

— А завтра ты придешь купаться? — спросил Хольт.

Она кивнула и, словно испугавшись своего согласия, ушла по узкой тенистой улице.

На другое утро Хольт пошел к Гомилке. Вольцов еще спал. На столе лежала стопка тетрадей в клеенчатых переплетах. Вольцов читал их далеко за полночь. Это были дневники его отца. Хольт оставил записку: «Я у Зеппа. Увидимся, вероятно, на пляже».

Родители Гомилки жили в пригороде. В палисаднике уже цвели гладиолусы и астры. Двери отворил Зепп, одетый в купальный халат. Он впустил Хольта и через переднюю провел его в светлую столовую. В соседней комнате слышались женские голоса.

— У нас гостят родственники,— объяснил Гомилка.

Комната Зеппа была обставлена очень просто, но в ней царили педантический порядок и чистота.

Приятели вышли в сад и уселись в тени. С веток свисали спелые абрикосы.

— Нынче урожай на абрикосы,— сказал Гомилка.— Мы даем им совсем созреть, даже перезреть, чтобы варить джем без сахара.

Хольт поднял с земли несколько абрикосов, съел их, а косточки бросил в кусты. Довольный, он лениво растянулся под деревом.

— Что ты делаешь сегодня после обеда? — спросил Гомилка.

— У меня свидание.

— А правда,— осторожно спросил Гомилка,— что она... не совсем в себе?

— Сплетни, Зепп, подлые сплетни этой дуры Кюхлер,— и уже более спокойно Хольт добавил: — Сам не понимаю почему, но я не выношу ее. Стоит мне увидеть Кюхлершу, как у меня мурашки начинают по телу бегать.

«Она двойник Цише, Бранцнера и прочих подобных типов»,— подумал он про себя.

— Скажи-ка, Зепп,— задумчиво спросил Хольт,— почему нам не нравятся люди, проникнутые идеей национал-социализма? Вот приходит парень, смотрим мы на него и думаем: симпатичный! Но стоит ему открыть рот — и пошло-поехало: раса господ, безграничная вера, фанатическая воля и прочее и прочее. А я стою и думаю: господи боже ты мой, вот еще один из этих! А ведь они должны бы служить для нас образцом, такие, как Цише, с их фанатической верой!..

— Меня лично,— медленно произнес Гомилка,— фанатизм, ну как бы это сказать... пугает. А почему пугает? Потому что с фанатиком нельзя разговаривать. Для меня фанатизм воплощен в образе бешеного бульдога. Да. Не смейся, Вернер, право же это так.

— Но ведь от нас-то требуют именно фанатизма! — вскричал Хольт.— И как раз потому, что я склонен анализировать и подвергать все сомнению, я завидую фанатикам. Им куда проще. Сомнения и самокопание разрушают человека. Мне бы очень хотелось быть фанатиком, Зепп!

— Тогда я не был бы твоим другом,— возразил Гомилка, поднимаясь с земли.— Представь себе только: я что-то сказал, а ты вскакиваешь и с горящими глазами бежишь доносить... Ведь и так нельзя быть искренним до конца.— Гомилка снова лег на траву.— Размышления,— сказал он с необычной серьезностью,— не могут убить человека. Искать истину нужно. Но искать не в темной комнате и не с завязанными глазами.

— Может быть, мы не понимаем нашего времени,— возразил Хольт,— но сейчас, когда русские стоят в Восточной Пруссии, разве нашей обязанностью не является прежде всего сражаться за Германию? Разве в Эссене и Гельзенкирхене мы сражались не за женщин и детей?

Может быть, в этом мало пользы, но в *одно* я верил твердо — мы защищаем женщин и детей.

— Да? А за что же сражаются русские? Как ты думаешь? Ты вот поинтересуйся как-нибудь, что́ с самого начала войны делали в России наши эсэсовские части, жандармерия и вермахт? Разумеется, Цише доказал бы тебе, как дважды два четыре, что мы вправе уничтожать русских, потому что они большевики. А вот попробуй-ка почувствовать себя на месте большевика, у которого расстреляли всю семью или угнали ее в Германию. Он что же? Сражается не за жену и детей?

— Зепп! Как ты просто говоришь обо всем этом! — воскликнул Хольт.— Как просто все это ты принимаешь! Что же дает тебе силу держаться?

— Мне? — растягивая слова, сказал Гомилка.— Ну, это трудно объяснить, очень трудно.

И вдруг Хольту вспомнилась чужая девушка. «Моей поддержкой будет человек,— решил он.— Может быть, ею могла быть Ута. Но я, идиот, кинулся к Герти. И вместо того чтобы обрести в ней уверенность и опору, я узнал, что человек может стать мне безразличен, так чудовищно безразличен, что я и сейчас еще леденею, стоит мне вспомнить о ней».

— Пойдем завтракать,— сказал Гомилка.

На веранде, сверкая невероятным количеством серебра и фарфора, был накрыт стол на восемь персон.

— Мой друг Вернер Хольт! — представил своего гостя Гомилка.

Хольт увидел мать Гомилки — стройную голубоглазую блондинку, услышал имена тетушек и племянниц. Адвокат, доктор Гомилка, был человек лет пятидесяти, с уже поредевшими седыми волосами и в темных очках. Зепп был похож на своего отца, словно его двойник.

— Право, я очень рад, господин Хольт,— сказал доктор Гомилка, у которого была привычка излишне подчеркивать отдельные слова.

К столу подали форшмак из абрикосов, суфле из абрикосов, компот из абрикосов, и наконец очень жидкий, зато настоящий чай и пирог с абрикосами.

— Вот видите,— сказала фрау Гомилка,— сад — наш верный кормилец.

Разговор за столом вели почти исключительно Зепп и его отец. Хольт скоро почувствовал раздражение, проскальзывающее в их словах. Ему захотелось как можно скорее уйти. Чувство это заглохло, только когда они остались в более тесном кругу.

— Нам уже очень давно хотелось видеть вас в нашем доме,— начал адвокат таким тоном, словно возглашал: «Господин председатель! Господа судьи!» — Разрешите мне говорить откровенно. Ваш класс потерял тринадцать человек убитыми, если меня правильно информировали... Как вы оцениваете ваши дальнейшие перспективы?

— До сих пор нам везло,— сказал Хольт.— Гильберт Вольцов утверждает, что господь не оставляет старых вояк.

— Оптимизм, соответствующий положению вещей,— заметил адвокат.— А вам как кажется? Курите? Прошу вас. Спасибо. Я курю только мой сорт.— Он зажег трубку.

— Каждой матери хочется, чтобы ее сын вернулся живым,— сказала фрау Гомилка, держа чашку чаю в руке.

— Мама,— с раздражением воскликнул Гомилка.— Ведь ты же обещала не говорить об этом.

— Мне казалось, что я тебя лучше воспитала. Надеюсь, ты перестанешь разговаривать со мной в таком тоне,— одернула его мать.

Хольту была крайне неприятна эта семейная перепалка.

— Ваш отец,— заговорил адвокат, снимая очки,— если только меня правильно информировали, был уволен с работы как неблагонадежный. Вы позволите мне говорить об этом? Он никогда не делился с вами своими соображениями? Как он мыслит себе наши дальнейшие перспективы? А вы лично не выработали определенных принципов поведения, соответственно создавшейся обстановке? — И не глядя на Хольта, адвокат спять надел очки.

«Определенные принципы? Принципы поведения, соответствующие создавшейся обстановке?» — Хольт решил уклониться от этого разговора.

— Мой отец чудак, он ничего не смыслит в практической жизни. С Зеппом мы, разумеется, говорили о том, какую линию поведения следует избрать. Но ведь на деле все всегда выходит по-другому. Вот, например, наша вражда с гамбуржцами. Мы ввязались в нее, хотя вовсе и не хотели этого.

Адвокат, нахмурившись, сосал свою трубку.

— Поймите меня правильно. Я враг норм. Всех и всяческих норм. Вам вовсе не следует придерживаться какой-то определенной схемы. Вот, например, бывают солдаты, которые мыслят по раз навсегда установленной схеме и никогда ничего не предпринимают по личной инициативе. Это неправильно. Человек должен быть гибким. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, молодежь, обладали такой гибкостью. Настоящее время, иначе говоря, современность, или, лучше сказать, наша эпоха несомненно идет к переоценке окостенелых принципов и проводит эту переоценку вопреки решению отдельной личности.

Хольту казалось, будто адвокат, жонглируя словами, крадучись, медленно бродит вокруг него, как кошка вокруг горячей каши. Хольт пытался уловить противоречие, кроющееся в его словах. Сам не зная почему, он испытывал чувство, похожее на то, которое его охватило, когда он говорил в последний раз с отцом.

— Извините меня, господин доктор. Но я не уверен в правильности ваших слов. Во время зимнего наступления русских на центральном участке Восточного фронта нам настойчиво внушалось, как велика роль одиночки, то есть солдата, вынужденного опираться на личную инициативу и самостоятельно принимать решения.

— Несомненно! — саркастически произнес адвокат.— Причем самостоятельность эта была столь же вынуждена, сколь и ограничена.

— Ограничена? Чем? — нервно спросил Хольт.

Адвокат посмотрел на Хольта пристальным взглядом и опять снял очки.

— Persaepe accidit, ut utilitas cum honestate certet *,— сказал он значительно.

«Вот Гильберта бы сюда»,— досадовал Хольт.

Наконец Зепп пришел на помощь другу.

— Извини, папа,— сказал Зепп,— но этот разговор совершенно излишен. Нам он решительно не на пользу. Подобные хитросплетения,— он повысил голос,— может быть, придают остроту застольной беседе, но отнюдь не способствуют нашему душевному равновесию.

— Разумеется, разумеется,— согласился адвокат.— Но еще менее способствует душевному равновесию, если обходить все, что связано с глубочайшими внутренними противоречиями.

— Да! И возможно,— с озлоблением воскликнул Зепп,— что неко-

* Очень часто случается, что выгода спорит с честностью *(лат.)*.

торые противоречия, которые мне долго приходилось наблюдать, оказали самое разлагающее влияние...

Фрау Гомилка подняла глаза и холодно промолвила:

— Мне кажется, что за последний год разлагающее влияние на тебя оказали совсем другие обстоятельства.

Хольт решил, что ему лучше уйти.

— Разрешите откланяться! — сказал он как можно непринужденнее.— Я очень невежливо спорил с вами,— добавил он искренне.— Но мы защищаем иногда положения, которые для нас вовсе не так уж ясны. Может быть, поэтому мы их и защищаем. До свидания, сударыня. Спасибо. Все будет хорошо! Хайль Гитлер, господин доктор!

Зепп проводил его через палисадник.

— И ведь самое ужасное,— сказал Зепп,— что он прав. Но я не могу согласиться с ним. Не могу, и все тут!

— Сами справимся, Зепп,— утешил друга Хольт.— Уж придется нам самим выкарабкиваться из этого дерьма.— «Пройти через семь кругов ада»,— мысленно добавил он.

■

Хольт ждал очень долго. Наконец он увидел Гундель, она медленно шла по мосту. Только когда он окликнул ее по имени, она заметила его и остановилась.

— А я и не знала, что ты это серьезно,— просто сказала Гундель и посмотрела на него широко открытыми глазами.— Вчера я была странной. Правда? Мне обязательно надо было все хорошенько обдумать.

— Это я был странным,— возразил Хольт.— Молол бог знает какой вздор. Должно быть, тебе было неприятно со мной?

Оба рассмеялись, и смущение их прошло окончательно.

— Пойдем купаться? Или, может, погуляем еще немного?

— Как хочешь.

Они взошли на гору. На вершине дул прохладный ветер. Хольт болтал обо всем, что только приходило ему на ум: о рождественском отпуске, о внезапном налете Вольцова на гамбуржцев.

— Это длинный-то? — полюбопытствовала Гундель.— Он разве твой друг? Мне кажется, у него вообще нет сердца.

Хольт растерялся.

— То есть как это?

— Вчера, когда они все проходили мимо, он поглядел на меня. Он кажется таким равнодушным.

— Нет, это верный друг,— вскричал Хольт. Он крикнул это не только ей, но и себе. Он постарался со всей наглядностью описать, как Вольцов швырнул аквариум в кровать Гюнше.

— Но это же ужасно! — воскликнула Гундель.— А рыбки?

— Рыбок не было,— соврал Хольт.— Там были только пустые раковины от улиток, камни и всякий мусор.

— По-моему, он швырнул бы аквариум, даже если бы они там были.

Хольт промолчал. Он вспомнил, как Вольцов скормил цикелевских рыб урчащей от восторга кошке.

Они шли лесом по тенистой и прохладной тропе.

— Что же ты молчишь? — спросила Гундель.

— Так, думаю. А у меня тоже нет сердца?

— Не обижайся, пожалуйста, я не хотела обидеть твоего друга.

«Да, она необыкновенная, совсем не такая, как все знакомые мне девушки».

— Мне говорили,— начал он осторожно,— что ты держишься особняком... что ты всех сторонишься... Почему же ты не прогнала меня вчера?

— Я всех сторонюсь,— повторила она.— Это правда. Они ничего про меня не знают и твердят, что надо взять себя в руки. Я слышать этого не могу. А другие немного знают о происшедшем, жалеют меня или насмехаются. Я не терплю жалости. Да и вообще...

— А я?

— Когда я с тобой,— сказала она,— у меня такое чувство, будто ты думаешь обо мне.

— Что-то я не понимаю...

— А я знаю, что хочу сказать, да только не умею выразить. Но, может быть, я тоже еще понадоблюсь тебе...

Он безотчетно протянул к ней руку. Она отодвинулась на самый край дорожки, но тотчас же пошла за ним следом, пробираясь сквозь высокие папоротники. Они вышли на лесную опушку, где краснели на солнце кустики ежевики.

— Сядь,— сказал Хольт.— Здесь совсем сухо.— Он бросился на землю и, вытянувшись, скрестил руки под головой.— Расскажи мне что-нибудь.

Она все не решалась заговорить.

— Твои родители умерли? Расскажи мне о твоих родителях.

Она пристально смотрела на черную базальтовую скалу.

— Об отце я ничего не знаю,— проговорила она наконец.— Я почти не помню его. Мне было четыре года, когда его посадили в тюрьму.

— В тюрьму?..— «Да разве может она быть дочерью преступника? Зачем я заставил ее говорить!»

Она пристально наблюдала за ним.

— Это было в феврале 1933 года,— снова заговорила Гундель.— Отец не вернулся, они долго держали его в лагере. Мне минуло уже одиннадцать лет, когда мы получили повестку о том, что он умер. Это было 3 августа 1940 года. Мама никогда не говорила об отце, но когда пришло письмо, она побелела, как мел. Я и сейчас слышу каждое ее слово. Она сказала: «Я молчала, потому что думала, что смогу помочь ему. Но теперь,— сказала она,— теперь я не могу больше молчать». Я не понимала, о чем она говорит. Через несколько дней, я уже спать легла, мать подошла к моей кровати и сказала: «Они ненавидели твоего отца. Они будут ненавидеть и меня. Никогда не верь тому, что они будут говорить о нас».— Голос Гундель перешел в шепот.— С этого дня все изменилось. По ночам я часто слышала, как мама уходит куда-то, у нас ведь была только одна комната. В декабре, это было девятого числа, я пришла из школы, а у нас полиция. Они все спрашивали меня, спрашивали, а потом меня увела какая-то женщина и била меня, чтобы я рассказала все, что знаю. Но я ничего не знала. И тогда меня отдали в приют. А весной они приговорили мою мать к смерти и сразу же казнили ее.— Гундель умолкла.— Вот теперь ты все знаешь. В приюте меня тоже ненавидели. Там были девочки, которые воровали и бог знает что делали, и все-таки считалось, что они лучше, чем я. И они все мне кричали: дрянь.— Лицо ее приняло замкнутое выражение.— Ступай. Уходи. Мне никто не нужен.

Он лежал не шевелясь и смотрел в летнее небо, покуда не заболели глаза.

— Не говори об этом ни с кем,— сказал он наконец.— А то еще, не дай бог, и с тобой что-нибудь случится.

Лицо ее смягчилось. Он тихонько добавил:

— Не знаю, сколько времени еще продлится война. Не знаю, что станется с миром и что станется со мной. Иногда мне кажется, что все

это только страшный сон. Но когда я вернусь, ты обязательно должна быть здесь. Иначе я просто не знаю, к кому мне идти.

— Ты не забудешь меня сразу же? — спросила Гундель.

Он сорвал колос и швырнул его в сторону.

— Нет.

Она вдруг засмеялась:

— Ну, теперь я, пожалуй, могу сказать тебе, о чем подумала позавчера на улице.— Она, щурясь, смотрела на солнце, которое стояло уже над самой Вороньей скалой.— Я подумала, вот был бы он моим братом.

Хольт совсем растерялся.

— А ты хотел бы быть моим братом? — спросила она.

— Нет. Братом нет,— ответил он решительно и вскочил.— Пойдем, уже почти вечер.

Он протянул ей руки и помог встать. Секунду они неподвижно стояли друг против друга. Потом она вырвала свои руки.

Они шли лесом к городу. Вечерело. Под деревьями стоял прозрачный полумрак. Тропинка, по которой они шли, раздвоилась. Хольт выбрал ту, которая подлиннее. Они увидели скамью под кустами. Он сел и усадил Гундель к себе на колени. Голова ее лежала на его плече. Он обнял ее и стал гладить волосы. Острая жалость охватила его.

— Ты такая молоденькая!

Не открывая глаз, она ответила:

— Ты тоже молоденький.

Он поцеловал ее, еле прикасаясь к ней губами.

— Да нет же,— сказал он.— Ты не должна так крепко стискивать рот. Нужно только совсем легонько сжать губы.

Она рассмеялась.

— Попробуй, пожалуйста, еще раз.

Он поцеловал ее еще раз.

— А теперь было правильно?

— Зачем же ты спрашиваешь, глупышка? Раз тебе нравится — значит, правильно.

Она протянула ему губы.

— Я боюсь,— сказала она и обняла его своей голой прохладной рукой.

Он так испугался, что чуть не оттолкнул ее от себя.

— Что с тобой? — спросила она.

Он очень осторожно привлек ее к себе.

— Ты нравишься мне.

— Ты прав.

— В чем я прав?

— В том, что не захотел быть моим братом.

— Когда кончится война,— сказал Хольт,— я приеду и заберу тебя... Если только до тех пор ты меня не забудешь.

— Я забуду тебя? — вскричала она.

Он встал, поднял ее на руки и понес. Но даже когда он опустил ее на землю, она, словно девочка в красных башмачках, все еще лежала у него на груди.

■

Уже после полуночи Вольцов весь в поту и в пыли ввалился в комнату.

— Вот это был форсированный марш! — и он бросил на стол тяжелый узел.— Наше оружие!

Кобуры отсырели и покрылись плесенью. Хольт вынул бельгийский браунинг. На темной стали ржавели пятна.

Приятели закурили и принялись чистить пистолеты. Вольцов казался странно молчаливым.

— Что с тобой? — спросил Хольт.

— Со мной? Ничего! — ответил Вольцов.

Он зарядил свой «вальтер», прицелился в чучело куропатки и спустил курок. Им показалось, что в тесной комнате взорвалась бомба, пороховой дым вырвался в открытое окно. Вольцов швырнул пистолет на стол. В доме поднялась суматоха.

— Боже мой, что случилось? — крикнул кто-то снизу.

— Спокойно. Не то опять выстрелю! — крикнул Вольцов в ответ.— А ты? — спросил он хмуро.— Опять ходил к своей малютке? Она и вправду несет невесть что? Травматический невроз. Во время войны это часто случается.

Уже засыпая на своей походной койке, Хольт видел, что Вольцов с мрачным и застывшим лицом сидит за столом и читает черные тетради в клеенчатых переплетах.

■

Хольт проснулся от стука в дверь. Было около одиннадцати утра.

— Ступайте вниз. Вам повестки!

Они расписались в получении. Хольт взглянул на конверт, увидел штемпель «Почтовым сбором не облагается. Рейх» и прислонился к косяку двери. У него кружилась голова. Вольцов разорвал конверт:

— «Вам надлежит явиться»... ну, братец ты мой... еще позавчера... «в отряд службы трудовой повинности два дробь четыреста шестьдесят один...»

Они взбежали на второй этаж. Вольцов принялся чистить свою форму. Повестки были посланы из Гельзенкирхена на батарею. Оттуда их переслали на адрес Вольцова.

— Ступай за Зеппом! — приказал Вольцов.

Но Хольт побежал в другую сторону.

Распахнув двери, он поднялся по лестнице. Здесь было темно и душно. Гундель босиком, в переднике, стояла на коленях и скребла деревянные ступени, которые вели на второй этаж. Услышав его шаги, она повернула голову. Лицо ее просияло. Ничего не понимая, она отбросила прядь волос, упавшую ей на лоб.

— Я уезжаю! — вымолвил Хольт.— Я должен поговорить с тобой.

— Уезжаешь? — в ужасе переспросила она.— Сегодня?

Наверху хлопнула дверь. Женский голос крикнул:

— Гундель! С кем это ты там болтаешь?

Хольт увидел, как испугалась Гундель. Приложив палец к губам, она начала поспешно тереть ступеньку. Тучная растрепанная женщина перевесилась через перила и стала осыпать ее бранью. Вдруг она увидела Хольта.

— Добрый день! — крикнула женщина испуганным голосом.— Что вам угодно?

— Хайль Гитлер, положено говорить, а не какой-то там добрый день. Это еще что такое?

Женщина побагровела.

— *Мне* вы можете не указывать!

— Видно, нужно указывать! — загремел Хольт в приступе злобной радости и пытаясь подражать капитану Кутшере.— Слушать команду! Это еще что за бандитские замашки!

Женщина с тревогой взглянула наверх — там с грохотом отворилась дверь — и сказала:

— Да не поднимайте вы...

По лестнице застучали подбитые гвоздями сапоги. Коренастый и неуклюжий человек с седой бородкой и лысиной перегнулся через перила. На нем были черные бриджи. Сквозь сеточку рубашки просвечивала волосатая грудь.

— Что случилось? — спросил он.

«Теперь уж выдержать роль до конца. Ничего другого не остается».

— Что случилось? — прокричал Хольт.— Эта вот баба приветствует входящего, словно мы не в Германии, а в Польше. Привязать к дереву и высечь!..

Сошло! Человек грозно сказал:

— Снова распустила свой паскудный язык? Убирайся, чтоб духом твоим здесь не пахло,— и, обращаясь к Хольту, добавил: — А ты успокойся, приятель. Тебе что нужно?

«Надо поскорее смываться,— решил Хольт,— подготовиться к планомерному отступлению и смыться...»

— Разыскиваю родителей убитого приятеля,— сказал он,— Надлеров. Живут где-то в этом районе.

— Надлеров? — переспросил человек на лестнице.— Не туда попал, ошибся, приятель.— И после некоторого размышления сказал: — Поднимись-ка наверх.

Хольт колебался, но любопытство заставило его принять приглашение.

В большой кухне-столовой копошилось пятеро ребятишек. Шестой лежал в корзине возле окна. Человек надел черный эсэсовский китель и скомандовал:

— Гаген, Вульф! Убирайтесь! Марш! Аннегрет, возьми маленького, быстро! — И он грузно опустился на кушетку.— Садись.

Хольт посмотрел на его знаки различия.

— Прошу прощения, унтер-шарфюрер... Разумеется, я не знал...

— Садись-ка,— сказал эсэсовец.— Ладно, ты прав. Это бабье ни с чем не считается, уж чего только я не пробовал, чтобы ее вразумить. Ну-ка расскажи, ты откуда?

— Из Гельзенкирхена...

— Да, правильно. Наши парнишки все попали туда... У нас тут ходят разные слухи, ты и представить себе не можешь: разложение, мол, и всякое такое. Наша девчонка невесть что о себе возомнила, и все потому, что в Швейнфурте ее немножко треснуло по башке. Я-то давно ее раскусил. Просто не хочет работать, стерва этакая.. Послушай, приятель, ты-то, верно, все знаешь...

Хольт встал — самое время смыться...

— Я получил сегодня повестку из управления трудовой повинности. Меня посылают в протекторат, кажется, в Словакию.

— В Словакию? Ну и загнали же тебя! Они там совсем обнаглели. Нападают на поезда, взрывают мосты... Да уж, вконец обнаглели... А еще русские забрасывают по ночам парашютистов... Ну, ничего, теперь наши придут туда, они быстро справятся с этими бунтовщиками.

— Мне нужно на сборный пункт,— сказал Хольт,— у меня нет времени.

— Ни пуха ни пера,— сказал эсэсовец и проводил его до дверей кухни.

Хольт сбежал вниз по лестнице. Пробегая, он пожал Гундель руку.

— После трех... Снова на мосту... Хорошо?

Она кивнула.

Хольт стоял возле дома, расстроенный, потрясенный. «Ей нужно вырваться отсюда»,— думал он, спеша к Гомилке.

Ему не открывали. Из дома доносились звуки радио. Хольт звонил, стучал. Никого. Он вошел в сад. Дверь на веранду была открыта. Хольт прошел по коридору. Музыка по радио гремела так, что звенела ваза, стоявшая на подоконнике. Неожиданно музыка оборвалась, и в тишине сквозь прикрытую дверь Хольт услышал голос Гомилки, который, медленно артикулируя, произносил что-то на непонятном языке.

— Так,— раздался голос адвоката,— хорватский самый трудный. Ты должен каждый вечер твердить эти слова про себя. Ну-ка еще раз по-русски.

«Странно,— подумал Хольт.— Право же, странно». Он снова услышал голос Гомилки, произносящий чужие слова, изобилующие согласными.

— Зепп! — окликнул Хольт.

В ту же секунду заиграло радио, и в дверях появилась фрау Гомилка.

— Извините, пожалуйста. Я звонил, кричал, стучал...

Она как ни в чем не бывало провела его в столовую.

— Мы ждали вас. Когда вы едете?

— Сегодня,— сказал Хольт.— Зепп, идем к Вольцову.

Гомилка пошел одеваться. Хольт сидел грустный и думал: «Она должна вырваться оттуда».

— Господин доктор,— сказал он внезапно,— могу ли я поговорить с вами?

Адвокат обменялся взглядом с женой.

— Разумеется!

Он провел Хольта в свой кабинет.

— Я о вчерашнем,— начал, запинаясь, Хольт.— Мне теперь все ясно... То есть я хочу сказать, что иногда можно чудовищно заблуждаться. Но у вас, мне кажется...

— О, прошу вас,— перебил его адвокат.— Эта маленькая размолвка не стоит того, чтобы о ней говорить... Нам должно быть неприятно, а не вам. Отцы и сыновья часто расходятся во взглядах, это обычное явление.— Он поднялся.

— Вы меня не так поняли,— торопливо сказал Хольт.— Я хотел только объяснить, почему я обратился именно к вам...

— Пожалуйста, говорите совершенно откровенно. И прошу вас не стесняйтесь. Вы знаете, я член национал-социалистской партии, так что вам нечего опасаться... А с другой стороны... Будьте уверены, что я выслушаю вас как родного сына.

— У меня здесь подруга,— сказал Хольт и посмотрел на адвоката, втайне боясь, что тот высмеет его.— Очень молоденькая, ее зовут Гундель Тис.

— Тис? Тис? — повторил адвокат.— Погодите-ка, припоминаю. Нет, нет, не удивляйтесь. Я знаю здесь почти всех. Тис... Да, был у нас один случай, связанный с отдачей под опеку.

— Это, вероятно, та самая,— горячо подхватил Хольт.— У нее нет родителей.

— Да, да, теперь вспомнил решительно все. Она потеряла родителей при довольно... печальных обстоятельствах. Некоторое время назад над ней было учреждено опекунство. Чем могу быть вам полезен?

— Я был сегодня у тех людей, у которых она работает...

Адвокат перебил его:

— А вам известны обстоятельства, при которых погибли ее родители? Да? В таком случае позвольте мне задать вам вопрос: не считаете ли вы себя вынужденным порвать отношения с этой девушкой?

— Если вы этого от меня ждете,— сказал Хольт голосом, хриплым от разочарования,— тогда...

— Не жду, ничего решительно не жду,— снова прервал его адвокат.— Только спрашиваю. Значит, вы не считаете себя вынужденным? Прекрасно! Это вполне соответствует вашему образу, который нарисовал нам Зепп. Итак, дальше, прошу вас.

— Я был там сегодня. Вряд ли вы знаете эту среду, этих людей...

— Могу себе их представить,— спокойно сказал адвокат.— Я знаю этого господина. Он служит в тюремном заведении и пользуется репутацией образцового национал-социалиста. Кроме того, он назначен опекуном девушки. Усилия помешать этому потерпели, в силу известного положения вещей, полную неудачу.

— А нельзя ли забрать ее оттуда? Нельзя ли ей помочь?

— Нет! — твердо сказал адвокат.— Поверьте мне, такой возможности нет, по крайней мере в ближайшее время. Подобных случаев очень много,— добавил адвокат и поглядел в потолок.— Есть и куда более страшные. Вам остается только включиться в армию ожидающих.

— Ожидающих? — переспросил Хольт.— Чего?

Адвокат провел рукой по своим редким волосам и слабо улыбнулся.

— Того, чтобы сказочный принц освободил наше заколдованное дитя. Не тревожьтесь, милый господин Хольт. Девушка не так одинока, как вам это кажется.

Он проводил обоих юношей до калитки.

■

Вольцов сидел в своей разгромленной комнате и читал тетради в черных обложках. Уже увязанный рюкзак стоял возле дверей.

— Мы отбываем в восемнадцать ноль-ноль,— сказал Вольцов,— через Прагу. Место назначения — словацкая граница. Возможно, что нас используют против партизан. Я связался по телефону с Эссеном. Готескнехт шлет вам привет. Зепп, ну что ты смотришь, как обалделый? Собирайся. Ровно в четыре мы встречаемся в кафе на Марктплац.

— Отпуск наш кончился что-то чертовски скоро,— сказал Хольт, когда Гомилка вышел.

Вольцов молча курил, продолжая читать.

— Эти дневники,— заметил Хольт,— меня тоже очень интересуют. Могу себе представить, какие интересные события в них описаны, не правда ли?

Вольцов склонил голову набок.

— То есть как это? Что ты хочешь сказать?

Хольт с удивлением поглядел на него.

— Да ровно ничего. Просто вспомнил, что твой отец был полковником. То, что он пишет, надо думать, интересно.— Хольт придвинул свой рюкзак к двери.— Дай мне сигару. Спасибо.— Он закурил.— Вообще мне хотелось бы поговорить с тобой о многом. Например, о покушении. Я до сих пор в толк не возьму, что там произошло?

Вольцов вскочил, как ужаленный, и уставился на Хольта. Потом нагнулся и вытащил из-под стола бутылку.

— Послушай-ка,— начал он, разливая вино,— нет, ты послушай, что я тебе скажу! — выкрикнул он.— Вольцов всегда презирает предателей. Вольцов всегда верен своему военачальнику... Мой дядя в партии с тысяча девятьсот тридцатого года. Мы, Вольцовы, офицеры с тысяча семьсот сорок второго. И никто из нас никогда еще не изменил присяге! — орал Вольцов, держа дневники в руках... И вдруг швырнул их на стол с такой силой, что из бокалов выплеснулось вино.— Вольцов,— закричал он опять и ударил ладонью по черным тетрадям,— верен свое-

му фюреру и докажет, что значит быть солдатом! Теперь для нас начинается новый этап. Теперь дело становится серьезным. Дай только бог, чтобы война продлилась еще два года. Тогда ты увидишь, что такое немецкий офицер!

Они выпили.

— За дружбу! — вскричал Вольцов и протянул Хольту парабеллум.— Не показывай его никому, пока мы не пойдем в дело.

Хольт посмотрел на часы, взял листок бумаги и написал на нем адрес своего отца.

— Захвати мой рюкзак, я приду попозже.— И побежал в парк.

Хольт ждал больше получаса.

— Я не могла оставить детей,— проговорила Гундель, задыхаясь от быстрого бега.— У меня всего десять минут.

— Помни обо всем, что я тебе сказал. Я вернусь к тебе. Я буду писать тебе до востребования. Пиши мне часто, как только сможешь. Хорошо? А вот адрес моего отца. Если тебе когда-нибудь понадобится приют, ступай прямо к нему и расскажи ему все. Он поможет тебе, непременно поможет,— Хольт взял ее руку, ее ободранную, огрубевшую от работы детскую руку.

— Прощай, Гундель! — сказал он.

— Возвращайся, Вернер! И не будь таким... как сегодня утром.

— Да ведь я же ломал комедию! — воскликнул Хольт.— Я подражал моему капитану.

— Знаю,— сказала она.— Но и в тебе есть немного такого...

Он почувствовал, как пальцы Гундель сжали его руку. Она отвернулась. Он еще раз окликнул ее, вынул из нагрудного кармана коробочку и вложил ей в ладонь крест на цепочке, который ему дала Ута.

— Мне подарила его год назад девушка, ее, может быть, уже нет в живых...

Она долго смотрела на золотой крестик.

— Тысяча шестьсот девяносто два,— прочитала она шепотом.

Вольцов и Гомилка сидели в кафе в обществе девиц. С ними был и Вурм. Все отчаянно галдели. Хольту подали кружку пива. Кто-то крикнул:

— Тост!

Вольцов вскочил с места и заорал так, что у него вздулись вены на лбу:

— «Если ты погибнешь — впредь за двоих я буду драться. Если надо умереть, с жизнью я готов расстаться».

— Пора на вокзал,— напомнил Гомилка.

Кружка с пивом упала со стола и разбилась. Хольт вскинул рюкзак на плечо.

Марш, марш, вперед!

В поезде Вольцов достал из рюкзака карту.

— Давайте посмотрим, что это за край такой. Да, дичь порядочная! Горы, леса, глубокие овраги, самое подходящее место для партизанской войны.

(Окончание следует)

МАРСЕЛИНУ ДУС САНТУС
(МОЗАМБИК)

Земля содрогается

(Отрывок из поэмы)

Перевод с португальского
ЛИДИИ НЕКРАСОВОЙ

Памяти моих мозамбикских братьев-шахтеров, погибших в шахте Клайдсдейл-Колбрук Южно-Африканской Республики.

Человек стал товаром,
Который меняют,
Продают
И которого ждут
Корабли у причалов...
Человек стал монетой
В торговле захватчика,
Человек стал работать,
Создавая богатства
Для иностранцев!..

Содрогнулась земля
От первого взрыва...
Люди видели,
Что закрывается мир,
Люди бросились
В поиски солнца и света,
Но увидели только
Хозяина...
Словно ворон,
Бросающий тень,
Закрывающий крыльями солнце,
Он твердил:
— Продолжайте работать,
Нужно дольше работать,
Продолжать свое дело,
Вы должны возвратиться
На дно этой шахты...
Взрыв раздался второй...
Содрогнулась земля,
Побежали дрожащие люди,
Люди падали,
Рушились штольни,
Люди корчились
В облаке газа
Под глыбами угля,
Потеряв все надежды на жизнь,
И на мир,
И на свет,
Потеряв все надежды
Под угольной пылью...

А уверенный голос Хозяина,
Поднимаясь из шахты,
Насмерть бил
Уцелевшие чувства людей...
— Все в порядке.
Работа сдана по контракту.
Все в порядке!

Братья, слушайте:
На плантациях,
В шахтах
Вы работаете,
По контракту...
Но запомните,
Братья,
Это наша земля,
Это наши саванны,
Солнце наше,
И цветущий маис...
Это наша земля,
Где растет черный мальчик.
Потерявший отца,
Где мужчина и женщина
Открывают радость любви...
Люди Зумбо, Нампулы, Мапуто,
Сыновья мозамбикской земли,
Вы несете клеймо иностранца,
Вы идете дорогой контракта
Прямо к смерти!

Мозамбик!
О родная земля!
Ты, горячая, словно надежда,
Не обнимешь своих сыновей,
Что погибли в далекой шахте...
Их судьбу начертали
Иностранцев холодные руки!

Но послушайте,
Братья!
Их улыбка любви
Открывается вновь
На губах наших юношей...
Их глаза
Загораются снова
На лицах других...
Оживают они
В черном мальчике,
Что родился сегодня,
И в цветущем маисе,
И в нашем желании жить!
Так со дна этой шахты
Поднимается клич восстанья,
И надежда освобожденья!

СЕМБЕН УСМАН

ПРОСЯНКИ ГОСПОДА БОГА

РОМАН

Перевод с французского
Л. ГАЛИНСКОЙ и О. ПАВЛОВИЧ

БАМАКО

СУД

Среди бастующих нашлось несколько человек, которые потихоньку приступили к работе. Они вставали чуть свет и возвращались поздно, когда было уже совсем темно. Тьемоко навербовал отряды добровольцев для борьбы с дезертирами. «Ренегатов», как называл их Тьемоко на общих собраниях, бесцеремонно и жестоко избивали. Совместные действия бастующих заставили штрейкбрехеров быть осторожнее, но однажды произошел случай, о котором стоит рассказать, потому что он вызвал большое волнение. То был случай с контролером Диара, на который люди реагировали по-разному, в зависимости от возраста, пола и положения действующих лиц разыгравшейся драмы.

Суд над Диара происходил в помещении профсоюза. Битком набитый зал утратил свой обычный вид. Здесь присутствовали женщины, что уже само по себе было новшеством. Диара сидел один в центре на возвышении, низко опустив голову, так что присутствующим виден был только его лоб. Он на глазах у всех съеживался, словно повешенный для сушки кусок мяса, сгорбившись от стыда и унижения, руки висели, как плети. По правую сторону от него сидели за столом председатель местного отделения профсоюза Конатэ, уполномоченный профсоюза из Куликоро и Садио, родной сын Диара. Лицом к ним уселись рядышком на скамье восемь судей. В зале собралось столько народу, что, как это бывало в самых торжественных случаях, люди, не нашедшие места в помещении, толпились в дверях и около окон. В комнате царило ледяное молчание, ни один звук не нарушал тишины.

Контролера Диара обвиняли в измене. Все присутствующие в зале и на возвышении впервые оказались свидетелями судебного заседания. Они невольно испытывали странное ощущение растерянности, вызванное, с одной стороны, братским чувством, которое они испытывали друг к другу, в том числе и к виновному, а с другой — смутным представле-

Окончание. Начало в № 5.

нием о законах или обрывках законов, которые ввели белые. Мысли у них перепутались, любопытство обострялось новизной положения, необходимостью самим принять решение, вынести приговор. Многие увидели в этом первую предоставленную им возможность выступить самостоятельно, доказать свое человеческое достоинство. Наконец, имело значение и то обстоятельство, что проведения суда добился Тьемоко, докладывавший о деле на заседании местного совета профсоюза, и, кроме того, всем было известно, что сама идея процесса и порядок его проведения были заимствованы им из книги, имевшейся в библиотечке Ибрагима Бакайоко.

Председательствовал Конатэ. Всех, кто собирался выступить, он призывал говорить без ненависти и злобы по отношению к Диара. Опершись рукой о стол, он напомнил:

— Повторяю, эта история неприятна для всех нас.

Оглянувшись на Садио, который сидел, так же согнувшись и съежившись, как и его отец, Конатэ продолжал:

— До сих пор, когда мы ловили штрейкбрехеров, мы учили их палками, вы сами знаете, что двое из них до сих пор отлеживаются. Прежде чем прийти сюда, я навестил их. Это очень печально, ведь у всех у нас есть жены, матери, отцы и дети. А теперь вот случай с Диара. Диара голосовал за забастовку, он, как и мы, получил свою долю помощи, а затем переметнулся к нашим врагам. Слово теперь за вами. Все, что вы скажете, будет записано, и все, что вы решите, будет выполнено теми, кого назначат.

На этом Конатэ закончил. Обычно ему сильно хлопали, но на этот раз ни в самом зале, ни в толпе у дверей никто даже не пошевельнулся, настолько все были проникнуты сознанием серьезности момента. Упади иголка, и то, кажется, слышно было бы. Вдруг кто-то спросил:

— Может быть, Тьемоко начнет?

— Если он хочет, пожалуйста.

Тьемоко сидел на своем обычном месте в третьем ряду. Он грузно поднялся, бычья шея его казалась еще толще, чем всегда. Ладони стали влажными, он скрестил руки на груди, облизал губы и прикусил их ослепительно белыми зубами. Он прекрасно знал, что надо делать, но язык не повиновался. «Эх, будь тут Бакайоко, они бы живо поняли, в чем дело!» — подумал он.

Присутствующие то и дело переводили взгляд с Тьемоко на Диара. На того было жалко смотреть. Куда девалась его величественность, его прекрасная манера держаться? Шедшие от носа морщины очертили углы рта, тусклый взгляд, пссеревшая кожа, втянутые ноздри напоминали лицо умирающего; у всех сжималось сердце. Садио тоже смотрел на отца. Его словно поджаривали на медленном огне. Он не испытывал ни горечи, ни ненависти к кому бы то ни было, но чувствовал себя совершенно растерянным, во власти непонятного ему оцепенения. Он охотно занял бы место отца и даже просил об этом. В тишине, наступившей, когда Тьемоко поднялся с места, все тот же голос произнес:

— Давай, Тье, мы тебя слушаем!

Тьемоко наконец собрался с силами.

— Я вам обещал, что мы займемся ренегатами, и мы это делаем! Но разве хорошо убеждать людей палкой?

Не получая ответа, он продолжал:

— Нет, палкой дела не решишь! Я знаю, есть люди, похожие на ослов, таких нужно бить по башке! Но мы все в одинаковом положении, мы все испытываем те же муки. Почему, почему мы должны судить Диара, который, как вы знаете, приходится мне дядей? Этот вопрос связан и с забастовкой, и с тубабами, и с машинами.

Тьемоко с трудом выдавливал из себя слова.

— Мне трудно выразить вам свою мысль. Будь тут Бакайоко, он бы понял меня, помог бы мне объяснить вам все. Поэтому мне придется рассказать все подробно.

■

Тьемоко выслушали с огромным вниманием, это придало ему бодрости. Он закончил:

— Диара — такой же рабочий, как и мы, к тому же он мой дядя. Но, повторяю, будь он моим отцом, то при подобных обстоятельствах я не стал бы требовать, чтобы его судили...

— А, так, значит, его судят потому, что он чужой отец,— раздался чей-то голос.

— А ты не суйся раньше времени,— откликнулся Тьемоко.— Я хотел сказать, что, если бы он был моим отцом, я не привел бы его сюда, потому что убил бы до этого. А сейчас я кратко изложу дело Диара. Сначала он проголосовал за забастовку, и притом неограниченную, как это сделали мы все, а потом не сдержал слова. Кроме того, он, как и мы все, получил пособие. Он его проел и ничего не возместил. Наконец, работая в поезде, он позволил себе ссаживать наших жен, доблестных женщин, которые нас поддерживают. Вот почему я, вопреки мнению некоторых, потребовал, чтобы сегодня здесь присутствовали женщины. На этом я заканчиваю, чтобы могли высказаться другие. Пусть они, однако, не забывают, что многие из наших товарищей сидят в тюрьме.

Тьемоко сел. В зале стояла ничем не нарушаемая тишина, казалось, в нем нет ни души. Диара подобрал ноги под стул и сидел, будто окаменев; отсутствующим взором он взглянул на сына, казалось, его глаза были устремлены вдаль, в далекое прошлое, где не было ни суда, ни бастующих, ни обвиняемого. Женский голос произнес:

— Я бы хотела сказать...

— Тише! — бросил кто-то повелительно.

— Кто хотел говорить? — спросил Конатэ.

— Одна из взбалмошных баб,— ответили с места.

— Я сам велел женщинам прийти на собрание,— возразил Тьемоко.— Им есть что сказать. Подойди ближе, Хади Диа.

Женщина с множеством шрамов на лице и татуированными губами вышла вперед. Она разоделась в свои лучшие одежды. Тьемоко освободил ей место на скамье рядом с собой.

— Хади Диа, повтори здесь все, о чем ты уже раньше рассказывала,— сказал он,— не бойся и не стесняйся.

Когда женщина заговорила, все увидели, что у нее кривые зубы и заячья губа.

— Это было в тот раз... две недели тому назад. Я была с Кумбой, ее сестрой Дьенкой и еще с одной женщиной... э... э...

— Имена не имеют значения, продолжай.

— Мы сели в «дым саванны», чтобы проехать в Кати. Диара потребовал у нас билеты, а когда мы прибыли в Кати, он вернулся с военным тубабом. Он сказал ему что-то на языке тубабов, военный высадил нас из поезда, наших денег нам не вернули. Я обо всем рассказала мужу.

— Хади Диа, правда ли все то, что ты говоришь?

— Спроси у Диара.

— Садись, Хади Диа. А ты, Диара, что скажешь?

Диара подавленно молчал. Женщина, сияя от удовольствия, вернулась на место. Впервые в жизни она выступала на собрании мужчин. На возвышение поднялась другая женщина, постарше, она говорила быстро и уверенно. Ее звали Сира.

— С нами дело было по дороге на Куликоро, знаете, небольшой подъем между Куликоро и Бамако. Диара остановил там поезд, заставил нас сойти посреди саванны. Нас было восемь женщин. Я же говорю, он раб тубабов. Тьемоко прав, его надо распять на рыночной площади!

— Спасибо, Сира,— заметил председатель.— Но надо говорить только о том, что ты видела. Можешь сесть.

После того как выступили еще две женщины и рассказали подобные же истории, зал долго молчал. В глубине души каждый из присутствующих был смущен новизной положения: женщины раньше никогда не выступали в обществе мужчин. Все поглядывали то на председателя, то на Диара и Садио, у которых был все такой же подавленный вид.

— Мне хотелось бы сказать...— неожиданно произнес громкий мужской голос. С места поднялся высокий детина с выбритой в кружок головой, чувствовавший себя немного неловко в праздничной одежде. По залу прокатился гул одобрения, все сразу узнали в нем человека, который первым бросил работу после объявления забастовки.

Он начал с рассказа о себе и своих товарищах по бригаде. Как у первого забастовщика, у него были основания выступить, и об этих основаниях он должен был сказать.

— Да, Диара поступил плохо. Бог свидетель, он поступил плохо. Я в этом так же уверен, как и в том, что когда-нибудь буду одиноко лежать в могиле. Когда я сказал нашей бригаде, что надо бросить работу, они все как один сделали это, и сейчас мы тоже все готовы продолжать забастовку. А ты, Диара, хоть и старше нас и должен был бы нас вести, ты встал на сторону наших врагов. Мало того, что ты нам изменил, ты еще доносишь на наших жен, на тех, кто нас кормит, да, нам не стыдно в этом признаться! Что до меня, то я считаю, мы должны посадить Диара в тюрьму, да, да, в тюрьму.

В зале зашумели, многие пожелали выступить; одни были за бичевание; другие за заключение Диара в темницу; кто-то предложил заставить штрейкбрехера внести в забастовочный комитет заработанные им деньги. Народ переговаривался, сидя на скамьях, что-то кричал, ругал судей. Неподвижно, с отсутствующим взглядом сидел в этой суматохе обвиняемый. Раза два или три у него, словно озаривший его луч света, мелькала мысль: «К чему я это сделал?» Этот вопрос смущал его, потому что он не знал, как на него ответить. За чем он погнался? За вышитыми и накрахмаленными одеждами, за деньгами и украшениями? Или пожелал в гордыне своей насладиться могуществом и властью над другими? Ему вспомнилось, как он распоряжался вместе с жандармами. Что заставило его бросить своих? Был ли тому виною потухший очаг в собственном доме, вскружила ли ему голову лесть или захотелось благополучия, которое придает набитый желудок? Затем эти мысли сами собой улетучились. Диара снова впал в оцепенение, одиноко сидя перед собравшимися.

Старый Кейта присутствовал на заседании с самого начала, рядом с ним чинно сидела Аджибиджи. Он отклонил предложение войти в состав суда, потому что до последней минуты не верил, что молодежь окажется способной на нечто подобное; поэтому он сюда и пришел, поэтому не пропустил ни слова из всего сказанного. Наконец он медленно встал со своего места.

— Хочу бросить в общий котел и свою щепотку соли,— сказал он и, взглянув на Тьемоко, добавил: — если, конечно, вы согласитесь ее принять.

— Слушаем тебя внимательно, Старик,— заметил Конатэ.

— В давние времена, еще задолго до того, как вы появились на свет, для всего существовал определенный порядок, он имел большое значение в жизни каждого из нас. Нынче все перепуталось. Исчезли кас-

товые различия, теперь не разберешь, где каста мудрецов или кузнецов, сапожников или ткачей. Мне кажется, это произошло с появлением машины, она все ломает. Помню, Ибрагим Бакайоко как-то говорил мне: «Мы не только сломаем все в нашей стране, но мы сделаем это вместе с людьми, живущими по ту сторону великой реки» *. Я не имею никакого представления о том, как все это должно произойти, но мы уже видим — это совершается на наших глазах. Вот, например, Тьемоко пришла в голову мысль, которую подсказала ему книга, написанная на языке тубабов. В первый раз в жизни — а ведь я наблюдал гораздо больше восходов солнца, чем вы,— я присутствую в этом... как его, подскажи-ка, внучка...— Старик наклонился к Аджибиджи.

— Трибунале, дедушка.

— Присутствую в трибунале,— продолжал тем же тоном Старик.— И думаю, что Тьемоко поступил правильно. Мы все были за забастовку, мы ее начали, Диара в том числе. Потом Диара приступил к работе. Вы говорите, он изменник? Вы, пожалуй, правы. Мы сообща добиваемся победы, следовательно, никто из нас не должен приступать к работе без остальных. Это и есть жить по-братски. Тут кто-то требовал жестокого наказания. Но вы не убьете Диара, не потому, что у кого-то не хватит на это храбрости, а потому, что никто этого не допустит. Я первый не допущу. Ведь если вы вздумаете подражать наемникам ваших хозяев, вы превратитесь в таких же варваров, как они. Убийство — великий грех, да, да, для верующих это кощунство, и я молю аллаха, чтобы он не позволил поселиться такой мысли в ваших сердцах. Итак, остается наказание палками. Диара вы уже побили, ударили по самому уязвимому месту каждого человеческого существа, достойного этого имени. Вы покрыли его позором перед всем обществом. Этим вы причинили ему больше боли, чем если бы подвергли телесному наказанию. Не могу поручиться за завтрашний день, но гляжу сейчас на Диара и думаю, что вряд ли кто-нибудь из нас захочет теперь последовать его примеру...

В зале послышались всхлипывания женщин.

— А теперь прошу извинить меня за то, что злоупотребил вашим вниманием. Не вешай головы, Диара, ты всего лишь орудие в руках судьбы. Здесь судили не тебя, а тех, кто владеет машинами. Случай с тобой учит нас не отказываться от борьбы.

Старик ушел. Аджибиджи осталась на своем месте.

Волнение в зале тем временем улеглось, народ остыл и не хотел больше спорить. Молча переглядываясь, люди вставали со своих мест и один за другим шли к выходу.

Судьям — их было восемь — так и не пришлось выступить. Наконец один из них решительно встал, надел на голову свой четырехугольный колпак. Двое других последовали его примеру. Конатэ взял под руку представителя из Куликоро, и оба, шепотом переговариваясь, покинули зал. Направился к выходу и Тьемоко; проходя мимо Аджибиджи, которая окинула его безразличным взглядом, он опустил глаза и подумал: «У этого ребенка в голове больше мозгов, чем у всех здесь собравшихся, взятых вместе». Тьемоко все еще злился на самого себя и, стиснув зубы, мысленно твердил: «Мало быть правым, надо еще суметь убедить других».

■

Вернувшись после суда домой, старый Мамаду Кейта решил временно удалиться от мира и обратиться к всемогущему аллаху. Он был не доволен собой, ибо не проявил достаточной твердости. Он ведь решил

---

* Имеется в виду море.

не идти вместе со всеми в профсоюз на суд над Диара, но восторжествовала мягкая настойчивость Аджибиджи. Как, собственно, все это случилось? Он сидел в своей комнате, девочка прикорнула у его ног на бараньей шкуре и, перебирая тонкими пальчиками жесткую шерсть, изображала ими танцующую походку верблюдов. Потом сказала:

— Пойдем туда. Обещаю тебе, я буду умницей, это в последний раз, больше там моей ноги не будет.

— Никогда?

— Ну, до возвращения папочки.

— Боишься пойти одна?

— Не боюсь, но бабушка ворчит, когда я хожу туда, а я этого не люблю.

— Почему тебе так нравится присутствовать на собраниях?

— Надо же мне учиться мужским делам!

Старик добродушно рассмеялся:

— Ты же не мужчина!

— Папочка говорит, что все скоро будут равны, мужчины и женщины.

— Каким же делом ты хочешь заняться?

— Хочу водить скорые поезда, как папочка. Он говорит, что это лучшая из профессий, и я ему верю.

Мамаду Кейта посмотрел в устремленные на него миндалевидные глаза.

— Хорошо, пойдем, но помни: до возвращения твоего отца это в последний раз.

— Обещаю, дедушка.

Таким образом старик очутился на суде, о чем потом горько сожалел. Придя домой, он тут же велел принести себе воды для омовения.

— Удаляюсь на время от мира,— сообщил он Ниакоре.

— Что с Диара?

— Бог его знает. Он остался там вместе со всеми. Аджибиджи скоро придет.

Старик ушел к себе, и скоро всем окружающим стало известно, что он решил неделю оставаться наедине с аллахом.

Ниакора, усевшись на заднем дворике, погрузилась в свои думы. Ее взор, машинально переходивший с предмета на предмет, задержался на пустой ступе.

В былые времена перезвон пестов в усадьбах начинался на рассвете, еще до того, как угасала в небе последняя звезда. Легкий шум от перестука пестов, которыми орудовали молольщицы, перекатывался со двора во двор, в предутренней синеве воздуха он переливался так же, как переливается журчание ручейков, резво бегущих между толстыми корнями деревьев, вдоль стен и домов или по краю дороги. На каждый легкий стук песта о край ступы тотчас же откликался другой такой же стук из соседнего дома. Этими звуками приветствовали друг друга поднявшиеся вместе с зарей труженицы, переговариваясь таким образом только на одним им понятном языке. Перезвон пестов сулил счастливый день. Он имел свой смысл и свое назначение.

Старая ступа, на которую смотрела Ниакора, была раньше деревом, корни которого еще до сих пор уходили глубоко в землю. Дерево срубили, сердцевину пня выдолбили, а из ветвей понаделали пестов. У каждой мельницы, будь то ветряная или водяная, есть свой говор, есть он и у ступы. Она вибрирует под ударами молольщицы и заставляет вибрировать землю, на которой стоит; растянувшиеся на циновках соседи чувствуют этот трепет, он невольно передается и им. Но сейчас ступа молчит, суля только мрачные дни. Жирная мякоть обмолоченного зерна не впитывается больше в дерево ступы и пестов, которые лежат тут же ря-

дышком, жарятся на солнце, время от времени издавая сухой звук, и покрываются трещинами. Хозяйки тревожно разглядывают трещины, зигзагом подымающиеся от подножия пня к его краям.

Ниакоре очень одиноко. Женщины из усадьбы во главе с Асситан решили утром отправиться на рынок в Гуме. Старуха не могла скрыть своего недовольства тем, что ее оставляют одну.

— У нас не осталось никакой еды, мать,— уговаривала ее Асситан.— Нам необходимо попасть на рынок в Гуме.

— Но это ведь далеко, ты знаешь.

— Знаю, что далеко, особенно если идти туда пешком. Но мы отправимся на рассвете и через три-четыре дня вернемся. Дома остается немного басси, Аджибиджи вам приготовит его.

— Ты предупредила Фа Кейта?

— Нет, он ведь уединился. Но мы вернемся до того, как он выйдет из своего затворничества.

— Если господь доведет вас до места, не забудьте повидать семью Сумаре, он женат на нашей двоюродной сестре, это люди из хорошего рода. Они будут вам полезны. Да хранит вас всемогущий.

— Уповаем на него,— ответила Асситан. И женщины тронулись в путь.

Затем исчезли со двора дети. Под предводительством самого старшего они окружили старуху, натиравшую орех кола.

— Бабушка, мы пойдем на ба*!

— Хорошо, будьте только осторожны.

Захватив с собой старые горшки, куски дерева и обрывки веревок, шумная ватага покинула двор. В доме оставалась только Аджибиджи.

Так Аджибиджи и Ниакора провели вдвоем три дня. Мамаду Кейта не показывался, он предавался размышлениям в полном одиночестве.

На четвертый день рано утром, когда Аджибиджи, только проснувшись, еще нежилась в постели, она вдруг услышала громкий стук в дверь. От сильного стука весь дом дрожал. Девочка быстро вскочила и подошла к двери в комнату бабушки.

— Уже минуту как стучат,— сказала Ниакора.— Очевидно, вернулись твоя мать и остальные женщины. Провидение сопутствовало им. Сейчас встану.

Удары в дверь возобновились с удвоенной силой. Аджибиджи отодвинула засов, на который закрывалась дверь, и очутилась лицом к лицу с жандармом и тремя полицейскими. Они грубо оттолкнули девочку и вошли в дом. Она удивленно попятилась назад, прикрывая рукой глаза от резкого света.

— Где Мамаду Кейта? — свирепо спросил один из полицейских.

— Спрашивай ее спокойно,— заметил жандарм.

К Аджибиджи вернулось присутствие духа.

— Не знаю, где он,— ответила она по-французски, раньше чем успел раскрыть рот переводчик.

— Вот как, ты говоришь по-французски! Скажи, в таком случае, где Старик.

Аджибиджи только сейчас сообразила, что стоит перед ними нагишом, и опустила в смущении глаза, но тут же подняла их и посмотрела на жандарма.

— Я не знаю, где дедушка.— В глазах ребенка сверкнула ненависть.

— Конфетку хочешь?

— Сейчас еще слишком рано, чтобы есть конфеты, полиция не разгуливает со сластями в кармане, и, кроме того, я их не люблю!

Из другой комнаты донесся голос Ниакоры:

---

* Река.

— Аджибиджи, с кем ты там разговариваешь?

— С полицией, бабушка. Они пришли за Фа Кейта.

Ниакора появилась на пороге:

— Сукины дети!

Жандарм велел подручным произвести обыск. Трое полицейских устремились в коридор, оттолкнув по пути старуху, которая упала, растянувшись на полу.

— Собаки проклятые, как вам не стыдно! — бушевала Ниакора. Аджибиджи бросилась к ней и помогла ей подняться на ноги.

Жандарм стоял у выхода, держа руку на кобуре револьвера. Ждать пришлось недолго. Полицейские появились снова, они волокли за собой Старика; у него были скручены назад руки, он даже не сопротивлялся. Он не успел одеться, на нем была только повязка. Фа Кейта стонал — очевидно, болело плечо. Он раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но тут же был оглушен сильным ударом по затылку.

— Молчать! — гаркнул полицейский.

Старая Ниакора ринулась на полицейских, но от резкого толчка локтем в грудь у нее мгновенно перехватило дыхание. Она прислонилась к стене, тяжело дыша, вытаращив глаза. Аджибиджи, в свою очередь, набросилась на жандарма, стараясь пустить в ход ногти. Тяжелый удар сапогом в живот заставил ее закружиться на месте, девочка согнулась от боли и упала замертво у ног бабушки. Мамаду Кейта тоже сделал попытку освободиться, но его быстро уволокли. В темном коридоре остались только лежавшая без сознания Аджибиджи и Ниакора, чье старое тело постепенно оседало на пол, как мешок, из которого высыпают зерно. Наконец и она упала. Свет, проникавший из открытой двери, осветил морщинистое лицо пепельно-серого цвета.

— Аджибиджи... Аджибиджи...

Как легкий шум ветерка в листве, слова чуть слышно срывались с уст старухи.

Девочка лежала, согнув ноги. Ниакора попыталась протянуть руку и дотронуться до маленького безжизненного тельца, но силы изменили ей.

— Аджибиджи... Аджибиджи...

Девочка наконец очнулась и услышала слабый голос Ниакоры. Она попыталась приподняться, несмотря на адскую боль, которая жгла, будто огнем.

— Ты не умерла, бабушка?

— Нет, нет, я не умерла, но постарайся найти кого-нибудь.

Ниакора чувствовала приближение конца. Ее охватил страх смерти. Она прошептала:

— Аджибиджи, пойди позови кого-нибудь, Аджибиджи...

— Я не могу встать, бабушка, не могу пошевелить ногами.

Девочка, сделав отчаянное усилие, приподнялась на локте и взглянула на бабушку глазами раненой лани:

— Собаки, они убили ее...

— Аджибиджи... Аджибиджи...— снова повторила на этот раз громко Ниакора.

Это были ее последние слова. Старуха упала навзничь, ее ноги вытянулись под выцветшей рубашкой.

■

После суда над Диара Тьемоко почти нигде не показывался, большую часть времени он проводил взаперти, во власти какого-то неприятного ощущения — не то смущения, не то беспокойства. Это чувство не покидало его ни на секунду. «Конечно, я сумел довести до конца заду-

манное дело: после того как Диара предстал перед судом, рабочие забыли дорогу на станцию; тем не менее, если на этот раз мне помогли физическая сила, резкость и зычный голос, то этого все же далеко не достаточно. Надо учиться, читать и учиться»,— так думал Тьемоко, запершись у себя, и читал запоем, в то время как его жена, как и все жены бастующих, бегала в поисках какой-нибудь еды.

Тьемоко вошел в помещение профсоюза, там оказались Конатэ и еще с десяток человек.

— Тье, ты ведешь себя совсем как змея,— встретил его Конатэ.— Притаишься где-нибудь, чтобы потом половчей наброситься и укусить! Но как бы там ни было, а с Диара получилось удачно, с тех пор не было ни одного случая предательства.

Тьемоко молча здоровался за руку с присутствующими. Конатэ продолжал:

— Знаешь, Диара болен. Я был у него вчера вечером.

— Я навещу его после того, как побываю у Бакайоко.

— Новости слышал?

— Нет.

— Можешь сообщить Фа Кейта, что управление железной дороги согласно на переговоры, и нам надо готовиться к возобновлению работы.

Тьемоко машинально стал тут же вслух разрабатывать план действий:

— Половина рабочих разъехалась по деревням. Надо быстро собрать их, заняться этим тотчас же. Обойдите Бамако, друзья, и пошлите ребятишек за их отцами. А я направлюсь к Старику.

По дороге Тьемоко мысленно готовился к разговору с Фа Кейта. Он мог сколько угодно храбриться в разговоре с остальными, но терялся и робел перед Стариком. С самого начала забастовки он считал его своим противником, а во время суда над Диара особенно глубоко почувствовал все, что их разделяет.

Дверь дома Бакайоко была раскрыта настежь. Он вошел и сразу же наткнулся на два распростертых на полу тела. Он позвал:

— Асситан, Асситан, где ты?

Не получая ответа, он стал громко звать Старика:

— Фа Кейта! Фа Кейта!

Со двора появилось двое или трое перепуганных ребятишек, они встали рядом с Тьемоко и, увидев лежавших на полу, стали громко плакать. Тьемоко перешагнул через тельце Аджибиджи, открыл дверь, ведущую в глубь дома, и обошел все комнаты, не переставая звать Старика. Он быстро вернулся к входу и велел детям:

— Бегите как можно скорее в профсоюз и скажите Конатэ, пусть сейчас же идет сюда.

Затем нагнулся и поднял легкое, как перышко, тело старой Ниакоры.

Через пятнадцать минут дом Бакайоко напоминал муравейник, разворошенный чьим-то сапогом. Люди кучками входили и выходили, бродили из комнаты в комнату. Соседка рассказала Тьемоко, что Асситан и остальные женщины из усадьбы уехали еще три дня назад, но о Старике никто ничего не знал. Две соседки перенесли Аджибиджи на кровать и растирали ее неподвижное тельце. Девочка стонала, плакала, звала в бреду отца, но не приходила в сознание и не могла рассказать о разыгравшейся драме.

Днем вернулись из Гуме женщины. Еще издали приметив заполнивших усадьбу людей, увидя их скорбные и гневные лица, они поняли, что пришла беда. Оставив у входа корзинки и сосуды, они поспешно вошли в дом, прошли через коридор в большую комнату и там увидели

труп Ниакоры, вокруг которого уже совершали похоронный обряд соседские старухи.

Фатумата первая подняла плач. Она протяжно и громко закричала, резкий звук ее голоса отозвался далеко в вышине и неожиданно стих. Женщина забилась в судорогах, упав на землю. Вслед за этим во всех комнатах дома, на переднем дворе и заднем дворике послышались традиционные причитания плакальщиц.

Аджибиджи тем временем пришла в себя и рассказала матери о смерти бабушки и об аресте Мамаду Кейта. Причитания плакальщиц слились с криками ярости мужчин, с возгласами проклятий женщин, призывавших на головы виновников совершенного злодеяния все бедствия, ниспосылаемые небесами.

Старую Ниакору похоронили в тот же день. По существующему у бамбара обычаю, женщины не сопровождали покойницу на кладбище, они продолжали дома плакать и причитать.

После похорон бастующие собрались в помещении профсоюза. Все ждали результата переговоров с железнодорожной администрацией. Поздно вечером пришла наконец телеграмма из Дакара: «Дядя против, продолжайте лечение». А наутро началось поголовное бегство рабочих семей из Бамако. Все — мужчины, женщины, дети — ушли в чащу: рабочим нечего было больше делать в городе, а женщины надеялись найти хоть какую-нибудь еду в далеких деревнях.

Шли дни, в помещении профсоюза царили пустота и тишина, легкий слой пыли покрыл скамьи; рама, сорванная ветром с петли, с шумом ударялась о саманную стену. Запустение, царившее здесь, изредка нарушали только Конатэ и Тьемоко. Иногда они долго бродили вокруг вокзала, депо или просто вдоль реки, обмениваясь редкими, скупыми фразами.

Как-то раз они решили зайти в усадьбу Бакайоко навестить Асситан. Там они увидели, что Фатумата и две другие жены Мамаду Кейта начали традиционный сорокадневный траур. Старухи не выпускали вдов из комнаты и следили за тем, чтобы никакой мирской соблазн не смутил их покой. Фатумата, сидя за занавеской, сказала, обращаясь к Тьемоко:

— Не лги нам, Тье! Ты ведь сам прекрасно знаешь, что Фа Кейта нет в живых, тубабы увели его в чащу, чтобы там прикончить.

— Да нет же,— убеждал ее Тьемоко,— нам известно, что он находится в тюрьме вместе с остальными. Для траура нет никаких оснований. Вместе с Фа Кейта сидят другие мужчины, но их жены не совершают траурного обряда.

Одна из старух, следивших за соблюдением обряда, прервала Тьемоко:

— Траур нельзя прекратить, надо выдержать срок.

— Ты богохульствуешь, разговаривая с женщинами, у которых такое горе,— подлила масла в огонь другая старуха.

Тьемоко в бессильной ярости пожал плечами и знаком пригласил Конатэ пойти за ним.

— Идиотски глупо все это,— бушевал он,— надо было бы поморить их голодом, тогда они вылезли бы из своей берлоги. Пойдем потолкуем с Асситан.

Они прошли через двор. В тени, отбрасываемой сушилкой, стояла на коленях Асситан и толкла в маленькой ступке приправу к вечерней трапезе. На ее лбу, повязанном платком, блестели капельки пота.

С точки зрения старинных африканских традиций, Асситан была идеальной женой: послушная, покорная, работящая, она никогда не повышала голоса. Она никогда не спрашивала мужа о его деятельности, делая вид, что ее это не касается. Девять лет назад ее выдали за-

муж за старшего Бакайоко. Родители все решили и устроили сами, даже не спросив ее согласия. В один прекрасный день отец сообщил ей, что у нее есть муж, что его зовут Садибу Бакайоко, а еще через два месяца ее отдали человеку, которого она до тех пор никогда не видела. Свадьбу отпраздновали со всей пышностью, подобающей семье из столь старинного рода, но Асситан не суждено было долго прожить с мужем: через одиннадцать месяцев после свадьбы он был убит во время первой стачки в Тиесе. А через три недели после смерти Садибу она родила дочку. И снова древний обычай распорядился ее дальнейшей судьбой: она стала женой Ибрагима, младшего сына семьи Бакайоко. Тот усыновил девочку и дал ей странное имя — Аджибиджи. Асситан по-прежнему всему покорялась. Она покинула Тиес вместе с дочкой и старой Ниакорой, последовала за мужем в Бамако. Она подчинялась Ибрагиму так же, как подчинялась до этого его брату. Он уезжал надолго, отсутствовал месяцами, подвергал себя опасности — таков был удел мужчины, господина. Ее женская доля заключалась в том, чтобы со всем мириться и молчать, как тому ее учили.

— Что там варится у тебя на ужин, женщина? — фамильярно обратился к Асситан Тьемоко, как свой человек в доме.

— О, это всего лишь вчерашние остатки. Прошу разделить их с нами.

— Как погляжу на твои хлопоты, так вижу, что нечего бояться — не возьмет себе Бакайоко вторую жену, поверь мне!

— А я была бы рада иметь соперницу, можно было бы хоть отдохнуть... Кроме того, я старею. Всякий раз, когда он уезжает, я молю бога, чтобы он привез с собой вторую жену, помоложе...

Асситан опустила руку в ступку, вытащила оттуда зеленоватое месиво и положила его в котел.

— Асситан, уговори остальных женщин бросить траур. Фа Кейта жив, понимаешь?

— Не уверена, что понимаю. Будь муж тут, он мог бы сделать что-нибудь, а я женщина и только... Женщин никто не слушает, особенно сейчас.

Асситан поднялась на ноги и направилась к главному дому. Мужчины последовали за ней. Аджибиджи одиноко сидела в большой комнате.

— Что тебя не видать больше в профсоюзе, Аджибиджи, ты что, тоже бастуешь? — спросил Конатэ.

— Я обещала дедушке не ходить туда...

— Похвально, что держишь слово.

— До возвращения папочки.

— Вот оно что,— Конатэ уселся на край кровати,— а как ты себя чувствуешь?

— Сейчас мне уже не так больно.

— Ты стала настоящей барышней.

Аджибиджи помолчала, потом спросила Асситан:

— Кто умывает воду?

— Воду? Кто внушил тебе эту нелепую мысль?

— Мне задала этот вопрос бабушка, я обещала ей узнать и сказать. Но теперь мне хочется знать это для себя самой.

— Для себя самой? — Асситан удивленно смотрела на дочку.— А вы, мужчины, можете ответить на этот вопрос?

— Я не знаю,— ответил Тьемоко.

— А я, кажется, знал, но, очевидно, позабыл,— заметил Конатэ.

— Спрошу у папочки или дедушки. Ведь он жив, правда?

Все молчали. Наконец Тьемоко заговорил:

— Нам пора уходить, женщина. Жаль, что Фатумата не хочет прислушаться к голосу разума. Для тебя это лишняя работа.

— Такова жизнь. Да пройдет у вас вечер с миром.

После ухода мужчин Асситан подошла к дочери и сказала:

— Не следует, дочка, спрашивать у взрослых о том, чего они не знают. Это невежливо.

— Но меня ведь об этом спросила бабушка, она ведь была взрослой.

— Не спрашивай больше об этом гостей.

— Хорошо, мама,— Аджибиджи подавила слезу.

Асситан внимательно посмотрела на дочь: девочка не имела обыкновения плакать.

— Пойдем приготовим еду. У нас со вчерашнего дня ничего во рту не было.

Аджибиджи послушно последовала за матерью.

ДАКАР

МАМ СОФИ

После ухода полиции толпа, собравшаяся вокруг и внутри усадьбы Ндьяйен, стала постепенно расходиться. Уже темнело. Но женщины никак не могли успокоиться. Окрыленные одержанной победой, они разбились на маленькие группки и, вооружившись бутылками с песком, патрулировали на соседних улицах.

Решив воспользоваться темнотой, Мам Софи направилась со своей группой к дому Аль-Хаджи Мабиге. Ей нравилась происходившая вокруг кутерьма, кроме того, она давно затаила обиду на спекулянта. Перед входной дверью стояли на страже двое слуг. Они преградили женщинам дорогу.

— Ты не имеешь права входить в чужой дом, Мам Софи! Не затевай ссоры. К тому же Аль-Хаджи нету, он болен. Сегодня Ндейя Тути оскорбила его вторую жену. Раматулайя зарезала его барана, а теперь еще ты лезешь в драку.

— Вы послушайте только, что говорит этот жалкий раб! — кричала Мам Софи.— Из-за барана наемники тубабов пришли нас избивать. Ну что ж, можешь сказать старому козлу, что Раматулайя благополучно пребывает дома и что его ненаглядный баран совсем не плохо чувствует себя в желудках у детей!

Один из слуг попытался ее урезонить:

— Все слышал, все ему передам. А теперь, добрые женщины, возвращайтесь с миром домой.

— Не смей ко мне прикасаться! — яростно крикнула Мам Софи и позвала за собой женщин: — Пойдем поищем, что у него в кухне!

Бутылка с песком угодила слуге прямо в лоб. Он закрыл лицо руками и привалился к стене с криком: «Меня убивают!» Женщины тем временем разбрелись по комнатам нижнего этажа. Мам Софи, не обращая внимания на трех мужчин, сидевших на ступеньках с четками в руках, встала посреди двора и закричала:

— Выходи, Мабиге! Покажись, если ты настоящий мужчина! Но ты храбр только за спиной тубабов! Ты заставил закрыть краны с водой, попробуй-ка теперь закрыть мне рот!

Одна из женщин вышла из кухни:

— Там ничего нет, кроме проса...

— Пустяки, несите все, что годится в пищу!

■

Тем временем на главном дворе усадьбы Ндьяйен собрались Раматулайя, Бинета, Худья-Мбайя и еще человек шесть — женщины постарше или просто уставшие после стычки с полицией.

— Сукины дети,— заметила одна из них, присаживаясь на край старой ступы,— они меня измолотили, как зерно!

— Меня тоже, но мне до сих пор смешно, как вспомню того, кому сунули в рот бутылку.

— Да, Бинета, с твоей соперницей трудно сравниться! Знаешь, что она выкинула? Один полицейский упал, на него все насели, и она его здорово исщипала. Он визжал, как зарезанный! Потом ему удалось удрать, но я сохранила его феску! Вот она, полюбуйся!

Красная феска переходила из рук в руки.

Раматулайя упорно молчала. Ей надоела болтовня женщин, она не привыкла судачить о своих мыслях или поступках. Но в глубине души удивлялась тому, что сделала сегодня, не могла этого понять. Даже думать об этом устала. Она спросила, ни к кому непосредственно не обращаясь:

— А как дети?

— Они поели.

— Что с маленьким Стачкой?

— Спит, я его накормила.

Ндейя Тути, ответившая на вопросы Раматулайи, только что вышла из главного здания усадьбы и подошла к усевшимся в кружок женщинам. В наступившей темноте трудно было различить их лица. Ндейя устранилась от участия в стычке и осуждала поведение остальных женщин — Раматулайи в том числе. В школе ей внушили, что существуют законы и никто не имеет права самолично чинить правосудие. А усвоенное в школе она считала непреложным.

Одна из женщин поднялась, поглаживая рукой болевший бок:

— Пойду лягу спать. Как приятно, что алькати * долго не забудут полученной взбучки!

— Но они вернутся...

— Кто тебе сказал, Ндейя Тути, что они вернутся?

— Я знаю...

— Откуда?

— Потому что...

— Что потому?

— Потому что вы не вправе делать то, что вы сделали. Алькати пришли и попросили, чтобы к ним вышла Раматулайя, а вы набросились на них. По закону — это преступление!

— А баран Мабиге не совершил преступления?

— Да, конечно, он опустошил не одну кухню, но надо было идти в полицию и жаловаться. А теперь, после всего, что вы натворили, на вас подал жалобу Мабиге, и, кроме того, вы взбунтовались против полиции. Уверяю вас, они придут снова, потому что виновата во всем Раматулайя.

— Ты уверена в том, что говоришь?

— Да, тетушка, уверена.

Раматулайя задумалась. Разве могла она усомниться в словах Ндейи Тути, которая посещала школу, притом высшую? Она поднялась.

— Раз они ищут меня, то я и пойду туда. Это избавит нас от дальнейших неприятностей.

— Ты сошла с ума, Раматулайя! — вне себя крикнула Худья-Мбайя.— Никуда ты не пойдешь! Кто знает, права ли Ндейя Тути? По-

* Туземная полиция.

слушать ее, так она чуть ли не рада тому, что алькати снова заявятся сюда. Отступничеству от своих — этому, что ли, учат тебя в школе?

— Не расстраивайся, Худья,— успокоительно сказала Раматулайя,— поскольку дети сыты, я могу пойти туда. Если я объясню, они, может быть, и поймут...

У главного входа в усадьбу раздался топот босых ног. Мам Софи во главе своего отряда возвращалась из похода. Она прервала Раматулайю:

— Никто из этого дома не пойдет в комиссариат. Я слышала весь ваш разговор, слышала, что говорила здесь Ндейя Тути. Не спорю, она единственный человек среди нас, кто умеет разобраться в том, что пишут белые. Я, правда, читать не умею, но все-таки убеждена, что в главной книге законов не сказано, что можно мучить честных людей голодом, жаждой, убивать их. Ты глубоко ошибаешься, если воображаешь, что стоит тебе пойти туда, и тебя там вознаградят, да еще дадут в придачу сто кило риса: нате, мол, раз ваши мужья бастуют. Ндейя Тути, несмотря на все ее знания, тоже ошибается. Однако не стоит спорить, займемся более важными делами. Вот что нам удалось принести от Аль-Хаджи Мабиге. Здесь только просо, но и оно сгодится.

Сопровождавшие ее женщины опустили на землю сосуды. Мам Софи занялась раздачей. С улицы неожиданно донесся перепуганный голос:

— Спаги едут, будьте осторожны!

— Прекрасно, встретим их так же, как встретили алькати! — воскликнула Мам Софи.

— Ты, очевидно, рехнулась! Как мы можем драться с вооруженными всадниками? — спросила Бинета.

— Не беспокойся, я кое-что придумала. Разве не знаешь, что кони шарахаются от огня? У нас нет больше спичек, поэтому идите все по домам и принесите горящие угли в кастрюлях или тыквенных сосудах. Нужна еще свернутая жгутом солома.

Через минуту женщины уже весело суетились во дворе и в соседних домах. Даже Раматулайя, позабыв о своих раздумьях, появилась во дворе, размахивая пучком соломы.

— Идите на улицу,— командовала Мам Софи.— Станьте по обе стороны. Не зажигайте солому сразу, ждите моего сигнала.

Стемнело. В ночном мраке вдоль изгородей и саманных стен заскользили тени. Отчетливо слышался приближающийся конский топот, позвякивание сбруи. Конный взвод спешил на помощь полицейским, не зная еще, что те давно удрали. Во главе взвода ехал унтер-офицер — европеец. Обогнув дом Мабиге, отряд направился по длинной улочке, ведшей к усадьбе Ндьяйен. Пустив лошадей шагом, солдаты настороженно вглядывались в темноту, обеспокоенные неожиданно вспыхивавшими во мраке то розоватым светом, то коротким язычком пламени. Когда они очутились среди двойного ряда женщин, раздалась команда Мам Софи:

— Начинайте!

Поднялась отчаянная сумятица. На всадников и их коней обрушились пучки горящей соломы, горшки с раскаленными углями, кричали женщины, звенела и дребезжала жестяная посуда, в которую те колотили всевозможными кухонными принадлежностями. Кони с диким ржанием становились на дыбы. Солдаты испускали проклятия. Опытные наездники спаги все же не могли обуздать лошадей. Горящий пук соломы угодил одному из них прямо в живот: он взвыл от страха, пытаясь расстегнуть и скинуть с себя начавший тлеть доломан. Остальные вцепились в гривы обезумевших от огня лошадей. Несколько всадников были сброшены на землю, их тотчас же подхватили десятки рук. К жен-

щинам присоединились мужчины с соседних улиц. Двоим из них удалось оттеснить какого-то спаги к изгороди, в то время как женщины пытались поджечь хвост его коня. Солдат обнажил шпагу, стальной клинок блеснул в темноте, тут же раздался крик: «Он меня убил!» Но никто не обратил на это внимания. Мам Софи с ее отрядом удалось выбить из седла командира взвода. Когда он очутился на земле, они потащили его к ближайшему овражку, где по ночам отправляли свои естественные надобности жители квартала, и окунули головой в нечистоты.

В эту минуту раздался первый испуганный возглас: «Лаккаги! Лаккаги!» * Очевидно, несколько горящих пучков соломы попало в один из жилых бараков, стоявших напротив усадьбы. Пищи для огня здесь было вдоволь. Поднялся ветер, столбы зловонного дыма повисли над толпой, повсюду вспыхивало пламя, быстро обволакивавшее хибарки багровыми языками. Одна за другой запылали деревянные хижины и саманные лачуги. Перепуганные насмерть, задыхаясь от дыма, обжигаемые искрами и языками пламени, бунтовщики разбежались во все стороны, стремясь укрыться подальше от огня, который с каждым мгновением отвоевывал себе все новое и новое пространство. Раздались крики:

— Воды! Воды! Несите воду!

Люди, словно зачарованные феерическим зрелищем, стояли как вкопанные, их лица, озаренные красноватым отблеском огня, походили на волшебные маски. Просмоленные и пропитанные маслом доски горели, как спички, от раскалившихся добела цинковых крыш и сделанных из жести стенок лачуг шел такой жар, что самые храбрые и любопытные не отваживались подойти к ним поближе. На какой-то женщине загорелась одежда, она с криком каталась по земле во дворике дома, объятого пламенем.

Воды не было нигде, ни в соседних кварталах, ни в ближайших водоразборных колонках, которые по-прежнему бездействовали.

— Песок! Несите песок! Бегите за пожарными!

Присутствующие, вооружившись топорами и ломами, начали валить ряды хижин, окружавших место пожара. Разрушены были целые кварталы трущоб. А внутри созданной таким образом преграды пламя бушевало до зари, пока наконец не сожрало все доски и тряпки до единой и не угасло само по себе, оставив кучи пепла и углей, над которыми продолжали виться дымки.

■

Блеснули первые лучи восходящего солнца. Мам Софи и Раматулайя вернулись в усадьбу. Они плакали от дыма, отплевывались, их тошнило. В большой комнате сидела на кровати Ндейя Тути и убаюкивала Стачку. Рядом на полу спал на циновке измученный Красавчик Дауда. Он помогал тушить пожар и затем прибежал в Ндьяйен, изнемогая от усталости, весь в саже. Постепенно вернулись и остальные женщины; одна из них приподняла крышку жбана для воды.

— Нет ни капли,— заметила Раматулайя.

В это время на пороге появились Алиун, Дён и косой Идрисса. Они тоже шли с пожара, глаза у них покраснели от огня и дыма, одежда висела лохмотьями.

Алиун подошел к Дауде, нагнулся и потряс за плечо:

— Вставай, мне надо с тобой поговорить.

Молодой человек встал и попросил:

— Дайте немножко воды умыться.

---

* Пожар.

— Воды нет,— снова сказала Раматулайя.— Нечем было обмыть даже мертвецов.

— Дауда, ты должен ехать в Тиес. Там предстоит встреча с правлением дороги, нам надо послать делегата. Мне необходимо остаться здесь, поэтому поедешь ты. Пойдем в профсоюз, получишь деньги на дорогу. Ты должен поспеть на первый автобус.

Когда мужчины собрались уходить, Раматулайя сказала:

— Надо что-то предпринять, Алиун. Если сегодня будет то же, что вчера, нам придет конец. Объясни им, Алиун, что мы, женщины, больше не в силах выдержать. Мы недостаточно сильны. Мы не отказываемся от борьбы, но признать свое поражение — не позор. Взгляни на Стачку — ни у кого больше нет молока для него. У нас нет ни горсти риса, да если бы он и был, то нет капли воды, чтобы сварить его.

— Потерпи еще немножко, женщина. Завтра в Тиесе состоится встреча с дирекцией. Потом все встанет на свое место. Все позабудется.

Мужчины ушли. Вслед за ними вышла из усадьбы Ндейя Тути. Ей необходимо было подышать воздухом, кроме того, она была уверена в том, что полиция нагрянет снова, и не хотела присутствовать при новой стычке. Она машинально направилась к месту пожара. Шла по черной от сажи пыли, среди обезображенных, обгоревших развалин. Ндейя Тути здесь выросла, она ребенком играла в этих мрачных трущобах, бегала по этим узким улочкам, по захламленным вонючим дворам. Воспоминания об этом жгли ее, как огнем. Она готова была чуть ли не благословлять пожар, уничтоживший свидетелей ее позорного детства. Ее воображению рисовались выкрашенные в светлую краску дома, благоухающие цветущие сады, детишки в европейском платье, играющие на чистеньких дворах. А то, что она видела вокруг себя, выглядело совсем иначе. В обгоревших развалинах копошились люди, мужчины и женщины. Кое-где одиноко поднимался кверху столб, валялись ящики, пустые бидоны; подымая облака черной пыли, люди что-то подметали, откапывали, вытаскивали из кучи пепла котелок или остов кровати; вокруг бегали нагишом ребятишки, их кожа тоже была серой, как пепел.

Ндейя Тути отвела взгляд, попыталась думать о другом. В голове замелькали названия книг, имена людей. На мгновение вспомнился Бакайоко. Ее тянуло к этому суровому человеку, жившему словно в другом мире, но кто он? Рабочий. Стать женой рабочего, притом уже немолодого? К чему было, в таком случае, учиться в педагогическом училище? Нет, ей нужен адвокат, может быть, врач, нужна любовь, такая любовь, которая унесла бы ее далеко от этого живого кладбища, в сторону европейского квартала, туда, где стоят окруженные цветниками виллы, а не хижины из дерева и жести, спрятавшиеся за заборами или бамбуковыми изгородями.

Ндейя Тути неожиданно заметила в нескольких шагах от себя трех белых. Европейцы стояли спиной к ней и о чем-то оживленно разговаривали. Девушка остановилась. Она узнала среди них начальника санитарной службы, жандармского капитана и полицейского комиссара из Медины, того самого, чьи люди позорно отступили перед бутылками с песком, которыми орудовали Мам Софи и ее разъяренные подруги. Белые взобрались на холмик и наблюдали за людьми, убиравшими развалины после пожара. Ндейя Тути остановилась в нерешительности. Она хотела было подойти к ним, заговорить, показать, что понимает их, но оробела и, пройдя несколько шагов, укрылась за выступом стены и стала слушать.

— К вечеру все будет кончено,— говорил санитарный инспектор,— ночевать они будут в своей дыре. Сегодня все обошлось проще, чем в прошлый раз. Не уверен даже, что имеются жертвы.

— Один убитый,— заметил комиссар.

— Они сами виноваты,— заговорил капитан,— они подожгли дома, когда с горящими факелами напали на спаги. Не понимаю, почему управление санитарной службы не переселит их километров за двадцать от города, как это делают в Южной Африке и в Бельгийском Конго.

— План переселения намечен, но нужно время, нужны деньги и терпение. Они чертовски горды! Кроме того, мы не в Южной Африке.

— Они же дикари,— возразил жандармский капитан.— Боже мой! Взгляните-ка на эту женщину, там, видите, что она делает... У всех на глазах... Настоящая дикарка. Ее бы следовало арестовать и оштрафовать, чтоб другим не повадно было!

— Чем она заплатит штраф?

Ндейя Тути посмотрела туда, куда указал жандарм. В нескольких десятках метров она увидела на пустыре женщину, которая подняла повязку и присела на корточки. Девушке стало стыдно до боли: такая беззастенчивость в присутствии европейцев тяжело ранила ее. Неожиданно один из белых упомянул имя Раматулайи, и она насторожилась. Говорил полицейский комиссар:

— Ну-с, я вас покидаю. Надо распорядиться об аресте этой пресловутой Раматулайи.

— Вы намерены ее посадить? — спросил работник санитарной службы.— Смотрите, если вы слишком раздразните женщин, стычки не избежать. Вот уже десять лет как я имею дело с населением этого квартала, не думаю, чтобы его обитательницы много смыслили в забастовке, но если они в нее вмешаются, если они заодно с рабочими, трудно сказать, чем все это кончится.

— Согласен. История пренеприятная, но ко мне поступила жалоба и, кроме того,— бунт! Я вынужден отправиться туда. Пошли, капитан, мои люди уже, вероятно, на месте.

Спускаясь с холмика, европейцы заметили Ндейю Тути. Девушка была так взволнована, что не могла шевельнуться.

— Ты что тут делаешь? — спросил жандарм.— Подслушиваешь? Убирайся, живо!

Ндейя Тути растерянно молчала. Европейцы прошли мимо, продолжая разговаривать. Ей все было слышно.

— Видели ее глаза? — говорил комиссар.— А грудь какая! Настоящая нормандская телочка, совсем в моем вкусе!

— За чем же дело стало? Поручите кому-нибудь из ваших стражников найти ее, пошлите ей два кило риса. Сейчас они готовы переспать и за меньшее.

Жандармский офицер, произнеся эти слова, обернулся и увидел, что Ндейя Тути по-прежнему стоит на месте.

— Ты еще тут? Хочешь получить пинком в зад? — И, обращаясь к комиссару, добавил: — Вы без труда заполучите ее, она дура.

Девушка заплакала от ярости и стыда. Ей казалось, что земля горит у нее под ногами, она вынуждена была прислониться к стене; до нее донеслись слова санитарного врача:

— Я вас покидаю. Не имею никакого желания очутиться в переделке!

Она побежала, не разбирая дороги.

■

Мам Софи опять собрала соседок у входа в Ндьяйен. Увидев, что туземная полиция вместе с жандармами окружает усадьбу и выстраивается цепочкой на узенькой улице, она сразу поняла, что Ндейя Тути была права. К группе женщин подошел переводчик. Он неуверенно заявил:

— Мы пришли за Раматулайей.

— Тебе мало вчерашнего? Хочешь получить в гостинец еще одну бутылку? — накинулась на него Мам Софи.

Переводчик попятился и чуть было не налетел на подошедших комиссара и жандармского офицера. Комиссар взял его под руку и сделал несколько шагов вперед:

— Объясни им, мы не причиним ей зла, она нужна только для того, чтобы подписать бумагу. Потом она будет опять свободна.

Переводчик перевел слова комиссара, расписывая по собственной инициативе, как вежливо, с уважением к ее возрасту отнесутся в полиции к Раматулайе. В ответ раздались крики и ругательства. В поднявшемся шуме отчетливо выделялся пронзительный голос Мам Софи. Переводчик обратился к комиссару.

— Тут ничего не поделаешь, они заявляют, что не пропустят нас. Они нас убьют,— добавил он, выискивая глазами лазейку, через которую можно было бы улизнуть.

В это время к усадьбе подошла Ндейя Тути; ее нельзя было узнать, волосы растрепались, глаза гневно сверкали, плечики от лифчика спустились. Она приблизилась к женщинам.

— А, это ты! — встретила ее Мам Софи.— Скажи тубабам, что мы не отпустим Раматулайю. Умрем, если придется, но она в полицию не пойдет. Если у полиции есть к ней дело, пусть явится сюда со всеми своими судьями!

Еще не отдышавшись от бега, девушка отрывисто переводила слова Мам Софи. Комиссар с изумлением смотрел на нее.

— Вы говорите по-французски?

— Вот как! Только что ты мне тыкал, называл меня нормандской телкой, собирался переспать со мной за горсть риса! Твоя сестра тоже ложится в кровать с зуавами за ломоть хлеба?

— Как? Что вы говорите?..— комиссар ушам своим не верил.

Взволнованная Ндейя Тути рассказала женщинам о своей встрече с тремя белыми на холмике возле пожарища. На ожесточенных лишениями лицах женщин отразились гнев и возмущение. Руки судорожно сжимали горлышки бутылок, ручки кастрюль, куски дерева — на этот раз женщины вооружились всем, что попалось под руку. Но неожиданно толпа расступилась. Из усадьбы вышла Раматулайя, следом за ней шла Худья-Мбайя со Стачкой на руках, маленькая Анта семенила рядом, уцепившись за повязку матери.

— Не к чему снова вступать в драку,— сказала Раматулайя.—Со вчерашнего дня нас трясет, как в лихорадке. Есть убитые, был пожар, а мы ничего не добились, не достали никакой еды. Я пойду с ними. Я слышала, что он говорил,— она показала пальцем на переводчика,— он хочет, чтобы я подписала бумагу. Это не страшно. Я возьму с собой Ндейю Тути, она мне скажет, что в бумаге написано. И к нам вернется спокойствие. Я не хочу, чтобы из-за меня одной носили траур во многих семьях, чтобы появились новые вдовы и сироты. Это несправедливо! — И, обращаясь к комиссару, добавила:— Мисье, мы идти...

С этими словами Раматулайя встала рядом с комиссаром, ее примеру последовала Ндейя Тути.

— Анта,— решительно заявила Худья-Мбайя,— береги братишку, я иду вместе с ней.

— И я! И я! Пошли в комиссариат! Их словам доверять нельзя! — кричала Мам Софи.

По дороге двинулась своеобразная процессия. Впереди шла Раматулайя, по бокам выступали представители власти; за ними следовали Ндейя Тути со сжатыми в гневе кулаками и Худья-Мбайя, которая с трудом передвигалась, так как сильно устала еще с прошлой ночи; даль-

ше шли женщины под двойным эскортом полиции и жандармов; процессия все росла, так как на каждом углу к ней присоединялись все новые группы людей.

До комиссариата в Медине добрались минут через двадцать, у входа жандармский офицер отдал какой-то приказ: пока он вместе с комиссаром, обеими женщинами и переводчиком подымался по лестнице, солдаты загородили вход в здание.

Войдя в кабинет, комиссар и жандармский офицер уселись за стол, Ндейя Тути опустилась на скамью рядом с переводчиком. Раматулайя сесть отказалась и стояла посреди комнаты. Комиссар задумчиво теребил рукой подбородок: «Неприятная история, черт возьми! — думал он.— Жандарм может разыгрывать из себя храбреца, а случись что-нибудь, отвечать будет не он! Запереть старуху? Это может вызвать драку в квартале. Отпустить ее — значит, подорвать свой авторитет, возможно, даже вызвать новые беспорядки». Комиссар закурил сигарету, пустил дым и разогнал рукой голубое облачко.

— Сколько лет вы посещаете школу, мадемуазель? — обратился он к Ндейе Тути.— Хотелось бы, чтобы вы хорошо усвоили: во всем, что происходит, виновата эта женщина. Не знаю, кем она вам приходится, матерью или теткой. Она зарезала барана Мабиге, она воспрепятствовала выполнению закона, она подстрекала женщин к бунту.

Ндейя Тути, погруженная в свои мысли, ничего не ответила. Комиссар разозлился:

— Если не желаете разговаривать, то выйдите отсюда! Мне вы не нужны, у меня есть переводчик!

— Что он говорит? — спросила Раматулайя.

— Он хочет, чтобы я ушла, но боюсь, как бы они не увели тебя через другую дверь.

— В комнате нет другой двери,— возразила Раматулайя, обведя глазами помещение.

Переводчик шепнул Ндейе:

— Выйди, сестра, клянусь, передам тебе все, о чем тут будут говорить.

Девушка неохотно вышла из комнаты.

Улица и площадь, примыкавшие к зданию комиссариата, чернели от народа. Женщины расселись на тротуарах и даже прямо на шоссе, мешая движению. Они ругали на чем свет стоит блюстителей порядка, шутили и бранились, вызывая смех собравшейся вокруг толпы.

Худья-Мбайя заметила вышедшую на улицу девушку:

— Ну, что там? Где она? Что с ней?

— Мне велели выйти. Они могут вывести ее через другую дверь и отправить в тюрьму.

— Слышите? Тубабы снова собираются нас обмануть! Они хотят отправить Раматулайю в тюрьму, выведя ее через задний ход! Вставайте! Надо окружить дом, не дадим им сделать по-своему!

Женщины с шумом поднялись и, расталкивая на ходу полицейских, с криками окружили дом.

Ндейя Тути смотрела и слушала, но мысли ее были далеко. Худья-Мбайя подошла к ней:

— Ты бы поднялась наверх.

Девушка направилась к лестнице. Жандармы, видевшие, как она раньше вошла вместе с начальником, пропустили ее.

В кабинете все было по-прежнему. Комиссар и жандармский офицер о чем-то тихо переговаривались у окна, Раматулайя стояла посредине комнаты, а переводчик сидел неподвижно на скамье.

— Они разошлись?— спросила Раматулайя.

— Нет, они окружили весь дом. О чем тут говорили, брат?

Переводчик знаком пригласил девушку сесть рядом с ним и шепнул:

— Он вызвал пожарных, чтобы окатить женщин водой, а до этого он позвонил Сериню Ндакару *, тот сейчас приедет.

— Мерзавцы!— вырвалось по-французски у Ндейи Тути.

— Что вы сказали?— обернулся комиссар.

— Вызвать пожарных! Окатить людей водой! Теперь мне понятно, почему вы заставили меня выйти. Но я их предупрежу!

Комиссар быстро обогнул письменный стол и схватил девушку за руку:

— Ни с места!

Капитан набросился на переводчика, схватил его за шиворот и начал трясти:

— Негодяй, что ты ей сказал?

Раматулайя поспешно подошла к комиссару и попыталась освободить Ндейю Тути.

— Я ничего не понимаю,— кричала она,— решительно ничего, но не трогайте этого ребенка! Вы хотели, чтобы я пришла, вот я! Если делать здесь нечего, я вернусь домой!

Белым удалось наконец подтолкнуть обеих женщин к скамье и силой усадить рядом с помертвевшим от страха переводчиком.

— А теперь,— зарычал жандарм,— тот, кто сделает хоть шаг, будет иметь дело со мной!

■

Сначала послышались автомобильные гудки, затем на улицу и площадь стремительно выехали две цистерны и, с шумом затормозив, остановились в нескольких шагах от комиссариата и расположившихся рядом женщин. Началась давка, послышались крики; пожарные соскочили на землю, наладили шланги, с шипением брызнула вода.

— Оставайтесь на месте!— в ярости кричала Мам Софи.— У них нет воды, чтобы потушить пожар, но им не жалко ее, чтобы обливать нас! Сидите, где сидели!

Находившиеся в первом ряду женщины, промокшие насквозь, перепуганные насмерть, поднялись и начали разбегаться, их ноги скользили по мокрой земле, они падали в канавки, по которым уже бежала вода. На месте остались только Мам Софи и Худья-Мбайя. Пожарные направили шланги на них. Струя воды ударила Мам Софи прямо в грудь, она быстро упала на землю, спрятала голову между ног и крепко сжала руками пятки: вода теперь поливала только ее затылок и могучие плечи. Худья-Мбайя не сообразила сделать то же самое, струя попала ей прямо в лицо, голова женщины, словно от удара гигантским кулаком, резко откинулась назад; она широко раскрыла рот, чтобы крикнуть, в него попала сильная струя воды, и в шуме никто не услышал слабый хруст треснувших горловых хрящей. Худья-Мбайя взмахнула несколько раз руками, пытаясь ухватиться за воздух, как это делают утопающие, затем руки судорожно вцепились в рубашку и разорвали ее, она упала боком на землю; ее высохшие груди напоминали забытые на солнце пустые тыквенные бутылки.

Бинета и Мам Софи подбежали к Худье-Мбайе, стали возле нее на колени, вглядываясь в землистого цвета лицо, по которому еще текла вода, в искривленный гримасой рот с обнаженными деснами.

— Она мертва,— сказала Бинета.

---

* Имам, глава духовенства в Дакаре.

Мам Софи опустила повязку на обнаженный живот и бедра, затем выпрямилась:

— Нужна повозка! Пойдите за повозкой!

Несколько мужчин вышли из толпы и вскоре вернулись с ветхой телегой, на которую взвалили тело Худьи-Мбайи. Вид покойницы утихомирил страсти; женщины стояли неподвижно или шепотом переговаривались, разбившись на небольшие группки; никто не знал, что делать дальше. Стало тихо, все были растеряны.

Как раз в эту минуту появился имам. Высокий ростом, он казался еще выше, благодаря тюрбану на голове; он был в широченном белом бубу, украшенном орденами. У него был такой внушительный вид, что толпа расступилась, дав ему дорогу. Рядом с ним шли Аль-Хаджи Мабиге, тоже в тюрбане и при медалях, и еще двое верующих. Имам выступал медленным и уверенным шагом, заложив руки за спину под своим бубу. Поравнявшись с телегой, он остановился и поднял руку с двумя вытянутыми пальцами:

— Это ваших рук дело, женщины. С некоторых пор вы ведете себя, как безбожницы. Вы не только поджигаете дома мирных людей, но вы еще нарушаете законы. Вы виноваты в смерти этой матери и ответите за это перед всевышним. У вас нет ни стыда, ни совести, вы бросили свои дома и детей и бегаете по улицам, как распутные девки.

Старческий голос звучал глуховато, но так властно, что толпа замерла в полном молчании, а стоявшие в первом ряду опустили головы. Серинь обвел всех взглядом и продолжал:

— Я сейчас поговорю с Раматулайей и тубабами тоже, благодарение богу. Если я не вмешаюсь, они всех вас бросят в тюрьму. По моей просьбе Аль-Хаджи Мабиге взял свою жалобу обратно, так что советую вам быть благоразумными. Чтоб ни живой души здесь не было, когда я вернусь от комиссара, иначе я не смогу вмешаться и помочь. Поймите, ваши мужья стали игрушкой в руках нескольких неверных, поймите, что забастовкой руководят коммунисты, а если бы вы знали, что происходит в их собственной стране, вы молили бы бога простить им их прегрешения. Они говорят вам, что вас морят голодом, но у них в стране люди едят только два или три раза в неделю. Они еретики, они допускают, чтобы брат сожительствовал с сестрой. Расскажите об этом вашим мужьям. Господу богу угодно, чтобы мы дружили с французскими тубабами, которые учат нас изготовлять необходимые нам вещи, и мы не должны восставать против воли всевышнего, чьи пути неисповедимы. Бывает иногда, что люди сходят с пути истинного, я это знаю, но сейчас я вам все разъяснил по своему скромному разумению. Идите же по домам. Я скажу комиссару, как обещал уже мэру-депутату, что все это больше не повторится. Да возьмут вас под свое святое покровительство всемогущий на небесах и его пророк!

Закончив свою речь, имам пошел дальше и величественным шагом поднялся по ступенькам комиссариата. Едва он скрылся из виду, как Мам Софи нарушила тяжелое молчание:

— Это неправда! Женщину убили не мы! Я остаюсь и буду ждать здесь Раматулайю. Оставайтесь со мной!

С этими словами она схватила под уздцы старую лошадь, запряженную в телегу, и отвела почти к самой двери комиссариата, поставив ее под носом у жандармов и полицейских, которые во время речи имама успели перестроить свои ряды.

Комиссар и капитан облегченно вздохнули, услышав стук в дверь. Переглянувшись, они в один голос крикнули: «Войдите!»

Имам важно вошел в комнату, его свита следовала за ним.

— Ас-салам алейкум,— произнес он и добавил по-французски, протягивая руку белым:— Здравствуйте, господа.

— Подай стулья, Исмаил,— распорядился комиссар.

Имам уселся. Затем обратился к Раматулайе:

— Сядь, женщина, я хочу с тобой поговорить.

Раматулайя продолжала стоять, в упор глядя на Мабиге.

— Ты упорствуешь, женщина, и это ни к чему не приведет. Ты навлекаешь на себя гнев тубабов, и это опасно для нас всех, ты, кроме того, взваливаешь ответственность и на меня. Тебе известно, что я был другом твоего отца и продолжаю быть другом твоего брата. Ты принадлежишь к почтенному и безупречному роду, я говорил об этом нашему депутату, но твое поведение недостойно честной женщины.— Имам заговорил дальше по-французски, обращаясь к комиссару:— Она неплохая женщина, глупа немного. Ее брат взял свою жалобу обратно, я беседовал с мэром, нашим депутатом, он возместит ему убытки. Подлинные виновники всего — вожаки-коммунисты, как мне говорили белые. Вам следует во что бы то ни стало найти их, а я, в свою очередь, выступлю в пятницу с большой проповедью перед всей общиной.

Комиссар откинулся на спинку стула.

— Если жалоба взята обратно, она свободна.

— Да, но я хочу, чтобы она прежде извинилась перед братом. Примите грозный вид, чтобы испугать ее.— Обратившись к Раматулайе, имам добавил:— Видишь, комиссар охотно отпустит тебя домой, но сначала ты должна извиниться перед братом, который взял обратно свою жалобу, и обещать, что впредь ничего подобного не сделаешь.

Раматулайя готова была резко возразить, но сдержалась и по-прежнему молча стояла посреди комнаты. Ее молчание явно подрывало престиж имама перед белыми. Ласковым тоном он попытался ее уговорить:

— Мы тебя слушаем, Раматулайя. Я считаюсь с твоим самолюбием и обещаю тебе перед всевышним, который все видит и все слышит, что ни одно слово из того, что ты скажешь, не выйдет за пределы этой комнаты.

Комиссар сказал переводчику:

— Объясни ей, что как только извинится, она сможет уйти отсюда.

Ндейя Тути привстала со скамьи:

— Тетушка, сделай то, что они говорят, и...

Она так и не закончила начатой фразы. Раматулайя с размаху ударила ее по щеке. Девушка опрокинулась на скамью и начала всхлипывать, поднеся руку к губам, по которым потекла струйка крови. Раматулайя поспешно подошла к ней.

— Встань, Ндейя Тути, я не хотела тебя ударить, но я тебя предупреждала —не вмешивайся! Пусть я лучше ослепну, сгорю во время пожара или умру мучительной смертью, чем скажу хоть слово этому козлу. И готова снова сделать то, что сделала с его бараном. Такие люди — нам не друзья и не родные, чтобы получить и повесить на себя медаль, они готовы лизать зад тубабам, это ни для кого не тайна. Не плачь, вставай, уйдем отсюда. Я досыта на них нагляделась!

И, прежде чем присутствующие успели сообразить, в чем дело, она взяла девушку за руку и вышла, хлопнув дверью.

Телега с трупом Худьи-Мбайи по-прежнему стояла у входа в комиссариат. Возле столпилась кучка мужчин и женщин, все остальные постепенно разошлись, испытывая смешанное чувство усталости, растерянности и страха. Раматулайя долго вглядывалась в искаженное смертью лицо убитой, и тяжелые крупные слезы медленно покатились по ее щекам.

— Она мертва, а я живу,— произнесла она.— Я сделала все, что могла, чтобы она и ее младенец не умерли с голоду. Что скажут ее родители?

— Родители поймут, что на то была воля божья,— проговорила Мам Софи.— Никому не суждено жить дольше предназначенного ему часа, ты тут ни при чем.— И обратилась к вознице:— Ты знаешь усадьбу Ндьяйен? Вези туда...

Маленький кортеж тронулся в путь по той самой дороге, по которой час тому назад подошла к комиссариату большая процессия. Рамату-лайя подошла к Алиуну, шедшему за телегой:

— Пора кончать, Алиун. Если вы не хотите сделать это ради себя, подумайте о нас. Мы не в состоянии дольше выдержать, да и покойников слишком много.

— Мы должны дождаться результатов встречи в Тиесе... Завтра, может быть...

ТИЕС

ПЕНДА

Женщины Тиеса постепенно распродали все мало-мальски ценные вещи. Торговцы отказывались брать не только косынки и набедренные повязки, хранившиеся от первой брачной ночи, но и редкостные амулеты, предохраняющие от дурного глаза, от джинов и других злых духов. Женщины впали в такую апатию, что даже не обижались на отказы. Грустно брели они домой, через пустыри, в надежде найти хоть какие-нибудь объедки, зная заранее, что надеяться не на что, так как голодные, изможденные ребятишки раньше их все облазили.

Жены бастующих собирались обычно у торговки Дьейнабы. Ей давно уже нечем было торговать, и сама она сидела, посасывая пустую трубку. Она выслушивала жалобы женщин, их проклятия «хозяевам машин» и, как умела, старалась подбодрить их.

В этот день Марьям Сонко, жена сварщика Балла, возвращаясь с рынка, где ей удалось купить несколько корней маниоки двухлетней давности, увидела Дьейнабу, окруженную женщинами и толпой ребятишек. Торговка только что отрубила голову попавшему в силки грифу. В высоко поднятой руке она держала за лапы убитую птицу. Кровь стекала по белой шее хищника и капала на ноги Дьейнабы.

— Вот наш сегодняшний обед. Никто из нас никогда не ел тана *. Хищная птица живет падалью и отбросами. Мы последуем ее примеру. Съедим ее — авось не подохнем!

После обеда — в те дни, когда бывал хоть какой-нибудь обед,— женщины усаживались вокруг старших в роде. Иногда разговор прерывался, и наступала гнетущая тишина. И тогда кто-нибудь из женщин, стараясь отвлечь подруг от всепоглощающих мыслей о голоде, уйти от страшных дум о завтрашнем дне, не поддаться отчаянию, затягивал песню, ее подхватывала одна, другая, каждая вставляла новый куплет, песня росла и ширилась в ночи. Женщины прославляли в ней своих мужей.

Пенда вернулась домой, когда все уже спали. Несколько дней назад она ушла с каким-то прохожим и жила с ним это время. Было совсем темно, и земля, отдыхавшая от дневного зноя, приятно холодила ноги. Не в первый раз уходила Пенда из дому, никто уже и не пытался ее удерживать. С детства стала проявлять она свою самостоятельность и с годами становилась все независимее. В юности она с неприязнью относилась к мужчинам и отказывала всем, кто к ней сватался. После смерти матери ее взяла к себе Дьейнаба, вторая жена ее отца, и отвела ей шалаш в глубине усадьбы. Здесь она и жила все эти годы, вернее, сюда возвращалась после очередного исчезновения.

* Хищная птица.

Войдя ночью в свою хижину, она вдруг услышала испуганный голос:

— Кто здесь?

— Хозяйка шалаша.— Голос Пенды звучал резко, она не привыкла к мягкому обращению с людьми.— Зажги свет, я хочу посмотреть, кто ты, и узнать, что ты здесь делаешь.

— Дьейнаба мне разрешила жить в твоей хижине, пока тебя не было,— произнесла слепая Маймуна, прижимая к себе младенца.

— Я тебе сказала, зажги свет! Я ничего не вижу в этой дыре, а я не слепая, слышишь!

— Но я-то слепая...

— Довольно врать, я знаю, ты здесь с мужчиной!

— Кроме моей дочки Адамы и меня, в этой хижине есть только бог.

Пенда сделала несколько шагов, наткнулась на стену и начала снова ругаться:

— Зажги свет, упрямая голова!

— Я же тебе сказала, что я слепая, и у меня нет спичек.

Наконец Пенда добралась до кровати, нащупала ступню Маймуны, провела рукой вдоль ее ноги, наткнулась на тельце девочки, которая тихо захныкала, тронула рукой лицо слепой.

— Ложись рядом,— сказала Маймуна,— ты же видишь, что я одна, и утро уже недалеко! Я отодвинусь к стенке, и девочку положим между нами... Или ты хочешь, чтобы я легла на пол?

— Ложись, где хочешь! — отрезала Пенда.

Проискав напрасно спички, она все-таки легла на кровать. Сон не шел, и она долго глядела в темноту, слушая тихий плач младенца.

На рассвете Маймуна, крепко прижав к себе заснувшую девочку, осторожно слезла с кровати и тихонько покинула хижину. Она услышала скрип колеса — женщины уже собрались у колодца. Слепая подошла к Дьейнабе, которая разминала в толстых пальцах засохшие листья кустарника: она набивала ими трубку вместо табака. Маймуна рассказала о ночном возвращении Пенды.

— Она не очень приветлива, твоя падчерица,— сказала она под конец.

В это время подошла Марьям Сонко, ходившая к соседке за горячими углями: спичек не было, и женщины старались по очереди поддерживать огонь в очаге. Через пять минут все только и говорили что о возвращении Пенды.

Солнце было уже высоко, когда та наконец вышла из шалаша. Корсаж плотно облегал ее сильную грудь, и набедренная повязка была завязана узлом на левом боку.

— Провели ли ночь с миром, люди нашего дома? — спросила она.

— С миром,— ответила Дьейнаба.— И тебе того желаем.

Небрежной походкой Пенда направилась к дому Марьям Сонко, взяла миску с водой, стоявшую у двери, тщательно вымыла лицо и коротко подстриженные волосы. Вытирая руки, она обратилась к Маймуне:

— Это ты, слепая, живешь у меня?

По тону, каким это было сказано, трудно было догадаться, то ли Пенда просто установила факт, то ли хотела упрекнуть Дьейнабу за то, что та распоряжается ее жильем.

— Да, я,— и мертвые глаза слепой, казалось, искали взгляд торговки.— А тебе что, стыдно спать со слепой, или ты веришь тем, кто считает, что увидеть калеку при пробуждении — несчастливая примета?

Пенда пожала плечами и пошла через двор. Капельки воды на ее мокрых волосах сверкали на солнце. Подойдя к своей двери, она повернулась к слепой и сказала:

— Ты будешь жить у меня, но запомни, что я не терплю ни попрошаек, ни грязнух. Твое имя Маймуна, и я больше не буду называть тебя слепой.

— Да, верно, это мое имя. Благодарю тебя за доброту.

Стенки шалаша были обтянуты оранжевой тканью с рисунком в виде зеленых пальм. К материи были приколоты фотографии Кларка Гэйбла, Тино Росси, Фернанделя * и гравюры, изображавшие полуголых белых женщин в двусмысленных позах. Возле деревянной кровати на подставке из консервных банок стоял сундук, заменявший туалетный столик. Пенда поставила на кровать фибровый чемодан с потертыми углами и выложила его содержимое в сундук.

Дни тянулись томительно медленно. Пенда и Маймуна привыкли к совместному житью, хотя разговор их обычно сводился к двум-трем незначительным фразам. Как-то вечером, однако, Пенда спросила:

— Кто отец твоих близнецов?

Слепая не ответила. Она и сама не знала, хочется ли ей вспоминать этого человека. Вся ее жизнь была сосредоточена теперь в оставшейся в живых малютке, она не видела ребенка, но ее пальцы хорошо изучили его худенькое тельце.

Пенда продолжала листать старый модный журнал, покрытый жирными пятнами. Не дождавшись ответа, она сказала:

— Я все равно узнаю, кто он.— И добавила:— Все мужчины свиньи!

Маймуна ответила:

— Не думаю, что все.

— О, если бы ты могла видеть их лица после, ты бы поняла это.

— Я их не вижу, это верно, но, слыша голос, я всегда могу сказать, что за человек передо мной.

— Тогда как же ты дала себя одурачить?

Маймуна снова промолчала. Она крепко прижала к себе малютку и спросила:

— Скажи, моя маленькая Адама красива?

Пенда посмотрела на золотушного ребенка, из глаз которого текла желтоватая жидкость.

— Она самая красивая девочка на свете,— и, швырнув журнал, вышла во двор.

■

Через несколько дней после возвращения Пенды Лахбиб попросил ее заняться распределением пайков среди женщин.

— Почему не отдать пайки мужчинам, и пусть там сами разбираются?

— Мы так и делали сначала, но в семьях пошли споры. Мы не хотим, чтобы недовольные жены влияли на мужчин, уговаривая их вернуться на работу. И решили отдавать пайки женщинам.

— Правильно решили. Но вы не боитесь ссор между женами?

— Они неизбежны, но менее опасны. Такие ссоры не имеют отношения к забастовке.

— Что ж, и то правда. Я согласна.

С этого дня два раза в неделю Пенда с двумя помощницами священнодействовала за столом с продуктами. Распределение риса происходило на улице. Прежде чем пройти к столу, каждый подходил к Лахбибу, который по списку отмечал имена. Самба Ндулугу и Бубакар помогали ему следить за порядком.

---

* Популярные киноактеры.

Не переставая работать, Пенда вглядывалась в подходивших женщин. В беспощадном дневном свете особенно отчетливо бросалась в глаза их нищета, изношенные и залатанные кофты, потрепанные косынки с оборванными краями. Женщины стояли группами, делились новостями, жаловались, успокаивали друг друга, ссорились, и все с нетерпением ждали того дня, когда можно будет наконец досыта накормить детей.

В нескольких шагах от стола Пенда заметила Аву, старшую жену Сене Масене. Эту женщину с квадратным подбородком все побаивались, зная ее злой нрав.

Пенда как раз освободилась и позвала:

— Подходи, Ава!

Ава остановилась перед Лахбибом, глаза ее сверкали, ноздри раздулись, точно у кошки, готовой ринуться в бой:

— Ты думаешь, я позволю уличной девке давать мне рис?

Лахбиб поднял голову.

— Ты опять за свое! За эти две недели ты скандалишь в третий раз. Пенда, отпусти ей рис.

— Не стану брать из рук проститутки!

Пенда вышла вперед.

— Ава, я не говорю по-французски, но рис ты получишь только из моих рук. Ясно? Лахбиб, не задерживай очередь, с этой я справлюсь сама.

В дальнейшем Лахбиб неоднократно убеждался, что правильно назначил Пенду на раздачу пайков: она умела поставить на место женщин и заставляла мужчин уважать себя. Как-то раз в профсоюзе, где она теперь часто помогала мужчинам, кто-то из рабочих попытался погладить ее по спине, она тут же влепила ему при всех пощечину — вещь, невиданная в этих краях.

Вечером Пенда возвращалась в хижину, где по-прежнему жила Маймуна.

Как-то она сказала слепой:

— Я все ищу отца твоих близнецов.

— Зачем тебе это нужно?

— Мне-то ни к чему. Но я должна дать ему по физиономии.

— Вот ты не любишь мужчин, а лезешь в драку ради их забастовки...

Часто перед сном Пенда сама себя спрашивала: «Почему я помогаю им? Какая мне выгода от этого?..»

Но она засыпала, не находя ответа.

ТИЕС

ДУДУ

Дуду совсем извелся. За полтора месяца, что он стоял во главе стачечного комитета, его нельзя было узнать: спина согнулась, грудь впала, и голова, точно слишком тяжелый плод, клонилась книзу. Радостное возбуждение, владевшее им в первые дни забастовки, давно погасло. Он видел перед собой только ввалившиеся глаза голодных детей, видел упорное желание продолжать борьбу и спрашивал себя, имеет ли он право требовать от людей стойкости, когда нет ни еды, ни денег, ни кредита. Конечно, помощь поступала, но она была ничтожно мала по сравнению со страшной нуждой.

В этот вечер Дуду вернулся домой поздно. Все уже спали, только жена Улайя ждала его. После прихода мужа она легла и натянула на

себя пестрое одеяло. В темноте виднелись лишь ее косынка и белки глаз. Она смотрела на мужа: да, он уже далеко не так красив, лоб избороздили морщины. Она вспоминала первые годы замужества. Они были счастливы. Однажды Бакайоко пригласил их в кино. В фильме показывали обвал в шахте, люди кричали, женщины плакали. Улайя не все поняла, тем более что люди на экране не были похожи на негров. А в конце фильма красивая белая девушка поцеловала главного героя. Улайя невольно рассмеялась: какой смысл так целоваться? И вдруг сейчас, глядя на своего мужа, понуро сидящего рядом, она вдруг захотела тоже поцеловать его в губы. Она порывисто, с кошачьей гибкостью повернулась в постели.

— Тебе что-нибудь надо? — спросил Дуду, погруженный в свои мысли.

Улайя промолчала и притворилась спящей. Ей стало стыдно, стыдно своего странного, порочного в ее глазах желания. Никогда Дуду не целовал ее. И мысль о поцелуе долго не давала ей заснуть.

Дуду тоже не спал. В голове его назойливо вертелись вопросы, осаждавшие его уже не первую неделю. Когда он предложил свою кандидатуру на пост председателя стачечного комитета, все были очень довольны: во-первых, Бакайоко и Лахбиб часто находились в разъездах, а он жил постоянно в Тиесе, а во-вторых, он был грамотный. Дуду погрузился с головой в новую для себя деятельность. Его усердие и энтузиазм не знали предела: он проводил митинги, ходил с одной станции на другую, объяснял рабочим смысл забастовки, вселял в них надежду на лучшее будущее. Он сам был убежден в этом будущем и старался убедить других. Речи его были не всегда складными, ему не хватало слов, и фразы наскакивали одна на другую, как вагоны плохо сцепленного состава. Однажды во время поездки он встретился с Бакайоко, и тот отчитал его:

— Я дал тебе книги. Найди время и почитай их. Любая оплошность может погубить все дело. Твои речи не убедят даже маленькую Аджибиджи.

Но Дуду был увлечен. Его приободряли восторги слушателей. Он не придал значения предупреждению Бакайоко. В другой раз Лахбиб сказал ему:

— Ты плохо кончишь.

Многочисленные обязанности стали тяготить Дуду, опьянение славой отдавало горечью, и иногда во время профсоюзных собраний он подолгу сидел, храня мрачное молчание. Так порой судьба опрометчиво ставит во главе отары пастуха, который безуспешно пытается найти новое пастбище. Дуду хотелось вновь испытать наивную радость первых дней забастовки, но тщетно. Отныне, казалось ему, его всегда будут преследовать тысячи мужчин и женщин, которые ждут его слова и которым ему нечего сказать, ибо он поторопился, не подготовился спокойно и терпеливо к своей роли.

Забастовка длилась уже более сорока дней — и никаких признаков переговоров, ни перспектив возобновления работы. Вид вечно голодных детей действовал на бастующих, в семьях начались раздоры. Муж отдавал свой паек то одной, то другой жене, начинались ссоры и даже драки.

Обо всем этом думал Дуду, лежа рядом с задремавшей Улайей.

■

Маленькая комната, в которой заседал комитет, была переполнена. Помимо Лахбиба и Дуду там собрались мастер Сене Масене, Баширу, Самба Ндулугу, прозванный за свою болтливость Ходячей Газетой, толстый кузнец Бубакар, сварщик Балла и многие другие. Невероятный шум и возбуждение лишний раз доказывали, что вопрос о распределении пайков решить будет не так-то просто.

Первым ринулся в бой Баширу. С нескрываемой иронией он спросил у председателя комитета:

— Дуду, как ты думаешь распределять пайки? Многоженство нас окончательно запутало. Если мы будем давать долю на каждого бастующего, женщины перегрызутся. Мы конечно не можем требовать от бастующих, чтобы они развелись с женами, но мне бы хотелось все-таки знать твое мнение.

— Мы собрались сюда не для того, чтобы выяснять мнение Дуду, а чтобы решить вопрос о пайках,— резко отпарировал Самба Ндулугу. Он никогда не упускал случая уколоть Бюрократа Баширу.

Слово взял Сене Масене.

— Товарищи,— заговорил он по-французски.— Всем известно, что многие из нас имеют по две, три и даже четыре жены, но мы не можем выдавать бастующему двойной или тройной паек, ведь членские взносы каждый платил только за себя...

После него высказался сварщик Балла.

— Да, решить это дело не просто. Всему мешают раздоры. Все недоразумения сеют только определенные лица,— и он посмотрел в сторону Сене Масене и Баширу.— Верно, конечно, что многие из нас имеют по несколько жен, но неверно, что в супружеских спорах виновата забастовка. Каждый сам должен улаживать свои семейные дела, а не являться в профсоюзный комитет с жалобами: «Вторая жена отказывается спать со мной, потому что я отдал свой паек первой». Я предлагаю сегодня же кончить с этим вопросом.

— Ты прав, Балла,— сказал Баширу.— Надо решить вопрос. Если некоторые жены вернулись к своим родителям в деревни, пристало ли нам ехать за ними?

Его речь прервал сильный кашель. Старик Бакари совсем захлебывался. В глубине души все восхищались больным стариком, который с первого дня забастовки находился всегда с ними, ни разу не пропустив ни одного собрания.

Лахбиб встал, провел кончиком языка по усам и заговорил.

— Я думаю, что наиболее разумным будет раздавать пайки не мужчинам, а непосредственно их женам, я хочу сказать, каждой ее долю. Кормящие матери будут получать в первую очередь. Что же касается нас, мужчин, то мы как-нибудь устроимся.

— А как же холостяки? — поинтересовался Баширу.— Их как, побоку?

Кузнец Бубакар резко перебил его.

— Послушай, Баширу, я начинаю сомневаться в том, действительно ли ты желаешь успеха забастовки? Ты же прекрасно знаешь, что холостяки живут в домах семейных и что у нас никто не сядет за стол, не позвав соседа. К тому же ты-то ведь не холостой?

Баширу опустил голову и притих.

— Кому будет поручена раздача пайков? — спросил Сене Масене.

— Мы решили выделить трех мужчин и трех женщин: Пенду, Аби и Дадо.

— Как, проститутку Пенду? — возмутился Сене Масене.

— Да, проститутку Пенду, как ты изволишь говорить. Я бы хотел посмотреть, посмеешь ли ты повторить эти слова ей в лицо!

— Ты что, спал с ней? — спросил Балла.

— Мы собрались здесь не для выяснения, кто с кем спит! — заявил Дуду и встал.

На душе у него стало немного легче, так как вопрос был решен и ему не пришлось вмешаться. Правда, он был недоволен тем, что все решил не он, а его заместитель Лахбиб.

Он пошел по привычке на станцию. Долго смотрел на здание депо, на крыши мастерских, на ангары с открытыми настежь воротами, на горы рельсов, на застывшие в неподвижности огромные паровозы. Поглядел на нескольких белых рабочих, присланных из метрополии,— благодаря им поезд пускали раз в неделю. В грустной задумчивости повернул он обратно и вошел в лабиринт переулков. Внезапно он столкнулся лицом к лицу с белым. Это был «старый колониальный волк», мастер Иснар. Лицо его напоминало кусок красной кожи, черная щетина покрывала подбородок и щеки, а толстая шея была вся в складках, как у старого буйвола. Из-под коротких рукавов хорошо отглаженного комбинезона торчали две волосатые мускулистые руки. Он протянул руку Дуду. За пятнадцать лет работы под начальством Иснара Дуду впервые видел, чтобы тот подал ему руку. Пораженный этим жестом, он машинально протянул свою.

— А, так это ты, Дуду! Вот уж не думал встретить тебя в этих местах. Ведь сейчас же забастовка, не так ли? Ну, как поживаешь в роли начальника? Знаешь, я горжусь тем, что рабочие выбрали себе руководителя из нашей бригады. По крайней мере, я могу сказать, что пятнадцать лет, проведенных мною здесь, не прошли даром. Когда я вспоминаю, как ты начинал...

И Иснар углубился в воспоминания. Дуду не слушал его. За все годы он слышал от Иснара только несколько однотипных фраз: «Ты кончил?» или «Эта деталь для третьего цеха». Он помнил, как однажды сказал помощнику мастера Драме, человеку с глазами куницы: «Почему белым положен перерыв в десять минут, а нам нет?» Драме тут же донес об этих крамольных словах Иснару, который при всех оскорбил Дуду: «Поди побели свою кожу, тогда и получишь десять минут!» Дуду сдержался, но обиду не простил.

И вот сейчас Иснар стоял рядом и что-то говорил ему. К старой затаенной обиде примешивалось еще и опасение, что его могут увидеть с белым.

— Эта забастовка оказалась так некстати,— продолжал Иснар.— Ты знаешь, ведь новые назначения уже прибыли. Я видел твое имя в списках... Я, конечно, знал и раньше, потому что я сам предложил твою кандидатуру, но я ничего не говорил, мне хотелось сделать тебе сюрприз, потому что ты способный парень. Назначения утверждены уже четыре месяца тому назад. Твоя надбавка составит кругленькую сумму. Ты сможешь купить себе еще одну жену. Ты меня знаешь, я уважаю ваши обычаи и подчас даже сожалею, что я не африканец и не могу позволить себе иметь четырех жен... Да, чуть не забыл. В последний раз, когда я говорил с господином Дежаном, с директором — ты его не знаешь, но он тебя знает, и теперь ты тоже познакомишься с ним,— так вот, мы говорили с ним о тебе. Дело в том, что я собираюсь скоро уйти на пенсию, и тогда... Тогда ты займешь мое место. Конечно, Драме мог бы претендовать на это место по старшинству, но он неграмотный. Тогда ты сумеешь купить себе уже не двух, а трех или даже четырех жен. Счастливчик!

Рука Иснара дружески похлопывала его по спине, но Дуду продолжал упорно молчать.

— Да, я ведь совсем забыл самое главное,— продолжал Иснар.— У меня есть для тебя три миллиона. Я не думаю тебя подкупать, я слишком хорошо знаю африканцев и знаю, что ты не из таких. Нет, это просто аванс в счет будущих расчетов. Что скажешь?.. Три миллиона, в колониальных франках конечно.

На этот раз Дуду наконец посмотрел мастеру прямо в глаза. Лицо Иснара стало кирпичным. Но Дуду продолжал молчать, и Иснар пожалел, что выложил сразу все козыри. Молчание становилось тягостным.

Сердце Дуду горячо билось: «Ни мой дед, ни мой отец, ни я, соединив все наши жизни, не могли бы увидеть столько денег сразу». Затем он сказал вслух:

— Хочешь меня подкупить?

— Да нет, что ты! Я же тебе сказал, что это аванс в счет надбавки за выслугу лет. Послушай, Дуду, ты теперь будешь работать мастером, возобновление работы в твоих интересах. Видишь ли, забастовка не выгодна никому — ни тебе, ни мне, ни управлению железной дороги, ни твоим товарищам. Когда бастующие приступят к работе, ты, как председатель комитета, сможешь начать переговоры с дирекцией.

— Три миллиона — огромная сумма для негра, особенно для рабочего негра. Но и три миллиона не сделают мою кожу белой. Я предпочитаю десятиминутный перерыв.

— У вас будет и перерыв и многое другое. Но прежде всего надо возобновить работу. После вы сумеете обо всем договориться, я уверен. Ты же знаешь, что я человек слова и что для меня нет разницы между неграми и белыми. Я ведь люблю негров.

Дуду наконец представился случай отомстить.

— Бакайоко не раз повторял, что белые, которые говорят, что они любят негров, просто лгут.

— Ну, что касается этого типа, пусть только кончится забастовка, мы ему покажем...— С обиженным видом Иснар добавил:— Это я-то не люблю негров?

— А за что ты их любишь? Что они, яблоко или постель?

Иснар не знал, что ответить. Вопрос застал его врасплох. Негры всегда казались ему большими детьми, подчас трудными детьми, с которыми все-таки можно справиться. Он попытался увернуться.

— Негры такие же люди, как и белые, такие же способные, иногда даже более способные.

— Не следует преувеличивать. Но тогда почему же мы не пользуемся теми же правами, что они?

Лицо мастера помрачнело. Он уже думал не об отказе негра от трех миллионов, он чувствовал, что терпит гораздо более серьезное поражение. Все его многолетние представления терпели крах. Безумный гнев охватил его, он чувствовал, что теряет самообладание. Но тут они увидели Леблана. Вдребезги пьяный, он размахивал руками, стараясь удержаться на ногах. Его костюм хаки был весь в пятнах, расстегнутый пиджак открывал голую грудь. Иснар сжал кулаки: еще одно унижение перед негром! Леблан остановился и, раскачиваясь на каблуках, посмотрел на Дуду налитыми кровью глазами.

— Ага, вот и наш герой! Браво! Не сдавайся! Вы им здорово попортили кровь, этим выродкам! Да ты не слушай Иснара, он тебе наплетет черт знает что!

— Хватит, Леблан, иди домой, слышишь? — проговорил Иснар сквозь зубы.

— Иду, иду. А ты, негр, послушай, что я тебе скажу. Я вас не люблю, и все-таки я говорю: держитесь....

Иснар, схватив Леблана за плечи, резко повернул его и грубо толкнул в сторону ближайшего переулка. Дуду зашагал по направлению к рынку. Едва он успел сделать несколько шагов, как Иснар догнал его.

— Дуду, послушай же, Дуду! Ты же умный парень, ты же должен быть с нами, понимаешь? Если тебе не нравится работать в Тиесе, можно тебя перевести с повышением на другую станцию...

Дуду обернулся.

— Помнишь, что ты мне ответил на просьбу о десятиминутном перерыве? Что мне стоит лишь изменить цвет кожи? Так вот, три миллиона не

сделают меня белым. Бери их себе и скажи Дежану, что мы готовы начать с ним переговоры.

Иснар остался посредине улицы, бормоча про себя: «Сволочь! Грязная свинья! Ты мне заплатишь за это!»

■

Дуду пошел в профсоюз.

— Привет, Дуду! — сказал Лахбиб.— Есть новости от Бакайоко. Он едет сюда, но по дороге должен побывать еще в Тубе и Дьюрбеле. А в конверте со штемпелем «Тиес» лежит опять десять тысяч франков. Это уже второй раз.

— Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из белых посылал эти деньги,— сказал Бубакар.

— Но деньги есть только у белых.

Лахбиб посмотрел на Дуду, чье лицо светилось радостью.

— У тебя есть какие-нибудь новости?

Дуду подробно рассказал о своей встрече с Иснаром.

Когда он кончил, Самба от радости запрыгал на своих коротких ножках, подбрасывая под потолок кепку и ловя ее с радостными криками:

— Слава Дуду! Вот настоящий человек!

Вскоре вся комната заполнилась народом, новость распространилась с быстротой молнии. В десятый раз Дуду повторял свой рассказ. Лахбиб внимательно слушал, наконец проговорил:

— Сколько недель я ищу уязвимое место в их доспехах. Теперь оно нам известно. Сегодня они впервые обратились к нам. Теперь ясно: мы победим.

ТИЕС

МАЛЬЧИКИ

В Тиесе помимо служащих управления дороги и семей рабочих существовал еще крошечный мирок, живший своей жизнью. Его составляли ученики депо.

Во главе отряда из двенадцати мальчиков, младшему из которых было четырнадцать, а старшему семнадцать, стоял Магат, ученик Дуду. Первое время забастовка казалась им лишь затянувшейся переменой. Взрослым было не до них, и ребята радовались непривычной свободе. Но жить становилось все труднее. Взрослые стали посылать мальчиков на поиски заблудившихся цыплят или собирать плоды баобаба. Вскоре не стало цыплят и даже в овраге вблизи аэродрома не осталось плодов на баобабах.

У выхода из Нгинта, наиболее многолюдного квартала города, у дороги, ведущей в поле, стоит самый древний баобаб в этом краю. Своим широким, приземистым стволом и безлистными ветвями он напоминает огромную сухую старуху, размахивающую руками. Никто не знает его возраста. В его толстенном стволе ребята обнаружили огромное дупло и почувствовали себя в нем как дома. Они очистили дупло от грязи и устроили в нем тайный штаб. Они проводили там целые дни, оставляя на страже дежурного, который устраивался верхом на одной из веток. Все разговоры ребят вертелись вокруг кино. Больше всего они увлекались фильмами о ковбоях, затем шли фильмы о войне. Часто, томимые бездельем, они сами затевали игру в войну. Древний баобаб становился главным противником, и они обрушивали на него град камней.

Однажды, когда они играли с ежом вблизи тайника, Сулей подсел к Магату:

— Хорошо бы сделать пращи...

— А где достать резину?

— Наверно, у Азиза есть, у него ведь грузовик.

На следующее утро они уже были на месте. Лавка Азиза, расположенная по ту сторону станции, на углу площади Франции, имела задний выход в просторный двор, обнесенный изгородью из бамбука. Магат раздвинул несколько жердочек и заглянул во двор: там действительно стоял грузовик.

— Со мной пойдут Сен и Горги,— сказал он.— Сулей останется на страже у дверей лавки. Если увидишь, что идет Азиз, свисти! Остальные пусть наблюдают за площадью.

Магат распутал проволоку, которой был связан бамбук, пролез между двумя жердями и сделал знак своим адъютантам следовать за ним.

Они были уже во дворе и продвигались осторожно, на цыпочках, балансируя руками, точно канатоходцы. Вдруг послышались чьи-то шаги. Мальчики в одно мгновение распластались на земле за ящиками. Жена Азиза вышла на крыльцо дома. Она была без покрывала и, зайдя за прозрачную противомоскитную сетку, разделась догола. Затем взяла губку-перчатку и стала мыть свое белое, как мел, тело. Пораженные видом белой кожи, мальчики приросли к земле. Наконец сирийка тщательно заплела волосы и оделась.

— В кабине есть камера,— произнес Горги.

Магат приоткрыл дверцу, схватил резиновую камеру и снова припал к земле.

— Поползли! — сказал он.

Три гибких тела заскользили в пыли к изгороди.

Полчаса спустя вся ватага собралась у баобаба. Дружно принялись за работу, но разговор все время вертелся вокруг белого тела жены Азиза.

На следующий день ребята, вооружившись рогатками и свинцовой дробью, весело отправились на охоту в чащу. Первыми жертвами охоты были колибри, затем наступил черед ящериц. Ребята упражнялись в ловкости и меткости стрельбы.

Усталые и счастливые подростки возвращались в город только вечером.

Однажды Дьейнаба обратила внимание на отлучки мальчиков. Она спросила у Горги:

— Ты куда собрался?

— Мать, я иду к Магату.

— Чем вы занимаетесь целый день?

— Мы гуляем в саванне.

— Вместо того чтобы шататься без дела, погуляли бы около кварталов тубабов, там вам могут попасться куры.

Идея о налете на курятники в европейском квартале вскружила голову всей ватаге. План действий был готов немедленно.

— Пошли, генерал?

— Пошли, солдаты!

Первая вылазка оказалась очень удачной, им даже не пришлось воспользоваться своим оружием. К полудню они уже вернулись с добычей: каждый нес одну или двух куриц. Сияя от радости, они шли, гордо выпятив грудь, на которой можно было пересчитать все ребра. Взрослые не могли нахвалиться мальчиками, а у них с того дня появилась новая цель в жизни.

Каждое утро один из них отправлялся на разведку, а вечером на указанное место совершала набег вся ватага. На дороге в поселок их ждали женщины, приветствуя возгласами: «Наши мужчины идут!»

Мальчики познали волнение риска, и невинные игры утратили для них свою прелесть.

Солнце клонилось к западу, длинные тени протянулись вдоль улиц. Откуда-то издалека доносились грустные звуки рожка. Происходила смена караула. В предвечерних сумерках ребята пересекли лагерь стражников, но никто не обратил на них внимания. Впереди, в глубине красивого сада с высокими деревьями возвышалась резиденция управляющего дорогой. Вдоль ограды стояло несколько машин.

Худенький Сулей шел, размахивая своей пращой. Внезапно он остановился, поднял с земли камень и вставил в рогатку. Резина натянулась, послышался свист летящего камня и треск разбитой фары. От неожиданности ребята остолбенели, но быстро спохватились и все как один вытащили свои пращи; двенадцать рогаток дали дружный залп: фары, передние и боковые стекла машины — все разлетелось вдребезги. На шум выбежали из палаток стражники, но ребят уже и след простыл. А час спустя звон стекол повторился на вокзале, где были разбиты окна и электрические лампочки.

Так мальчики нашли себе новое занятие. Они ждали наступления ночи и небольшими группами проникали в европейскую часть города. Ограда, деревья, канавы — все служило им укрытием. А светящиеся окна и фонари были отличной мишенью. Дав очередной залп, ватага растворялась в ночи. Наступал день, хозяева вставляли стекла, меняли лампы в фонарях, а ночью земля опять покрывалась осколками. Ребята до того осмелели, что напали даже на полицейский участок.

Не все взрослые одобряли новое занятие ребятишек, некоторые родители запретили своим детям принимать участие в набегах. Под командованием «генерала» Магата осталось семь «солдат». Но вместе с тем выбитые стекла и разбитые электрические лампочки в домах у белых вызывали у бастующих некоторое удовлетворение: пусть и белые почувствуют хоть немного тяготы забастовки!

На европейцев ночные налеты нагнали не только страх и беспокойство, которое они переживали уже не первую неделю, но и настоящую панику. Даже усиленные патрули не спасали белых от тревоги, страх проник в каждый дом. Их пугали не столько дробь и камни, сколько то, что эти невидимые черные тела могут проскользнуть в их дома. Каждый вечер их жилища превращались в крепости, хозяева отсылали туземных слуг, ложились спать с оружием наготове, и при малейшем шорохе пальцы судорожно нащупывали курок револьвера или винтовки. А ребятишки, устав от беготни, спокойно спали в это время у себя дома.

Однажды вечером, гуляя, как всегда со своим оружием в руках, вдоль запасных путей по линии на Сен-Луи, Ка, самый младший из ватаги, увидел ящерицу, которая грелась, поймав последний луч заходящего солнца. Мальчик натянул пращу, прицелился и выстрелил. Семь снарядов взметнули пыль вокруг ящерицы и зазвенели о рельсы.

В это мгновение из-за вагона появился Иснар. Он сунул руку в карман, и три выстрела последовали один за другим. Первая пуля убила малыша Ка. За ним упал Сен, он даже не успел обернуться. Остальные ребята с криками бросились врассыпную. У Иснара дрожала рука, но он выпустил вслед бежавшим всю обойму: последняя пуля попала в ногу Горги, и он грохнулся на рельсы.

Ошеломленный Иснар стоял с минуту, вытянув руки, затем машинально положил оружие в карман, бросился бежать, бормоча:

— В меня стреляли! В меня стреляли!

Магат первым прибежал в профсоюз и рассказал о разыгравшейся драме. Едва дыша, с дрожащими губами, с глазами, полными слез, он пытался объяснить, как он и его товарищи охотились за ящерицами, как вдруг появился Иснар с пистолетом в руках, стал стрелять и всех убил.

В одно мгновение новость распространилась по городу, от усадьбы к усадьбе, от домов к хижинам и к дворам трущоб. Мужчины, женщины, дети — все высыпали на улицу и двинулись по направлению к депо. С каждым шагом толпа все росла. Ноги несли эту массу людей вперед, из открытых ртов с белыми зубами или с торчащими корнями вырывались вопли, над головами идущих мелькали косынки, исчезавшие затем в густой пыли. Женщины шли позади мужчин, держа младенцев на руках или привязав их к спине. По дороге они хватали все, что попадало под руки: песты, железные прутья, ручки мотыг, ножки разбитых кроватей, доски — и потрясали ими, точно знаменами. Голод, бессонные ночи, боль и страх вылились в одно мощное чувство гнева.

Наконец толпа достигла железнодорожной ветки. Два маленьких тела завернули в белые простыни, по которым расплылись пятна крови. Плачущего Горги подняли и понесли на руках. Кортеж направился обратно в город. Теперь колонну возглавляли женщины, впереди которых шли Пенда, Дьейнаба и Марьям Сонко. У входа в европейский квартал гнев толпы достиг наивысшего предела, руки угрожающе поднялись кверху, вспыхнули проклятия, вопли о мщении.

Оба трупа опустили на тротуар у порога дома управляющего. Вопли сменились причитаниями над умершими. Тем временем стражники, солдаты и полиция оцепили европейский квартал. Траурный плач постепенно умолк, и толпа замерла в молчании. Оно было страшнее всех криков, оно таило в себе скорбь погасших очагов, пустых котелков, порожних сосудов, рассохшихся пестов и ступ для размола зерна, покрытых паутиной машин. Прошло несколько часов. Даже солдаты притихли при виде этой молчаливой толпы.

Затем процессия снова двинулась по улицам. Тела убитых пронесли мимо станции, в пригороды Нгинт и Рандулен, на рынок в Большой Тиес. Только когда наступила ночь и человеческий поток слился с ночным мраком, кончилось траурное шествие и тела убитых мальчиков вернули их семьям.

Три дня спустя дирекция управления железной дороги дала знать стачечному комитету, что его представители будут приняты для переговоров.

ТИЕС

ВАТИКАН

Виллы белых служащих управления были очень похожи одна на другую: одинаковые крыши, аккуратненькие газоны, расчищенные дорожки, крылечки, окруженные белой цементной балюстрадой; эти виллы образовывали особый квартал, который Лахбиб прозвал однажды, неизвестно почему, Ватиканом.

Несмотря на близость депо с его дымящими трубами, Ватикан выглядел очень нарядно. Столбы, поддерживающие навесы веранд, были увиты плющом и виноградом. Цветы в горшках и ящиках стояли вдоль балюстрад. Под сенью бугенвиллей яркими пятнами рдели розы, маргаритки и львиный зев.

Легко жилось раньше в Ватикане, так легко, что жизнь казалась его обитателям монотонной: их унылый вид выдавал непреодолимую скуку. Забастовка внесла большие перемены в эту обстановку: скуку сменило

напряжение, к возмущению стал примешиваться страх. Мужчины организовали группы охраны.

Семья Иснара жила в доме № 7, между виллами Виктора и Леблана. Ветераны колонии, как они любили называть себя, обычно собирались у мастера. Как правило, душою всего была хозяйка дома.

Беатриса Иснар, которой уже давно минуло сорок, самоотверженно боролась против коварных козней возраста. На ночь она накладывала на лицо густой слой крема и, до того как вспыхнула забастовка, спала всегда на веранде: ночная свежесть должна была способствовать укреплению кожи.

В этот вечер у нее собрались к обеду Виктор, Леблан и молодой, вновь прибывший служащий компании, которого все попросту называли Пьер. Беатриса без конца бегала в кухню, покрикивая на негритянку-кухарку и боя:

— Как, ты еще не взбила яйца? Пошевеливайся! Вы мне испортите весь обед!

Второй бой хлопотал в столовой, расставляя на столе, покрытом белоснежной скатертью, приборы и бутылки. Через приоткрытую дверь доносились мужские голоса: гости пили в салоне аперитив, устроившись вокруг низкого столика, и на его полированной поверхности отражались бутылки, бокалы, ведерко со льдом, пачки сигарет.

— Сам не знаю, как это случилось. Я выстрелил, не сознавая, что делаю.

В сотый раз повторял Иснар эту фразу бесцветным, монотонным голосом, точно ребенок, который старается вспомнить кусок давно забытого урока. Он жил в состоянии какого-то оцепенения. Почти сутки он ничего не говорил жене, только время от времени искал своих детей и судорожно прижимал их к сердцу. Он запретил им выходить из дома даже в сад. Когда же он наконец решился рассказать все Беатрисе, она заявила: «Ну, подумаешь, одним ребенком больше, одним меньше — они и так им счет потеряли! Негритянка еще не разрешилась от бремени, а уже ждет нового».

— Послушай,— сказал наконец Виктор,— брось ты думать об этом. И без того нервы у всех натянуты. Никто тебя не видел, и все скоро забудется.

Пьер молча слушал разговоры старших, крепко зажав в губах сигарету. С момента приезда он не переставал восхищаться этими людьми, их трудной, неблагодарной, но такой увлекательной, как ему казалось, жизнью. Виктор наклонился над столиком и, наполняя свой бокал, обратился к нему:

— Видишь ли, дружок, в жизни надо уметь забывать. Двадцать лет тому назад здесь были джунгли. Этот город построили мы. Сейчас у них есть больницы, школы, поезда, но если когда-нибудь нам придется уйти отсюда, все пойдет прахом, и снова джунгли поглотят все.

Пьер закурил новую сигарету.

— Мне бы хотелось узнать, как они живут,— робко заговорил он.— Я немного походил в эти дни, но мне удалось увидеть так мало. По дороге на аэродром стоят настоящие берлоги: внутри кто-то копошится, и оттуда несет такой вонью! Я хотел сфотографировать одного малыша, но его мать тут же выскочила и начала на меня орать. Я ушел, конечно, но, право, я совсем не такой представлял себе Африку.

— Если они живут в плохих условиях, то сами в этом виноваты. Эта часть Африки отвратительна, если не считать двух-трех городов — Сенегал не представляет никакого интереса. Другое дело Французская Экваториальная Африка, там и фауна настоящая, и туземцы более покорны.

Молодой человек не сдавался.

— А как можно завязать знакомство с африканской семьей?

— Ты, я вижу, начитался книг об Африке! Оставь эти бредни! Я здесь один из самых старых служащих, и у меня нет никаких знакомств среди них. Они знают свое место, да и мы тоже. Никаких взаимоотношений с черными, за исключением прислуги, ну и на работе. Вот спроси Иснара.

Но Иснар о чем-то задумался.

— Что вы приумолкли, господа? — В салон вошла Беатриса, на ходу снимая белый наглаженный передник.

— Здравствуйте, мадам,— Пьер встает с места.— Я как раз спрашивал у господина Виктора и у вашего мужа, как мне познакомиться с негритянской семьей.

— Не советую.— Тон, каким произнесла эти слова Беатриса, ясно показывал, что она собирается сама направлять жизнь новичка.— Вы ничего из этого не извлечете, разве только подхватите вшей и какую-нибудь из их болезней. Подумать только, эти полудикари смеют еще бастовать! Нет, чего только не приходится увидать в жизни!

— Я именно и хотел бы это понять, мадам.

— Здесь и понимать нечего. Они просто дети. Им забили головы, и они потеряют на забастовке гораздо больше, чем могли бы выиграть. Они потеряют уважение всего города. Нет, вы только подумайте, эти многоженцы требуют пособия по многодетности. При том количестве детей, какое они расплодили, это невероятно!

Речь Беатрисы вывела Иснара из состояния полузабытья. Он посмотрел на молодого человека, отпил глоток и произнес:

— Я сделал для них все, что мог, я погубил здесь свою молодость, свое здоровье, а они смеют называть нас угнетателями.

— Да, расскажи ему историю твоей негритянки,— попросила Беатриса, усаживаясь на боковой валик дивана.

Иснар поставил бокал, нахмурил брови, как бы напрягая память, и начал:

— Это случилось давно. Я уже лег спать, и после долгих усилий мне наконец удалось уснуть. За пятнадцать лет колониальной жизни я никогда не видел такой страшной ночи: мрак, хоть глаз выколи, ветер такой, что, кажется, вот-вот снесет бараки. Бунгало тогда еще не были построены. Вдруг, слышу, кто-то зовет: «Месье! Месье!» В первый момент, признаюсь, я даже немного испугался, потом подумал, что это, вероятно, какая-нибудь девица, с которой можно будет провести ночку... И вот я встаю, зажигаю фонарь и открываю дверь. У порога стоит негритянка. Здоровенного роста. Я присматриваюсь и вижу, что живот у нее огромный, как бочка. А она давай реветь: «Доктора, скорее доктора!» Я не сразу сообразил, зачем ей нужен доктор. И вдруг моя баба падает на четвереньки, орет благим матом и прямо у меня на глазах начинает рожать, да, рожать. Уже вышел ребенок, а у меня даже нечем перерезать пуповину! И знаете, что я сделал? Я перегрыз пуповину — своими зубами, да, да, прямо зубами!

— Боже мой! — пробормотал молодой человек.

— Теперь вы понимаете, каково нам приходится здесь, в колонии!— произнесла Беатриса.

— Не верьте ни одному слову этого завзятого лгуна! — послышался с веранды голос Леблана. Как всегда пьяный, он едва держался на ногах.— Мы слышали эту дурацкую историю по меньшей мере сто раз! — Он указывал пальцем на Иснара.— Ну, посмотрите только на него. «Своими зубами», ха-ха! У него же вставная челюсть! Ему даже кусок ромовой бабы не откусить. А что касается вас, молодой человек, то вы очень милы, но подождите немного и сами увидите, как быстро растают

ваши симпатии. Я не люблю негров и говорю об этом открыто, они же просто презирают нас, а теперь и вовсе не хотят признавать... Знаете ли вы, что мы здесь делаем, молодой человек? Мы являемся форпостом в стане врагов!

Иснар, Беатриса и Виктор принимали у себя «ватиканского интеллигента», как они с издевкой прозвали его, потому, что он принадлежал к их расе, но они презирали этого неудачника, бывшего студента, приехавшего когда-то в Африку изучать этнографию. В свое время он исколесил страну с каким-то гаитянином, затем вдруг поступил на маленькую должность в управление железной дороги и застрял в Тиесе. Работал и пил. Он тщетно пытался наладить дружеские отношения с африканцами, они робели перед его познаниями, а его робость заставляла их держаться на расстоянии.

Пьер встал, собираясь проститься. Беатриса остановила его жестом:

— Господин Пьер, прошу вас, останьтесь с нами обедать. Мы ждем еще Эдуарда.

— Оставайтесь, молодой человек,— повторил приглашение Леблан, наливая себе бокал.— Эдуард — важная птица, лучше быть с ним в приятельских отношениях. Поверьте мне, в колонии знакомство полезнее двадцатилетней службы. Завтра этот Эдуард будет представлять нашу братию на переговорах с неграми.

Беатриса резко повернулась к нему:

— Тебе не стыдно, Леблан, так вести себя? Что подумает господин Пьер о солидарности старых колонистов?

— А что думают о нас негры?

— Ты осточертел нам со своими неграми,— перебил Виктор.

— Это негры осточертели вам! И вы ничего не хотите видеть. Теперь после убийства этих двух мальчиков, наступит наконец час правды!

— Послушай, Леблан, взвешивай свои слова. Это плохо кончится. Тебе не мешает повидать доктора Мишеля.

— Знаю я твоего Мишеля и заранее могу предсказать, как все произойдет. Я еще не успею перешагнуть через порог, как у него зазвонит телефон: «Алло? Это вы, доктор? Сейчас к вам придет Леблан. С ним что-то неладное, хорошо бы его отправить обратно в Европу».

Одной рукой Леблан держал свой бокал, другой — воображаемую трубку телефона и мимикой изображал весь разговор.

— Что нового в Дакаре? — спросил Виктор у вошедшего Эдуарда.

— Все по-прежнему. Но они получили сведения из Тиеса... Они в курсе истории с мальчиками. Завтра наконец я увижусь с этими молодчиками и постараюсь разузнать, что у них на уме...

— У тебя есть указание найти какой-нибудь компромисс или удовлетворить их требования?

— О полном удовлетворении не может быть и речи. Надо потолковать с ними. Это же дети, они хотят научиться самостоятельно ходить — что ж, надо протянуть им руку.

— Знаешь, если они добьются удовлетворения, мы погибли.

— Что ж делать, насчет заработной платы придется пойти на уступки, что же касается остального, то я выясню и доложу, но надо считаться с тем, что эти молодчики тоже не сидят сложа руки. В Бамако, например, они, переодевшись в жандармов, схватили одного штрейкбрехера и у нас под носом учинили над ним суд! Факт известен теперь повсюду. В Дакаре и в Сен-Луи женщины вступили в стычку с войсками. И потом эта история с тремя миллионами, о ней все говорят. И, наконец, Бакайоко, их вожак, выступая на митинге в Сен-Луи, тут же собрал в фонд помощи пятьдесят тысяч франков...

— Я думал, что он в Кайе,— сказал Виктор.

— Он был там, затем проехал в Дьюрбель, в двух шагах от вас, потом он оказался в Сен-Луи. Скоро явится сюда.

— Опасный человек,— сказал Иснар.

— Ты прав,— произнес Леблан, приоткрыв один глаз,— очень опасный. Но имей в виду, что мертвый он еще опаснее, чем живой.

— Ох, уж эти жалкие неудачники,— произнес Виктор, со злобой глядя на Леблана.

— Да, я неудачник. Да, я ни на что не способен, даже на предательство. Я люблю негров, а они закрывают свои двери перед моим носом. Да, да, господа, ну что вы вылупили на меня глаза? Я послал им два денежных перевода по десять тысяч франков.

Он встал, толкнул столик, на котором зазвенела посуда, наполнил бокал и выпил его залпом.

— У вас что, языки отсохли? Свора... Смотрите, я сейчас пойду к ним и расскажу, что вы здесь замышляете. Да, я неудачник, но когда я нахожусь среди вас, то вижу, что неудачники — вы. Да, негры не любят меня, но это из-за вас и вам подобных! Ведь я-то знаю, что такое Африка! Эта девка, Африка, слышишь, малец, если ты ее полюбишь, она одарит тебя богато, она так щедра, что без конца дает, и так жадна, что без конца все пожирает!

Он сделал несколько шагов, споткнулся о стул Пьера и, если бы тот не поддержал его, растянулся бы на полу.

— Его надо увести,— произнес Виктор.

ТИЕС

ВОЗВРАЩЕНИЕ БАКАЙОКО

Небо было усеяно золотыми искорками звезд, щедро разбросанными в вышине. Земля остывала, охлаждаемая ночным ветерком, принесшим с верховьев Сенегала первую весточку о перемене погоды. Насекомые и птицы пели гимны ночи.

В непроглядной мгле нельзя было различить человека, который шел ровным, уверенным шагом по запутанным переулочкам. Он насвистывал веселую песенку, иногда останавливался, прислушиваясь к мяуканью кошек или к доносившемуся из ближайшей хижины храпу.

Дойдя до конца тропинки, он достал зажигалку, и пламя ее осветило скромную хижину, одна из стен которой была подперта досками. Между досками было проделано маленькое оконце. Бакайоко постучал в ставень, потом прошел немного дальше и остановился у двери, завешенной старым одеялом.

— Кто там? — спросил надломленный старческий голос.

— Ибрагим Бакайоко, сын Нфафини Бакайоко и Ниакоры Сисэ.

— Леме, леме *, входи же! Когда ты приехал?

— Твой порог первый, который я здесь переступаю, отец.

— Хорошо сделал, первый визит надлежало нанести мне. Есть хочешь?

Бакайоко почувствовал нотку тревоги в голосе старика.

— Нет, отец, я сыт.

— Входи же. Мать Фанта спит.

Они вошли в хижину, и Бакари сел на край кровати.

— Как поживают все твои, мать, жена?

— Когда я уезжал, они чувствовали себя хорошо. Но я уже давно не имею новостей. Получил только одно письмо от Аджибиджи, она описала мне дело Диара.

---

* Дитя мое.

— Мы в курсе этого дела. Печально, сын мой. Зато полезно. Я даже был немного удивлен, что столько людей оказалось с вами заодно.

Бакари рассматривал гостя. На Бакайоко были белые в черную полоску брюки; куртку вместе с палкой и узелком он оставил у входа. На ногах сандалии, которые носят обычно пастухи, их кожаные ремни были закреплены на щиколотке. Мака * висела на спине.

— Ты ложись спать, я прилягу у двери,— сказал Бакайоко.

— Ложись в том углу, я дам тебе одеяло.

— Благодарю, отец, у меня все есть. Спи ночь в мире.

Хотя Бакари проснулся рано, в хижине не было и следа Бакайоко. «Не приснился же он мне?» Он заглянул во все углы хижины. Спросил Фанту. Она тоже ничего не видела и не слышала. Бакари пошел в профсоюз, где застал Лахбиба, тот ничего не знал о приезде Бакайоко. Над стариком посмеивались: ему мерещатся привидения!

Постепенно помещение заполнялось народом, предстояло последнее собрание перед встречей с представителями администрации. Вскоре появился инспектор труда Эдуард, назначенный посредником между бастующими и управлением железной дороги. Все представители были налицо, в том числе и профсоюзная делегация из Дакара; в нее входил и Красавчик Дауда.

На площади перед зданием профсоюза и на прилегающих улицах стала собираться толпа, яркая одежда пестрела под полуденным солнцем. В толпе преобладали женщины, дети шумно носились взад и вперед.

Вскоре послышались вибрирующие звуки тамтама.

Бакайоко с трудом пробился через толпу. Его сразу узнали по соломенной шляпе, и руки протянулись ему навстречу. Самба, стоявший на крыльце, увидел его издали.

— Эй ты, вернулся-таки! Значит, старик Бакари был прав.

Вся лестница была заполнена бастующими. Бакайоко протиснулся к двери, на ходу пожимая руки рабочим. Толстый кузнец Бубакар обнял его и поцеловал:

— Вот ты и приехал, раб божий. Однако ты не разжирел, брат!

С улицы послышалось пение. Женщины под водительством Дьейнабы и Пенды шли к площади, они пели гимн, который сложили в честь своих мужей.

За пением последовали громкие возгласы и удары тамтамов.

— Они уже собрались,— объяснял Бубакар Ибрагиму.— И с ними один белый.

— Белый?

— Да, инспектор труда.

Бакайоко прислушался к шуму, доносившемуся с площади, затем отбросил шляпу на спину и вошел в комнату. Кузнец вошел вслед за ним.

Десяток людей сидели вокруг стола. Бакайоко увидел рядом с Эдуардом свободный стул и направился прямо к нему.

— Простите, что опоздал,— сказал он.

— Вы знакомы с Ибрагимом Бакайоко? — спросил председательствовавший Дуду у инспектора труда.— Он делегат от машинистов и представитель рабочих Суданского района. Бакайоко, рядом с тобой сидит господин Эдуард, инспектор труда, он приехал из Дакара в качестве посредника между дирекцией и нами.

Бакайоко обвел глазами собравшихся делегатов. Он был знаком со всеми, кроме Красавчика, который сидел немного позади, между Лахбибом и Балла. Эдуард тем временем украдкой рассматривал своего

---

* Соломенная шляпа.

соседа. Толстые, крепко сжатые губы, по бокам которых пролегали морщины, и слегка раскосые, глубоко сидящие глаза придавали лицу жесткое выражение. Длинный шрам, шедший от левой ноздри к нижней челюсти, придавал его лицу еще большую суровость.

— Я думаю, можно продолжать,— сказал Бакайоко, решив, что пора прервать молчание.

— Мы слушали господина Эдуарда,— сказал Лахбиб.

Инспектор труда чувствовал себя не в своей тарелке, присутствие Бакайоко смущало его. К тому же, входя в комнату, он нечаянно наступил на ногу Самба, и в его ушах еще звучала едкая реплика: «Вам мало топтать ногами колонии, вам нужно топтать ногами и их жителей!»

— Я уже сказал, что нахожусь здесь в качестве посредника между управлением дороги и вами. Ваши требования были тщательно изучены в Дакаре. Некоторые из них оказались справедливыми, но их осуществление наталкивается на определенные трудности. Прошлогодний баланс оказался не выгодным для компании, и поэтому мы вынуждены временно отложить решение вопроса о пособиях многосемейным. Предоставление пенсий будет зависеть от квалификации рабочих. Наконец, вопрос о повышении заработной платы должен рассматриваться в зависимости от стоимости жизни. Если вы согласны, чтобы обсуждение этих трех пунктов было временно отложено — повторяю, временно,— мы можем сразу пройти в контору управления для переговоров. Как вы полагаете, господин Бакайоко?

— Я здесь не один, сударь...— Бакайоко стал набивать трубку.

— Вы все слышали, что господин Эдуард предложил нам. Мы должны отказаться от трех наших требований,— пояснил Лахбиб.

— А что же останется?

— ...Я уверен,— продолжал Эдуард,— что дирекция пойдет на уступки, чтобы возобновить работы, если вы уменьшите свои требования. Все постепенно образуется, спорные вопросы удастся решить по этапам. Можете справиться у представителей Дакара, они вам скажут, что я ваш друг...

Лахбиб посмотрел на Дуду.

— Может быть, проголосуем,— сказал тот, не очень уверенно чувствовавший себя в роли председателя.

Бакайоко медленно раскуривал трубку, повернув ее отверстием вниз. Огонь от зажигалки осветил его костистое лицо.

— Зачем голосовать, Дуду, у нас еще есть о чем поговорить,— произнес он.

— Время не терпит,— сказал Эдуард.

— Время действительно не терпит, но не для тех, о ком вы думаете. Сколько времени вы находитесь в Африке?

— Скоро семь лет.

— Семь лет вы работаете инспектором труда, семь лет вы знаете, что железнодорожная компания грабит нас, семь лет вы даже не пошевельнули пальцем, чтобы остановить этот грабеж. И теперь вдруг вы падаете с неба в роли спасителя.

Бакайоко замолчал и в упор посмотрел на своего соседа. Этот взгляд красноречиво говорил, что он не ждет от него ответа. Затем он обратился к своим товарищам:

— Отвечаем ли мы за начатую нами борьбу? Мы, возможно, совершали ошибки и безусловно ошибемся еще не раз, но имеем ли мы право бросить тех, кто сейчас голодает, кого сажают в тюрьмы, убивают? Сей великодушный господин изволил сейчас нам сообщить, что вопрос о пособиях многосемейным зависит от результатов годового баланса. А не лучше ли было заявить, что вы нам отказываете в пособиях потому, что мы имеем по несколько жен? Для получения права на пенсию стариков

заставят сдавать технический экзамен. Но когда их нанимали на работу двадцать или тридцать лет назад, с них не спрашивали образовательный ценз! И разве техника не шагнула с тех пор вперед? Выплата разницы в заработной плате за прошедшие месяцы требует, как нам говорят, значительных сумм, но ведь нам не так уж много надо, чтобы прожить. И разве не предложили одному из нас сразу три миллиона, а, Дуду? Предположим, что мы ведем поезд и нам начинает казаться, что впереди находится какое-то препятствие, оно страшит нас. Неужели же мы остановим поезд и скажем пассажирам: «Я не могу ехать дальше, я боюсь». Нет, мы отвечаем за состав, мы должны ехать вперед, пока не убедимся, есть ли впереди действительно препятствие. Присутствующий здесь господин инспектор и есть то препятствие, которое пугает нас, но мы не должны останавливаться в пути. Искренне ли он говорит, заверяя, будто хочет нам помочь? Я не знаю, и не спрашивайте меня, верю ли я ему! Но он должен понять, что после месяцев забастовки мы не можем видеть в нем своего сторонника. Вот все, что я хотел сказать. Я говорил по-французски, чтобы он мог понять нас, хотя думаю, что нам следует разговаривать на нашем языке, на уолоф.

Бакайоко замолчал, зажег погасшую трубку и устало откинулся на спинку стула. Он не был злым от природы, но он только что проделал полторы тысячи километров, видел столько страданий, горя и лишений, что не мог молчать.

Все глядели на него, даже Красавчик, который несмотря на терзавшую его ревность, не мог не восхищаться спокойствием и самообладанием этого человека. Что касается Эдуарда, то он был скорее удивлен, чем возмущен жесткими словами Ибрагима. Он прекрасно понял смысл последней фразы Бакайоко: его дальнейшее присутствие здесь считают излишним. Ему следовало бы взять свой портфель, встать и уйти, но он сидел, точно прикованный к стулу. Дирекция направила его сюда по его личной просьбе. Он сделал все, что мог, чтобы оправдать оказанное ему доверие, пытаясь одновременно понять людей, с которыми он желал встречи. Но они оттолкнули его. Эдуард разочаровался в миссии, которую добровольно взял на себя.

— Не будете ли вы так любезны подождать нас на улице, нам необходимо кое о чем поговорить между собой?

Лоб Эдуарда побагровел от гнева. Он схватил свой портфель и пошел вслед за Бакари, который был безмерно счастлив, что может сделать нечто такое, о чем можно будет потом всем рассказывать.

Как только дверь захлопнулась, Бакайоко спросил на уолоф:

— Никто не возражает против моей речи?

— Правильно сделал, что выставил его,— сказал сварщик Балла,— мы достаточно взрослые, сами разберемся в своих делах.

— Я тоже согласен.

— Я тоже.

— Мы не снимем ни одного нашего требования,— сказал Лахбиб.— Можно идти.

Все встали со своих мест.

Делегаты по одному спустились с узкой лестницы. От помещения профсоюза до управления дороги было не более десяти минут ходу. Вдоль улицы толпа образовала живой коридор. Женщины были особенно возбуждены, снова и снова они запевали свой гимн. Дуду возглавлял делегацию, справа от него шел Лахбиб в белом полотняном костюме, на котором резко выделялся черный помятый галстук, а слева шел Бакайоко, в соломенной шляпе и с неизменной трубкой. За ними следовали Самба, Красавчик, Бубакар и остальные делегаты. Перед зданием управления железной дороги Дакар — Нигер был выстроен воинский

наряд. Солдаты расступились, чтобы пропустить делегацию, затем снова сомкнули ряды. Стихли звуки тамтама.

— Всем ждать здесь! — объявила Пенда, воспользовавшись наступившей тишиной.

— Но переговоры могут длиться весь день,— возразил ей старший сержант полиции, явно робевший перед толпой женщин.

— Мы много месяцев ждали этого дня! — ответила Пенда.

— А я жду сорок лет мою пенсию,— сказал Бакари и захлебнулся в кашле.

Пенда взобралась на ближайшую тумбу и затянула песню:

Настал день, настал исторический день,
заря взошла над горизонтом...

Женщины подхватили, и тамтамы зазвучали вновь.

■

Встреча между представителями стачечного комитета и администрацией железной дороги должна была происходить в зале на третьем этаже. Директор управления Дежан и его ближайшие сотрудники уже давно собрались, и вынужденное ожидание казалось им горьким унижением. Кроме новичка Пьера, все остальные тяжело переживали события, еще недавно считавшиеся просто немыслимыми.

Наиболее неожиданным и непонятным создавшееся положение оказалось, пожалуй, для Дежана. Спор между предпринимателями и наемными рабочими предполагает наличие и тех и других. Но ведь он, Дежан, не предприниматель: он выполняет определенную функцию, которая совершенно естественно дает ему абсолютную власть над существами с темной кожей, то есть не над наемными рабочими, с которыми можно договариваться и спорить, а над людьми низшей расы, чей удел — беспрекословное повиновение.

Приподняв занавес, он смотрел в окно на толпу, запрудившую улицы, на лица, глянцевитые от пота, на пестрые бубу и разноцветные набедренные повязки, слушал песнь женщин, заглушавшую тамтамы.

Чтобы прервать тягостное молчание, Виктор вернулся к начатому разговору.

— Хватит нянчиться с Лебланом. Он не может больше оставаться здесь.

— Им займется доктор Мишель,— сказал Иснар,— я уже звонил ему, он согласен. Подумать только, эта сволочь посылала деньги неграм! Сумасшествие налицо.

— Прекрасно,— сказал Дежан.— Я знаю Мишеля, он — тертый калач и сделает все необходимое. Он найдет что-нибудь получше сумасшествия, какую-нибудь болезнь, которая была у Леблана еще до приезда в колонии: меньше расходов для железнодорожной компании.

— Вот и Эдуард,— произнес Дежан громко затем добавил сквозь зубы:— Черт возьми, он идет один!

Не успел инспектор труда войти в кабинет Дежана, как все окружили его тесным кольцом. Он снял шлем, вытер мокрый от пота лоб.

— Сволочь Бакайоко, мерзавец, он все напортил. Остальные поняли, зачем я пришел, они стали уже прислушиваться к моим советам, но, когда он явился, все пошло прахом. Ненавистник белых! Проклятый расист! Он дошел до того, что хотел запретить им говорить по-французски!..

Дежан не выдержал: гнев, накапливавшийся в нем в течение нескольких дней, хлынул наружу.

— Ну что ж! Он еще увидит, с кем имеет дело! Заговорит по-французски как миленький! В 1942 году я бы его повесил. Эх, если бы администрация послушалась меня!..

Пьер стоял у окна, поглощенный тем, что происходило на улице. Толпа разбилась на небольшие группы, начались танцы и пение.

— О чем поют эти женщины?— спросил он.— Очевидно, это имеет отношение к забастовке.

— Да что ты?— ответил Иснар.— Обычные крики, как всегда. При чем тут забастовка? Что эти женщины понимают в ней? Они просто шумят, это им нравится.

Пьер не ответил. Он увидел, как толпа широко расступилась, пропустив группу людей, человек десять, и двинулась вслед за ними.

— Они идут!— закричал он.

Все вскочили и бросились к окнам. Дежан сказал:

— Сядьте на свои места, господа!

В эту минуту открылась дверь и первым вошел Лахбиб:

— Здравствуйте, господа!

Вместо ответа раздались какие-то глухие звуки, скорее напоминавшие ворчание. Не дождавшись приглашения, профсоюзные делегаты заняли свободные стулья вокруг стола. Инспектор труда начал разговор первым.

— Мы будем говорить по-французски,— сказал он, глядя на Бакайоко.

— Поскольку мы находимся среди французов,— добавил Виктор с иронической усмешкой.

— За неимением общего языка придется говорить по-французски,— ответил Лахбиб.

Но Эдуард продолжал настаивать:

— Вы согласны, господин Бакайоко?

— Я здесь не один представляю стачечный комитет. Но, принимая во внимание, что ваше незнание хотя бы одного из наших языков является препятствием для вас, мы будем говорить по-французски. Это вопрос вежливости. Впрочем, и этой вежливости скоро придет конец.

Лицо Дежана покрылось багровыми пятнами. Виктор даже привстал на стуле:

— Взвешивайте свои слова! Это вам может дорого стоить!

— Потише,— ответил Бакайоко.— Мы пришли сюда для разговора на равных началах, и ваши угрозы никого не испугают.

Сдерживая гнев, Дежан заговорил:

— Итак, давайте рассмотрим ваши жалобы.

— Это не жалобы,— возразил Лахбиб.

Дежан сделал вид, что не слышал, и продолжал:

— ...Пересмотр тарифов заработной платы...

— ...Повышение на двадцать процентов,— машинально добавил Дуду, раскладывая перед товарищами бумагу для записей, хотя прекрасно знал, что добрая половина из них не умеет писать.

— ...Ежегодные отпуска, пенсии, пособия многосемейным,— продолжал Дежан.

— ...Выплата разницы за прошедшие месяцы, установленная соглашением от июля 1936 года, ежегодная премия машинистам в шесть тысяч франков, как и для французских железнодорожников,— снова прервал Дуду, развертывая перед собой прошлогодний номер «Журналь офисьель».

— Все?— спросил Дежан.— Не кажется ли вам, что это многовато?

— Не кажется ли вам, что грабеж длился слишком долго?— ответил Бакайоко.

— Если вы будете продолжать разговаривать в таком тоне, я прекращаю переговоры,— произнес Дежан, стукнув кулаком по столу.

Дуду наклонился к Лахбибу и сказал ему на языке уолоф:

— Может, лучше будет, если Бакайоко пока помолчит. Красноухие

могут совсем разозлиться и отправить нас ни с чем. Они только этого и ждут.

— Бакайоко, не отвечай им, иначе они сорвут переговоры,— согласился с Дуду Балла.

Бакайоко, чуть улыбнувшись, достал кисет и стал набивать трубку.

— Нельзя сказать, что вы явились сюда с добрыми намерениями,— сказал инспектор труда,— как же мы выйдем из этого положения?

— Надо, чтобы каждый внес свою долю добрых намерений, господин Эдуард,— ответил Лахбиб.

— Хорошо, давайте посмотрим, каковы ваши добрые намерения,— сказал Дежан.— Вы, надеюсь, понимаете, что следует снять с обсуждения вопросы о пособиях многодетным и о выплате надбавок к зарплате.

— Почему? — спросил Дуду.

— Да потому, что вы многоженцы! Где тут разобраться в вашем потомстве? — сказал Виктор.

— Стоит вам дать эти пособия, как вы купите себе новых жен, и у вас появятся новые дети. Управление дороги Дакар — Нигер не ясли, черт возьми! — не выдержал Иснар.

— Во Франции все имеют право на это пособие.

— Но во Франции запрещено сожительство,— бросил Виктор.

— Итак, мы, значит, не имеем права на пособия по многосемейности? — спросил Дуду.

— Нет, и еще раз нет! — закричал Дежан.

Он знал, что будет вынужден пойти на компромисс. Сезон сбора арахиса подошел к концу, пора перевозить урожай в Дакар, Рюфиск, Каолак, уже сейчас на него нажимали промышленники, торговцы и даже сами акционеры дороги. Но уступить в вопросе о пособиях для Дежана означало бы признать наличие расовой особенности, узаконить обычай низших существ, уступить не трудящимся, а неграм. На это Дежан пойти не мог.

Он даже не заметил, что Лахбиб снова взял слово.

— Вопрос о полигамии касается, пожалуй, только нас, но, когда вам нужно, вы всегда пользуетесь им в своих интересах. Так, например, когда вы берете в армию наших юношей, вы их не спрашиваете, родились ли они от двоеженца. Эта железная дорога тоже построена руками людей, рожденных в сожительстве...

Лахбиб не смог закончить свою заранее тщательно подготовленную речь, ибо Дежан, вскочив, завопил:

— Знаю я ваши лживые выдумки! Это большевики подсказывают вам! Да как вы смеете оскорблять нацию, целую расу, которая стоит на сто голов выше вашей?

— Господин директор, вы представляете здесь не нацию, не расу, а класс. Мы тоже представляем класс, чьи интересы противоположны интересам вашего класса. Мы пытаемся найти почву для соглашения. Вот и все.

Боясь, что Дежан снова вспыхнет, инспектор труда поспешил вмешаться.

— Если мы не можем договориться, почему бы вам не пригласить одного из ваших депутатов в качестве посредника?

При слове «депутат» Бакайоко, сидевший по просьбе товарищей молча, не выдержал и встал.

— Наши депутаты? — Его рот скривился в иронической ухмылке.— Хотите знать, что мы о них думаем? Их мандат — это нечто вроде патента на обогащение. Мы-то их хорошо знаем. Некоторые из них до того, как стали депутатами, не имели даже второй пары штанов, а теперь у них и квартира в городе, и вилла за городом, и машина, и счет в банке, и акции различных компаний! Что у них общего с темными людьми,

которые выбрали их по своему невежеству? Они стали союзниками капитала, хозяев, и вы хотите, чтобы мы вынесли на их суд наш спор? Нет, тысячу раз нет!

— Кем бы вы были без Франции и французского народа? — вдруг спросил Дежан.

— Мы знаем, что такое Франция, и уважаем ее. Мы не являемся врагами Франции, но я повторяю еще раз: речь идет не о Франции, не о французском народе. Речь идет о рабочих, которые договариваются с нанимателями.

Дежан тяжело поднялся с кресла. От жары и злости лицо его приняло багровый оттенок. Он направился к окнам и распахнул балконную дверь настежь. Пение и бой тамтамов, точно неожиданный порыв ветра, хлестнули его по лицу.

— Нельзя ли заставить их замолчать?

— Обратитесь к их депутатам! — ответил Бакайоко.

Дежан захлопнул дверь балкона и пошел к столу, но проходя мимо Бакайоко, он вдруг остановился и, прежде чем кто-нибудь смог предупредить его жест, дал машинисту пощечину. Тот вскочил, с грохотом опрокинул стул и схватил директора за горло. Сидевшие рядом бросились разнимать их.

— Не трогай его, Бакайоко,— произнес на уолоф Лахбиб.— Он только этого и ждет. Ради рабочих, не тронь его.

Дуду пытался разнять пальцы Бакайоко, судорожно сжавшие шею директора.

— Ты что, не видишь, что он уже полумертв от страха, оставь его!

Бакайоко отшвырнул Дежана в сторону.

За столом оскорбления и ругательства сыпались со всех сторон. Дежан уселся в кресло, и в комнате повисла тишина, полная ненависти и тревоги.

Дуду собрал свои бумаги, разлетевшиеся по столу.

— Итак, как с нашими требованиями? — спросил он глухим голосом.

— Ничего вы не получите, ничего! Шиш! И всех вас я уволю! — прохрипел Дежан.

— Как бы вам не пришлось самому убраться отсюда,— произнес Бакайоко и нагнулся за трубкой.

Делегация рабочих вышла на улицу. Бакайоко поднял руки вверх:

— Через полчаса митинг на площади Али-Нгер!

ТИЕС – ДАКАР

ПОХОД В ДАКАР

Толпа заполнила площадь Али-Нгер. Устав от томительного ожидания, большинство людей сидели прямо на пыльной земле, другие стояли небольшими группами, оживленно переговариваясь. Солнце безжалостно палило своими огненными лучами головы, руки, плечи, по которым обильно струился пот. Пенда, Аби и Марьям Сонко старались по мере сил поддерживать хоть видимость порядка среди возбужденных женщин. Наконец гул стих: на площадь вышли делегаты.

Первым говорил Лахбиб. Он изложил суть переговоров с Дежаном. Затем слово взял Бакайоко. Его громкий, ясный голос не нуждался в микрофоне, и собравшиеся слушали его, не прерывая. Бакайоко начал с экскурса в прошлое: напомнил историю строительства железной дороги, сентябрьскую забастовку 1938 года и погибших в борьбе рабочих.

— А сегодня,— воскликнул он,— они отказываются удовлетворить наши требования, ссылаясь на то, что наши матери и наши жены — это лишь сожительницы, а мы сами и наши сыновья — незаконнорожденные!

При этих словах толпа яростно загудела. Свою речь Бакайоко закончил так:

— Мы не выйдем на работу до полного удовлетворения всех наших требований. Именно здесь, в Тиесе, должна быть выиграна забастовка. Повсюду, где я побывал, на всех станциях, мне говорили одно и то же: «Если Тиес выдержит, мы выстоим тоже!» Рабочие Тиеса! Помните, что в вашем городе есть площадь имени Первого сентября! И именно поэтому вы не можете покориться! Вы знаете, что вас поддерживают рабочие от самого Каолака до Сен-Луи, от Гвинеи до Дагомеи и в самой Франции. Это лишнее доказательство того, что прошли те времена, когда хозяева могли победить, внося раскол в наши ряды. Итак, мы будем бастовать до полного удовлетворения наших требований. Забастовка до победного конца!

Крики, возгласы, приветствия всколыхнули площадь. Сидевшие на земле встали, все руки потянулись вперед. Шум все нарастал. Небольшая группа женщин пробивалась сквозь толпу, прямо к делегации.

Бакайоко поднял руки, призывая людей успокоиться:

— Внимание! Наши доблестные подруги просят слова. Они заслужили право говорить во весь голос.

Пенда вышла вперед. Сначала ее речь звучала неуверенно, но постепенно она осмелела:

— Я выступаю от имени всех женщин, я выражаю только их мысли. Забастовка мужчин вселяет надежду на лучшую жизнь и для нас, женщин. Вчера мы были вместе с вами в радости, сегодня мы плачем вместе с голодными детьми у пустых котелков. Но мы должны держать голову высоко и не сдаваться. Мы решили завтра выступить в поход на Дакар.

На какое-то мгновение ропот удивления, любопытства и одобрения покрыл слова Пенды. Но она продолжала:

— Да, мы дойдем до Дакара, и там мы послушаем, что тубабы нам скажут. Пусть посмотрят, какие мы жены, законные или нет! Мужчины, я призываю вас, отпустите ваших жен в поход! Пусть дома останутся только беременные, кормящие матери и старухи.

Площадь аплодировала, шумела, кричала. В общем шуме раздались и возгласы протеста.

Стемнело. Толпа начала понемногу расходиться. Люди оживленно спорили: впервые женщина выступала публично в Тиесе — и это событие не могло не взволновать всех.

Не менее острые споры разгорелись и в самом профсоюзе. Первым высказал свое мнение Балла, но было ясно, что он не одинок.

— Я против того, чтобы женщины шли в поход. То, что они нас поддерживают, вполне естественно: жена обязана помогать своему мужу, но что общего между помощью и походом в Дакар?.. Я голосую против. Жара и гнев затуманили им головы. А ты, Лахбиб, возьмешь на себя ответственность пустить женщин?

— Мы здесь собрались не для обсуждения чувств и мнений каждого. Если хочешь, можно и проголосовать...

Бакайоко резко перебил их, боясь, что спор может разгореться.

— Мы не имеем права останавливать тех, кто хочет действовать. Наоборот, если женщины решили идти в поход, мы должны помочь им. Пусть представитель Дакара немедленно едет туда предупредить местный комитет... Ты из Дакара? — обратился он к Дауде.— Сколько, по-твоему, надо времени, чтобы дойти до Дакара?

— Я никогда не ходил в Дакар пешком,— хмуро ответил Красавчик.— И считаю, что вообще это не женское дело. Кроме того, в городе

нет воды. Когда я уезжал, Алиун и другие товарищи из профсоюза бегали по городу в поисках воды, а это не мужское занятие. Я хочу напомнить, что за историю с бараном Аль-Хаджи Мабиге мы уже поплатились пожаром и стычкой с войсками. Спаги и полиция патрулируют город. Вы хотите послать женщин прямо в волчью пасть?

— Твой французский язык ты мог бы поберечь для себя,— заметил Бакайоко.— Люди здесь лучше понимают уолоф, бамбара или тукулер. А что касается профсоюзных деятелей Дакара, которым приходится самим таскать воду, то кончились времена, когда наши отцы считали эту работу зазорной. Если бы у всех рабочих был твой образ мыслей, прощай тогда и забастовка и месяцы жертв.

— Ладно, Бакайоко, успокойся,— заговорил Лахбиб.— Давай лучше подумаем о практической стороне вопроса. Если женщины решили идти, мы должны им помочь, организовать охрану. Надо подумать и о детях, особенно о тех, чьи матери уйдут в поход. Я предлагаю достать несколько грузовиков и отправить детишек в деревни, расположенные в чаще, у всех найдется родня в джунглях. Что же касается тебя, Пенда, ты должна будешь следить за тем, чтобы мужчины, которые будут вас сопровождать, не приставали к вам, и, если увидишь, что марш слишком тяжел для женщин, останови их, поверни обратно. В этом нет ничего постыдного, и никто вас ни в чем не упрекнет...

Если Бакайоко, бросавший вызов судьбе, был душой забастовки, то Лахбиб, серьезный, рассудительный, спокойный Лахбиб был ее мозгом. Лахбиб умел считать тростинки господни, он уважал их, направлял, но семена в душах людей были посеяны, конечно, Бакайоко.

Пока мужчины обсуждали вопрос в профсоюзе, женщины, разойдясь по домам, готовились в поход. Черная маслянистая ночь нависла над городом, точно небо решило вылить на землю потоки сырой нефти. Только изредка, как всплески молний, чьи-то голоса прорезали темноту, а тамтамы не переставали гудеть, возвещая скорый рассвет.

Усадьба торговки Дьейнабы стала центром сбора. Люди сновали во все стороны, перекликаясь, слышались тонкие голоса и мужские басы, быстрый лепет, плач детей и звонкий смех. Не поймешь: то ли внезапно разбуженный курятник, то ли топот ног легионов, выступающих в поход.

Около двух часов ночи женщины собрались на площади Первого сентября. Редкие звезды прорезали густую черноту неба. Тучи белой пыли, подгоняемые легким ветерком, поднялись навстречу ночи.

— В путь! В путь! — звала Пенда.

Словно тысячное эхо, сотни голосов повторяли:

— В путь, в путь, путь, путь, путь...

Впереди, по бокам и завершая шествие шли музыканты с тамтамами.

■

Желая хоть как-нибудь отметить начало похода, старик Бакари покрыл свои руки от кисти до плеча, точно броней, различными амулетами: здесь были кольца из красной, черной и желтой кожи, браслеты из рогов антилопы, обмотанные конским волосом, браслеты, обшитые красными лоскутками и украшенные маленькими ракушками, которые служили когда-то монетами. На указательный палец правой руки было надето грубое металлическое кольцо. Старик не снимал амулетов до самого конца похода женщин.

Дома он нашел письмо из Бамако и бросился назад, в профсоюз, искать Бакайоко.

— Плохие вести. Читай, это письмо от Асситан. Жандармы арестовали Фа Кейта, мать умерла, маленькая Аджибиджи ранена.

Бакайоко узнал почерк Тьемоко: Асситан, должно быть, продиктовала ему письмо.

— Ты поедешь к ним, сын мой?

— Отец мой, я должен ехать в Дакар. Надо подготовить митинг, чтобы встретить там женщин.

— Сын мой, ты читал, в твоем доме нет больше мужчин. Твоя семья нуждается в тебе.

— Отец, сейчас много таких семей. В наши дома пришла скорбь, как в тридцать восьмом году. Но нам нельзя сейчас думать о мертвых, нам надо бороться за живых.

Бакари тихо пробормотал:

— Я иногда спрашиваю себя, есть ли у тебя сердце...

Бакайоко с Лахбибом пошли к торговцу Азизу попросить грузовик для отправки детей в деревни. На обратном пути, проходя через базарную площадь, они увидали автобусы, только что прибывшие из Дакара. Многочисленная и взволнованная толпа окружила шоферов, расспрашивая об ушедших в поход женщинах.

Наконец Бакайоко и Лахбиб дошли до дома Дьейнабы. Улицы, казалось, совсем вымерли — больше не слышно было ни женского говора, ни гомона детишек.

Дьейнаба сидела с потухшей трубкой в руках и глядела прямо перед собой. Скрип сандалий по песку заставил ее повернуть голову.

— Да будет мир с тобой, Дьейнаба! — произнес Лахбиб.

Женщина не ответила. Она смотрела на них, но взгляд ее был устремлен куда-то мимо их лиц. Глаза покраснели. Наконец, точно выдохнув слова из самой глубины души, она прошептала:

— Горги умер. У него загнила от раны нога, и гниль пошла по всему телу.

Бакайоко подошел ближе.

— Где твоя трубка?

— У меня больше нет табака.

Бакайоко поднял валявшуюся у ног женщины трубку, вынул из кармана лист табака, тщательно растер его ладонями, плотно набил трубку, сам зажег ее, сделав несколько затяжек, затем протянул трубку Дьейнабе, после чего прошел в хижину Пенды.

— Мы похороним его сегодня вечером,— сказал Лахбиб, положив руку на плечо бедной матери.

Дьейнаба беззвучно плакала, слезы одна за другой катились из ее глаз и падали на широкую грудь. Она прошептала:

— Разве нельзя убить всех белых?

— Женщина,— ответил Лахбиб,— ты не должна позволить ненависти поселиться в твоем сердце. Мы не хотим больше кровопролитий, мы не хотим, чтобы убивали детей, но нами должна руководить не ненависть... Я знаю, как тебе трудно...

Бакайоко вышел из хижины с узлом за плечами, с палкой в руке. Он слышал последние слова Лахбиба и удивленно посмотрел на него, процедив сквозь зубы:

— Ну, конечно, подставь и вторую щеку...

У выхода Лахбиб нагнал его.

— Напиши, как будет время. И береги себя.

Лахбиб положил руку на плечо товарища, и Бакайоко почувствовал дружескую теплоту жеста. Это приободрило его. Вот они считают его своим, он борется ради них, вместе с ними, и тем не менее как часто он чувствует себя далеко от них — далеко впереди.

■

Женщины пели не умолкая, с самого выхода из Тиеса. Как только одна группа кончала припев, другая подхватывала его, рождались новые куплеты, одно слово влекло за собой другое, третье вставало в ряд, а там готова и вся строфа. Никто не мог сказать, где начиналась песнь и когда она кончится. Песня вилась, как змей. Нескончаемая, как жизнь.

Наступил день. Дорога была слишком узкой, и шествие рассыпалось веером: одни шли по пыльчой дороге, другие по выгоревшей траве, третьи по железнодорожным путям, а самые молодые резвились, прыгая по шпалам. Разноцветные косынки, набедренные повязки и блузки яркими пятнами разнообразили монотонный пейзаж. Полосатые ткани, джутовое полотно, меланжевый тик перемешивались с красочными вышивками и с поношенными хлопчатобумажными бубу. Круглые плечи и голые руки женщин покрывал тонкий слой пыли. Подоткнутые набедренные повязки открывали точеные ноги или толстые икры. Солнце, поднимавшееся все выше, палило спины. Но женщины не обращали на него внимания. Они привыкли к нему. Ведь солнце было для них родным.

Шествие возглавляли Пенда, перетянутая в талии солдатским ремнем, Марьям Сонко, жена сварщика, и слепая Маймуна, которая незаметно присоединилась к остальным, привязав младенца старой шалью к спине. Мужчины, посланные для охраны, шли далеко позади, у многих из них были велосипеды. Кузнец Бубакар привязал к раме и рулю машины целую связку бидонов и фляжек с водой. Самба Ндулугу восседал на английском велосипеде, и зад его качался из стороны в сторону, а ноги все время теряли педали.

Люди шли по местам, сожженным солнцем. Потоки солнечных лучей поражали самую сердцевину каждой травинки, высасывая соки из каждого, самого маленького растения. Листья и стебли никли, клонились вниз, затем падали, убитые жарой. Казалось, жизнь сохранилась только в колючих кустарниках — у них была сухая душа — и в видневшихся на горизонте высокомерных баобабах. Земля походила на затверделый струп: небольшие квадраты потрескавшейся почвы и ощетинившиеся, точно зубья гребня, обломки стеблей проса или кукурузы. Где-то далеко среди полос коричневой земли вырастали соломенные крыши, и в этом жарком мареве казалось, что они висят в воздухе. Маленькие тропки, неизвестно откуда появлявшиеся, неизвестно куда ведущие, то возникали, то исчезали. Тропки-малютки вились, перекрещиваясь с дорогой-матерью, на которой сотни ног поднимали красноватую пыль. В то время дорога на Дакар еще не была асфальтирована.

Ранним вечером шествие достигло первой деревни. Жители ее, пораженные приходом стольких женщин, засыпали их вопросами. Они встретили прибывших очень радушно, хотя и несколько церемонно, так велико было их удивление подвигом женщин. Утолив жажду, поев и дав отдых ногам, женщины на рассвете двинулись дальше. Их провожал хор добрых напутствий. Два часа спустя колонна встретила автобус, ехавший в Тиес, и в ответ на приветствие пассажиров многие женщины даже принялись танцевать.

Второй день был похож на первый.

■

К середине третьего дня начала сказываться усталость. Утром прошли Пут, его жители выстроились вдоль дороги, аплодируя мужеству женщин, которые шли пешком в Дакар. Но постепенно колонна начала вытягиваться. Солнце опрокидывало на землю жаровни раскаленных

углей. Суставы отказывались сгибаться. Боль сопровождала каждый шаг.

Как река, стремительно промчавшись по узкому ущелью, обессиленная, тихо течет по равнине, так и колонна женщин, слабея, растягивалась в длину...

— Что-то не слышно больше песен,— сказала Маймуна, дотронувшись рукой до плеча Пенды.

— А я и не заметила. Давно замолчали?

— С той минуты как мы увидели змею, раздавленную машиной,— ответила Марьям Сонко и села, вернее, бессильно опустилась на край дороги.

— Встань, Марьям! — сказала Пенда.— Здесь не место для отдыха. Вон впереди деревья, там мы сделаем привал.

Они снова пошли. Но едва сделали несколько шагов, как их нагнали мужчины из охраны, во главе с кузнецом Бубакаром.

— Там многие женщины отказываются идти дальше,— сообщил Бубакар.

Кузнец принимал обязанности помощника Пенды очень близко к сердцу и выполнял свои функции с таким рвением, что даже слепая Маймуна начала задумываться над тайными причинами подобного усердия.

Пенда потуже затянула ремень, уселась на раму велосипеда кузнеца, и вдвоем они поехали навстречу растянувшейся колонне.

Женщины шли гуськом. Они так устали, что не в силах были даже поддерживать разговор. Особенно страдали толстухи: пот струился ручьями по их лицам, рукам и бедрам. Иные шли, точно старухи, опираясь на палки, сделанные из сломанных веток. Когда одна из групп проходила мимо тощего леска кадов, оттуда с шумом взлетела стая грифов; женщины, объятые страхом, сбились в кучу, не решаясь идти дальше: в старинных легендах кады и грифы олицетворяют злых духов. Не сулит ли эта встреча несчастье?

Пенда и Бубакар продолжали свой путь вдоль колонны. Наконец они добрались до отставших. Прошло более получаса с того момента, как они покинули головную группу.

По краю дороги и по склону насыпи сидели и лежали около сотни женщин. С помощью повязок и блузок, прикрепленных к веткам, они устроили навесы, чтобы укрыться от солнца. Некоторые даже спали, положив голову в тень.

— Вставайте,— сказала Пенда, слезая с велосипеда.— Вы достаточно отдохнули, пора в путь.

— Идти под таким палящим солнцем? Ты смерти, что ли, нашей хочешь?

Тон задавала толстуха Ава, жена мастера Сене Масене. Удобно устроившись на склоне насыпи и спрятав голову под кустиком, она восседала, как матка роя, окруженная рабочими пчелами.

— Вставайте! — повторила Пенда, стараясь сохранить спокойствие.

— Мы устали. Придем на день раньше или позже, не все ли равно? А если ты так торопишься, иди вперед. Встретимся в Дакаре.

— Нет, все должны прийти вместе. Если кто хочет вернуться назад, в Тиес, пожалуйста. Но остальные пойдут вместе с нами.

— Нечего тебе командовать! — крикнула Ава.— Мой муж мастер, и я...

— Ава, не кричи на меня. У тебя, видно, короткая память, и ты уже забыла, как я тебя отлупила в день раздачи риса?

— Мы не обязаны подчиняться Пенде. Я остаюсь. Во-первых, она не может рожать детей, недаром все мужчины бегают за ней. Во-вторых,

в ее группе есть демы *. Она хочет смешать нас с нечистыми! Не выйдет!

Пенда потеряла самообладание. В три прыжка она оказалась на насыпи и пинками стала опрокидывать ветки, на которых висела одежда.

— Проститутка, не смей касаться моей повязки! — вопила Ава.

Но Пенда не обращала внимания на крики. Некоторые женщины продолжали лежать. Тогда Пенда принялась считать их, загибая один палец за другим.

— Одна, две, три, четыре...

— Не смей считать нас! Ведьма! — кричала Ава.

— Не считай нас, пожалуйста,— сказала Сени, быстро вставая.— Мы тростинки господа бога. Ты ведь нас погубишь.

— Я хочу знать, сколько вас выступает против забастовки. Пять, шесть, семь, восемь...

— Остановись, ты накликаешь на нас смерть.

Разобрав свои одежды, повязав платки на голову, они все же вышли на дорогу и двинулись в путь. Вслед за ними шли мужчины во главе с Бубакаром.

■

Час спустя они дошли до привала. Встретили их хмурыми взглядами. Деревья были наперечет, и все места в тени заняты. Многие женщины уже спали, и приход новой группы нарушил их отдых.

— Ах вот вы какие, явились последними, а ищете места получше?

— Мы шли по адской жаре, нам бы прилечь...

— А мы что же, не по аду шли?

— Потеснитесь немножко!

— Эй, Ава, не воображай, что если ты толста, то можешь себе все позволить! Убери-ка свою задницу! Она так налилась, что ее и иголкой не проткнешь!

— Взвешивай свои слова, Ясине!

— Взвесь сначала свой зад, Ава!

Вновь прибывшие наконец кое-как разместились, правда, не без помощи Пенды. Усталость взяла свое. Раздражение улеглось, мышцы расслабли, дыхание стало ровнее, и вскоре женщины тихо спали.

Слепая Маймуна придержала местечко для подруги. Расстегнув ремень и подобрав повыше набедренную повязку, Пенда вытянулась на земле рядом с ней.

— Пенда,— тихо спросила Маймуна,— почему ты так резка с Бубакаром?

— Что ты хочешь сказать? Я совсем не резка с ним. Это он, что ли, отец твоих малюток?

— Нет. Почему зрячие так плохо видят?

— А если он не отец твоих малюток, то зачем он все время вертится вокруг нас?

— Пенда, в твоем сердце, по-видимому, нашлось место только для одного. И это Бакайоко, не так ли? Он поразил твое сердце, но оставит в нем лишь одну горечь. Он уничтожит все. Мы, женщины, всегда любим того, кого знаем меньше всего, потому что мы хотим постичь его тайну. И как бы дурно он к нам ни относился, как бы ни был безжалостен, мы все равно рвемся к нему. Такие мужчины, как Бакайоко, это наш яд. Они могут делать с нами все, что захотят. Ты не успеешь еще подумать «нет», как уже сказала «да».

Пенда, не отрываясь, смотрела на неподвижное лицо слепой.

— Как ты можешь знать все это?

---

* Злые духи.

— Я ведь родилась зрячей. А потом уши заменили мне глаза. Я научилась читать в мыслях, понимать то, что люди говорят меж слов. Я тебя предупреждаю: в сердце Бакайоко нет места ни для кого. В отношениях с ближними он еще более слеп, чем я.

— Кто отец твоих малюток?

— До чего же ты упряма! Он меня не обманывал. Ему казалось, что он обладает мной. Но это было не так. Просто во мне говорила страсть. Я знала, что он покинет меня, но я покинула его еще раньше, в мыслях. Когда мы придем в Дакар, я останусь там. Я там буду среди своих собратьев-нищих, и мое дитя будет со мной. Ребенок может не знать, кто его отец, но какой ребенок усомниться в той, что носила его в своей утробе девять месяцев?

— Ты останешься со мной,— сказала Пенда.

Маймуна помолчала с минуту.

— Отдохни немного, Пенда. Скоро поднимется ветер и начнется буря.

Последние слова слепой прозвучали мрачным предсказанием.

■

Этот отрезок пути оказался самым страшным. Пенда подумала, что назревавший кризис вот-вот вспыхнет. Пробуждение было тяжким. Женщины стонали, ворчали, жаловались на боли в пояснице. Пенда попыталась шутить с девушками, вокруг которых вертелись мужчины.

— Не подпускайте их близко, а то ведь через девять месяцев мне придется держать ответ перед вашими родными.

Но шутки казались неуместными. Всем было не до смеха. Главной заботой была вода. Десятка бидонов, доставленных мужчинами, едва хватило, чтобы дать по несколько капель каждой женщине.

Мало-помалу колонна все же выстроилась и двинулась вперед молча, без песен, без шуток, ведомая животным инстинктом стада, ищущего новых пастбищ.

Пенда выполняла обязанности пастушьей собаки. Все чаще покидала она головную группу, чтобы пройтись вдоль колонны, подбодрить отстающих. Подойдя к группе Авы, она вдруг услышала ее слова:

— Клянусь вам, что среди нас есть демы. Но я приняла меры предосторожности,— и она развязала большой узел на своей набедренной повязке.— Перед походом я натерла все тело солью, и теперь время от времени я глотаю щепотки соли. Когда они захотят меня съесть, я покажусь им невкусной.

Усталость, изнеможение вызывали давно забытые страхи. Даже небо, казалось, предвещало недоброе: маленькие тучки цвета слоновой кости с темно-серой каймой появились на горизонте, они быстро проплывали над рощицами кадов, которые тянули вверх свои голые ветви.

— Ты права, Ава,— заговорила одна из женщин.— Надо остерегаться. Исчадия ада способны перевоплощаться в песчинки, в муравьев, даже в птиц.

— Вы просто дуры,— сказала Пенда,— и вам следовало...

Дикие, нечленораздельные вопли прервали ее на полуслове. Пенда и несколько женщин — самых любопытных — бросились на крик, другие застыли на месте, точно прикованные, самые расторопные побежали вперед, догонять колонну.

Посреди дороги Сени извивалась в конвульсиях, на губах белела пена, набедренная повязка была сорвана. Она выкрикивала бессмысленные слова, глаза ее закатились, судороги сводили ноги и руки.

— Я говорила, я говорила,— не переставая, повторяла Ава.— Это демы пожирают ее. Необходимо найти дему.

В нескольких шагах от дороги на краю обрыва сидела худенькая Ясине и рассматривала свои ступни: она поранила ногу и, чтобы высосать кровь из ранки, поднесла ногу ко рту.

— Вот она! Вот она! — завопила Ава.— Смотрите, она сосет ее кровь через свои ноги!

Два десятка голосов повторили:

— Вот она, дема! Хватай ее!

Ясине вскочила, напуганная криками. Но она не успела убежать: чьи-то руки вцепились в нее, другие хватали камни и палки.

— Вы с ума сошли! — кричала Пенда, пытаясь защитить несчастную, у которой от страха кровь пошла носом.

Ава продолжала вопить:

— Я говорила, что среди нас есть демы! Сени сейчас умрет.

— Заткните глотки,— от волнения Пенда заговорила по-французски.— Сами вы демы! Оставьте ее в покое, или я сама сожру вас живьем! Марьям! Беги за Бубакаром, зовите мужчин! Сейчас же приведите Маймуну!

Пенде удалось наконец высвободить Ясине, полумертвую от страха, с изорванной в клочья одеждой. Сени все лежала на дороге, но ноги ее выпрямились, она смолкла, слышался лишь скрежет ее зубов.

Пятеро мужчин во главе с Бубакаром приехали на велосипедах. Маймуна шла почти следом за ними. Она склонилась над лежащей Сени и вскоре привела ее в чувство.

Ава продолжала разглагольствовать:

— Я вам говорю, что здесь есть демы. Вот Сени сейчас умрет, я слышу уже запах смерти, он исходит от нее. Нас привели в эту пустыню, чтобы легче было нас сожрать. Я видела это во сне.

Пенда вышла из себя.

— Ты замолчишь или нет?!

Кулаки Пенды, крепкие, как у мужчины, обрушились на голову Авы, били ее по телу, по животу, пока та, вопя от боли, не свалилась наконец на землю у дерева.

Вспышка ярости немного успокоила Пенду.

Процессия двинулась вперед. Женщины шли по следам Маймуны, точно слепая оставляла после себя безопасную полосу. Поднялся ветер. Черные тучи заметались по небу, и их тени, проходя над дорогой, пугали шагающих женщин. Облака пыли, перемешанные с травой, соломой и сухими листьями, кружились вокруг колонны.

И вдруг, когда дорога свернула вправо, раздался крик:

— Ураган!

Это был не ураган, который предсказывала во время привала Маймуна, это был просто могучий вихрь, который мчался на них, подняв к небу три столба пыли и сметая все на своем пути. Обезумевшие от страха женщины бросились в ближайший овраг и припали к земле, пытаясь укрыть головы. Ветер срывал с них косынки, которые еще долго вились над верхушками деревьев. У одной из женщин даже сорвало набедренную повязку, и, совсем голая, она припала к стволу эвкалипта, крича от ужаса.

Сколько раз, сколько сотен раз видели они подобные вихри, но теперь их измученные нервы не выдержали. Отчаяние опять овладело большинством женщин. Пенда ходила от одной группы к другой, показывала на удалявшийся столб пыли, уговаривала, подбадривала, пытаясь заставить их двинуться в путь. Даже мужчины начали жаловаться. И только Маймуна с ребенком на спине продолжала идти вперед ровным шагом, напевая про себя.

— Если слепая способна вынести тяжесть пути,— говорила Пенда,— то как же вам не стыдно? Вы-то здоровые!

День клонился к вечеру, когда совершенно изможденные женщины услышали крики приветствий и дробь барабанов. Жители деревни Себикутане, предупрежденные гонцами, вышли навстречу колонне. В бутылях, кастрюлях, бидонах они несли воду.

■

Два последних перехода, от Себикутане до Рюфиска и от Рюфиска до Дакара, оказались приятной прогулкой. Жители Себикутане устроили роскошный прием ходокам; кровь баранов обагрила площади деревни, пир длился до рассвета. Все напились, умылись, поели. Ходоки к тому времени стали очень популярны, о них писали газеты, даже рассказывали по радио. Теперь героинями выступали как раз те, кто больше всех жаловался в пути. Они наперебой сочиняли истории о страшных происшествиях, которые выпали на их долю, рассказывали об опасностях, которые они преодолели.

После Рюфиска с Атлантики подул свежий морской ветер, облегчая женщинам путь. Колонна пополнилась женщинами и мужчинами из Рюфиска. Все шли с песнями, смехом, шутками.

— В Дакаре мы увидим красивые дома.

— Но эти дома не для нас, они для тубабов.

— После забастовки и у нас будут такие.

Прошли последние километры пути. Издали увидели маленький остров Горе, черную точку среди зеленых просторов океана, прошли мимо огромных цементных заводов Ляфарж, миновали остатки американского лагеря. В пригороде Дакара навстречу колонне выехал велосипедист.

— У входа в город выстроились солдаты. Они говорят, что не пропустят женщин в Дакар.

Наступила глубокая тишина, смолкли песни и смех. Несколько женщин бросились в стороны, но вся колонна оставалась на месте. Пенда поднялась на небольшой пригорок и обратилась к женщинам:

— Солдаты не съедят нас. Они даже не могут нас убить, нас слишком много! Не бойтесь! Нас ждут в Дакаре! Вперед!

Длинная пестрая процессия двинулась вперед.

Маймуна, шедшая позади Пенды, почувствовала, как кто-то тронул ее за руку:

— Кто это?

— Это я, Самба Ндулугу.

— Ты, Самба? Что случилось?

— Там солдаты...

— Я слышала.

Самба Ндулугу сам не понимал, что толкнуло его подойти к женщине, чьей доверчивостью он воспользовался однажды. Жалость к слепой? Сострадание к матери? Чувство к ребенку? Он вспомнил, какой стыд испытывал много месяцев, видя, как трудится под палящими лучами солнца слепая и как растет у нее живот. Он вспомнил, как, проходя рядом, старался всегда изменить голос.

— Дай мне ребенка, мне будет легче убежать от солдат.

— Ребенка я защищу сама. Уходи. Когда я приду в Дакар, ты больше не увидишь меня. Я же никогда не видела тебя. Никто не знает, что ты отец малютки. Можешь спать спокойно, честь твоя не запятнана. Иди к мужчинам.

В пятистах метрах от ипподрома колонна столкнулась лицом к лицу с рядами зуавов. Унтер-офицер негр, стоявший рядом с белым капитаном, крикнул:

— Женщины Тиеса, возвращайтесь домой! У нас есть приказ не пропускать вас в город.

— Мы пройдем через труп твоей матери, если потребуется! — ответила Пенда.

Напор человеческой массы поколебал ряды солдат. Раздалось два выстрела — упали два тела: Самба Ндулугу и Пенда.

Но зуавы оказались бессильны против огромной людской реки, которая неслась к морю!

ДАКАР

МИТИНГ

Весть о возвращении Дауды быстро разнеслась по городу. На площади Мбот, перед зданием профсоюза, стал собираться народ. Делегаты проходили в комитет, где Дауда должен был сделать отчет о встрече в Тиесе. Все уже знали, что договориться с администрацией не удалось. Толпа шумела, лица хмурились, кулаки сжимались от гнева.

За последние дни обстановка в Дакаре заметно ухудшилась. После пожара в бараках и столкновения негров с войсками власти приняли меры для поддержания порядка: патрули полиции, жандармов, морской пехоты и стрелков обходили все улицы города. Между жалкими туземными кварталами и центральной торговой частью города были установлены настоящие защитные заграждения, и это только усиливало, как с одной так и с другой стороны, чувство тревоги и неуверенности.

Бастующие и их семьи переживали все более тяжелые дни. Истощенные, с ввалившимися глазами и изможденными лицами, они все больше слабели. Алиуну удалось убедить многих мужчин, что пришло время кончать со старыми феодальными обычиями. Мужья, сыновья, даже отцы ходили сами за водой. Мужчины нашли себе наконец занятие, которое позволило им хоть как-то убить время и одновременно пополнить нехватку продуктов. Они отправлялись рыбачить к океану. Рыба заменяла им мясо.

Между тем перед Алиуном и его товарищами возникали все новые трудности, новые опасности. Имамы и священники, «духовные отцы» различных сект пытались деморализовать бастующих и особенно их жен. После молитв они произносили одну и ту же проповедь: «Мы не способны создать даже самый маленький полезный предмет, даже иголку. А хотим тягаться с белыми, которые принесли нам все. Это безумие! Лучше возблагодарим бога за то, что он ниспослал нам белых, которые облегчают наше существование своими изобретениями и благодеяниями».

Но рабочие не поддавались увещеваниям. Возмущенные имамы ополчились на членов стачечного комитета, обвиняя их во всех смертных грехах: в безбожии, в алкоголизме, в поощрении проституции, даже в детской смертности. Они предсказывали, что из-за этих нечестивцев скоро наступит конец света.

■

Дом и двор профсоюза уже тонули во мраке, когда приехал Бакайоко. Члены стачечного комитета спали прямо на полу. В углу, куда не достигал свет от самодельной лампы, краснел огонек сигареты. Бакайоко сел на железную койку Алиуна, который еще разувался. Он внимательно выслушал его рассказ о последних событиях.

— Наша сила заключалась в том,— сказал Ибрагим,— что все эти месяцы мы руководили событиями, а теперь выходит, что события руководят нами. Что поделаешь, мы не так богаты, чтобы раздавать ордена и виллы! Зато мы сохранили веру в будущее. Нынешняя забастовка —

только первый этап нашей борьбы, и мы добьемся удовлетворения всех наших требований.

Алиун лежал рядом с Бакайоко и не мог заснуть. Снова и снова в памяти возникала тягостная утренняя сцена, когда Красавчик Дауда вошел в комитет и, не здороваясь, несколько смущенно заявил:

— Я ухожу из вашего профсоюза. Больше не рассчитывайте на меня.

Сначала все приняли это за шутку. Красавчик любил иногда подурачиться.

— Я не шучу. Я действительно ухожу. Буду работать кладовщиком на складе в порту.

— В чем дело? — спросил Идрисса.— Ведь ты только что приехал из Тиеса, ты принимал участие в переговорах с дирекцией, ты выступал перед товарищами... Ты нам нужен. Среди нас не так уж много грамотных. Я не понимаю тебя...

— А тут нечего понимать! Ухожу, и все. Разве я не волен распоряжаться собой?

— Ты дурно поступаешь, мальчик,— сказал Дён, подойдя вплотную к Красавчику.— Ты сеешь сомнения в наших умах, ведь мы не так умны, как ты. Ты рассказал нам всю правду о том, что произошло на переговорах в Тиесе?

— Я рассказал всю правду. Вы мне поручили это дело, я честно его выполнил. А ухожу я по личным мотивам.

— Ты предаешь нас! Вот что ты делаешь!

В низком голосе Дёна звучали высокие ноты. Он почти кричал:

— А мы-то гордились тобой! Гордились тем, что могли говорить всем и каждому: «Вот посмотрите на него, он молод, образован, воспитан, и тем не менее он предпочитает хорошей жизни борьбу вместе с нами, с нашей нищетой!» А теперь ты нас покидаешь. Ведь получить место кладовщика в порту не так просто, ты, очевидно, ходил к тубабам?.. Да, я верил Дауде, я голосовал за то, чтобы он представлял нас на переговорах в Тиесе. А теперь он бросает нас! Помните того типа, которого ребята судили в Бамако? Тогда вы говорили, что ребята правильно поступили... Пусть вернет свой профсоюзный билет!

Красавчик, не говоря ни слова, полез в карман пиджака, достал холщовый бумажник, вынул из него серый билет, положил на стол и так же молча вышел.

— Не знаю, имею ли я право это делать, но не могу поступить иначе,— произнес Дён, разрывая билет пополам...

Алиун все думал об этой сцене, и сон бежал от него. Он не мог успокоиться. Бакайоко вдруг тоже сел на кровати и стал раскуривать трубку.

— Не спишь, Алиун?

— Нет, я думаю о грустных вещах. Ты видел Красавчика в Тиесе?

— Да. Он меня не любит. И я не питаю к нему симпатии.

Алиуна покоробил тон Бакайоко, каким он говорил о Дауде, потому что он знал об отношениях между Красавчиком и Ндейей Тути. Он снова лег и, как бы разговаривая с самим собой, добавил:

— Все-таки с тобой очень трудно. Ты, безусловно, хорошо разбираешься в делах, но ты не понимаешь людей, а если понимаешь, то не показываешь виду. А сам хочешь, чтобы люди понимали тебя с полуслова, не то начинаешь сердиться. Это порождает у людей страх, они боятся критики. Когда тебя нет, никто не смеет ничего предпринять, и потому все падает на тебя... Должен сказать, что я написал Лахбибу о тебе.

— Ты правильно поступил,— ответил Бакайоко.

Он помолчал, выбил о железную ножку кровати пепел из трубки, затем сказал:

— Ты тоже должен понять кое-что. Когда я нахожусь на моем паровозе, я как бы сливаюсь с поездом, будь то пассажирский состав или товарный. Я переживаю все, что происходит на дороге, на станциях, с людьми. Но как только паровоз приходит в движение, я обо всем забываю. Моя роль заключается только в том, чтобы довести машину до определенного пункта. И я уже не знаю, то ли мое сердце бьется в едином ритме с машиной, то ли машина отбивает ритм моего сердца. У меня такое же чувство и с забастовкой. Мы должны слиться с ней воедино...

■

Как только стало известно, что колонна женщин прибывает после полудня, весь город забурлил. Мужчины притащили в бочках воду. В домах и на дворах чистили, подметали, готовили жилье гостям. Центральный двор в усадьбе Раматулайи был превращен в общественную кухню: вооружившись большими ножами, хозяйки чистили, резали и варили рыбу.

Стоял полдень, и солнце щедро разливало свои жаркие лучи. Со всех улиц и переулков валил народ. Удаляясь от европейских кварталов с их большими зданиями, люди шли к Медине. Железнодорожники распространяли листовки, призывающие рабочих прекратить сегодня работу и всем явиться на митинг.

Колонна женщин вошла в город через мост у предместья Ханн. Бастующие образовали живую изгородь по обе стороны улицы.

— Это правда, что они шли без воды и без пищи?

— Бедняжки! Они сильнее мужчин!

— Говорят, что они пришли поговорить с депутатом, чтобы уладить историю с забастовкой.

— Я считаю, что забастовка — мужское дело.

— Ты прав, брат, все это политика. Эти женщины, наверно, коммунистки.

— Но послушай, брат, они поддерживают своих мужей.

— А к чему это приведет? Прав Серинь Ндакару, когда говорит, что мы не способны сделать даже иголку.

За мостом у шлагбаума выстроился комитет по приему женщин. В него входили неразлучные Мам Софи и Бинета, а также Дён, Арона, Идрисса, который от волнения косил более обычного, и Бакайоко в своей неизменной соломенной шляпе. У него на руке повисла старая, очень старая женщина. Она без конца вертелась во все стороны и болтала без умолку. Ее звали бабушка Фату Ваде, никто не мог сказать, сколько ей лет, она и сама этого не знала, но ни одно событие не обходилось без ее участия.

— Знаешь ли ты, что эта набедренная повязка старше меня? Она мне досталась по наследству от моей матери, которая получила ее от своей бабушки. Ты видишь, она голубая в белый горошек, она сделана в старину, когда ткани красили сами; женщин надо достойно принять: во времена моей бабушки, когда хотели уважить вновь прибывшего, перед ним расстилали самые дорогие ткани.

Со стороны улицы Аль-Хадж-Малик-Су, по которой должно было пройти шествие, послышались крики:

— Идут! Идут!

Поддерживавшие порядок железнодорожники, к которым присоединились каменщики и портовые рабочие, образовали цепь, они взялись за руки, пытаясь сдержать натиск толпы. Раздались взрывы аплодисментов.

Во главе ходоков шли Марьям Сонко, державшая за руку слепую Маймуну, толстуха Ава, Сени и хохотушка Аби, налитые груди которой напоминали зеленые плоды манго. Их окружали велосипедисты во главе с Бубакаром.

Когда они подошли к шлагбауму, бабка Фату Ваде выбежала вперед, подняла высоко над головой свою набедренную повязку и затем расстелила ее прямо на шоссе, у ног Марьям Сонко. Та остановилась в нерешительности.

— Иди же, иди,— заговорила старуха,— ступай вперед! Так в стародавние времена встречали в деревнях победителей.

Все закричали от восторга, и вслед за Фату Ваде женщины стали бросать на асфальт свои набедренные повязки, косынки, блузки и просто куски материи. Колонна вступила на цветной ковер, и это придало встрече большую торжественность.

Забастовочный комитет направил женщин к усадьбе Ндьяйен, где их ждали вода и пища. Бакайоко тем временем подошел к Марьям Сонко и Бубакару, чтобы разузнать подробнее о гибели Пенды и Самбы Ндулугу. Смерть товарищей тяжело подействовала на него. Он тихо прошептал: «И Пенда тоже...» Словно ястреб, нырнувший за своей добычей, отчаяние когтями вцепилось в его душу. Впервые в жизни он вдруг усомнился: а прав ли он? И все прочитанные книги, все уроки жизни, натренированная воля, сила мысли, верно служившей поставленной цели.— все вдруг показалось таким ничтожным перед лицом смерти.

Чья-то рука легла на его плечо, и звонкий голос произнес:

— Не отчаивайся, брат! Мы заставим их принять наши требования!

— Да, брат, заставим! — ответил он и пошел вдоль колонны с опущенной головой.

■

Никогда еще ипподром Дакара не видел такого скопления народа. К бастующим присоединились докеры, рыбаки Нгоры, Йоффа и Камбарены, рабочие и служащие предприятий города. Голубые традиционные шарфы, чалмы, тюрбаны, белые и защитного цвета шлемы, квадратные тюбетейки, фески с кисточками и без них, пестрые косынки с накрахмаленными концами, которые торчали, словно навостренные уши,— все эти уборы образовывали над толпой сказочно яркую, живую мозаику, из которой то там, то тут торчали черные, лиловые или белые зонтики.

У ворот и вдоль трибун стояли солдаты, жандармы и полиция. Все они были в парадной форме.

Делегации начали прибывать. Первыми появились гости начальства во главе с верховным имамом. Он шел в сопровождении своего протеже Аль-Хаджи Мабиге, вся грудь которого была увешена медалями. Он услужливо нес над имамом зонтик. Верховный имам шествовал чинно и медленно, как и подобает такому важному лицу, приветствуя свою паству. Полицейский офицер проводил их на почетную трибуну.

В это время толпа заволновалась, люди бросились к главным воротам. Входили женщины из Тиеса. Они успели умыться, поесть, отдохнуть. Они шли в безупречном порядке, по десять в ряд, на этот раз без мужчин. Они несли плакаты и транспаранты с лозунгами: «НАЦИСТСКИЕ ПУЛИ НЕ РАЗЛИЧАЛИ ЦВЕТА КОЖИ!», «МЫ ТРЕБУЕМ ПОСОБИЙ МНОГОДЕТНЫМ!».

Вслед за женщинами на ипподром вошли колонны бастующих во главе с профсоюзными делегатами. Они тоже несли плакаты: «РАВНАЯ ОПЛАТА ЗА РАВНЫЙ ТРУД!», «ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ!», «МЫ ТРЕБУЕМ ЖИЛИЩ!». Все обратили внимание на их усталый и изможденный вид.

Бакайоко и Алиун стояли у будки тотализатора. Приход бабки Фату Ваде прервал их разговор.

— Я искала тебя, сын, чтобы спросить: жива ли еще твоя мать?

— Нет, бабушка,— ответил Бакайоко.— Ее убили жандармы, когда меня не было дома.

Бабка напоминала ему Ниакору, в памяти возникли слова Бакари, и сердце его сжалось от боли.

— Отныне я буду твоей матерью,— сказала бабка и погладила его по руке.— Мой муж погиб на первой мировой войне, вторая война лишила меня старшего сына. Теперь они отняли у меня младшего. Гляди, вот все, что у меня осталось от них.

Она развязала узел на набедренной повязке и протянула Бакайоко крест времен войны 1914 года, медаль за тяжелое ранение в 1940 году и медаль участника колониальных войн.

— Ни один лавочник не хочет брать их, а мне нечего есть. Зачем тубабы выдают их? Для меня это могильные кресты... Если ты останешься в Дакаре, приходи жить ко мне, для тебя всегда найдется свободная циновка.

— Алиун,— обратился к другу Бакайоко,— если мне захотят помешать выступить, разыщи товарищей, найди женщин и заставьте их слушать меня.

Ндейя Тути тоже пришла на ипподром. На сердце у нее было неспокойно. У входа она встретила Мам Софи, которая не преминула спросить: «Ты кого ищешь, Бакайоко или Красавчика? Они оба там!»...

Девушка не переставала думать о Бакайоко... Она пыталась подойти к нему в усадьбе, но он был целиком поглощен ходоками из Тиеса и слепой, которая пришла с ними. Правда, когда он увидел ее, то положил ей руку на плечо и шепнул: «Твои глаза напоминают две луны в темную ночь». Она высвободилась и пошла вперед в надежде, что он последует за ней, но он не двинулся с места...

На ипподроме было три трибуны: одна для официальных лиц, вторая для европейцев и третья для рабочих делегаций. Пока они проходили к своим местам, у центральных ворот раздались пронзительные свистки. На черных лошадях, в красных с белым бурнусах, развевавшихся на скаку, гвардейский взвод влетел крупной рысью на ипподром. На высоких фесках сияли золотые звезды. Вслед за всадниками на поле въехали машины с высоким начальством.

Из первой вышли генерал-губернатор и мэр Дакара, депутат Национального собрания Франции. За ними следовали другие официальные лица. Начальники быстро поднялись по ступеням и устроились перед целой батареей микрофонов.

Первым выступил в качестве духовного пастыря большей части населения верховный имам Дакара. Он повторил свою обычную проповедь, предостерег паству от вредных влияний «из-за границы», воздал хвалу губернатору и мэру города, которые, несмотря на свою огромную занятость, почтили это собрание своим присутствием. Желая придать больше веса своим словам, он в заключение громко прочитал две строфы из корана.

Генерал-губернатор говорил с отеческим снисхождением. Он сказал, что вот уже тридцать лет как посвятил себя разрешению колониальных проблем; впрочем, тут же поправился: «африканских проблем». Он сообщил, что настоящая забастовка его очень огорчает, так как она свидетельствует о достойном сожаления взаимном непонимании. Он пообещал тщательно изучить требования рабочих. «Вы не можете отрицать,— заявил он,— что с тех пор, как я руковожу краем, многое изменилось в лучшую для вас сторону. Многое еще должно измениться, и опять же для

вашей пользы. Но ради достижения прогресса, который был бы очевиден и полезен для всех, необходимо время и терпение. Железнодорожники могут возобновить работу с завтрашнего дня. Вопреки слухам, которые распространяют недоброжелательные лица, против бастующих не будут приняты никакие меры, и я обещаю всем, что требования забастовщиков будут изучены и удовлетворены по мере возможности в самое короткое время». Он закончил свою речь напоминанием, что узы, соединяющие метрополию и Африку, скреплены совместно пролитой кровью.

Речь была выслушана с большим почтением и встречена аплодисментами. Большая половина присутствующих ничего в ней не поняла.

Затем к микрофонам подошел Гайе. Ему было поручено адресовать речь непосредственно рабочим. Сначала он напомнил о своей профсоюзной деятельности, затем указал, что несколько федераций заняло выжидательную позицию по отношению к забастовке железнодорожников, так как эта забастовка носит политический характер.

Слово взял мэр города. Не спеша он посадил на свой коротенький нос очки в огромной роговой оправе. Он говорил целый час. Едва он открыл рот, как все сразу увидели два сверкающих золотых зуба в центре его черного и лоснящегося от пота лица. Коротко остриженные седеющие волосы обрамляли круглое лицо. Он говорил, старательно подыскивая французские слова:

— Я приветствую вас, мирные люди, и благодарю за то, что вы слушаете меня... Когда ребенок взбирается на дерево, он не предупреждает об этом никого. Но когда он падает с дерева, то своими криками собирает народ. То же произошло и с забастовкой. Когда рабочие и служащие железнодорожной линии Дакар—Нигер решили начать забастовку, они не предупредили никого, даже людей, способных помочь им. Они не подумали о последствиях своего поступка. И вот теперь вы видите результаты. В *наших* домах нет больше воды, *нам* нечего больше есть, торговцы не хотят больше отпускать *нам* в кредит. Забастовка — это дело рук нескольких паршивых овец, которые, должно быть, наслушались советов иностранцев, так как подобный метод действий не соответствует ни *нашим* обычаям, ни *нашим* нравам... Когда ко мне обратились с просьбой распутать роковой узел, я сначала хотел было отказаться, но, подумав, решил согласиться, так как мой долг обязывает меня помогать вам. Я внес на обсуждение соответствующие законопроекты, и я знаю, что мои старания не будут напрасны, но для этого нужно время. Если бастующие не хотят с этим считаться, то не мешайте, по крайней мере, жить всем остальным, так как ваша забастовка грозит не только остановить прогресс, но даже отбросить его назад. Управление железной дороги уже дало согласие на удовлетворение некоторых требований, что же касается остальных, то они входят в компетенцию Национального собрания в Париже.

Депутат вытер пот со лба и протер очки.

— А почему он не говорит на языке уолоф, как все люди? — спросила бабка Фату Ваде.— Я ничего не понимаю из того, что он лопочет.

Депутат заканчивал свою речь:

— Говорят, что некоторые из вас помышляют объявить всеобщую забастовку. Я запрещаю вам это делать. Это означало бы погубить все одним ударом. Я обращаюсь особенно к руководителям профсоюзов: вы знаете, что в Национальном собрании в Париже мы обладаем очень малым количеством голосов, и потому нам необходимо маневрировать. Мы все хотим вам добра. Тубабы тоже. Но не следует начинать с того, чтобы восстановить всех против себя. Я позволил себе заверить управление, что завтра все рабочие выйдут на работу, а затем мы продолжим переговоры. Остальное я беру на себя. Повторяю еще раз, положитесь на меня.

Депутат выждал, пока умолкнут аплодисменты, и, не выпуская из рук платка, стал подниматься к своему месту. Он еще не успел сесть, как перед микрофонами вырос Бакайоко. Гайе кинулся вперед и схватил его за руку:

— Ты не посмеешь говорить после губернатора и депутата!

Но в толпе раздались крики:

— Байлика му вахе, байлика му вахе! *

Губернатор в замешательстве что-то шепнул на ухо депутату, который обратился к Бакайоко:

— Вы можете говорить, молодой человек, но покороче.

Привычным жестом Бакайоко отбросил на спину соломенную шляпу, схватил одной рукой микрофон, точно это был рычаг паровоза, и начал медленно, как бы беря разбег:

— Я благодарю вас всех за то, что вы дали мне слово,— он говорил на языке уолоф.— Было бы неестественно, если бы все имели право выступать, кроме бастующих. Я буду говорить от их имени. Мы бастуем более четырех месяцев и знаем, ради чего мы это делаем. Нам живется очень тяжело без воды, без огня, без пищи. Это трудно перенести мужчине, тем более женщине, еще труднее ребенку. Тем не менее мы перенесем все это. Нет больше воды в Медине. А кто-нибудь из выступавших здесь сказал вам — почему? Я не ставлю под сомнение слова выступавших ораторов, но о чем они говорили? К кому они обращались на языке, который большинство из вас не понимает? Верховный имам Дакара говорил вам о боге. Неужели же он не знает, что голодные и жаждущие обходят дороги, которые ведут к мечети? Нам здесь сказали, что губернаторы принесли нам многочисленные и полезные перемены. Я, правда, еще молод, но что-то я не видел этих многочисленных перемен, и я спрашиваю старых рабочих, видели ли они их? А мы не можем кормить свои семьи вашими проектами! Нам здесь обещали, что против бастующих не будут приняты меры. А какие меры будут приняты против тех, кто убивал наших женщин и детей?

Последние фразы Бакайоко повторил на бамбара, на тукулёр и по-французски. Он видел перед собой не толпу, а две сверкающие линии рельсов, которые вели в будущее. Голос его зазвучал более сурово:

— Здесь говорили, что забастовка — дело рук нескольких паршивых овец, наслушавшихся иностранцев. Надо полагать, много развелось паршивых овец в нашей стране! А вы, которые нас так хорошо знаете, покажите, где они, эти иностранцы? Нас уверяют, что мы не способны ничего создать сами, но, по-видимому, и мы на что-то годимся, потому что с тех пор, как мы остановили поезда, они больше не ходят! Нам обещают, что наши требования будут удовлетворены, но какие? Мы требуем пенсий, пособий многодетным, увеличения заработной платы, вспомогательных рабочих, мы требуем права иметь свой профсоюз. Никто из ораторов, выступавших до меня, не произнес ни одного из этих слов! А ведь это очень простые слова. Наш депутат сообщил нам, что он находится здесь, чтобы *нам* помочь. Спросите у него, почему он голосует за принятие социальных законов в стране, которая находится за тридевять земель от нашей, и почему ничего не сделает, чтобы эти законы применялись в его родной стране! Спросите у него, как он живет? Сколько он зарабатывает? Или вам кажется, что это нескромные вопросы, и вы предпочитаете, чтобы я замолчал?

— Нет, нет! Продолжай! — закричали в толпе.

Губернатор и европейцы сидели молча: они не понимали языка, на котором говорил Бакайоко. Но Гайе и депутат начинали ерзать на своих местах.

---

* Пусть говорит, пусть говорит!

— Итак, я продолжаю. Во время наших переговоров с управлением железной дороги нам заявили, что наши требования не могут быть приняты, потому что наши жены в действительности являются лишь нашими сожительницами. А когда надо было посылать наших отцов и братьев в качестве пушечного мяса на войну, никто не спрашивал у них, законные они дети или незаконные! Пусть депутат ответит на этот вопрос! И прежде, чем закончить свою речь, так как мне не разрешили долго говорить, я должен выполнить одно поручение. Господин губернатор! Господин депутат! Вы видите здесь бабушку Фату Ваде. Ее муж был убит во время первой мировой войны и сын — во время второй. Ей дали за них вот эти медали, она даже не знает, что это такое. Сейчас за участие в забастовке вы посадили в тюрьму ее младшего сына. У нее больше нет никого. Господин губернатор! Господин депутат! Возьмите эти награды, верните ей сына и дайте порцию риса в день.

И снова он повторил последние фразы на трех языках: на бамбара, на тукулёр и по-французски. Вытянув руку, он показал три медали. Лица на трибунах вытянулись, брови насупились. Бакайоко снова сжал кулак.

— Мать,— сказал он на уолоф,— я выполнил твое поручение. А теперь слушайте меня все: каменщики, столяры, слесари, рыбаки, докеры, государственные служащие, полицейские, жандармы, служащие частных предприятий и городского хозяйства! Поймите, что наша забастовка — ваша тоже, как поняли это рабочие в Дагомее, на Берегу Слоновой Кости, в Гвинее и во Франции. От вас зависит, от вас, рабочих Дакара, узнают ли наши жены и дети лучшую жизнь! Путь нам преграждает скала, только все вместе мы сможем сдвинуть ее... Железнодорожники не выйдут на работу, пока не будут удовлетворены все их требования!

Бакайоко быстро сбежал вниз по ступенькам трибуны. Вокруг раздавались крики: «Каменщики выступают за забастовку!», «Докеры поддерживают забастовку!», «Металлисты за!», «Мы тоже!». И тогда раздался гимн женщин Тиеса:

Заря восходит на горизонте...

На следующий день в Дакаре была объявлена всеобщая забастовка. Она длилась десять дней. Дирекция железнодорожной компании вынуждена была возобновить переговоры со стачечным комитетом.

Когда женщины Тиеса двинулись в обратный путь, шоферы грузовиков предоставили им свои машины, а рыбаки побережья принесли им дневной улов рыбы.

Слепая Маймуна осталась в усадьбе Ндьяйен. У нее еще было молоко, и она кормила грудью малютку Стачку. «Я вскармливаю деревца, которые поднимутся завтра»,— говорила она. Там она осталась до конца дней своих. По вечерам она собирала детишек, пела им старинные легенды и рассказывала историю Пенды и странного человека, которые пали от пуль у ворот Дакара.

ДАКАР

НА БЕРЕГУ МОРЯ...

На песчаном пляже меж двух рыбачьих пирог, вытащенных на берег, отдыхали Ндейя Тути и Бакайоко. Девушка сидела, прислонившись спиной к лодке и вытянув вперед ноги. Бакайоко лежал на животе, опершись лицом на ладони, и следил за игрой ребятишек в воде.

— Ты пробудешь здесь еще несколько дней? — спросила она.

Ндейя Тути смотрела на его лицо, на открытый лоб и коротко остриженные волосы, на шрам, который придавал ему такое мужественное

выражение. Вот уже несколько дней она наслаждалась его обществом. Она знала, что в усадьбе Ндьяйен все смотрят сквозь пальцы на их отношения. Она была счастлива, что он здесь, рядом, только с ней, и тем не менее не могла удержаться, чтобы не спросить нежным голоском, каким обычно говорят очень ревнивые женщины:

— Почему ты мне никогда не говоришь о Пенде?

— Пенда — это Пенда,— произнес Бакайоко и повернулся лицом к морю. Когда лежишь, уткнувшись лицом в песок, начинает казаться, что море вздымается вертикально, а остров Горе — черный шарик, подвешенный на голубой простыне.

Так и не дождавшись другого ответа, Ндейя Тути снова спросила:

— Если ты уедешь, то когда вернешься?

— Я еще сам не знаю. Я жду парохода.

■

Они возвращались в усадьбу с наступлением темноты. Бакайоко предпочитал не очень привлекать к себе внимание. На небе начали загораться звезды.

Ндейя Тути замедлила шаг и сказала после некоторого колебания:

— Почему ты не хочешь рассказать мне о Пенде?

— Ты знаешь, что она погибла?

— Знаю. Ты был с нею близок?

— Я был с ней знаком. Почему ты меня спрашиваешь об этом?

— Она была проститутка.

— Кто тебе это сказал?

— Все женщины в усадьбе знают это. Они говорят, что она не спала разве только с самим паровозом! Я спрашиваю, как же...

Ндейя Тути запнулась.

— Ты не достойна и подметок Пенды. Я знаю, чего стоила эта женщина. Настоящий друг. Она отдала свою жизнь за наше дело. А то, что она продавала себя, так все мы, каждый по-своему, продаемся. Некоторые делают это по принуждению: Алиун, Дён, Идрисса, я сам, мы продаем свой труд людям, которых презираем. А есть такие, которые продались морально: Мабиге, Гайе, Дауда. А ты сама?

Они пошли дальше. Оба молчали. Они миновали длинную белую стену, справа от них расстилалось поле гуявника.

— Хочешь, я скажу тебе одну вещь? — произнесла наконец девушка.— Я хотела бы стать твоей второй женой.

— Что?

Бакайоко прирос к земле, точно его кто стукнул по голове.

— Я так много об этом думала, я говорила себе, что если ты ответишь отказом, то потому, что ты выступал против многоженства и тебе будет неудобно поступить иначе. Я действительно знаю, что ты противник полигамии. Я сама всегда была против, я никогда не могла понять этот обычай, я ненавидела его даже. И потом вдруг происходит так, что то, что ненавидишь, начинаешь любить... Ты сказал мне однажды, что все феодальные обычаи исчезнут только тогда, когда Африка станет свободной, независимой. А в ожидании этих лучших времен я хочу быть твоей второй женой. Я не буду тебя ревновать к Асситан.

Ндейя Тути остановилась, чтобы перевести дыхание. Она говорила быстро, по-французски. Бакайоко не знал, что ответить. Пока девушка говорила, целый рой мыслей, образов проносился у него в голове. В своей жизни вечного путешественника, разъезжающего с одного конца железной дороги в другой, ему не раз приходилось сходиться с женщинами. Он шел к ним, как идут к роднику с холодной водой утолить жажду —

и только, не придавая большого значения любви. А в остальном у него была Асситан, и этого было достаточно.

Он остановился. Ндейя Тути повернулась к нему лицом и подошла вплотную. Несмотря на темноту, он видел, как блестят ее глаза, он чувствовал горячее дыхание девушки. Простым, почти дружеским жестом он сжал ее лицо в своих руках. Ндейя Тути закрыла глаза:

— Ты согласен?

— Нет.

■

У двора усадьбы они натолкнулись на Алиуна, который их поджидал.

— Плохие вести. В Тиесе умер Дуду. Лахбиб пишет, что он умер своей смертью — злокачественная лихорадка. В Бамако арестован Конатэ, его заключили в лагерь, где сидят старик Фа Кейта и остальные. Твой пароход прибыл, он отплывает завтра на рассвете. Лучше всего, если ты переберешься на борт затемно. Только...

— Что только?

— Надо бы послать кого-нибудь на похороны Дуду.

— Я не могу. Дуду умер от болезни. Конечно, если бы были врачи, чтобы лечить рабочих... Ты — председатель, ты и назначь кого-нибудь. Я должен ехать. В Судане сейчас никого не осталось.

— Я иногда думаю, не слишком ли ты суров...

— У него нет сердца,— прервала Ндейя Тути.— Он и других делает бесчеловечными.

Девушка убежала в дом, а Бакайоко задержался, чтобы попрощаться с женщинами, собравшимися во дворе, и поблагодарить их за гостеприимство. Затем он прошел в дом взять вещи. На кровати, на полу, на циновках спали голые детишки. Ндейя Тути ждала его. Она держала в одной руке его соломенную шляпу и палку, а в другой дорожный мешок. Свеча, стоявшая на кувшине, едва освещала комнату. На лицо девушки легли причудливые тени. «Точно бронзовая маска индийской богини»,— подумал Бакайоко, и ему показалось, что Ндейя Тути стоит в заученной позе. Веки ее затрепетали, нижняя губа задрожала. Одна слеза показалась в углу глаза, стекла по щеке, задержалась на подбородке и наконец упала на грудь.

Плачущая женщина была непонятна Бакайоко, и понять ее он не мог. Он взял свои вещи, надел шляпу:

— Я хотел бы...

Он не кончил фразы и быстро вышел из комнаты. Ндейя Тути стояла на пороге, ожидая прощального жеста... Но когда ночь проглотила уходящего, она в ярости прошептала: «Подлец! Негодяй!» — не в силах более сдерживать слезы.

■

Любовь к Бакайоко оказала гораздо большее влияние на жизнь девушки, чем она могла предполагать. Как земля твердеет под палящими лучами знойного солнца, так и сердце ожесточается под лучами горя. В течение долгих дней Ндейя Тути оставалась совершенно равнодушной ко всему, что происходило вокруг. Прежде малейшее волнение отражалось в ее прекрасных сияющих глазах. Теперь они скользили безучастно с одного предмета на другой, с одного лица на другое, точно внешний мир перестал для нее существовать. Она видела только то, что творилось внутри нее.

Несколько дней подряд Ндейя Тути пролежала с высокой температурой. Как только температура спала, девушкой, несмотря на большую

слабость, овладела лихорадочная жажда деятельности. Она не брезгала никакой работой, мыла, стирала, убирала за детьми, бегала по городу в поисках горсти риса. Иногда она просиживала долгие часы над учебником географии, изучая по картам свою страну, но слишком часто на фоне разноцветных пейзажей вырастали очертания знакомого лица.

Однажды в старых сандалиях и в шлеме с оборванными полями Ндейя Тути вышла со двора, толкая перед собой огромную бочку для воды. Когда она вернулась несколько часов спустя, ее нельзя было узнать: вытянутое лицо, мокрая от пота и прилипшая к телу одежда, ноги босы, шлем потерян. Упираясь ногами в песок, она толкала бочку с водой.

— Завтра я снова пойду.

— Я пойду с тобой,— сказала слепая Маймуна.

И так изо дня в день, вместе с Маймуной и маленькой Антой, они ходили к колодцу и обратно, толкая огромную бочку. Все продолжали звать Ндейю мамзель, но теперь в это слово вкладывали восхищение и нежность. Однажды утром, когда кто-то искал бумагу, чтобы разжечь огонь, она отдала все свои тетради, за исключением одной, которую тщательно прятала и в которой по ночам писала, при слабом свете коптилки, поэму — лебединую песнь своей молодости.

■

Бакайоко сошел с парохода в Сен-Луи. В этот день бастующие разобрали триста метров железнодорожных путей. Он углубился в джунгли на пироге. Так он проплыл вверх по Сенегалу, затем по Бакои, а оттуда направился глухими тропинками в глубь Судана.

Он остановился передохнуть и перечитать письмо от Лахбиба, которое ему передали в Сен-Луи.

«Мой молочный брат! Я полагаю, ты уже знаешь от Алиуна о смерти Дуду. Было очень много народа на его похоронах. Я так и предполагал, что ты не приедешь.

Женщины вернулись из Дакара, и их хорошо встретили, но мужьям теперь с ними трудно сладить. Даже мне пришлось туговато: они набрасывались на меня, точно львицы, хотели всем командовать. Потом все пришло в порядок. Дети еще не вернулись из деревень, а женщины каждый день ходят на озеро. Но в дальнейшем нам придется с ними считаться.

Смерть Самбы Ндулугу меня страшно огорчила. И Пенды тоже. Она была хорошая женщина. Ты знал ее, конечно, лучше меня. Я не знаю, что можно сделать, чтобы почтить ее память, реши сам.

Возвращайся. Бакари мне однажды сказал, что у тебя нет сердца. Иногда мне кажется, что он прав. Может быть, такие люди, как ты, нужны. Только тогда, когда ненавидишь, можно бороться. У меня сейчас есть время читать, привези книги, романы, не очень чувствительные, но и не слишком тяжелые, лучше всего книги, которые рассказывают о жизни людей в других странах.

Твоя семья тоже нуждается в тебе. Возвращайся.

Сидиаме дом ндей*.

Лахбиб».

Бакайоко вдруг почувствовал себя совсем одиноким. Он вспомнил Пенду. Ее он мог бы взять в жены. Она была бы второй женой. Он спрашивал себя, что связывало его с ней? Вечная путешественница, бредущая от одной станции к другой, как и он?.. В одном он был твердо уверен: он отдал ей лучшую часть своей души.

* Да будет мир с тобой, мой брат!

ЛАГЕРЬ

Подойти к лагерю незамеченным было невозможно: расположенный посреди огромной голой равнины, он охранялся днем и ночью часовыми, стоявшими на четырех сторожевых вышках. Два ряда колючей проволоки оцепляли единственный вход в лагерь, у которого дежурили наемники из вспомогательных отрядов. Выходцы из Центральной Африки, они не говорили ни на одном из суданских наречий.

В стороне от главных строений, окруженное колючей проволокой, стояло низкое здание с плоской крышей, на которой торчала саманная будка часового, крытая сухими ветками.

Туда и привели Фа Кейта. У входа ему развязали руки и, открыв дверь, втолкнули в темную яму. Его сразу поразил запах: запах гнилья с аммиачным привкусом.

Он хотел сделать шаг вперед, но тут же упал, наткнувшись на какую-то металлическую посудину, которая с грохотом опрокинулась. Он поднялся, ощупью пытаясь определить, где он, и почувствовал, что набедренная повязка его вся намокла.

Фа Кейта заговорил:

— Я старый Фа Кейта. Из «дыма саванн». Наши сейчас бастуют, и я тоже. Я не знаю, за что тубабы арестовали меня, когда я был поглощен молитвами в уединении, и привели сюда. Я очень устал.

Какие-то тени окружили старика. Люди касались его рук в знак уважения и дружбы.

— Здесь все мы, суданцы, сидим из-за забастовки.

— Скажи нам, старик, это правда, что все вышли на работу?

— Люди, никто не вышел на работу.

— А что говорят о нас?

— Я слышал только о том, что некоторые бастующие брошены в тюрьмы и что с ними очень жестоко обращаются.

— Слышите! Они знают на воле, как над нами издеваются,— сказал житель Саны, которого звали Салифу.— Я же говорил вам, что Бакайоко все знает. Он настоящий сын племени бамбара.

— Бакайоко вернулся в Бамако?

— Нет, он еще на западе, в Сенегале. Он должен увидеть самого начальника «дыма саванн».

Фа Кейта начал понемногу успокаиваться. Он уже стал различать фигуры людей. Он рассказал им все, что знал сам, и историю контролера Диара и суда над ним. Все сразу оживились:

— Собачье отродье! Как он посмел, в то время, как мы здесь подыхаем без пищи, без воды, точно заживо замурованные. Тьемоко должен был растерзать его на месте.

После полудня стражники принесли еду: лохань, разделенную на две половины, в одной из них была какая-то черная клейкая масса, в другой вода. Затыкая носы, стражники снова захлопнули дверь.

Так потекли дни.

— Сколько времени я нахожусь здесь? — спросил Фа Кейта, как бы говоря сам с собой.

— Ты можешь считать: когда стражники приносят лохань с едой — прошел еще один день. Ты здесь десять дней, а мы гораздо больше.

■

Однажды утром дверь тюрьмы открылась настежь. Резкий луч света ослепил узников. Жандарм приказал вывести заключенных на про-

гулку. Жандармом прозвали старшего надзирателя лагеря, бывшего старшего сержанта колониальной пехоты Бернадини.

Он стоял на самом солнцепеке, и на голове у него торчал старомодный конусообразный шлем. Похлопывая себя хлыстом по голым икрам, он ожидал выхода заключенных на прогулку.

Заключенные выстроились в ряд перед ним; истощенные, худыми ногами и подпрыгивающей походкой они напоминали саранчу. Солнце беспощадно резало глаза. Люди опускали веки, и тогда черные круглые точки начинали танцевать в красном облаке.

Салифу наклонился к Фа Кейта и сказал:

— Это самый нечистый из всех, он билакоро *.

— Маку **! — закричал капрал.

— Молчать! — повторил Бернадини.— Кто посмел говорить? Никто, конечно! Те, кто прошел через мои руки, помнят это всю жизнь!

Он подошел к заике, который что-то нашептывал, и хлестнул его плеткой по лицу.

— Это ты смеешь говорить? Если ты еще раз откроешь рот, то моя нога закроет его! — Конец плети уперся в низ живота заики.— Ну, двинулись!

Прогулка началась. Люди шли по кругу, один за другим, точно лошади на манеже. Их было человек сорок. После каждого круга колея в песке все более углублялась. Лучи солнца разъедали исцарапанные тела, вызывая нестерпимый зуд.

В центре круга, который они образовали, находилась огромная яма, в человеческий рост. Деревянные колья сантиметров двенадцать высотой поддерживали лист жести, в котором были проделаны дырки.

Вскоре Бернадини вернулся в центр круга, два его подручных толкали перед собой новенького. Руки у него были связаны за спиной. Это был Конатэ, председатель профсоюза в Бамако.

— Полюбуйся на своих подчиненных, горе-председатель! Хороши, не так ли? Уж я-то удовлетворяю все их требования, даже более того. Не хочешь ли получить в виде задатка, а?

Кулак Жандарма обрушился на лицо Конатэ.

— Попробуй-ка здесь устроить собрание, и ты увидишь, какой порядок я тебе организую. Ты воображаешь себя сильным? А ты такой же идиот, как и они. Что до вашего Бакайоко, мы и его схватим, не будь я Бернадини. Уж он пополнит мою обезьянью коллекцию.

Конатэ не слушал речь надзирателя, он смотрел на людей, кружив-ших вокруг него, и, когда заметил старика Фа Кейта, сердце его сжалось.

Конатэ рванулся вперед, но стражники успели схватить его и стянули ремнями.

— Капрал,— закричал Бернадини,— брось его в могилу!

Конатэ пытался сопротивляться. Стражники связали ему веревками ноги, сорвали с него одежду и швырнули в яму.

Бернадини приблизился:

— Ты что, председатель, захотел покрасоваться перед приятелями? Понял, кто здесь хозяин? Я усмирял и не таких, как ты!

Он наклонился, дотронулся до железа и сразу отдернул руку: металл обжигал.

— Начинай, капрал!

Отверстия в жести рисовали на животе лежащего два ряда желтоватых пуговиц.

---

* Тот, кто не прошел обряда обрезания.

** Молчать.

Стражник стал поливать из фляги. Вода зашипела на металле, легкий пар поднялся вверх, струйки потекли по изгибам жестяного листа и через отверстия падали каплями одна за одной на тело Конатэ.

— Ты не из трусливых, председатель,— сказал Бернадини,— ты держишься дольше других. Что ж, посмотрим, насколько тебя хватит. Этому трюку я научился у фрицев, они умели укрощать! Капрал, подлей воды!

Только последняя капля выдавила стон из сжатых губ Конатэ. Заключенные продолжали кружить на одном месте. Фа Кейта равнодушно смотрел на происходящее, его взгляд был устремлен на восток, за проволочные заграждения, поверх саванны и высоких деревьев, на которых далеко на горизонте покоилось небо. В его глазах светилась вера в бога, единственное, во имя чего можно переносить страдания. Унижение, которому подвергались человеческие существа, было для него невыносимо. Он, правда, не всегда разделял энтузиазм молодых, который довел их до тюрьмы, но подчас ему начинало казаться, что молодые все же более правы, чем он со всей своей мудростью. Он прошел еще два круга и наконец решился: раз он не может молиться в загаженной тюрьме, он воспользуется прогулкой, чтобы прочитать молитвы. Медленно он вышел из круга и направился к ограде лагеря. Там он остановился, набрал в руки песок для омовения, выпрямился, подвязал набедренную повязку. Раскрыв ладони, с лицом, обращенным к Мекке, он начал бормотать молитвы:

— Аллаху акбару...

Фа Кейта стал опускаться на колени, и в этот момент нога жандарма угодила ему в поясницу; старик упал прямо на двойные ряды колючей проволоки. Тело повисло на заграждениях. Кровь начала сочиться из плеч, спины, боков.

Заключенные остановились, их ноги, казалось, засосал песок.

— Марш вперед! — закричал Бернадини.

Он смотрел на Фа Кейта. Окровавленными руками старик пытался освободиться от десятка железных колючек, впивавшихся в его тело. Тонкие струйки крови медленно стекали вниз.

— Не хочешь ли попробовать еще раз? — спросил Бернадини.

Фа Кейта не понял вопроса. «Где же предел испытаниям, ниспосланным нам господом?» — думал он. И снова подняв ладони вверх, он стал опускаться на колени, и снова пинок жандарма швырнул его головой на колючую проволоку. И снова, на этот раз гораздо медленнее, он освободился от проволоки, не произнеся ни звука, затем отошел на несколько шагов, встал на колени, протянул руки вперед и коснулся лбом песка.

Бернадини подошел и поставил свою ногу, обутую в сандалию, на склоненный затылок старика. Он точно позировал перед фотографом, изображая охотника с телом убитого зверя.

— Они мне надоели, я достаточно на них насмотрелся. Отведите их обратно,— приказал он капралу и, зажав хлыст под мышкой, как это делали английские офицеры, зашагал к центральному двору.

После нескольких часов пребывания на солнце заключенные с трудом ориентировались в темном карцере. Фа Кейта растянулся вдоль стены. Салифу, который подобрал во дворе одежду Конатэ, сказал:

— Они сейчас приведут его, надо приготовить место.

Фа Кейта тяжело вздохнул:

— Бог свидетель, я не был согласен с забастовщиками, я противник всякого насилия. Но если бог справедлив, как может он допускать, чтобы так унижали людей? За всю свою жизнь ни я, ни мои родители никому не сделали никакого зла, и вот награда.

■

А в это время в профсоюзном комитете в Бамако царило необычайное оживление. Тьемоко, окруженный небольшой группой бастующих, держал в руках телеграмму.

— Ну, прочтешь ты наконец бумажку или нет? Или хочешь насладиться новостью один? Правда, что забастовка окончена?

— Думаю, что да, но мне надо пойти к Бакайоко, а то мне здесь не все понятно. А пока ни слова никому.

Тьемоко в несколько минут добежал до дома Бакайоко.

— Прочти!

— «Условия приняты. Забастовка окончена. Завтра выход на работу. Прямой поезд Бамако — Тиес. Направить машиниста Тиес распоряжение комитета. Лахбиб»... Забастовка кончилась,— повторил Бакайоко после недолгого молчания.— И завтра ты поедешь в Тиес на паровозе и получишь инструкции от стачечного комитета. Я же еду в Куликоро. А теперь пошли в профсоюз.

Бакайоко вернулся из Дакара два дня назад и провел их дома с женой и приемной дочерью. В первый же вечер он спросил у Асситан:

— Хочешь обучаться языку тубабов?

Удивленная, она просто ответила:

— Как тебе угодно.

Трудно было уничтожить преграду, которая лежала между ними. Началось это давно, с первого дня их вынужденного союза. Прошел не один месяц, пока Бакайоко сумел заставить себя выполнять супружеские обязанности. Воспитанная в старых обычаях, Асситан была очень сдержанна и жила своей жизнью, наполненной трудом, молчанием и смирением. Занятия мужа ее не касались. Испытывал ли Бакайоко угрызения совести из-за своих измен жене? Никто этого не мог знать, мысли этого человека были тайной для всех. Может быть, он многое понял, видя унижения и людское горе, которые предстали перед ним во время поездок по стране?

■

Заключенных выпустили к концу дня, и их возвращение было самым верным доказательством, что забастовка окончена. Радости не было конца. Фа Кейта прошел прямо к себе, остальные направились в профсоюз, где был устроен в их честь праздник. Старик не сказал ни слова женам о том, что с ним было в лагере, но велел им снять траур. Сам он заперся, чтобы совершить длительный и тщательный обряд омовения и очищения и облачиться в свое самое нарядное бубу, после чего прошел в главную комнату, сел, скрестив ноги, с четками в руках, а все его жены и дети встали за его спиной.

По одному в комнату начали входить мужчины.

— Я горжусь тем, что вы удостоили меня своим посещением,— сказал Фа Кейта.— У меня нет орехов кола, чтобы угостить вас. Этот долг за мной.

— Мы пришли не для этого,— сказал Салифу,— мы знаем, как тяжела жизнь, и отложим уплату долга до лучших времен.

— Ты ведь из Саны, ты должен знать, что такое гостеприимство. Я пригласил вас прийти ко мне прежде, чем вы вернетесь к своим семьям и к своей работе, чтобы сказать вам несколько слов. Когда мы расставались сегодня, я услышал слова, которые огорчили меня.— Старик помолчал немного, перебирая в худых пальцах четки, и продолжал: — Убить человека по силам каждому. Когда я был там, я сам иногда желал смерти Жандарму, более того, мне приходили в голову страшные мысли:

я сомневался в существовании бога и тогда плакал от стыда. Я слышал, Бакайоко, что белый дал тебе пощечину. Конечно, это очень большое оскорбление. Не знаю, что ты делал на Западе, но мне известно, что это принесло сегодня большую радость многим семьям. Только что,— продолжал Фа Кейта,— я слышал разговор Конагэ и Тьемоко. Они говорили, что надо убить Жандарма. Но если его убить, то надо убить и тех негров, которые ему подчиняются, и тех белых, кому он подчиняется. Где же конец? Вы убьете одного такого человека, на его место сразу придет другой такой же. Важно не это. Надо сделать так, чтобы человек больше не посмел ударить вас по лицу за то, что ваши уста изрекают истину. Надо сделать так, чтобы вас больше не могли засадить в тюрьму за то, что вы не хотите умереть с голоду; надо сделать так, чтобы всей несправедливости пришел конец, и здесь и повсюду,— вот в чем состоит ваш долг, вот что вы должны объяснять другим, чтобы вам больше никогда не пришлось склоняться ни перед кем, но чтобы и никто другой не должен был склоняться перед вами. Я просил вас прийти, чтобы сказать вам об этом, ибо нельзя допустить, чтобы ненависть поселилась в ваших сердцах.

Неожиданно раздался звонкий голос Аджибиджи:

— Дедушка, я догадалась, что моет воду. Это — ум, потому что вода светлая, а ум еще яснее.

— Вы слышите, что сказала наша маленькая Аджибиджи.— Старик снова взялся за четки.— Можете идти. Я же слишком в долгу перед всевышним, у меня осталось слишком мало времени, чтобы отблагодарить его. Люди, да будет мир с вами!

— Да будет мир с тобой! — сказали они, направляясь к выходу.

В раздумье провожал их Бакайоко. Он уже однажды слышал эту фразу: «Ненависть не должна поселиться в ваших сердцах». Ее произнес Лахбиб. Но как же бороться с несправедливостью без ненависти? Чтобы бороться, надо ненавидеть.

ТИЕС

ЭПИЛОГ

Тиес выглядел все так же уныло: можно было долго бродить по улицам, не встретив ни живой души. Большинство детей еще находилось в деревнях, женщины после своего возвращения из Дакара организовали нечто вроде общины. С самого утра уходили на озеро и там стирали, шили, чинили жалкие остатки своей и мужниной одежды, готовили скудный обед, болтали, без конца вспоминая различные эпизоды знаменитого похода.

В профсоюзе об окончании забастовки стало известно только членам комитета. Директор подписал соглашение с делегатами. Лахбиб хотел избежать неорганизованных выступлений, так как опасался возникновения беспорядков в городе, который был фактическим центром забастовки.

За ночь новость облетела город, и уже на рассвете дом профсоюза был переполнен, и на площади, на соседних улицах, у вокзала толпился народ. Все задавали вопросы, требовали подтверждений.

Лахбиб задумчиво поглаживал усы. Несмотря на победу, он был неспокоен, думал о завтрашнем дне, когда надо будет начать работу, и об указаниях, которые следует дать рабочим. После смерти Дуду, сгоревшего за сутки от лихорадки, вся ответственность легла на него. Его взгляд упал на велосипед Самбы Ндулугу, который висел на стене с опавшими шинами и посаженным вкривь седлом. Кто-то из участников похода привез обратно машину в память о забавном человечке, который так часто развлекал их всех. Перед глазами всплыл образ Пенды. Пен-

да — девица легкого поведения? Или Пенда — вожак женщин? Какой из этих образов останется в памяти? Трудно сказать. «Бакайоко должен уже знать новость,— подумал он.— Лучше ему не возвращаться сюда. Мы сами расквитаемся с Дежаном». Он встал.

— Все в сборе? — и, заметив старика Бакари, добавил: — Оставайся, старик, ты никогда не был лишним.

— Надо решать, как быть с Дежаном и Иснаром,— сказал Лахбиб.— Дежан, возможно, уже уехал в Дакар, где он должен договориться о том, чтобы его сменили. Что касается Иснара, то мы добились неофициального соглашения, что его отзовут. Но все должно протекать спокойно.

■

У ворот депо собрались рабочие, их было меньше, и держались они спокойнее, чем толпа, заполнившая улицы и площади; они по-деловому готовились к возобновлению работы. Снова формировались бригады, смены. Еще многих недоставало, некоторые не вернулись из деревень, но вокруг уже была знакомая картина: толпа нищих, правда сильно поредевшая, ждала раздачи супа, не замедлили появиться и мухи. Большие железные ворота были еще закрыты, перед ними стояли на посту два стрелка, но на них уже никто не обращал внимания.

Подошли Лахбиб, Балла и Бубакар. Солдаты открыли ворота, и рабочие вошли во двор. Три минуты спустя раздался долгий вой сирены, которая столько месяцев бездействовала.

Утро и день прошли в подготовке к работе. Все возились у своих станков, в кузнице, у машин. Все были на своих местах, но никто не работал. К концу утренней смены появился Иснар и начал обход цехов, но он встретил только суровые лица, повернутые спины. Вне себя он бросился в контору управления. Директор в последний раз попытался уладить дело; он позвонил в депо, попросил Лахбиба к телефону.

— Так вот чего стоит ваш профсоюз! Я только что узнал, что рабочие не приступили к работе. Вы что, воображаете, что вам будут платить за то, что вы ничего не делаете?

— Господин директор, вы ведь знаете наши условия. Нам известно, что вы уезжаете, но Иснар тоже должен убраться. Пока он здесь, рабочие будут бездействовать у станков.

Лахбиб повесил трубку.

В это мгновение громкий свисток паровоза разорвал нависшую над городом тишину. Гудок, казалось, надвигался на город. Поезд Дакар — Нигер, который вел Тьемоко, ворвался на бешеной скорости на станцию и замер на ветке Судан — Сен-Луи. Через двадцать минут на станцию прибыли два товарных поезда. Затем пришел поезд из Рюфиска, где он простоял много месяцев. Машинисты на радостях давали гудки. Ничего нельзя было разобрать. Рабочие депо вышли на шум из цехов и присоединились к толпе. Пришлось вызвать два взвода стражников, которые вместе с паровозными бригадами очистили пути, чтобы начать выгрузку товарных вагонов.

Наконец появились женщины. Они тоже услышали гудки и захотели узнать, в чем дело. По привычке женщины пришли колонной. У перрона они разыскали Лахбиба и Бубакара, которые пытались навести хоть какой-нибудь порядок.

— Что случилось, мужчины?— спросила Марьям Сонко.— Разве забастовка не окончена?— Ее тон ясно говорил, что если надо, то женщины готовы...

— Нет, Марьям, забастовка окончена, но надо, чтобы директор и Иснар убрались из города. Что касается директора, то все в порядке, я

видел, как проехала его машина, а семья его уже в Дакаре, но Иснар не уехал, несмотря на полученный приказ.

Женщины переглянулись:

— Пойдем в Ватикан,— предложила одна из них.— Мы выдворим оттуда эту крысу с красными ушами.

— Пошли,— сказала Сени.— Когда хоронят умершего и из могилы торчит еще палец, надо подбросить горсть песку.

— Пошли подбросить песку,— засмеялась Аби.

— Только не входите в Ватикан, оставайтесь снаружи, там солдаты охраняют виллы. Возьмите с собой тамтамы и устройте им концерт.

Длинная яркая процессия повернула в обратном направлении. Женщины запели гимн, с которым они прошли путь от Тиеса до Дакара. Большая часть толпы последовала за ними.

Дойдя до вилл Ватикана, Бубакар и Балла увидели солдат, выстроившихся вдоль тротуара.

— Не бойтесь, люди,— сказал туземный офицер.— У нас есть приказ не стрелять. Но даже и без приказа мы бы не стали стрелять в вас, потому что вы защищаете не только свое, но и наше достоинство. Но я прошу вас, не ходите дальше.

■

Все дома Ватикана были наглухо закрыты и забаррикадированы. Непрерывные гудки паровозов, громкое пение и назойливый шум тамтамов действовали на нервы их обитателям.

На вилле Иснара, запертой на все замки, шторы были спущены. Все чего-то ждали. В столовой на столе под зажженной люстрой лежали два маузера, револьвер и открытая коробка с патронами. Иснар сидел лицом к двери, из-за его пояса торчал большой браунинг. Он был вне себя. Эдуард и Пьер сидели рядом в креслах и ждали чего-то. В течение всего вечера Иснар пробовал звонить в различные места: друзьям, колониальным ветеранам, даже в Дакар. Отовсюду отвечали одно и то же: «Что поделать? Сейчас слишком поздно».

Все было кончено. Он знал, что уедет, но никак не мог двинуться с места. Одинокая слеза скатилась по его обветренной щеке.

— Негодяи!.. Мерзавцы!..— бормотал он.— После всего, что я для них сделал...

Пьер спрашивал себя, кого подразумевал Иснар: рабочих депо или акционеров компании.

— Послушай, я понимаю, как это тяжело,— начал Эдуард,— но ведь нет другого выхода. Я сам не мог этому поверить, и тем не менее это так. Машина готова, вам остается выйти с заднего крыльца.

— Но, боже мой,— вскипел Иснар,— что же это такое? Как можно допустить, чтобы эти варвары, эти дети здесь распоряжались? Они же сами не знают, что для них лучше! Ведь они едва умеют держать в руках молоток, а их принимают за настоящих рабочих! Помяните мое слово: если так пойдет дальше, скоро в Африке совсем не останется европейцев!.. Но первого болвана, который войдет в эту дверь, я уложу на месте!

— Спокойнее, спокойнее,— говорил Эдуард,— пора ехать.

Беатриса ходила взад и вперед из комнаты в комнату, точно тигрица в клетке. Услышав последние слова инспектора труда, она набросилась на него:

— Так и есть! И ты тоже нас предаешь! Тебе не терпится, чтобы мы уехали! Отдаешь нас на съедение неграм. Они победили, и вы так испугались, что пытаетесь отыграться на нас! Паровозное депо, мы его создали! В дождь и в бурю, даже при 45 градусах жары в тени, Иснар всегда

был на своем посту! И рабочие знали и любили его. Да, да, любили, даже бóи!

Вдруг она подбежала к столу, схватила револьвер и распахнула дверь настежь. Прежде чем кто-нибудь из мужчин успел ей помешать, она выбежала в сад. Раздались два выстрела, затем послышалась короткая очередь из автомата. Один из стрелков поднес руку к бедру, а Беатриса рухнула на землю, как подстреленный на бегу заяц, и осталась лежать на гравии аллеи.

Мужчины вышли, подняли мертвое тело и внесли в дом.

■

Услышав пальбу, толпа сразу стихла, словно эти выстрелы положили конец длинной, очень длинной истории, развязка которой никому не была ясна. Смолкли даже тамтамы.

— Что там происходит?— спросил женский голос.

— Убили тубаба или его жену,— ответила Аби.

— Несчастная!

Толпа стала расходиться. В наступившем мраке Лахбиб услышал рядом чье-то пение. Это была «Легенда о Гумбе», любимая песнь слепой Маймуны:

Солнце всходило и заходило,
А битве не видно было конца.
В сердце Гумбы не было слепой ненависти..
Истекая кровью, он поражал своих врагов...

ЧУКС АНИАНВУ *(Нигерия)*. **Африканская деревня.**

Т. МОТЫЛЕВА

О ЛИТЕРАТУРНОМ НОВАТОРСТВЕ

1. ПРИМЕТЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Художественная культура коммунизма вырастает не на голой земле: она впитывает в себя многое из того, что создано в давнем и недавнем прошлом. Об этом напоминает нам Программа партии: «В искусстве социалистического реализма, основанном на принципах народности и партийности, смелое новаторство в художественном изображении жизни сочетается с использованием и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры». Совершенно очевидно, что в состав этих традиций входят многие явления литературы и искусства *нашего* столетия. Очевидно, вместе с тем, насколько важно при оценке художественной культуры XX века уметь верно найти границу, отделяющую новаторство подлинное от ложного. Над этим стоит задуматься литературоведам и критикам, работающим в области новейшей зарубежной литературы.

Застой теоретической мысли, связанный с культом личности Сталина, сказывался, конечно, и на изучении иностранных литератур. Догматизм, вульгаризаторство, боязнь свежей мысли, искусственно создаваемые белые пятна и запретные зоны, упрощенный подход ко многим сложным явлениям новейшего западного искусства — все это сильно затрудняло исследовательскую, теоретическую работу. За последние годы положение значительно улучшилось. Оживилась теоретическая мысль. Появляются книги по общим проблемам реализма, построенные на материале международной литературы. Выходят монографические работы о видных зарубежных писателях нашего столетия. Этим облегчается возможность решать сложные и спорные вопросы сообща, в ходе товарищеских дискуссий и обмена мнений.

Размышляя, в частности, над проблемой новаторства передовой литературы XX века, мы можем обратиться к некоторым вышедшим недавно книгам, где так или иначе затрагивается эта проблема. Обратиться иногда для того, чтобы согласиться с ними, иногда — для того, чтобы поспорить.

■

В двадцатом веке нельзя писать так, как писали в девятнадцатом; с такой общей формулой согласятся литераторы и художники разных поколений и направлений. Но разногласия начинаются там, где общая формула наполняется конкретным содержанием. Что именно в литературе нашего времени может считаться подлинно современным? Что устарело? Что принадлежит прошлому и что настоящему?

В работах буржуазных литературоведов признаки современного искусства обозначаются, конечно, по-разному. Но в путанице разнохарактерных определений есть и некая общая основа: двадцатый век — век войн, разрушений, катастроф. Жестокий век, поставивший человечество перед жестокими загадками. И даже стремительный рост техники рассматривается как еще одно основание для того, чтобы пессимистически оценить эпоху в целом: не грозит ли эта техника обернуться против человека? Если

так — в искусстве современно то, что отражает гибель гуманизма, сумерки разума, подчинение человека безличным и бесчеловечным силам — то, что выражает дух скепсиса и горькой иронии, отчаяния и растерянности.

Любопытные суждения о культурной жизни нашего столетия мы находим в одном из новейших популярных пособий — книге Глазера, Лемана, Любоса «Пути немецкой литературы», вышедшей в Западной Германии в 1961 году. Разбор литературы XX века завершается здесь главой «Конец реализма». Следующий раздел, озаглавленный «Модерн», открывается сочувственным пересказом книги Шпенглера «Закат Европы». Далее идет краткая характеристика эпохи:

«Отдельный человек, индивидуум, был насильственно включен в аппарат техники, и круг его деятельности стал все более сужаться. Быстрый рост населения, начиная со второй половины XIX столетия, привел к тому, что мы вступили в век масс. Коллективный человек с присущей ему психикой повиновения и отупения склонился перед господством машины, сам стал машиной и цифрой. Фанатические вожаки масс постарались подчинить себе народы с помощью технических средств пропаганды и механически понятых законов биологии. «Восстание масс» пошло полным ходом...»* В качестве центральной фигуры литературы XX века в этой книге подан Франц Кафка, и это нас не должно удивлять: помилуйте, ведь «мир его образов открывает новую эпоху поэзии», ведь он, «как никто другой, уловил нерв времени...» **

Оставим в стороне избитые, хорошо нам знакомые реакционные политические формулировки. Важно, что перед нами не просто личная причуда нескольких западногерманских филологов, а выражения взглядов, очень широко распространенных в буржуазной критике и эстетике. Кафка прославляется как новатор потому, что он действительно с незаурядной художественной силой выразил идею бессилия человека.

Новаторство в литературе и искусстве рассматривается современными буржуазными теоретиками как эстетическое выражение иррационализма, духовного смятения. Оно отождествляется с разрушением человеческого характера, ломкой языка, отмиранием основных литературных жанров, уничтожением целостной картины действительности.

Та эстетика разброда и распада, которая утверждается ныне во множестве вариаций в писаниях западных теоретиков искусства, имеет более солидную давность, чем это может показаться на первый взгляд. Приведем свидетельство писателя, который пользуется ныне громкой посмертной славой как один из провозвестников «модерна» в области художественной прозы. Это талантливый австрийский романист Роберт Музиль (1880—1942), автор громадного неоконченного романа-эссе «Человек без качеств». В этой книге передаются споры о современном стиле в искусстве, происходящие в одном из венских салонов незадолго до первой мировой войны:

«...И каких у них только не было сногсшибательных слов! Они отстаивали интеллектуальный темперамент. Скоростной стиль мышления, способный ошеломить мир. Заостренный мозг космического человека. О чем еще у них шла речь?

О преображении человека на основе американского плана всемирных работ через посредство механизированной силы.

О лиризме, связанном с раздирающим драматизмом бытия.

О техницизме, как духе, достойном века машины.

Блерио, воскликнул один из них, парит над каналом Ла Манш со скоростью пятидесяти километров в час. Надо создать пятидесятикилометровую поэзию, а всю прочую слюнявую литературу выбросить на свалку.

Они отстаивали акселеризм, то есть максимальное повышение быстроты переживания на основе спортивной биомеханики и акробатической точности.

Фотогеническое обновление через кино!

А потом один из них сказал, что человек — таинственное вместилище, вследствие чего нужно передать его отношение к космосу через кегли, шары, цилиндры и кубы...

Наконец все пришли приблизительно к такому выводу: современная эпоха полна ожидания, нетерпения, неурядиц и несчастий, а мессия, которого она ждет и на которого надеется, еще не явился».*

* H. Glaser. J. Lehmann, A. Lubos. Wege der deutschen Literatur. 1961, S. 250.

** Там же, стр. 316—318.

* Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Hamburg, 1952, S. 411—412.

Есть все основания верить Роберту Музилю. При всей иронии, возвышающей его над изображаемой средой, он достоверно передает здесь идеи и настроения, хорошо ему знакомые. Еще полвека с лишним назад в артистических салонах и кафе Парижа, Вены, Мюнхена, Рима намечались контуры того *обесчеловеченного* искусства, которое со всей серьезностью почитается иными теоретиками на Западе искусством, подлинно современным.

Нужно видеть сложность причин, вызвавших появление такого искусства. При отрицательном отношении к декадансу и модернизму, к их идейно-эстетическим основам, мы не можем целиком сводить все связанные с ними художественные течения к распаду буржуазного сознания, упадку, разложению и т. п. Наряду с буржуазными снобами, фокусниками и путаниками в среде модернистской художественной интеллигенции начинали свой путь большие и честные писатели, для которых экспрессионизм или кубизм, сюрреализм или «поэтизм» были прежде всего формой протеста против капиталистического свинства и варварства в плане общественном, против мещанского штампа и фальши в плане эстетическом.* Эти писатели немало ошибались в своих творческих экспериментах. Но они *не ошибались,* когда ощущали новое столетие как эпоху великой ломки, небывалых перемен, требующих отражения в искусстве.

«Период более или менее плавного распространения капитализма по всему земному шару сменился скачкообразным, катастрофическим развитием, что вызвало невиданные ранее рост и обострение всех противоречий капитализма — экономических, политических, классовых и национальных». (Программа КПСС.)

Стихийное, субъективное ощущение *катастрофичности* бытия (при непонимании подлинных законов, управляющих общественным развитием) приводило многих художников к крайне наивным, сумбурным попыткам как-то выразить в искусстве динамику и беспокойство эпохи, воспринимавшейся ими как эпоха «ожидания, нетерпения, неурядиц и несчастий», а подчас — и как эпоха торжества грубой силы и вытеснения человека машиной. Среди сторонников различных модернистских течений на Западе было (и в особенности есть сегодня) немало людей бездушных или корыстных, высокомерно презирающих «толпу», принявших ту или иную псевдоноваторскую художественную формулу в угоду очередной моде. Но среди них оказалось немало и таких художников, которые с глубочайшей искренностью исповедовали антибуржуазные, гуманистические взгляды и ни в коей мере не отдавали себе отчета в том, что принципы модернистского искусства враждебны гуманизму по самой сути своей. Очень характерный пример тому — творческая судьба Фернана Леже, о котором И. Эренбург вспоминает: «Драма его была в том, что перед ним были стены гостиных, на которые знатоки вешали его картины, а стен новых общественных сооружений он так и не нашел... Мне кажется, что есть резкий контраст между мягкостью, лиризмом, человечностью Леже и его художественными убеждениями. Люди на его полотнах часто выглядят роботами, а ведь он ненавидел общество, которое превращает человека в машину» *.

В XX столетии человечество вступило в полосу драматических событий, небывалой встряски, крутых поворотов — это стало очевидным уже в самом начале века, и не было ни одного серьезного деятеля искусств, который не пытался бы по-своему осмыслить направление и перспективы этого драматического развития.

Октябрьская революция раскрыла перед мыслящим человечеством настоящий смысл эпохи, ее историческое содержание. Понятно, что содержание это прояснилось в сознании многих зарубежных художников не сразу и не без трудностей. Те литераторы и художники Запада, которые постигли революционную правду века,— те, кто оказались способны понять, что мы живем не в эпоху всеохватывающих катастроф и гибели гуманизма, а в эпоху, когда через потрясения и катастрофы утверждается и все шире прокладывает себе дорогу гуманизм новый, подлинный,— шли от изысков и экспериментов к искусству содержательному и человечному. В конечном счете — к искусству реалистическому.

---

* Ряд верных соображений об этом — применительно к важным конкретным явлениям западной литературы — высказаны в статьях Н. Балашова «Гийом Аполлинер и современность» («Иностранная литература» № 1, 1961) и Н. Павловой «Экспрессионизм и реализм» («Вопросы литературы» № 5, 1961).

* Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. М., 1961, стр. 267.

Чем более ясно раскрывалось перед мастерами искусства подлинное содержание века — тем более очевидной становилась для них необходимость *писать по-новому*. И тем более очевидным становилось, что *эта задача по-настоящему осуществима не на путях разрушения реализма, а на путях его развития и обновления.*

Обострение всех противоречий капитализма обнаружило несостоятельность многих ходовых иллюзий — либеральных и реформистских, пацифистских и христиански-утопических. Новый век потребовал от искусства беспощадной правдивости в раскрытии экономических, классовых, национальных, идейных, психологических коллизий. Разрушительные войны, насильственные действия угнетателей принесли народам неслыханные физические и моральные муки: естественно, что и те художники, которые не поддались пессимизму, не могли обойти трагедийных явлений современной действительности. Искусство XX века в его лучших образцах отмечено *повышенным вниманием к реальным жизненным конфликтам,* необычайно резким обличением лицемерия и жестокости хозяев и защитников старого мира. Естественно, что все это повлекло за собой поиски новых сильнодействующих художественных средств.

Современная эпоха отличается чрезвычайной быстротой исторических перемен, интенсивностью скачкообразно сменяющихся событий. Она вызвала настоятельную необходимость — *передавать в искусстве стремительный темп общественного развития,* улавливать изменения и сдвиги, происходящие и в отношениях классов, наций и государств, и во внутреннем, духовном облике людей, во всем строе их воззрений, привычек и чувств.

Рост технического могущества человека и вместе с тем небывало быстрое выдвижение трудящихся на арену активного исторического действия — все это не могло пройти бесследно для реалистического искусства: оно проявило и проявляет в нашу эпоху *усиленный интерес к труду,* от работы физической, индустриальной, до сложнейших процессов интеллектуального творчества — художественного и научного.

И самое главное: двадцатый век — век массовых освободительных движений — *побудил художников по-новому задуматься над ролью народных масс* в историческом процессе, показывать массы в движении, в действии, заставил мастеров искусства постараться исследовать и передать сложные взаимосвязи между жизнью индивидуальной и жизнью народной. Освободительная борьба угнетенных классов и наций, строительство нового общества в ряде стран — все это породило необычайные проявления массового героизма, обнаружило во множестве рядовых людей скрытые запасы стойкости, самоотверженности, солидарности, упорного трудолюбия, высокого человеческого благородства. Реалистическое искусство встало перед новыми задачами не только в плане критическом, обличительном, но и прежде всего в плане *утверждающем.*

Все это способствовало разнообразию творческих поисков, предпринимавшихся не только модернистами и псевдоноваторами, но и теми художниками, которые стремились познать и отобразить реальную жизнь. В ходе этих поисков испытывались, с большим или меньшим успехом применялись самые различные формы гротескной, карикатурной, гиперболической деформации жизненного материала, разнообразные способы воспроизведения и обобщения действительности — от скрупулезнейшей достоверности до весьма неожиданных фантастико-символических приемов.

При всем многообразии форм реалистического искусства нашего века практика всех лучших, подлинно передовых художников подтверждает одну основную закономерность. *Произведение искусства может быть подлинно современным, если оно выражает подлинное содержание нашей эпохи.* То есть, если оно выражает пафос борьбы за изменение жизни, идеи борьбы за мир и счастье народов, а *не* капитуляцию страдающего индивидуума перед непреодолимым злом, *не* подчинение человека безличным, фетишизируемым силам техники.

Только с таких позиций и можно рассматривать серьезно вопрос о новаторстве передовой литературы нашего столетия.

2. ПРОТИВ ОТВЛЕЧЕННОГО «АВАНГАРДИЗМА»

Среди новых работ, где ставится вопрос о современном стиле в искусстве, обратила на себя внимание и вызвала много споров книга В. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство» *. Она привлекает меткостью многих конкретных наблюдений, ис-

* В. Турбин Товарищ время и товарищ искусство. М., 1961.

кренней взволнованностью, необычностью самой своей литературной манеры. Автор вызывает полнейшее сочувствие, когда он обрушивается на социологические схемы, на казенщину и скуку школьных учебников. В разборах художественных произведений у В. Турбина немало интересного и свежего. Но с общей его концепцией современного искусства никак нельзя согласиться.

Мир вступил в полосу небывалых качественных изменений. Искусство и отражает эти изменения, и сопутствует им, и помогает им, иногда и предваряет их. Новое искусство не рождается сразу. «Художественная революция предстанет перед нами не в радужном озарении вдруг открывшейся кому-то одному истины; она окружает нас незаметно, исподволь». Однако наперекор этой верной мысли В. Турбин по сути дела представляет рождение нового искусства как резкий, внезапный разрыв с художественным наследием человечества. Искусство нашей эпохи, полагает он, должно отказаться от сложившихся традиций реалистического познания человека.

В неоправданно насмешливом тоне говорит В. Турбин о психологическом анализе в произведениях литературы. Он не прочь вовсе выкинуть этот анализ из нового искусства. «...Боюсь, не сбудутся надежды ожидающих от искусства грядущих дней какой-то особенной «тематики» и — почему-то прежде всего — «углубленного проникновения в духовной мир героя», «психологизма». На поверхности искусства не один раз фальшивым блеском фольги вспыхнут суррогаты, подделки под вожделенный «психологизм», но вряд ли кому бы то ни было суждено превзойти Лермонтова, Достоевского или Толстого, хотя ими и не поставлен предел проникновения в духовный мир человека». О суррогатах говорить нечего: ведь речь идет об искусстве. Классиками «не поставлен предел» проникновения в человеческую душу — так почему же писателям нового века не пойти дальше, вглубь? Или дальше вширь, вводя в литературу новые человеческие типы, познанные во всей их душевной неповторимости?

Опыт Толстого-психолога, оказывается, все-таки может пригодиться современному искусству. В. Турбин вспоминает известный эпизод из «Войны и мира», где Наташа в доверительной беседе с матерью говорит о друзьях дома. Борис Трубецкой — серый, узкий, как часы столовые. «Безухов — тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный...» Можно, утверждает В. Турбин, ученически последовать за Толстым и постараться показать Наташу Ростову наших дней, но «значительно ближе к Толстому окажется не его добросовестный подражатель *, добросовестно ищущий вокруг себя материал для добросовестно варьируемых «психологических характеристик», а никому не покорившийся ранний Пикассо с его людьми, показанными точно ищущими и задумчивыми глазами Наташи Ростовой ..»

Ранний Пикассо? А разве не богаты психологическим содержанием картины Пикассо ранних периодов («синего» и «розового») — его бродячие акробаты, уличные музыканты, любительницы абсента? Сколько суровой, мудрой душевной глубины в картинах «Трапеза слепого» (1903), «Гертруда Стайн» (1906) и особенно в картине «Женщина, сидящая на корточках» (1902), выдержанной в синих и красноватых тонах! Можно, конечно, найти нечто общее и между четвероугольным Пьером Безуховым — и портретами Пикассо-кубиста, где облик человека как будто разложен на составляющие его геометрические формы. Но ведь это — явная натяжка.

Слова о Пьере, мимоходом брошенные Наташей, по-своему обогащают психологические характеристики их обоих. Наташа своим наивно-проникновенным взором увидела то яркое и человечески-теплое, что таилось в душе неуклюжего, несветского толстяка. Но если бы образ Пьера в романе сводился только к этому Наташиному определению — каким бы он получился бедным и неинтересным! Толстой тщательно передает субъективные восприятия и ощущения своих героев. Многие из этих субъективных восприятий содержат в себе долю объективной истины. Но — не всю истину.

---

* В. Турбин, пожалуй, слишком уж немилостив к «подражателям». По этому поводу стоит напомнить недавно опубликованное высказывание В. Э. Мейерхольда — художника, которого никто не может обвинить в робости или чрезмерной осторожности по отношению к классическому наследию. «Подражательность молодого художника не опасна. Это почти неизбежная стадия. Скажу больше: в молодости полезно подражать хорошим образцам: это шлифует собственную внутреннюю самостоятельность, провоцирует ее выявление... Скажу еще определеннее: подражание художнику, которого ощущаешь близким себе, позволяет до конца определить себя». (Сборник «Тарусские страницы». Калуга, 1961, стр. 302).

Нет, мы никак не можем принять иронию В. Турбина по поводу психологических наблюдений и характеристик. Если такие наблюдения были нужны искусству в прошлом столетии, то почему не нужны они теперь? Ведь мы же не считаем — как считают наши идейные противники,— что современная эпоха приводит к господству голой техники, к замене человеческой личности «машиной и цифрой»! В. Турбин, совершенно того не желая, идет навстречу западным «теоретикам» механизированного, обесчеловеченного искусства.

В XX веке внутренний мир человека бесконечно усложнился. К активной общественной жизни, а в силу этого и к активной умственной жизни приобщились — и все шире приобщаются — миллионы людей. Литература уже в эпоху Толстого и Золя не могла более ограничиваться изображением духовных исканий и переживаний людей привилегированных, образованных. Ныне перед ней встают новые и очень нелегкие задачи. Разве могло искусство XIX века показать во всем объеме духовную и душевную жизнь немецкого шахтера и итальянского крестьянина, труженика кубинских сахарных плантаций и алжирского школьника? А в XX веке — может и обязано. В публицистике мы привычно пользуемся малоудачным термином «простые люди». Но ведь именно передовое реалистическое искусство XX века, в очень различных его образцах, *опровергло* этот термин! И шолоховский Андрей Соколов, и рыбак Сантьяго из «Старика и моря» Э. Хемингуэя, и братья Давэн в романе Андре Стиля «Обвал»; и шофер Виктор Пронякин в повести Г. Владимова «Большая руда» — люди сложной душевной организации. Почему же нам не быть благородными художниками, которые осветили, прояснили эту сложность рентгеновскими лучами искусства? Ведь наше революционное столетие *повышает* внимание к отдельной человеческой личности, а не умаляет его!

«Гражданин скептического и анализирующего века», гордо утверждает В. Турбин, «не может удовольствоваться чтением историй о похождениях звенящих ямбами современников». Как сказать... История Василия Теркина звенит, правда, не ямбами, а хореями, но разве она не вошла накрепко в литературу нашего столетия? Новизна тут не в стихотворном размере, а прежде всего в типе рядового советского воина, который в самые трагические минуты истории чувствует себя «за все в ответе». Мы вполне можем согласиться с В. Турбиным, что современность книги не всегда определяется временем действия и что псевдоактуальные, серые, поверхностно-иллюстративные книги о наших днях способны дискредитировать современную тему в глазах читателя. Но — не в глазах критика, теоретика! В нашей литературе, как и в передовой литературе зарубежных стран, право же немало таких произведений, где современник показан правдиво, честно, без упрощения, с повышенным вниманием к тому *новому,* что рождается в нем, и читатель нашего «скептического и анализирующего века» такими книгами, как правило, очень интересуется. Кстати сказать, для нашего *борющегося и созидающего* века характерны отнюдь не только скепсис и анализ. Ведь сомнение для нас — путь к более точному знанию, а анализ для передового художника — путь к целостному, синтетическому восприятию эпохи.

В. Турбин считает одной из непременных особенностей современного искусства — стремление художника «демонтировать» творческий замысел. Ведущий принцип современного искусства — «творчество в открытую». Ведь и в «Евгении Онегине», напоминает Турбин, Пушкин, поминутно отступая от сюжета, обращается к читателю, объясняет, почему его роман написан именно так, а не иначе. Элементы «творчества в открытую», попытки автора осмыслить, мотивировать творческий процесс на глазах у читателя (попытки, предпринимавшиеся, как видим, задолго до XX века), действительно, можно найти во многих произведениях современной литературы, причем в произведениях очень различных — от «Фальшивомонетчиков» А. Жида до «Волоколамского шоссе» А. Бека. Все дело в том, *для чего,* с какой идейной направленностью писатели «демонтируют» свой замысел. И можно с уверенностью сказать, что, если бы *все* прозаики XX века взялись за подобный демонтаж, читатель запротестовал бы против такого однообразия!

Пытаясь наметить пути развития искусства, В. Турбин вспоминает свой разговор с десятилетней школьницей из глухой лесной деревушки. Девочка знала, что на месте ее родной деревни были когда-то ледники. Это было давно... «еще при помещиках». Критик замечает по этому поводу, что социалистический реализм «...сродни

деревенской школьнице в ситцевом платьице, потому что «помещики» для нее почти то же, что мезозойская эра. Социалистический реализм — это наивное и мудрое начало искусства нового мира. Его взгляд на историю знаменует начало исторических воззрений, которые принесут люди, идущие нам на смену. Они будут настолько свободны от обременительного деспотизма мелочей, что различие между веками, разделенными падением Бастилии, не будет представляться им существенным». В. Турбин ссылается на Маяковского, который так победоносно умел шагать через столетия, сжать всю историю капитализма в несколько строк поэмы «Владимир Ильич Ленин», сталкивать века и страны в стихах о загранице. Верно, что писатели социалистического реализма нередко стремятся смонтировать, сочетать в рамках произведения отдаленные друг от друга страны и эпохи. Пабло Неруда шествует через века в своей «Всеобщей песне», Витезслав Незвал обходит земной шар в «Песне мира», Анна Зегерс в «Решении» вводит в единое романтическое действие людей Германии и США, Испании и Мексики. Писатели-борцы ищут способов, как передать силою поэтического слова единство мирового исторического процесса, взаимосвязь явлений, отдаленных в пространстве и времени. В этом и на самом деле сказывается новаторская природа передового искусства. Но при чем тут деревенская школьница? Она еще не успела обременить свою память грузом серьезных исторических познаний, а писателю социалистического реализма такие познания совершенно необходимы. Ведь именно передовое искусство нашей эпохи может рассказать о прошлом ту правду, которую скрывали или извращали буржуазные историки и беллетристы. У нас уже много писали о романе Арагона «Страстная неделя», который живейшим образом перекликается с современностью, зовет читателей к борьбе за счастливое будущее Франции. Чтобы довести до нынешних французов актуальное содержание романа, Арагону понадобилось самым дотошным образом вникнуть в историю наполеоновской эпохи, изучить и воссоздать смутные военные дни 1815 года в тысячах неповторимо достоверных деталей. Без этого он не достиг бы творческого успеха. А пытаться создавать передовую литературу, исходя из кругозора десятилетней девочки, лучше не надо. Неблагодарная это задача.

В. Турбин справедливо говорит, что «в истории искусства переплетаются две тенденции: стремление оттеснить условность куда-то на второй план и «воспроизводить жизнь, как она есть», и тенденция «дерзко, смело, демонстративно выставить условность на всеобщее обозрение, обнажить ее, подчинить ей вымысел». В самом деле, Толстой, яростный гонитель условности, создал в «Хаджи-Мурате» предельно достоверный — и совершенно беспощадный — образ Николая I. Салтыков-Щедрин, имея в виду ту же цель — обличение царского деспотизма,— создал серию фантастически-невероятных фигур «Истории одного города». Исключает ли одна форма художественного обобщения — другую? Нисколько. Сам же В. Турбин остроумно замечает: «В стране искусств, в экспериментальном цехе истории никто никого не вытеснял, не вытесняет и вытеснять не будет. Музы — дружная рабочая бригада, а не орава склочников, помышляющих лишь о том, как бы половчее подсидеть друг дружку». Однако В. Турбин то и дело прославляет неприкрытую условность, как наиболее соответствующий, едва ли не единственно соответствующий XX веку принцип искусства.

А ведь, если присмотреться, и у Маяковского, и у Чапека, и у Брехта, и у Назыма Хикмета условность выступает не в химически чистом виде, а в сложных сочетаниях с самой доподлинной житейской достоверностью! И, с другой стороны, именно на путях воспроизведения «жизни, как она есть» современное передовое искусство одержало немало бесспорных побед — пример тому и лучшие произведения советской прозы от Шолохова до Тендрякова, и все наиболее правдивое и человечное, что создано итальянским кино, и «Баллада о солдате», и «Голый остров»...

Условность — далеко не всегда гарантия новаторства. Не так давно группа советских литераторов, находясь в Варшаве, смотрела вышедший несколько лет назад короткометражный фильм Яна Леницы «Дом». В нем оригинально сочетаются элементы мультипликации и игрового кино; сюжет построен очень необычно — в сущности, сюжета почти нет. Перед нами старый дом голубова-

---

Т. МОТЫЛЕВА
О ЛИТЕРАТУРНОМ НОВАТОРСТВЕ

то-серого цвета. Потом на экране показывается схема человеческого мозга. Потом — красивая женщина зрелых лет. Несколько раз, под звуки уныло-монотонной мелодии, появляется мужчина: входит, вешает шляпу на крюк, уходит. Возникает странный натюрморт: стакан молока, яблоки, клок спутанных женских волос. Клок волос разрастается, поглощает остальные вещи. Оживают страницы семейного альбома: девочка-подросток, девушка, юноша. Снова появляется женщина зрелых лет. Она украшает цветами и ласкает гипсовый бюст мужчины. Гипс постепенно рассыпается в прах. Можно по-разному толковать содержание этого фильма. Безрадостная судьба женщины — скука мещанского бытия — горечь утраченной любви — или бессмысленность человеческой жизни вообще? Так или иначе, ясно, что смело примененные условные приемы никак не приближают этот фильм к современности... Несравненно более современными представились нам другие картины, увиденные в Варшаве. Например, фильм «Люди с поезда», где молодой режиссер Казимеж Куц воскрешает эпизод военного времени, связывает в тугой сюжетный узел судьбы многих и разных людей; каждый из них в острый момент столкновения с оккупантами обнаруживает свою подлинную сущность; оттесняя трусов и подлецов, на первый план действия выходят носители скромного, непоказного благородства. Или интереснейший новый фильм Анджея Вайды «Самсон» (по известному роману К. Брандыса), полный напряженного внутреннего драматизма — правда, не без излишне затянутых психологических пауз,— в котором показан путь робкого, замкнутого юноши, побеждающего страх и смерть, идущего на высокий гражданский подвиг. И в том и в другом фильме действие происходит почти два десятилетия назад. Но оба эти произведения проникнуты воинствующей и страстной человечностью, одушевлены волей к борьбе против политического и расового мракобесия и уже в силу этого глубоко современны.

Мы не зря вспомнили здесь о Польше. Та концепция отвлеченного «авангардизма», с которой мы столкнулись в книге В. Турбина, за последние годы не раз возникала в иных вариациях и в среде интеллигенции стран народной демократии. Спор с подобными толкователями новаторства занимает немало места в содержательной книге польского критика Стефана Жулкевского «Перспективы литературы XX века»*.

С. Жулкевский тактично и убедительно дискутирует с теми своими собратьями по профессии, которые считают устарелым самый принцип реалистической достоверности, или, как говорят иногда в Польше, «описательный реализм». Этому «описательному реализму», воспроизводящему жизнь в формах самой жизни, некоторые польские критики противопоставляют «креационизм» (от французского слова création — создание); изображению они противопоставляют выражение. Писатель должен, говорят они, создавать символические образы и ситуации, которые позволили бы ему с наибольшей остротой выразить свое отношение к жизни, поставить определенную моральную проблему. С. Жулкевский на протяжении всей книги очень ясно дает понять, что спор идет не об отдельных художественных средствах и приемах: активный отбор жизненного материала, выработанная литературой XX века «техника сгущения, пропусков, деформации» — все это отнюдь не воспрещено художникам-реалистам. Однако, говорит С. Жулкевский, ни в коем случае нельзя согласиться с тем, что так называемый «описательный реализм» отжил свое время. «Этому противоречит тот факт, что весьма выдающиеся произведения XX столетия, насыщенные бытовыми наблюдениями, раскрывают все богатство и всю сложность ситуаций социальной действительности». Критик ссылается на Шолохова и Хемингуэя, на лучшие страницы Фолкнера, на исторические романы Фейхтвангера, Тынянова, Ивашкевича.

Отдельные польские литераторы убеждены, что создание условных «образов-моделей» облегчает художнику решение сложных нравственных вопросов. С. Жулкевский резонно возражает: именно отказ от конкретного историзма, вневременно-символическая трактовка действительности таит в себе опасность *упрощения*, толкает художников на то, чтобы, отвлекаясь от сложности единичных людских судеб, «давать однозначное решение человеческих и общественных конфликтов и противоречий». Человек, живущий в реальном мире, включен в сложную систему общественных отношений и связей. «Личность всегда является частью того или иного коллектива.

---

* Stefan Zólkiewski. Perspektywy literatury XX wieku. Warszawa, 1960.

Без учета всех этих элементов и связей во всей их конкретности и индивидуальном своеобразии нет возможности творить нравственный суд над этим миром». С. Жулкевский подкрепляет свою мысль, противопоставляя ту постановку острых морально-философских проблем, какая дана в драме Леона Кручковского «Первый день свободы», тем болезненно безысходным абстракциям, какие мы находим, например, у Альбера Камю. В пьесе Кручковского идет речь о многих действительно страшных вещах — о жестокости и национальной ненависти, о пробуждении зверских инстинктов в людях. Но даже в самые трагические моменты действия нам ясно, что источником зла являются фашизм и война, оставившие тяжелый след во многих людях, а не сама природа человека. Драма Кручковского в противовес драматургии экзистенциализма, не разверзает перед зрителем «мрачную пропасть патологии», а воспитывает его в духе гуманности, человеческой солидарности.

Само собой разумеется, что поиски новых форм в современной литературе оправданны и необходимы. Понятно, утверждает С. Жулкевский, что в литературе социалистического реализма могут найти и уже находят применение многие из тех выразительных средств, которые открыты писателями, идейно далекими от революции. «Не надо отбрасывать те или иные выразительные средства a priori. Важно выяснить и исследовать, какие из этих средств могут быть поставлены на службу реализму». Но, говорит С. Жулкевский, не в этом главная проблема современного искусства! Мы живем в эпоху, когда миллионы людей впервые в истории вовлечены в дело преобразования жизни на человеческих и справедливых началах. Именно в этой связи необычайно возрастает «международное значение того идейно-художественного явления, которое именуется социалистическим реализмом». Новый художественный метод существует и развивается во множестве эстетических вариаций. Однако, напоминает Жулкевский, чрезвычайно важно, оценивая новаторские поиски отдельных литераторов и художников, не упускать из виду главного — растущих духовных запросов тех необъятно широких масс, для которых создаются произведения передового искусства. «Эта забота о связи литературного новаторства с культурой масс и делает социалистический реализм ярко выраженным явлением двадцатого века».

Эту здравую мысль польского товарища уместно вспомнить и в ходе наших литературно-критических споров. Она воспринимается как отрезвляющее замечание по адресу тех теоретиков, которые видят путь развития социалистического искусства либо в небывалой изощренности форм, либо в наивно-плакатном упрощении, либо (бывает, оказывается, и так!) в том и другом вместе.

3. О СВОЕОБРАЗИИ СОВРЕМЕННОГО КРИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

«Нередко приходится читать суждения такого примерно характера: Р. Мартен дю Гар, Голсуорси, Кронин — это, дескать, XIX век, а вот Хемингуэй, Грин, Бёль, Моравиа — век двадцатый». Так начинает Д. Затонский свою книгу *, задача которой — изучение «некоторых особенностей прозы современного критического реализма». Автор оговаривает свое несогласие с теми читателями, по преимуществу «неспециалистами», которые ссылают Роже Мартена дю Гара или Голсуорси в прошедший век: ведь в литературе нашего столетия есть *разные* направления, есть писатели, относительно более крепко связанные с классической традицией или относительно дальше от нее отошедшие. Д. Затонский отбирает для исследования именно тех прозаиков, которые, согласно ходячему мнению, наиболее бесспорно представляют «век двадцатый»: в книге идет речь о творчестве Хемингуэя, Ремарка, Грина, Бёля, иногда к этому перечню присоединяют Олдингтона или Сарояна.

Тема книги с самого начала вызывает жгучий интерес: работ, которые обобщали бы процессы рождения новой формы в литературах Запада, у нас вовсе нет, а такие работы очень нужны. Естественно, что Д. Затонский ограничивает свою задачу; он многократно оговаривает это. Правда, отбором материала он невольно идет навстречу тем «неспециалистам», с которыми только что выразил несогласие. Он оставляет в стороне Роже Мартена дю Гара и Томаса

* Д. Затонский. Век двадцатый. Заметки о литературной форме на Западе. Киев, 1961.

Манна, Синклера Льюиса и Лиона Фейхтвангера — писателей, которых нельзя обойти при изучении в полном объеме современного критического реализма.

В XX веке политика властно вторглась в частную жизнь отдельных лиц. Связи между личностью и обществом стали более очевидными, часто и более драматическими, чем были в прошедшем столетии. Судьбы трудящегося и эксплуатируемого большинства стали непосредственно затрагивать и бытие и сознание тех, кто сами к этому большинству не принадлежат. Непрочность основ буржуазного строя сделалась фактом неоспоримым и очевидным. Все это — конечно, очень по-разному — сказалось на развитии критического реализма XX века. В социальных бурях нового столетия ломаются привычные конструкции романических перипетий и интриг. При всем несходстве Джона Голсуорси и Роже Мартена дю Гара, в развитии сюжета «Саги о Форсайтах» и «Семьи Тибо» есть нечто существенно общее: рамки семейного романа раздвигаются на глазах у читателя, вмещают в себя все более широкий круг явлений общественной, политической жизни.

У тех писателей, творчество которых анализирует Д. Затонский, авторское вмешательство в действие сводится к минимуму; они, как правило, избегают называть политические явления своими именами. Для критического реализма XX века в целом никак не менее, а может быть, даже еще более, характерны явления совершенно противоположного порядка: вторжение публицистики, разрывающей ткань эпического действия (или естественно вплетающейся в нее), активность автора-повествователя, открыто дающего оценку описываемых лиц и событий. Философские экскурсы и диспуты «Волшебной горы», актуальные политические раздумья Цейтблома в «Докторе Фаустусе», развернутый репортаж о первых днях войны в «Семье Тибо», страстный ораторский пафос авторских отступлений в «Гроздьях гнева», иронический комментарий повествователя, сопровождающий действие многих романов Синклера Льюиса,— все это никак не меньше принадлежит XX веку, чем хемингуэевская сдержанность.

Таким образом, Д. Затонский изучает не весь современный критический реализм в его различных характерных проявлениях, а *одну* из линий его развития. Правда, линию очень существенную. В центре книги — творчество тех писателей, которых принято относить к литературе «потерянного поколения».

Заслуживает уважения сама попытка критика не просто высказать некоторые наблюдения над методом популярных у нас писателей, но и свести эти наблюдения воедино, показать связь творчества писателей с их мировоззрением. Не вызывает возражений центральный тезис автора: изучаемые им художники внесли много нового в повествовательное искусство нашего века, однако их новаторство заключает в себе слабости и просчеты, коренящиеся в слабостях идейных.

Концепция Д. Затонского в общих чертах сводится к следующему.

Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон и их герои — все это люди, которые прошли через первую мировую войну (так же, как впоследствии Борхерт, Бёль, Сароян и их герои прошли через вторую мировую войну). Переживания военного времени, впечатления массового побоища формировали их отношение к жизни, в какой-то мере заслонили от них всю остальную действительность; они не поняли великих революционных сдвигов, составляющих существо нашей эпохи. С этим связана индивидуалистическая ограниченность писателей «потерянного поколения». В центре повествования у таких писателей обычно — «свой герой», психологически близкий им самим, честный и гуманный индивидуалист. В произведениях этих писателей автор, по выражению Д. Затонского, «уходит за кулисы»; окружающий мир для них — чужой. Естественно их тяготение к повествованию от первого лица, когда повествователь и герой как бы сливаются воедино; эта форма применяется и тогда, когда писатели, по сути дела, «выступают не от имени индивидуума, а от имени поколения». Отказ от самостоятельного авторского голоса, своеобразное авторское самоограничение превращается для этих писателей в своего рода эстетический закон Не только Хемингуэй, но и Ремарк, Сароян, Грин, Бёль строят свои книги по принципу «айсберга»: стремятся «исключить из произведения все то, что не совпадало бы со знаниями, опытом, мировоззрением персонажа»; они, вместе с тем, стараются «не изображать ничего важного, значительного, решающего прямо и непосредственно», избегают прямого названия предмета — многое доводит-

ся до сознания читателя окольным путем, посредством подтекста или иносказания. Во всем этом, как отмечает Д. Затонский, есть свои ценные художественные находки. Однако, пишет он, у названных писателей даже в построении диалога «форма нередко преобладает над содержанием». Преимущественное внимание авторов к внутреннему душевному миру героев влечет за собой ослабление действенного сюжетного начала. Иногда писатели применяют так называемую «ленточную конструкцию», то есть дают цепь слабо связанных между собой эпизодов; иногда же вместо сквозного действия возникают отдельные «узлы» психологического напряжения; порою — как в «Тихом американце» Грина — занимательность достигается композиционными приемами, меняющими последовательность событий; порою же — как у Бёля — широко применяется внутреннеассоциативное сцепление эпизодов, сочетание действия с воспоминанием: события давнего или недавнего прошлого преломлены через внутренний мир субъекта. Из всех этих наблюдений Д. Затонский делает вывод о том, «сколь нечеткой, чтобы не сказать призрачной, бывает порой граница между художественными установками Борхерта, Бёля, Сарояна, Хемингуэя, с одной стороны, и эстетикой модернизма, с другой».

Д. Затонский, казалось бы, достаточно ясно видит, что каждый из исследуемых им художников, будь то Хемингуэй или Бёль, представляет собою противоречивое *целое*. Однако в ходе анализа слабости, недостатки этих писателей подчас механически отсекаются от их достоинств. Несколько раз на протяжении книги названным художникам ставится в вину «преувеличение роли мировых войн в жизни общества». Им делается упрек, что они и события мирной жизни рассматривают сквозь призму горьких воспоминаний о войне. Но *такой* взгляд на жизнь позволяет этим писателям — по крайней мере, в лучших их книгах — выступать *беспощадными обвинителями* современного буржуазного строя! Впрочем, в конкретном анализе сам Д. Затонский достаточно ясно говорит об этом. Созданный западными писателями, в первую очередь Хемингуэем, образ честного человека, который протестует против войны с позиций отвлеченной гуманности, но не нашел дороги к революционной борьбе, имеет большое обобщающее, *типическое* значение, воплощает в себе чувства и настроения, свойственные миллионам наших современников в капиталистических странах: об этом уже говорилось в советской критике. В том герое, который для писателей «потерянного поколения» является, по определению Д. Затонского, «своим героем», содержатся свойства очень широкого слоя людей. И об этом стоит помнить, когда мы упрекаем этих писателей в узости социального кругозора.

Обобщая черты современного критического реализма, Д. Затонский не всегда правомерно включает в одну «обойму» произведения очень разные и художников, очень друг с другом несхожих. Когда герои романов «На западном фронте без перемен» или «Прощай, оружие!» проникались отвращением к бессмысленной бойне, они были исторически правы, хотя и не доходили в своем отрицании войны до революционного антимилитаризма. А когда Весли Джексон у Сарояна незадолго до сражения с гитлеровскими разбойниками цинически признается в своем равнодушии к событиям, происходящим вокруг него («пускай погибнет цивилизация, лишь бы я жив остался»),— он рассуждает как мещанин и эгоист. Ни в коем случае нельзя ставить его на одну доску, скажем, с лейтенантом Генри, а тем более с героями Борхерта или Бёля, у которых неприятие войны обязательно влечет за собой страстное неприятие фашизма.

По всему ходу своего анализа Д. Затонский как бы ставит на один уровень Ремарка и Хемингуэя — с этим мы тоже согласиться никак не можем. Есть читатели, которые отдают предпочтение именно Ремарку: их отпугивает сжатость хемингуэевского стиля, многозначность подтекста, а в Ремарке их привлекает художественная доходчивость — все сказано прямо, все ясно, ни над чем не приходится ломать голову. Однако Хемингуэй — не только реалист гораздо более крупного калибра, но и, в сравнении с Ремарком, художник гораздо *более демократичный*, несмотря на сложность своей литературной манеры. Для итоговой оценки творчества Хемингуэя необычайно важны те произведения, где он выходит за пределы военной темы и за пределы кругозора «своего героя». Мы имеем в виду не только произведения об Испании.

Т. МОТЫЛЕВА
О ЛИТЕРАТУРНОМ НОВАТОРСТВЕ

Хемингуэй «Старика и моря» — это тоже нечто качественно иное, чем литература «потерянного поколения».

Рассматривая художественные принципы этих западных писателей в непосредственной связи с их идейной ограниченностью, Д. Затонский склонен относиться с неоправданным недоверием и к тем их художественным открытиям, которые обогащают современную литературу. Он уделяет много внимания тому, что он называет принципом «айсберга», утверждая, что этот принцип, отстаиваемый Хемингуэем, приводит к объективизму, к «утрате ясности идейного звучания». Всегда ли это так?

Важно, говорит Хемингуэй, «исключить все, без чего можно обойтись, оставляя только то, что помогает донести до читателя пережитое, чтобы он (или она) почувствовал, что это случилось на самом деле и пережито им самим (или ей самой)... Со «Стариком и морем» мне необычайно повезло — удалось донести до читателя свой жизненный опыт, и притом такой, о каком еще никто не писал. Удачу принесло то, что я узнал хорошего старика и хорошего мальчика, а писатели в последнее время забыли, что хорошие люди еще существуют» *.

Итак, Хемингуэй требовал, чтобы писатели опускали «под воду» все необязательное, второстепенное. Он хотел писать о пережитом, о том, что может взволновать читателя непосредственностью жизненной правды, а не о том, о чем уже писалось в других книгах. Эстетика «айсберга» с ее принципами строгого отбора не помешала, а помогла ему напомнить читателям повести «Старик и море» о том, что «хорошие люди еще существуют». То есть, помогла ему (наперекор унылой декадентской мизантропии многих писателей «последнего времени») раскрыть гуманистический, *утверждающий* идейный замысел повести.

Разумеется, ни в коем случае не следует видеть в принципе «айсберга» некую обязательную норму литературы XX века. Д. Затонский прав, когда утверждает, что недоговоренность, отказ от ясных оценок и выводов таит в себе для художника немалые опасности не только идейного, но и эстетического порядка. Критик приводит убедительный пример: в короткой новелле-заставке из цикла «В наше время» Хемингуэй предельно сжато, не уточняя обстоятельств места и времени, описывает расстрел шестерых министров: читатель может и не знать, что речь идет о греческих министрах-милитаристах, которые никакого сочувствия, в сущности, не заслуживают. Тут недосказанность и на самом деле идет во вред правде искусства. Но во многих других хемингуэевских новеллах лаконизм и даже недомолвки помогают художнику передать настроение людей с израненной, смятенной душой, людей ищущих, охваченных смутной тревогой, остро реагирующих на несправедливость господствующего строя жизни. В тяготении Хемингуэя к краткости, доходящей до недомолвок, к предельно простым и безыскусственным словам сказывается отвращение честного художника к фразерству американской буржуазной публицистики. Стиль Хемингуэя порожден конкретными условиями того общества, в котором он вырос и жил. Однако в стиле этом есть и такие элементы, которые могут быть полезны передовым писателям разных стран.

С чрезмерной предубежденностью относится Д. Затонский и к некоторым другим чертам рассматриваемой им группы писателей. Повествование от первого лица, часто применяемое в книгах писателей «потерянного поколения», вовсе не обязательно признак узости писательского кругозора, даже если повествователь отождествляет себя с героем. Крупные писатели двадцатого века нашли немало способов выражать свое отношение к жизни через повествование, которое строится как записки, исповедь, воспоминания главного персонажа. Очень существенно, конечно, *кто* тот герой, глазами которого автор воспринимает и оценивает окружающий мир.

Д. Затонский верно отмечает, что писатели такого склада, как Хемингуэй, Ремарк или Бёль, как и не связанный с «потерянным поколением» Грэхем Грин, разработали тип романа, сюжет которого строится не столько на внешних событиях, сколько на драматизме внутренних переживаний. Но содержание и качество этих переживаний заслуживают более глубокого изучения. И все лучшие произведения Ремарка и даже наиболее субъективные по способу восприятия действительности вещи Хемингуэя включают в себя большие пласты типических жизненных обстоятельств, неприкрашенно-трезво воспроизводят грубую прозу войны или послевоенного быта — и уже в силу

* См. «Иностранную литературу» № 1, 1962.

этого выходят за пределы декадентского индивидуалистического психологизма. Раздумья героев в этих романах — это не мелочное самокопание оторванного от жизни созерцателя, а стихийная реакция далекого от политики человека на уродства современного буржуазного бытия. Сама интенсивность таких раздумий, обязательно мотивированных событиями эпохи,— черта, характерная именно для литературы XX века. Ни Растиньяк, ни Люсьен де Рюбампре, ни Давид Копперфильд, ни Фредерик Моро, как правило, не размышляли о судьбах поколения в целом, общества в целом, а лейтенант Генри у Хемингуэя, Джордж Винтербуорн у Олдингтона, да и герои лучших книг Ремарка не только размышляют обо всем этом, но и по сути дела ставят под сомнение *основы* господствующего порядка. По произведениям последних лет можно проследить, как революционная энергия нашего времени активизирует нравственное сознание и тех писателей, которые боязливо морщатся при слове «коммунизм»: перед этими писателями и их героями встают проблемы общественного долга человека. У Грэхема Грина, как уже не раз отмечалось нашей критикой, в некоторых новых романах более напряженно и прямо ставится вопрос о «причастности» просвещенного индивидуума к судьбе страдающих и угнетенных. Мы имеем основание серьезно критиковать героев Генриха Бёля за нечеткость и шаткость их политической программы, отражающей противоречивую позицию самого писателя. Повествуя о делах и людях Западной Германии, Бёль из романа в роман вместе со своими героями как бы забывает о существовании социалистического государства к востоку от Эльбы. Это неизбежно сужает создаваемую им картину германской действительности, превращает правду искусства в полуправду, обедняет духовный мир персонажей. Однако и у бёлевских героев нарастает сознание своей ответственности перед народом, перед будущими поколениями: об этом свидетельствует роман «Биллиард в половине десятого» В этом произведении есть свои серьезные слабости. Но мы не можем разделить предубеждения Д. Затонского против особенностей бёлевской повествовательной формы. Свойственное новому роману Бёля ассоциативное течение действия, чередование рассказа с воспоминаниями, пересечение разных аспектов восприятия действительности — все это, взятое вместе, создает хоть и неполный, кое-где нарочито затуманенный, но все же очень объемный и впечатляющий реалистический образ страны. Значительная часть действия, казалось бы, перенесена в психологию героев, но именно преломление событий недавней немецкой истории через интимнейшие переживания очень непохожих друг на друга людей — старого архитектора Фемеля, его жены, его сына, его внука — придает этим событиям особый отпечаток волнующего, напряженного драматизма. По верному замечанию Анны Зегерс, здесь в судьбах трех поколений отображен «самый острый конфликт нашей эпохи, конфликт между миром и войной».

Из всего сказанного не следует, что нам надо безоговорочно приветствовать все искания и эксперименты в области формы, предпринимаемые писателями, далекими от нас по политическим взглядам. Но к художественным результатам этих исканий надо относиться по-хозяйски, бережно, без предвзятости.

В каждом конкретном случае, как верно писал С. Жулкевский, необходимо исследовать, какие из выразительных средств, создаваемых нашими литературными современниками на Западе, «могут быть поставлены» — или, добавим, уже ставятся — «на службу реализму».

В книге Д. Затонского и в книге С. Жулкевского в сходном контексте возникает имя Арагона. Роман «Страстная неделя» доказывает, что метод социалистического реализма дает широкий простор для поисков в области художественной формы. В самом деле, у Арагона мы видим и очень своеобразное, совсем нетрадиционное строение сюжета, и разнообразно и гибко применяемые приемы несобственно прямой речи, иногда почти что смыкающиеся с «потоком сознания», и неожиданные вторжения авторского «я», нарушающие плавность романического действия... Пример Арагона, как справедливо пишет Д. Затонский, ясно показывает: «новаторство формы не отделимо от новизны содержания».

«...Черты настоящего новаторства,— пишет Д. Затонский в конце своей книги,— следует искать у художников, творящих методом социалистического реализма». Мысль эта бесспорна. Вместе с тем, революционная правда нашего века воздейст-

---

Т МОТЫЛЕВА
О ЛИТЕРАТУРНОМ НОВАТОРСТВЕ

вует не только на тех мастеров искусства, которые приняли принципы социалистического реализма,— радиус ее действия значительно больше. В искусстве нет и не может быть окончательных и раз навсегда данных эстетических решений — пути к художественному новаторству в литературе «века двадцатого» исключительно многообразны. И пути эти открыты для любого честного художника, способного осознать и правдиво отразить существенные черты нашей великой эпохи, насыщенной драматизмом социальных битв и счастьем созидания.

4. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ПРОБЛЕМА НОВАТОРСТВА

Искусство социалистического реализма — порождение и отражение высокоразвитой классовой борьбы, развернувшейся в нашем столетии. Оно по самой сути своей — явление культуры *двадцатого* века: не только по содержанию отражаемых им общественных событий, но и по эстетическим формам. Оно вбирает в себя многое, что создается мастерами искусства несоциалистических направлений, и воздействует, в свою очередь, на лучших из тех художников, которые не разделяют, или не полностью разделяют, революционные идеи века.

Этот круг вопросов затрагивается в некоторых новых работах, в частности — в книге Л. Юрьевой «М. Горький и передовые немецкие писатели XX века» *. Здесь собран и осмыслен большой фактический материал: Горький встает в кругу своих немецких литературных современников разных поколений. Сама эпоха выдвигает перед писателями разных стран сходные вопросы, порой даже наталкивает на сходные сюжетные решения. Однако именно при наличии таких очевидных черт сходства тем более очевидны различия между писателями, коренящиеся в мировоззрении и творческом методе. В произведениях Горького встает Россия, устремленная к великой революции, это решающим образом сказывается на разработке не только социальных, но и семейных, личных конфликтов. Анализируя «Будденброков» и «Дело Артамоновых», «Перед заходом солнца» и «Егора Булычева», Л. Юрьева замечает: «Новаторство Горького выступает особенно убедительно при его сопоставлении с теми писателями мировой литературы, в творчестве которых затрагивались аналогичные проблемы».

Но в чем видели новаторство Горького сами немецкие писатели? Л. Юрьева приводит ряд характерных высказываний. Горький фиксировал внимание своих западных собратьев на центральных проблемах века, то есть помогал им *мыслить современно*. Именно Горький, по утверждению Стефана Цвейга, показал, как «в массе, у миллионов отдельных людей, напряжение росло и становилось нестерпимым...» «Эту субстанцию, народ,— пишет Ст. Цвейг в приветствии Горькому,— вы изобразили так поэтически-зримо, как никто другой в наше время». Новаторство Горького в изображении народа отмечал и Фейхтвангер: у каждого из персонажей Горького свое особое лицо, и «все вместе дают лицо массы». Горький, по словам Брехта, «заставил прислушаться к делу рабочего класса, как к общему всеохватному делу всего человечества». Иной раз Горький подсказывал передовым зарубежным писателям новую трактовку самых, казалось бы, старинных «вечных» психологических мотивов (Л. Юрьева показывает это, прослеживая развитие темы материнства в произведениях Брехта).

Однако к полезной работе Л. Юрьевой хочется предъявить одну существенную претензию Горький недостаточно ясно виден в ней как большая и сильная творческая *индивидуальность*. В книге много говорится о тех идеях, типах, мотивах, общих принципах творчества, которыми Горький, как основоположник социалистического реализма, обогатил мировую литературу, и гораздо меньше — о том новом *эстетическом* ощущении действительности, которое принесло с собою его искусство.

Л. Юрьева вслед за Ст. Цвейгом говорит о свойственной Горькому «адэкватности» воспроизведения жизни в ее подлинной сущности. Но ведь горьковская «адэкватность» отличалась и от толстовской и от чеховской: у каждого художника-реалиста *своя* «адэкватность». Между тем, когда дело доходит до конкретных проблем мастерства, Л. Юрьева ограничивается самыми общими замечаниями. Она говорит, например, что у Томаса Манна лейтмотив появляется как деталь портрета, а у Горького имеет «более широкое социально-символическое значение». Это очень приблизительно сказано. Лейтмотив как выразительная деталь портрета применяется и Горьким, и

* Л. М. Юрьева. М. Горький и передовые немецкие писатели XX века. М., 1961.

притом по-своему. В рассказе «Рождение человека» безымянная женщина, чернорабочая из Орловской губернии, на протяжении нескольких страниц предстает во многих и разных обличьях — то с «испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета», то «с одичалыми, налитыми кровью глазами», потом «из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, льются... обильные слезы невыносимого страдания»; потом мы видим, как «удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем»; «эти донельзя прекрасные глаза — святые глаза родительницы — синие, они смотрят в синее небо»; потом женщина сидит «точно выпитая, без кровинки в сером лице, с огромными синими озерами вместо глаз», а потом, усталая, дремлет и думает о чем-то своем, «глядя в землю снова выцветшими глазами». И в заключение — «глаза ее, насквозь промытые слезами страдания, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви». В этих контрастно сменяющихся вариациях портретного лейтмотива есть нечто очень характерное для горьковского искусства, передающего динамику и острый драматизм будничной жизни, безбоязненно сталкивающего повседневно-безобразное с повседневно-прекрасным. Тут по-своему использовано, конечно, выработанное искусством конца XIX — начала XX века умение показывать разнообразие одних и тех же предметов, увиденных в разные моменты, при разном освещении. Но художник далек от самодовлеющей живописной задачи; его интересует здесь совсем другое: невыносимая тяжесть жизни трудового народа — и неистощимость сил, таящихся в нем. Здесь проявляется необычайно интенсивное, жизнеутверждающее восприятие человеческого бытия, свойственное социалистическому реализму как *методу*, и вместе с тем особенности неповторимо личного, горьковского *стиля*. Все это, строго говоря, не входит в тему книги Л. Юрьевой; но все же, когда речь идет о всемирном значении великого художника, о его взаимодействии с литературами других народов, необходимо по возможности конкретно разобраться в эстетической природе его новаторства.

Современное искусство сложнее и богаче по своему содержанию, чем искусство любой из прошедших эпох, оно охватывает, включает в поле художественного зрения все новые пласты действительности — и уже в силу этого становится все более многообразным по направлениям и стилям. Важно видеть и то, что в XX веке резко усиливаются процессы формирования национально-самобытных культур, и вместе с тем процессы их взаимодействия. Движение угнетенных ранее наций и народностей к свободе обостряет их внимание к своим национальным художественным традициям, порождает новые своеобразные явления искусства, а быстро развивающийся мировой культурный обмен делает эти явления достоянием всего человечества. Мексиканские фрески и китайская графика, негритянские «спиричуэлз» и японские четверостишия — все это обогащает художественный кругозор зрителей, слушателей, читателей разных стран. Порой в искусстве возникают очень необычные синтезы и смешения разных национальных культур. Уильям Сароян, писатель американский по языку и тематике, использует в своих новеллах мотивы армянского фольклора. Бертольт Брехт вбирает в свою эстетику «эпического театра» элементы старинного китайского театрального искусства. В литературах стран Латинской Америки, Африки и Азии, освобождающихся от колониального рабства, традиционные образы национального художественного творчества приходят в сложное взаимодействие с достижениями поэзии и прозы современного Запада (характерный пример тому — роман Жака-Стефена Алексиса «Деревья-музыканты» *). Широкое применение условных приемов в реалистической литературе XX века объясняется не только поисками свежих и действенных художественных средств, но отчасти и тем, что народы, недавно еще стоявшие в стороне от больших дорог европейской цивилизации, вносят в мировую литературу свой вклад. Понятно, что в литературе социалистического реализма, отражающей наиболее передовые освободительные движения нашего века, это обилие и взаимодействие национальных художественных форм сказывается особенно ярко, дает много неожиданных стилевых явлений.

В этой связи вызывают интерес две новые монографии о крупных художниках социалистического реализма. В той и в другой идет речь о представителях сравнительно молодых национальных литератур,

* См. «Иностранную литературу» №№ 1, 2, 3, 1962.

вышедших в нашем столетии на международную арену. Это книга И. Бернштейн о Марии Пуймановой и книга Л. Осповата о Пабло Неруде *.

Как несхожи друг с другом оба эти писателя! Для Пуймановой характерна строгая достоверность, сдержанность повествовательной манеры, внимание к бытовым деталям, тщательное и точное воспроизведение повседневной жизни как она есть. Для Пабло Неруды — смелое применение поэтической условности, гиперболизм, масштабность поэтической мысли, необузданная дерзость метафор. Само сопоставление этих, казалось бы, предельно далеких друг от друга художников напоминает нам о том, как велик диапазон различий между стилями, свободно и без натяжки находящими себе место в литературе социалистического реализма... Но сопоставление это может быть поучительным и в другом смысле. В творческом развитии обоих писателей есть и общие черты, восходящие к закономерностям прогрессивной литературы наших дней. Сын железнодорожника из Темуко и дочь пражского профессора шли разными жизненными путями. Но каждый из них по-своему проделал тот же путь, что и многие другие одаренные, нравственно стойкие мастера искусства нашей эпохи,— путь «от горизонта одного к горизонту всех». Мария Пуйманова, приобщившись к передовым идеям современности, вышла из идиллически замкнутого мирка ее ранних детских повестей и бытовых рассказов, поднялась до создания национально-героической эпопеи. Пабло Неруда, прошедший в молодости через стадию модернистски-индивидуалистических поисков, стал в своей прославленной «Всеобщей песне» поэтическим глашатаем трудящихся и борющихся масс Латинской Америки.

Наши идейные противники любят повторять, что метод социалистического реализма стесняет, подавляет, обезличивает, нивелирует, регламентирует и т. д. и т. п.— словом, идет во вред индивидуальности художника. Удача монографий И. Бернштейн и Л. Осповата определяется прежде всего тем, что оба они сумели показать, как исследуемые ими писатели, став социалистическими реалистами, остались сами собой. Более того: мы убеждаемся, что и Неруда и Пуйманова по-настоящему *нашли себя* как художники именно после того — и в немалой степени благодаря тому,— что они встали на революционные идейные и творческие позиции, сделались участниками освободительной борьбы народов.

Именно передовое мировоззрение и передовой художественный метод помогли и М. Пуймановой, и П. Неруде стать в настоящем смысле слова *писателями XX века.* И потому, что оба они в своем зрелом творчестве сумели отразить действительно существенные жизненные процессы современной эпохи, и потому, что они сумели по-новому, идейно целеустремленно использовать разнообразные средства и приемы, разработанные художественной культурой нашего столетия.

Переиздавая в 1956 году свои ранние рассказы, Пуйманова писала: «Я думаю, что небезынтересно показать, как писатель учится изображать героев с помощью психологического микроскопирования». Пристрастие к «психологическому микроскопированию» сохранилось у писательницы на всю жизнь. В трилогии «Люди на перепутье», «Игра с огнем», «Жизнь против смерти» Пуйманова проявляет в полную силу свое мастерство психолога: благодаря тому, что она рисует своих героев не только в узкой семейно-бытовой сфере, но и в широкой системе общественных связей, характеристики их становятся по-настоящему разносторонними и рельефными.

В ходе работы над трилогией Пуйманова много размышляла над задачами современного романа. И. Бернштейн приводит ряд характерных ее высказываний. «Сегодня, хочет человек этого или не хочет, время, полное экономических потрясений, общественной борьбы и политического драматизма, найдет его, придет за ним и рано или поздно заставит его стать на ту или другую сторону». Именно отсюда идет в романах Пуймановой напряженная постановка проблемы *выбора* — проблемы, столь важной для людей нашего века: с кем ты, современный человек? И именно под этим углом зрения в трилогии детальнейшим образом прослеживается духовная эволюция центральных персонажей трилогии, молодых чехов XX столетия — Станислава и Ондржея. «Нет, не было и не будет двух одинаковых людей»,— утверждает Пуйманова. «Каждый человек индивидуален и неповторим, и задача современного романиста — изобразить его именно в этой неповторимости и одновременно включить его в более широкую картину общественной жизни». Решая эту за-

* И. Бернштейн Творческий путь Марии Пуймановой. М., 1961. Л. Осповат. Пабло Неруда М., 1960.

дачу, Пуйманова в трилогии прибегала к разнообразным художественным средствам, восходящим не только к опыту Толстого, но и к опыту современной западной литературы. (В монографии говорится о том, как Пуйманова критиковала Пруста; пожалуй, стоило бы яснее сказать и о полемической переработке приемов Пруста в ее романах.) И. Бернштейн уделяет особое внимание тому, как разнообразно используется в трилогии несобственно прямая речь, дающая романистке возможность незаметно переходить от авторского повествования к мыслям персонажей и преломлять картины социальной действительности через разные индивидуальные восприятия. Примечательно, что Пуйманова (задолго до «Страстной недели» Арагона) постаралась включить в массовые сцены романа «Игра с огнем» элементы *коллективного* многоголосого внутреннего монолога, передать гневные и горькие размышления жителей Праги, обеспокоенных судьбами родины. Давняя склонность писательницы к лиризму сказалась на многих страницах трилогии — лирические раздумья повествователя и героев естественно сливаются с публицистикой, не утрачивая своей эмоциональной непосредственности, полной естественности разговорных интонаций.

Творческий путь Марии Пуймановой не был прямолинейным восхождением. Автор монографии поступает правдиво, когда говорит с полной откровенностью о художественных недостатках трилогии, об элементах иллюстративности в последней ее части — «Жизнь против смерти». (Трилогия в целом разобрана в книге И. Бернштейн более разносторонне и взыскательно, чем это было сделано в прежних работах советских критиков, в том числе и моих.) Вместе с тем И. Бернштейн права, когда утверждает, что писательница — пусть с остановками и частными просчетами — шла в своем творческом развитии вперед. Ведь в каждом из томов трилогии Пуйманова ставила перед собой все более ответственные, многотрудные художественные задачи. В третьей части трилогии, наряду с бледными и малоудачными эпизодами, много страниц, исполненных напряженного и глубоко человечного драматизма.

В монографии есть интересные наблюдения над национальной спецификой творчества Пуймановой; замечено, например, какое важное композиционное назначение выполняет в трилогии лирический национальный пейзаж и овеянный народной поэзией образ Праги. Однако думается, что книга значительно выиграла бы, если бы в ней было более отчетливо показано *активное преобразование* классических традиций у Пуймановой. И. Бернштейн отмечает «большое значение для Пуймановой традиций А. Ирасека, замечательного мастера монументальных исторических полотен, глубоко понимавшего историческую обусловленность человеческих судеб и великую роль народа в историческом процессе». Никто не станет отрицать значение наследия Ирасека. Но ведь у Пуймановой «человековедение» поднято на принципиально новую художественную ступень — в сравнении с героями ее трилогии даже лучшие персонажи Ирасека представляются однолинейными. Да и роль трудового народа в национальных судьбах страны познана писательницей социалистического реализма во многом иначе, чем понимал ее автор прославленных исторических романов.

Мария Пуйманова восприняла от своих ближайших литературных предшественников заветы высокого патриотизма. Но, как передовой писатель XX века, она понимала: «кто сегодня любит родину, должен для того, чтобы защищать ее, мыслить в масштабах континентов». Это «мышление в масштабах континентов», стремление соотносить судьбы своей страны с судьбами других стран и народов, и в самом деле очень характерно для литературы социалистического реализма; оно очень конкретно сказалось в самом строении сюжета трилогии Пуймановой — так, как не могло сказаться даже в лучших произведениях чешского классического романа.

Недавно В. Шкловский очень верно заметил: «Проблема наследования традиции — проблема переосмысления» *. Творческий путь Пабло Неруды, показанный в книге Л. Осповата, подтверждает эту истину.

Пабло Неруда пользуется широким всемирным признанием как один из крупнейших поэтов-новаторов современности. Это художник очень своеобычный, казалось бы, ни на кого не похожий. А между тем он — наследник разнообразных традиций. И притом традиций не только чилийской, не только латиноамериканской, но и мировой поэ-

* «Знамя» № 9, 1961, стр. 178.

Т. МОТЫЛЕВА
О ЛИТЕРАТУРНОМ НОВАТОРСТВЕ

зии. О преемственных связях Неруды с Маяковским и Уитменом у нас уже не раз писалось. Однако немаловажно, что Неруда воспринял и поэтическое наследие совсем иного рода, что он с молодых лет — и непосредственно, и через посредство латиноамериканских модернистов, например, Рубена Дарио — вбирал в себя западноевропейскую поэтическую культуру «конца века». Л. Осповат убедительно говорит о том, что Неруда и в пору своей писательской молодости принципиально отличался от поэтов декаданса. Если лирический герой декадентской поэзии как бы гордится своим одиночеством — лирический герой Неруды воспринимал это одиночество как проклятие. «Какие бы причудливые формы порою ни принимала страстная и своевольная поэзия Неруды, источником этой поэзии неизменно оставалась реальная действительность». Впоследствии Неруда изживает в себе пессимизм, отказывается от нарочитой зашифрованности, чрезмерной изощренности стиля. Но он сохраняет большое уважение к Бодлеру, Верлену, Рембо и по-своему на новой идейной основе передает их поэтический опыт.

Л. Осповат особо отмечает характерную черту мастерства Неруды — его тяготение к ассоциативному образу, строящемуся «не столько на сопоставлении конкретных предметов и явлений, сколько на сопоставлении тех ощущений и чувств, которые этими явлениями и предметами вызываются». Такой принцип строения образа таит в себе свои опасности — тут многое зависит от того, в какой мере субъективные восприятия поэта соответствуют объективной реальности и могут найти отзвук в душе читателя. Однако этот принцип уже вошел в творческую практику многих больших мастеров и по-своему обогатил поэзию нашего времени. «Тенденция к созданию образа на основе сопоставления и ассоциации чувств, широко распространенная в современной поэзии и связанная с усилением в ней субъективного элемента, сама по себе вовсе не является антиреалистической. Представителям этой тенденции — Рембо, Верлену, Аполлинеру, Элюару во Франции; Блоку, Есенину, Багрицкому в России; Дарио, Лорке, Неруде в странах испанского языка — поэзия обязана значительным расширением своей сферы, своих выразительных возможностей». Здесь, пожалуй, дан слишком пестрый ряд имен, и стоило бы конкретнее исследовать *особое* положение П. Неруды в этом ряду. Однако справедливость суждений автора применительно к Неруде подтверждается последующим материалом книги. В сборнике «Испания в сердце» — первом произведении политической, антифашистской лирики Неруды — поэт часто прибегает к традиционному приему испано-американского фольклора, словам-символам, связанным с кругом сложившихся, устойчивых представлений (так, слова «пшеница», «хлеб», «кулак» говорят о жизни, плодородии, борьбе); он, вместе с тем, доносит до читателя революционные идеи своей поэзии и посредством образов, рождающих те или иные эмоциональные ассоциации. Он обращается к Испании со словами «голубая непобедимая поденщица, земля лепестков и пуль...» С точки зрения консервативного вкуса — странно, непривычно. Но в этом необычном сочетании образов есть свой глубокий смысл. Слово «поденщица» напоминает о каторжном, подневольном труде. Контрастирующие пары словобразов «голубая» и «непобедимая», «лепестков» и «пуль» вызывают представления о возвышенной, нежной красоте страны — и о силе ее поднявшегося народа...

Центральное место в книге Л. Осповата занимает анализ «Всеобщей песни». Исследователь показывает, как по-новому преломились в этом монументальном произведении древнейшие поэтические традиции народов, составляющих коренное население Латинской Америки. Мотивы индейского фольклора оживают в обращении поэта к рекам и недрам земли; он воскрешает ритмы старинных арауканских обрядовых песен: «Дай мне твой холод, злой чужеземец, дай мне звериную ярость твою...» А тут же — почти рядом — слова современной политической лексики, страстные публицистические монологи поэта-борца, которого кровно касается все, что происходит в сегодняшней жизни его народа и других народов. Поэзия Пабло Неруды — сложнейший и единственный в своем роде сплав разнородных стилистических элементов, заново переработанных, переосмысленных. Именно сплав, а не механическое соединение.

На примере «Всеобщей песни» Л. Осповат раскрывает закономерность, выходящую за пределы творчества Пабло Неруды, во многом определяющую пути развития передовой поэзии наших дней: взаимопроникновение эпического и лирического начал. «В образной системе Неруды с большой силой проявляется присущее поэзии социалистического реализма активное и осмысленное отношение к миру, стремление деятельно уча-

ствовать в его преобразовании. Но и проникая в сущность явлений общественной жизни, соединяя крайне удаленные друг от друга во времени и пространстве понятия и представления, образы Неруды никогда не становятся холодными конструкциями, в любых масштабах сохраняют они жар человеческого сердца...» Лирическое «я» поэта — и там, где он вспоминает о далеком прошлом латиноамериканского континента, и там, где он говорит о современной битве народов за мир. «Единство «интимного» и «всеобщего» присутствует в лирике Неруды отнюдь не в декларативной форме. Живое ощущение этого единства пронизывает материю стиха, определяет собою во многих случаях первичную клетку поэзии — поэтический образ. И это — новаторская черта поэзии социалистического реализма».

■

Очень отрадно, что разговор о художественных особенностях современного реализма развертывается в нашей критике все шире — не только в общетеоретическом, но и в монографическом плане. Реалистическая литература XX века представляет исключительно сложный комплекс интересных, ярких, отличных друг от друга явлений. Несходство отдельных художнических индивидуальностей, разнообразие стилевых и жанровых форм становится особенно очевидным, когда мы присматриваемся — не «в общем и целом», а по возможности конкретно — к социалистическому авангарду мировой литературы наших дней.

То подлинно новаторское, что объединяет Брехта и Элюара, Неруду и Пуйманову, Зегерс и Хикмета, заключено не в манере письма, а в общности идейно-эстетической позиции, в умении передать различными образными средствами великую революционную перспективу, одушевляющую современное передовое человечество.

УРСУЛА ВЕНДОРФФ-ВЕЙДТ *(ГДР)*. **В заводской библиотеке.** *Гравюра на линолеуме.*

Е. ТРУЩЕНКО

В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Охотники преследуют лисицу. Лай гончих приблизился к ферме богатого англичанина Альберта Ричвика. Затравленный зверь ищет спасения за щелью изгороди. В наступивших сумерках добыча, к великому удивлению преследователей, бесследно исчезает. Произошла метаморфоза: лисица приняла облик очаровательной молодой женщины. Альберт Ричвик, обнаружив ее в саду, дал ей приют в своем доме, назвал Сильвой, начал терпеливо приобщать к нормам человеческого бытия.

Так начинается роман Веркора «Сильва», вышедший во Франции в 1961 году.

Фантастика? Сказка? «Сильва» написана и издана в период первых космических полетов человека. Место действия романа — современная Англия. Чтобы не заставлять долго ломать голову тех читателей, которые принимают беллетристику за непреложную истину, Веркор вслед за изданием «Сильвы» дал свой комментарий к роману на страницах еженедельника «Леттр франсез». «Я признаю,— говорит он,— что превращение лисицы в женщину не из тех случаев, которые мы наблюдаем повседневно. Метаморфоза, на которой строится экспозиция романа, фантастична, однако все, что следует за метаморфозой лисицы, логично и реалистично».

Превращение, описанное Веркором, произошло лишь во внешнем облике. По натуре, повадкам, инстинктам Сильва осталась зверем. Альберт Ричвик, ее покровитель, настойчиво и терпеливо хочет добиться победы человеческого начала. И он оказывается свидетелем любопытной эволюции. Сильва постепенно преодолевает повадки зверя, инстинкты животного и становится примитивным человеческим существом. Она приучается носить одежду, пользоваться зеркалом, приходит к осознанию собственного существования, начинает понимать, а затем и употреблять слова...

Романом «Сильва» Веркор продолжает цикл произведений, которые следует отнести к жанру своеобразной философской фантастики («Люди или животные?», «Гнев»). Характерная особенность этих произведений в том, что в них неожиданным образом совмещается фантастический план и реальный.

Женщину-лисицу автор вводит в современное общество, ставит в знакомые нам жизненные ситуации. Сильва живет на ферме Ричвика. К ней приставлена нянька-воспитательница. Под влиянием домашней обстановки, людей, событий и происходит эволюция сознания и поведения Сильвы. У Ричвика возникает не только любопытство естествоиспытателя, рождается физическое влечение к Сильве. Чтобы заглушить и побороть это чувство, Ричвик «форсирует» роман с томимой одиночеством девицей Дороти, дочерью приятеля-доктора. Это, так сказать, беллетристическая плоть романа. Идейная же сущность творческого замысла Веркора в том, чтобы раскрыть, проследить по этапам, проиллюстрировать внутреннюю эволюцию «первочеловека».

Драматические коллизии, связанные с поступками действующих в романе персонажей, Веркор разрешает нарочито в ироническом плане. По этому поводу французский критик Жильбер Мюри сказал: «Чтобы в завершение посмеяться надо всеми — над самим собой, над своей серьезностью и над своими критиками,— Веркор делает неожиданный поворот: лисица, ставшая наконец женщиной со всеми чертами, присущими человеку, рождает на свет лисенка».

Забавная история Сильвы, развернутая Веркором на двухстах страницах убористого текста, действительно заканчивается этим удивляющим неожиданностью эпизодом. Искусно придуманную «жизненную» фабулу Веркор строит, мы видим, лишь для того, чтобы придать «логический и реалистический характер» возводимой им философской идейной конструкции.

Тема романа «Сильва», подчеркивал Веркор,— человеческое начало в человеке: человек вытесняет животное в примитивном существе. Устами одного из своих персонажей, доктора Сюлливана, автор уточняет: случай с Сильвой уводит нас на пятьсот тысяч лет назад, когда первые люди с их мозгом, полностью сложившимся, но еще не обладающим познаниями и опытом, пребывают в состоянии животных. Тот же доктор Сюлливан замечает: «Лисичка, став человеком, резюмирует для нас историю человечества». Сам Веркор, говоря о своем романе, выражал надежду, что его книга «поможет читателю осознать свое положение человека и заставит его задуматься над тем, к чему это положение обязывает».

И вот мы задумываемся над тем, как в романе «Сильва» проявляется и развивается «человеческое начало», как представлена автором в образах и картинах эволюция человека, этапы выхода его из стадии животного. Первым этапом проявления «человеческой сущности» было преодоление животных инстинктов. Вышедшая из лисицы Сильва перестает бояться собак и душить кур на ферме Ричвика. Первый шаг к очеловечиванию явился и первым шагом к завоеванию свободы. «Отказ от инстинктов — вот цена нашей свободы»,— резюмирует автор романа. Следующий этап эволюции — открытие Сильвой и осознание собственного существования, выделение своей индивидуальности. Решающим орудием в этом процессе стало зеркало. Сильва, долгое время остававшаяся безразличной к зеркалу, не реагировавшая на него, вдруг обнаружила в нем свое изображение. У нее возникло представление о ее собственной персоне. Это и явилось первейшим актом, знаменовавшим рождение человеческого разума из инертной материи мозга животного. Человек постигает, что он существует «отдельно от всего остального», что он — индивидуум. С выделением его собственной индивидуальности в окружающем мире рождается разум человека, заключает автор романа. Это открытие Сильвы сопровождается жестоким кризисом: переживая внутреннее потрясение, она разбивает все зеркала в доме своего опекуна.

Дальше Сильва познает существование любви. И наконец открывает смерть, осознает ее неотвратимость. На этом завершается превращение зверя в человека, по Веркору — трагедия познания сущности человеческой жизни.

Так, в общих чертах, выглядит обрисованная Веркором картина высвобождения первочеловека из мрака доисторического бытия. Как видим, писатель заменяет всю сложность картины реальной эволюции человечества своими представлениями об эволюции интеллекта. Он переносит центр внимания в сферу сознания и подсознания. Веркор стремится воссоздать картину эволюции человека, абстрагируясь от ее реальных исторических условий. От этого не может не страдать ее логичность и реалистичность. Можно ли понять сущность человека без его общественных связей, без раскрытия его роли как сознательного преобразователя природы, условий своего существования, самого себя?

Роман — не научное исследование. Художник, прибегая к условности, абстрагированию, фантастике, может достигать образной выразительности, художественной силы произведения, если он основывается на реальных представлениях, исходит из логических закономерностей. Но Веркор беллетризует псевдонаучную идею, ложную философскую схему. В этом слабость его идейно-художественной позиции. Реализм оказывается условным, фантастика — абстрактной.

Отмечая эту уязвимую сторону романа «Сильва», «вызывающую на дискуссию с его автором», Андре Стиль писал: «Думается, что в этой истории более, чем ее

исходный пункт, ирреальна псевдонаучная предвзятая схема перехода души лисицы в душу женщины: вся человеческая эволюция подменяется здесь индивидуальным воспитанием Сильвы в течение нескольких месяцев. Так используется прием абстракции. У нашей резвой и дикой Сильвы такой вид, будто она вышла из пыли изрядно пожелтевшего учебника или из антропологического музея, являясь плодом умозрительной любви археологов, социологов... Чтобы восхищаться этой историей, нужно забыть совсем иные, реальные условия формирования человечества с первобытных времен. Они противоположны атмосфере застывшего одиночества и пресыщенной праздности на ферме Ричвика, в стороне от жизненной схватки».

Роман «Сильва» мало помогает выявлению сущности человека, его роли в современном мире. Этот вывод неизбежно приходится делать, возвращаясь к словам Веркора, выражающим надежду, что созданное им произведение поможет читателю понять его положение человека и заставит задуматься, к чему это положение обязывает.

«Сильва» написана Веркором три года спустя после выхода его публицистической книги «На прощанье», явившейся своего рода печальной исповедью, итогом мучительного внутреннего борения, выражением определенного кризиса сознания писателя. Веркор заявил в ней, что он покидает активные общественные позиции. Мы не ставим целью в этой статье анализировать причины и побуждения, вызвавшие появление книги, огорчившей многих друзей писателя. Мы называем ее лишь потому, что улавливается некоторая связь между произведениями «На прощанье» и «Сильва». Этим романом, нам кажется, Веркор не сделал шага вперед как художник. Мы видим здесь уход романиста в «нейтральную» тему, в сторону от участия художественным словом в битвах сегодняшнего дня.

Веркор относит «Сильву» к той же семье своих книг, что и «Гнев», «Люди или животные?» *, считает новый роман их продолжением. Сопоставление «Сильвы» с предыдущими книгами как раз и обнаруживает отход романиста от найденных им ранее некоторых наиболее сильных и активных творческих позиций.

* См. статью М. Яхонтовой «От живой борьбы к абстракциям», «Иностранная литература» № 8, 1958.

«Я пишу, чтобы разоблачать ложь и несправедливость. Я пишу также для того, чтобы попытаться помочь моим читателям найти смысл их жизни» — эти две фразы из статьи «Мои взгляды на литературу» могли бы служить эпиграфом ко всему творчеству Веркора.

Писатель начал свой путь в литературе повестью «Молчание моря», обличающей гитлеровских оккупантов Франции. Повесть была выпущена подпольным издательством «Полночь» в 1942 году и принесла Веркору известность. Это было произведение, выразившее дух национального сопротивления фашизму. «Именно Сопротивление сделало меня писателем»,— говорил Веркор. Вслед за «Молчанием моря» Веркор создает серию новелл и рассказов, а также романы «Шествие со звездой», «Более или менее человек», «Оружие мрака», обличающие фашистские изуверства. Писатель стремится определить смысл человеческого существования в условиях фашистского мрака и нарастающей борьбы французских патриотов за светлое будущее.

Почти двадцатилетний последующий творческий путь Веркора был в той же мере связан с прогрессивным общественным движением, общественной борьбой во Франции. В 1948 году Веркор был среди инициаторов и участников конгресса во Вроцлаве, положившего начало всемирному движению в защиту мира. В 1950 году он был избран членом Всемирного Совета Мира. Веркор принимал постоянное участие в деятельности Национального комитета французских писателей, созданного в годы Сопротивления, в 1952 году избирался его президентом.

В обстановке острой борьбы между силами прогресса и реакции, защитников мира и поборников новой войны Веркор, художник и публицист, создает произведения, служащие гуманизму и прогрессу человечества. В сборнике «Час выбора», выпущенном группой известных французских писателей в 1948 году, Веркор говорит о привлекательности перспективы социализма, только при котором «возможен рост и существование новой цивилизации»; о примере Советского Союза, «давно завоевавшего своими огромными усилиями нашу активную симпатию». Веркор недвусмысленно заявил о своей поддержке коммунистической партии Франции. «Я люблю человека, люблю Францию, люблю коммунистическую партию, ибо только она при современном

положении может и хочет обещать человеку освобождение»,— писал он в 1949 году.

В то же время Веркор оговаривает за собой право на особую, «независимую» позицию. Метафизичность взглядов Веркора на мир и человека, влияние идеалистических философских систем на его мировоззрение сковывающим образом сказываются и на его художественном творчестве, его эстетических позициях. Поиски «человеческого начала в человеке», которым посвящено в той или иной мере большинство беллетристических произведений Веркора, мучительно противоречивы, так же как мучительны и неопределенны попытки Веркора-философа сформулировать свое понимание сущности человека.

«Роду человеческому,— находим мы определение в одном из выступлений Веркора,— присуще чувство отрицания (природных условий своего существования) и вытекающая из этого отрицания воля (к изменению этих условий как с помощью орудия и познания, так и с помощью молитв и суеверий) — иными словами, бунт... Именно в этом чувстве, на мой взгляд, кроется сущность человеческого начала». Согласно другому определению Веркора, «смысл бытию человека» придает стремление «к великой победе Разума». Сразу же обнаруживается абстрактность и неопределенность мысли, когда Веркор уточняет: «Я хочу, чтобы мои читатели явственно ощутили и поняли, что мы стоим перед тайной, что само наше существование, нам навязанное,— тайна, ибо мы не знаем, почему существуем... Только раскрыв эту тайну, общими усилиями заставив ее уступить разуму, можно будет постичь, в чем же заключается роль человека на земле».

В романе «Люди или животные?», наиболее занимательном и художественно сильном, мы видим развернутую иллюстрацию размышлений о сущности человека и тщетных усилий определить ее. С тонким юмором и злым сарказмом Веркор высмеивает ученых схоластов, столпов буржуазной юриспруденции, парламентариев. Искусно построенная фабула романа позволяет читателю понять абсурдность, обскурантизм и изуверство толкований клерикалов, расистов, ученых, стоящих на службе капиталистических монополий, комизм положения беспомощных энтузиастов, пытающихся выпутаться из лабиринта лженаучных построений, юридического крючкотворства. Веркор излагает устами персонажей романа «Люди или животные?» различные концепции и определения природы человека. И после каждого определения следует многозначительное «но...». Писатель иронически комментирует беспомощные попытки своих героев определить, что же такое человек. В многочисленных вариациях этого определения читатель обнаруживает и беспомощность самого автора, который ставит под сомнение все концепции, лженаучные и научные, идеалистические и материалистические. Здесь и обнаруживается ахиллесова пята Веркора. писателя и философа. В мире, разделенном различными социальными системами и различными идеологиями, Веркор стремится найти общефилософскую позицию. В силу этого его понимание роли человека, гуманизма в целом становится абстрактным, метафизическим. В художественном творчестве это, в свою очередь, уводит к принципам абстрактного искусства.

И все же творчество Веркора нельзя считать всецело умозрительным, отвлеченным от действительности. Оно приобретает живой и плодотворный смысл там, где реализм побеждает, где писатель идет от жизни, а не от схоластики. Выразительный пример мы находим в романе «Гнев», произведении в целом противоречивом, сложном и нелегком для понимания, но привлекающем нас интересным и очень важным аспектом в идейных поисках Веркора.

Повествование в этом произведении развертывается в двух планах. Одни действующие лица (поэт-сюрреалист Эгмон, лицейский латинист Кло, ученая вобла, как назвал бы его Чехов) углубляются в узкосубъективистские исследования им одним понятных проблем. Эгмон погружается во «внутреннюю ночь», в состояние анабиоза, созерцает «пейзажи собственной плоти», осмысляет гангрену пораженного ожогом большого пальца ноги. Он становится живым трупом, равнодушным ко всему, что происходит вокруг него. Латинист Кло занимается аллегорическими построениями, в которых выражает свои патологически мрачные взгляды на человеческое общество. В противоположность им другие персонажи романа «Гнев» — профессор биологии Мирамбо, деятель профсоюзного движения Пельон — идут в гущу бурлящей вокруг них жизни. Здесь, в кипении страстей, битве классов и идеологий, они отста-

ивают права и достоинство человека, становятся на защиту справедливости. Профессор Мирамбо выступает в поддержку рабочей забастовки, которую стремятся подавить «силы порядка».

На фоне бесплотных фигур Эгмона и Кло, являющихся лишь символами, выигрывают реальные, подсказанные действительностью образы профессора Мирамбо, Пельона, рабочих-забастовщиков, добивающихся единства действий рабочего класса.

В романе «Сила света» (1951), посвященном тем же поискам сущности человеческого в человеке, Веркор пришел к обнадеживающей идее. Герой романа, бывший узник гитлеровского концлагеря Пьер Канж, когда-то в порыве малодушия и из чувства самосохранения бросил по приказу эсэсовцев в пылающую печь еще живое тело своего товарища. Он вернулся домой, в круг родных, друзей, но чувствует себя неприкаянным, нечеловеком. Его мучит сознание, что он утратил, сжег вместе с телом товарища свою человеческую сущность. Только в мучительной борьбе с самим собой он обретает снова волю к жизни и видит ее смысл в том, чтобы сражаться против фашистской тирании вместе с испанскими партизанами.

Веркор умеет найти в действительности, в гуще общественной борьбы идеи и образы своих произведений, сделать их выразительными. Книга «На этом берегу», навеянная войной в Алжире и проблемами, встающими перед французами, еще одно свидетельство в подтверждение этого вывода.

При всех присущих ему философских и идейных блужданиях в абстрактных поисках истины Веркор обличает расизм, колониализм, империалистическую эксплуатацию. Прогрессивная французская критика поддерживает в его творчестве все, что делает писателя «неотторжимым союзником», другом тех, кто последовательно борется за утверждение подлинного величия человека на земле.

Роман Веркора «Сильва» устремлен скорее в прошлое, чем в будущее. Романист не вторгается этим произведением в социальную битву современности. Может быть, в этом продолжает сказываться кризис сознания, выражением которого явилась книга «На прощанье». Хочется, однако, надеяться, что это не последнее слово писателя, так мучительно и настойчиво ищущего смысл и красоту человеческого бытия.

Весь его творческий путь, отмеченный активным участием в сопротивлении фашизму, напряженной и упорной битве передовых сил человечества за мир и прогресс, вселяет надежду, что опыт профессора Мирамбо, одного из наиболее привлекательных персонажей, созданных Веркором, окажется поучительным и для самого автора, поможет ему выйти из тупика самоизоляции, преодолеть сковывающее влияние абстрактной философии и метафизики.

О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ГЕРОЕ В БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ведущим героем современной прогрессивной литературы может и должен быть человек, являющийся подлинным воплощением передовых идеалов нашего времени. Утверждению этой мысли и защите ее от ожесточенных нападок критиков-ревизионистов посвятил статью **Александр Дунчев** в болгарском журнале **«Септември»**. Последовательно и обоснованно разоблачая политическую и эстетическую подоплеку злобных атак югославских и иных ревизионистов на таких широко известных героев советской литературы, как Корчагин, Мересьев, Давыдов, Нагульнов, Воропаев, автор статьи пишет:

> «Именно пламенные борцы за лучшую жизнь своего народа, в чьих сердцах горит чистый и светлый огонь свободы, подлинные гуманисты нового века стали и не могли не стать любимыми героями Горького и Смирненского, Арагона и Вапцарова, Фадеева и Неруды, Шолохова, Караславова, Хикмета и всех тех творцов литературы, которые благодаря своему острому взгляду и страстной любви к людям труда сумели решить задачу глубокого эстетического освоения и оценки действительности и ее создателей».

Как подчеркивается в той же статье, у каждого из героев, представляющих в литературе новый мир, вовсе не обязательно имеется прототип среди реально существующих людей. Но в каждом из этих персонажей обязательно нашли воплощение почерпнутые из реальной действительности типические черты, без которых немыслим вообще истинный герой современности.

Ревизионисты всех мастей и оттенков сходятся обычно на том, что «ведущей осью» художественной литературы во что бы то ни стало должно быть подробное и разнообразное отображение отрицательных сторон жизни.

> «Они не признают,— пишет Дунчев,— не только коммунистическую идейность как эстетическую категорию, тесно связанную с самой природой положительного героя, но и стараются столкнуть литературу народа, строящего социализм, с ее главной позиции, пытаясь доказать, что положительное начало не должно быть главным, ведущим в социалистической литературе».

Такого рода рассуждения лишний раз напоминают о том,— заключает автор статьи,— что проблема создания положительного героя в литературе социалистического реализма продолжает оставаться центральной проблемой, для успешного решения которой следует использовать все средства художественного воздействия на читателя, все краски, имеющиеся на палитре писателя.

Каким, однако, должен быть новый герой? Ответ на этот вопрос стремится дать другой болгарский критик, **Григор Попов**, в статье, тоже напечатанной в журнале «Септември».

> «В болгарской литературе несколько лет назад,— говорится в статье,— появилось новое поколение, дерзко и уверенно начавшее свой путь с изменения некоторых укоренившихся схематических представлений о положительном герое и талантливо отразившее многие черты современности...»

Положительный герой в произведениях этих писателей — обыкновенный человек, рядовой строитель социалистического общества; вместе с тем, стараясь в своем

творчестве во что бы то ни стало избегнуть шаблона и схематизма, кое-кто из этих молодых писателей, по мнению Григора Попова, намеренно и без достаточных оснований усложняет образ положительного героя и таким путем — вольно или невольно — как раз и оказывается во власти схематической предвзятости.

Страх перед обвинением в схематизме и шаблоне, замечает Григор Попов, заставляет некоторых из молодых писателей иной раз

> «искусственно, без достаточной психологической мотивировки усложнять образ положительного героя; в таких случаях по воле автора герой переживает то, чего он сам по-настоящему не чувствует, его разводят с женой, толкают на путь кабацкой жизни, делают из него Фому-неверующего и бог знает еще кого, только бы он обязательно превратился в сложную натуру».

Характерно, что эта нарочитая усложненность, это зачастую демонстративное стремление к «антисхематизму», наблюдаемое подчас в сегодняшней болгарской литературе, ведет, по мнению Григора Попова, к утере чувства современности. Развитие действия, эволюция характера дается, так сказать, «вне времени и пространства». «Особенно тревожит то обстоятельство,— констатирует критик,— что молодые, именно молодые бегут от современности и вместе с тем пытаются изобразить мелкие бескрылые подробности обыденного».

> «Иным, совсем иным является герой нашей современности,— заключает Григор Попов.— Это вовсе не идеальный герой, но он должен отразить в себе особенности нашего бурного и необыкновенного времени и должен служить примером для подражания. Такой пример для подражания и должна создавать наша новая, социалистическая литература».

«ПОДПОЛЬЕ СВОБОДЫ» В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

«Состояние глубокого кризиса» — такими скупыми, но выразительными словами охарактеризовал нынешнее положение культуры в Аргентине видный писатель этой страны **Эрнесто Сабато.** Подвергая уничтожающей критике методы обращения властей и, в частности, федеральной полиции с «инакомыслящими» деятелями литературы и искусства, Сабато в статье, напечатанной на страницах уругвайского еженедельника **«Марча»**, с горькой иронией пишет, что в результате такого рода реакционной деятельности

> «отставание Аргентины от Испании на том пути, который ведет в пропасть, резко сократилось».
>
> «После того как издатель Гонсалес Лосадо был приговорен к шести месяцам тюрьмы, после ликвидации издательства и закрытия двух имевших такое важное значение журналов, как «Эль грильо де нанель» и «Гасета литерариа», мы можем достойно соперничать с Франко,— иронизирует автор статьи.— ...Знаменательным является тот факт, что в то время, как хорошие произведения запрещаются, книжные киоски тоннами продают продукцию Микки Спиллейна (американский поставщик низкопробного чтива из жизни гангстеров и уголовного дна.— *Ред),* а телевизионные приемники распространяют тысячи телефильмов, пропагандирующих юношескую преступность. Эти фильмы, разумеется, разрешены к демонстрации, ибо страна, где их изготовляют, является ныне оплотом «западного духа».

Весьма трезвую, ясную и в то же время уничтожающе правдивую оценку дает Эрнесто Сабато тем проституированным представителям буржуазной интеллигенции, которые готовы под видом защиты «вечных ценностей демократии» идти открыто в услужение к реакции, находящейся у власти в стране.

> «Мир сегодня,— читаем мы далее в той же статье,— полон рыцарей, которым бомба представляется полезной, если ее сбрасывают на город, населенный «только японцами», а пытки кажутся благодетельными, если их жертвами становятся «грязные негры». Интеллигенты из Буэнос-Айреса — мастера подобных словесных подтасовок... Они издают стоны по телеграфу, когда на Кубе расстреливают одного из полицейских Батисты, но они оставались немы, когда тот же полицейский избивал студентов в Гаване. Сохраняя бесстрастие при виде миллионов убитых и охваченных ужасом жителей Алжира, не проронив ни слова по поводу убийства Патриса Лумумбы, глухие к голосам трехсот тысяч людей, ставших жертвами тирании Батисты, они теперь поднимают истошный крик в связи с расстрелом нескольких сот контрреволюционеров. Эти столь чувствительные писатели, эти сторонники абсолютной демократии не открыли рта также и на протяжении тех тридцати лет, в течение которых кровавый паяц эксплуатировал и терзал народ Доминиканской республики, пользуясь поддержкой Соединенных Штатов».

На какой почве «произрастает» это чудовищное и вместе с тем, к сожалению, не слишком редко встречающееся в странах капитализма политическое двуличие? Что служит для всех этих сполна и неплохо оплачиваемых лицемеров своеобразным прикрытием и щитом, при помощи которых они надеются защититься от спра-

ведливого гнева народного? Все это происходит,— отвечает Эрнесто Сабато,—

«во имя защиты Духовных Ценностей Запада и Христианской Цивилизации. Любопытно, что даже самые реакционные националисты, которые обычно всегда издевались над варварством янки, открыли теперь,— иронизирует писатель,— что Соединенные Штаты являются великим оплотом этих ценностей. Не ку-клукс-клан ли является защитником христианской цивилизации? Разве он не доказал этого, сжигая и кастрируя негров? А кока-кола — не символ ли святого креста? А бомба, сброшенная на Хиросиму, разве не есть воплощение все той же христианской цивилизации? А сенатор Маккарти — не ее ли пророк?»

«Я не верю в это,— продолжает Эрнесто Сабато.— Я всегда буду глубоко убежден в том, что такая революция, как революция на Кубе, стремясь превратить рабов в людей, гораздо ближе к духу христианства, чем компания «Юнайтед фрут», хотя руководители последней, может быть, и надеются заслужить райское блаженство, эксплуатируя малолетних негров в Гватемале».

Выступление видного аргентинского писателя Эрнесто Сабато в уругвайском журнале «Марча» интересно не только само по себе. Оно знаменательно еще и в качестве неопровержимого свидетельства идейного размежевания в лагере деятелей культуры современной Аргентины. Несмотря на откровенный нажим, оказываемый на них реакцией внутри страны и через нее правящими кругами Соединенных Штатов, далеко не все писатели даже из числа тех, кого буржуазия считает «своими», согласны сложить оружие и отказаться от критического отношения ко всему происходящему сегодня в Аргентине.

В том же номере уругвайского журнала «Марча» известный парагвайский писатель **Аугусто Роа Бастос** напечатал яркую статью под красноречивым заголовком **«Парагвай, год нулевой»**. В ней, так же как и в статье Эрнесто Сабато, с убедительной наглядностью показано, сколь губительным для подлинной культуры является установление господства реакции, выступающей в качестве прямой агентуры «империи доллара».

Парагвай в географическом отношении ближайший сосед Аргентины. Что касается политического режима, то о ней Эрнесто Сабато пишет следующими словами: «Обессиленный и истощенный Парагвай полностью подчинен прожорливым иностранным монополиям, действующим в союзе с военными и гражданскими олигархиями»,— такова, по мнению Роа Бастоса, сейчас обстановка, царящая на его родине. А такого рода условия «препятствуют органическому росту национальной культуры, раздробленной и до крайности обессиленной».

«Душат всё,— сообщает далее автор статьи,— и сколько-нибудь систематическое развитие научных и технических дисциплин... и всякую литературную и художественную деятельность, если она, по мнению представителей власти, содержит в себе хоть малейшую угрозу. Допускаются только — со снисходительностью и симуляцией великодушия — такие изолированные и случайные проявления салонной культуры, которые лишены какого бы то ни было значения. Подобная культура никого не представляет и ни о чем не свидетельствует, бесславно возникает и столь же бесславно умирает, отвергнутая народом, не породив плодотворных стимулов».

Большая часть значительных писателей Парагвая находится в изгнании. И тем не менее родник животворной мысли полностью заглушить не удается. Недовольные создавшимся положением деятели культуры, сообщает далее автор, «ищут убежища в подполье. Они стали подспудной силой, и можно предположить, что сила эта втайне все увеличивается, становится разрушительной, ждет своего момента».

Итак, в парагвайском «подполье свободы» до поры до времени господствует грозное молчанье. Но дух протеста все же проявляется и в этой стране, несмотря на все усилия его гасителей.

«В доступной обозрению литературной деятельности,— пишет Роа Бастос,— следует отметить упорную волю к жизни, проявляемую такими изданиями, как «Алькор» и «Диалого», которые время от времени отражают на своих страницах, с вынужденными недомолвками и понятной сдержанностью, тревогу и беспокойство людей, не могущих отказаться от деятельности в сфере культуры, несмотря на обстановку презрения и тупого господства грубой силы, в которой они живут».

Помимо этих открытых выступлений из рук в руки передаются напечатанные на машинке («как в маки»,— поясняет Роа Бастос) стихи и рассказы, свидетельствующие о том, что «человек всегда и повсюду способен оказаться выше обстоятельств».

Еще одним важным «ферментом интеллектуального брожения в стране, которое имеет, быть может, наибольшие перспективы в ближайшем будущем», Роа Бастос считает деятельность университетских кружков молодежи; воспитание там идет под знаком передовых идей эпохи, в непосредственном контакте с действительностью и с борьбой за национальное освобождение.

«Накал общественной энергии, на огне которой закаляется эта молодежь,— сообщает Роа Бастос,— позволяет надеяться, что именно из этих рядов выйдут в скором времени создатели подлинных ценностей парагвайской культуры».

ВАШИНГТОНСКАЯ УПРЯЖКА

Все новые и новые — прямые и косвенные — данные свидетельствуют о том, что правящие круги Вашингтона сейчас всерьез решили опереться на деятелей культуры, и в первую очередь на писателей, при осуществлении своих политических и пропагандистских планов. Таким образом, выступление свыше года назад маститого поэта Фроста на торжественной церемонии вступления Кеннеди в Белый дом явилось не только эффектным рекламным эпизодом, но и — может быть, даже неожиданно для самого поэта — своеобразным сигналом о перемене курса. Если, скажем, предшественники Кеннеди — Трумен и особенно Эйзенхауэр — считали, что в одну упряжку не стоит и нет смысла впрягать «атомно-ракетного коня» Пентагона и «трепетную лань» американской литературы, то сейчас, видимо, в Белом доме придерживаются на сей счет иных взглядов. Об этом свидетельствует также учреждение поста специального советника по делам культуры при президенте США. Характерно, что на этот пост назначен Хэкшер, известный до сих пор в качестве одного из редакторов газеты «Нью-Йорк геральд трибюн».

Одновременно на страницах так называемой «большой прессы» все чаще и настойчивее звучат солидные и «независимые» голоса наиболее авторитетных буржуазных критиков, высказывающих подобные суждения о современной литературе и ее наиболее видных представителях. Не то чтобы — упаси господи! — ведущие буржуазные писатели в США прямо подрывали своим творчеством основы существующего строя, не об этом речь. Речь идет о том, что на данном этапе свойственная некоторым из них «комнатная строптивость» или анархическое погружение в дебри собственной индивидуальности являются — с точки зрения дирижеров американской пропаганды — занятием политически нерентабельным и психологически неэффективным. Обо всем этом нельзя не вспомнить, читая статью авторитетного соратника мистера Хэкшера, известного литературного критика газеты **«Нью-Йорк таймс» Дональда Адамса.**

Мистера Адамса, как явствует из его статьи, современная американская буржуазная литература не устраивает. Он не согласен с теми, кто

> «преувеличивает трудности, стоящие перед современными романистами, драматургами и поэтами, стремящимися дать стройное истолкование смятенному и беспорядочному миру, в котором они живут».

Более того: Дональд Адамс считает, что спокойствие общества вообще «не является обязательным условием создания хорошей литературы». И ссылается при этом на пример России XIX века, которая «несмотря на глубокое и бурно выраженное недовольство, дала великую литературу». Не желая в данном случае полемизировать с Дональдом Адамсом, мы должны все же отметить, что величие русской литературы XIX века как раз и состояло в том, что она с огромной художественной силой не только отражала, но и сама выражала беспокойство трудовых низов, глубокое и все возрастающее недовольство народных масс существовавшими тогда порядками. Что касается современной американской литературы, то, как явствует из статьи Дональда Адамса, он нисколько не считает, что главной задачей буржуазных писателей США должно стать выражение недовольства и неудовлетворенности американского народа.

> «На мой взгляд,— подчеркивает Адамс,— рядовой, так называемый «серьезный» роман представляет собой не что иное, как упражнение в самоочищении, попытку писателя избавиться от собственных навязчивых мыслей. Подобное же стремление лежит в основе многих наших художественных автобиографий, как бы хорошо порой они ни были написаны. Я не отрицаю того, что некоторые из лучших произведений мировой художественной и в том числе и автобиографической литературы тоже уходят корнями в эту прогорклую почву».
>
> Между тем, напоминает Дональд Адамс, «мы живем в такое время, когда у нас существует острая необходимость осознать себя как нацию и быть понятыми другими. Мы в недостаточной степени стараемся этого добиться, и никто не в состоянии исправить положение лучше, чем писатель».

Итак, ситуация ясна: мистер Адамс призывает современного американского писателя помочь своему народу «осознать себя как нацию» не в отвлеченной, абстрактной форме, а, так сказать, вполне конкретно, причем делать это следует на страницах книг.

Нельзя сказать, чтобы некоторые претензии, выдвигаемые Дональдом Адамсом к современной американской литературе, были полностью необоснованы или совсем неверны. Наоборот, отдельные его упреки представляются вполне своевременными и встречаются не только у него, но и у других вдумчивых обозревателей сегодняшней литературной жизни в США. Все дело в выводах, которые следуют из этих претензий.

> «Чем объяснить, к примеру, существующий у нас культ развлечений? Что означает эта «мания развлекательности», охватывающая все большее число людей и находящая отражение во многих наших популярных журналах? Почему мы уделяем столь преувеличенное внимание певцам, которые не умеют петь, комикам, которые не смешны, устроителям выставок, которым нечего выставлять? Почему имена выдающихся инженеров,

врачей, педагогов неизвестны широкой публике? Что считает публика столь важным в финансовой стороне контракта, только что подписанного тем или иным бейсбольным игроком или футбольным тренером?

...Укажите мне роман, в котором была бы остро поставлена проблема нарушенных отношений между мужчиной и женщиной в Америке, назовите роман, который докопался бы до сути противоречий между рабочим и работодателем, где роман, с большой силой повествующий о ненормальных отношениях, существующих в нашей стране между детьми и родителями? Справедливо, правда, и то,— продолжает Адамс,— что некоторые из этих проблем характерны не только для Америки или для нашего времени вообще, но, как мне кажется, у нас они проявились наиболее ярко, и на все эти вопросы нельзя дать ответ, или, по крайней мере, нельзя их осветить путем спиритического обращения к призраку несчастного детства. Они требуют более широкого угла зрения».

Говоря о произведениях, которые сегодня «рисуют американцев как нацию», Адамс высказывает явное и резкое недовольство ими.

«Я утверждаю,— пишет он,— что за исключением книг, построенных на фактическом материале, мы недостаточно пристально вглядываемся в себя. Довольно часто мы стараемся понять душу отдельного индивида — это верно, но мы не пытаемся осмыслить тот образ, какой Америка в целом являет остальному миру и самой себе... Хемингуэй, как бы ни были велики его талант и его преданность писательскому делу, ничего не добавил к пониманию его родины как американцами, так и читателями в других странах».

Итак, даже Хемингуэй с его мировой славой и первоклассным талантом не устраивает требовательного мистера Адамса. Попробуем разобраться, в чем же здесь дело.

Мы уже упоминали о том, что статья, которая здесь рассматривается, написана не просто умело, а, так сказать, по всем канонам литературной дипломатии: ведь и критику иной раз, говоря словами Талейрана, язык дается для того, чтобы скрывать свои подлинные мысли или, по крайней мере, не высказывать их прямо в лоб.

В статье Дональда Адамса содержатся верные соображения о современном состоянии американской литературы. Подкупает в ней — особенно неискушенного читателя — заинтересованность автора в тех проблемах, о которых он говорит.

И все же... Да, здесь как нельзя более уместно это стандартное «и все же», не раз встречающееся в критических суждениях о литературе. И все же суть выступления Адамса не в его частных высказываниях о писателях и их книгах, а в его выводах, в задачах, которые он перед литературой ставит.

Каковы же эти задачи, сформулированные Адамсом в духе, очень напоминающем лозунги официозной пропаганды в США? Их две: во-первых, сегодняшняя литература США и писатели, ее представляющие, обязаны своим творчеством способствовать тому, чтобы американцы «осознали себя как нация»; во-вторых, писателям следует в своих книгах создать «подлинный образ Америки» и всячески содействовать его распространению как внутри страны, так и за ее пределами.

Но, позвольте, разве американцы уже давно раз и навсегда не осознали себя как нация? Разве разнообразнейшая духовная и материальная продукция, изготовляемая за океаном, образно говоря, не отмечена с полным на то основанием общенациональной маркой — «Made in USA»? Зачем же понадобилось мистеру Адамсу ни с того, ни с сего бить тревогу?

А вот зачем. Ключ к разгадке этого «секрета» заключается в следующем: разумеется, американцы давно осознали себя как нация. Но уровень, накал, градус этого «осознания» не всегда одинаков. В те периоды, когда перед народом стоит большая, вдохновляющая цель — скажем, вооруженная борьба с фашизмом в годы второй мировой войны,— уровень этого «осознания» в достаточной мере высок и единство народа налицо.

Когда же определенные круги, стоящие у власти, такой цели перед американским народом поставить не могут, на первый план выступают социальные противоречия, а «единая нация» особенно ясно обнаруживает, что она состоит из антагонистических классов, непримиримо враждебных друг другу. Иными словами, в такие периоды значительно более остро сказываются все пороки и специфические черты буржуазного общества.

И Дональд Адамс по существу призывает литературу к тому, чтобы она присущими ей средствами смягчала остроту создавшегося положения, чтобы она, вопреки истине, рисовала американцев как единую, лишенную противоречий, процветающую нацию. Он делает это полунамеком, более чем скупо, старательно избегая назойливых поучений и дидактических наставлений. Но скрытый смысл его призыва, если вдуматься в него поглубже, от этого нисколько не меняется.

Столь же непонятно, на первый взгляд, и настоятельно адресуемое писателям приглашение создавать в своих книгах «образ Америки». Но ведь до сих пор самые различные писатели, начиная от Уильяма Фолкнера и кончая Альбертом Мальцем, по-своему только этим и занимались, правда, исходя из присущих им взглядов на жизнь. Более того: даже и те писатели, чье дарование выросло, как выражается Адамс, на «прогорклой почве» литературы «само-

очищения», ведь тоже занимались не чем иным, как созданием образа Америки, хотя он и был отражен в их книгах сквозь призму одинокой человеческой судьбы. Понимает ли все это Дональд Адамс? По нашему мнению, отлично понимает. Тогда в чем же опять-таки смысл его призыва? А в том, что так часто встречающийся в современной литературе США «образ Америки» — смятенной, страдающей, пораженной незаживающими язвами безработицы, расизма, коррупции, неуверенности в будущем, столь далекой от «процветания» и не имеющей ничего общего с рекламными плакатами туристских фирм,— этот «образ Америки», видимо, мистера Адамса нисколько не устраивает. О, он вовсе не против того, чтобы литература касалась «больных вопросов», список которых он сам с завидной смелостью приводит в своей статье. Вся соль в том, как эти вопросы следует в конечном счете освещать и разрешать, к каким выводам следует подводить читателя!

Здесь мистер Адамс на уступки не пойдет. Здесь он стоит на страже такого «образа Америки», который будет всемерно содействовать тому, чтобы американцы «осознали себя как нация».

И еще есть у мистера Адамса в колчане одна весьма ядовитая стрела: внешнеполитическая, представительская функция американской литературы!

> «В течение многих лет мы предостерегающе трясли пальцем перед Европой, Азией, Африкой и нашим собственным южным полушарием. Мы хотим, чтобы все эти народы боготворили нас, подражали нашему образу жизни».

Здесь, по мнению Адамса, тоже есть над чем потрудиться современному писателю, если, добавим мы от себя, он знает, как следует подавать вполне пристойный «образ Америки», удовлетворяющий требованиям литературного представительства и поддерживающий репутацию страны на должном уровне.

Сказанного, думается, вполне достаточно для того, чтобы понять: требования Дональда Адамса, обращенные к литературе и писателям, далеко не в последнюю очередь продиктованы целями и задачами официозной пропаганды в США. Вывод, к которому мы пришли, нетрудно подкрепить высказываниями Дональда Адамса, которые содержатся и в других его статьях. Мы позволим себе здесь сослаться лишь на две такие статьи. Одна из них специально посвящена творчеству Хемингуэя. В ней Дональд Адамс называет его «великим писателем» и даже сравнивает легендарную его судьбу с судьбой Байрона. И в то же время, суммируя свой взгляд на все творчество Хемингуэя, Адамс пишет:

> «Он не был мыслителем. Он не понимал взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он не понимал социальных, политических и экономических течений своего времени. Он никогда не достигал эмоциональной зрелости и уравновешанности взгляда на жизнь человеческую».

Можно ли после всего сказанного вообще говорить о Хемингуэе как о подлинно великом писателе?

Если верить Адамсу, Хемингуэй «не понимал политических и экономических течений своего времени». Разумеется, Хемингуэй не был писателем, в полной мере постигшим всю сложность социального устройства современного общества. (Да и Дональд Адамс вряд ли это имеет в виду). Тем не менее подлинный талант честного и мужественного художника, умеющего смотреть правде в глаза, помог Хемингуэю ясно сказать в своих книгах о том, что буржуазный мир плох и должен подвергнуться изменениям; «не понимая политических течений», он тем не менее множество раз в своем творчестве и в жизни выступал — с пером и оружием в руках — против фашизма! Он не побоялся одним из первых с удовлетворением одобрить кубинскую народную революцию, хотя, как уверяет тот же Адамс, и не достиг «эмоциональной зрелости». Так и «не разобравшись» в отношениях между мужчиной и женщиной, Хемингуэй все же дал, быть может, самое проникновенное во всей современной американской литературе описание сдержанной, скрытой, скупой любви.

Почему же мистер Адамс, зная обо всем этом, подвергает все-таки Хемингуэя столь суровой «проработке» и отказывает его книгам в праве на то, чтобы представлять «образ Америки» и способствовать «единству нации»? Не потому ли, что творчество Хемингуэя и выраженные в нем взгляды писателя нисколько не способствуют поддержанию того «образа Америки», о котором проявляет заботу сам Дональд Адамс?

Можно ли назвать, однако, имя писателя, который пользуется сейчас одобрением Дональда Адамса и, следовательно, способен удовлетворить всем выдвигаемым им требованиям? Здесь наш взгляд падает на статью Адамса о ренегате Говарде Фасте. Статья эта полна восторгов и кишит комплиментами. Пренебрегая элементарной политической брезгливостью, которая должна быть все же свойственна и буржуазным литературным критикам, он превозносит Фаста на все лады; признавая, что познакомился с его книгами только после совершенного Фастом предательства, Дональд Адамс объявляет, что новый его роман *«войдет в число классических произведений»*.

Вряд ли кто-либо усомнится в том, что такого рода признание серьезного и авторитетного критика не могло быть продиктовано чисто литературными соображениями.

Тогда какими же? — спросит читатель. А может быть, и не спросит: ведь и так давно уже все более или менее ясно.

ИНТЕРВЬЮ Ч. П. СНОУ

Интересную беседу с видным английским писателем **Ч. П. Сноу** передало британское телевидение, а затем в виде

записи опубликовал журнал **«Энкаунтер»**. В основном беседа была посвящена жгучим и злободневным политическим и культурным проблемам современности, причем важное место в ней было отведено отношению Сноу к Советскому Союзу.

«По-моему, Чарльз,— начал без обиняков корреспондент телевидения,— вы, будучи откровенным индивидуалистом, меньше, чем кто-либо, похожи на коммуниста; тем не менее, я замечаю, что вы в некотором роде популярны в Советском Союзе!»

В дальнейшем по ходу беседы корреспондент телевидения подчеркнул, что не вкладывает ничего отрицательного в это свое утверждение, и просил Ч. П. Сноу сообщить, чем такая популярность, по его мнению, объясняется.

Сноу согласился с тем, что, как ему кажется, он действительно принадлежит к числу западных писателей, которые известны в СССР. Что касается его — Сноу — отношения к Советскому Союзу, то по этому поводу он сказал следующее:

«Я люблю русских в общем и целом. Смешно звучит, конечно, когда говоришь, что любишь целую страну, но мне нравится большинство русских, с которыми я познакомился. Меня очень интересует все, что они делают; я понимаю их и надеюсь, что они правы, полагая, что я более беспристрастен, чем другие граждане Запада, и стремлюсь действительно понять, что у них происходит...»

Рассказав о популярности в Советском Союзе таких разных писателей, как Грэхем Грин и Арчибальд Кронин, и вызвав, кстати говоря, этим сообщением живейшее удивление у корреспондента телевидения, Сноу продолжал:

«Русские всерьез намерены сейчас переводить книги большинства писателей, достигших высокого уровня художественного мастерства, таких, кто, с их точки зрения, не настроен к ним враждебно. Это означает, что они не будут переводить тех, кого они считают фашистами. И это безусловно справедливо. Я думаю, что они проявляют бо́льшую широту взглядов, чем мы».

Здесь корреспондент британского телевидения решил, так сказать, «нажать на педаль».

«Можете ли вы представить себя живущим счастливо в коммунистическом обществе?» — спросил он.

Прямота постановки вопроса, видимо, не смутила Сноу, и он принял вызов:

«Думаю, что да... Думаю, что я мог бы быть счастлив в Советском Союзе. Вероятно, кое-что показалось бы мне стеснением свободы, но многое я бы высоко оценил. Особенно богатство духовной жизни, что я очень высоко ставлю».

Но корреспондент телевидения по-прежнему не унимался. Он попытался «сыграть» на общеизвестной симпатии Сноу к Соединенным Штатам, на его давних связях с этой страной. Следует вопрос:

«А если бы вам предложили до конца ваших дней прожить в Америке или в России, что вы предпочли бы?»

Сноу с обезоруживающей откровенностью обходит и эту «ловушку».

«Трудно сказать. Дело в том, что я люблю Америку и для англичанина знаю ее очень хорошо... И все же, положа руку на сердце, признаюсь, что мог бы быть счастлив в каждой из этих двух стран».

В дальнейшем ходе беседы затрагивается вопрос о мировоззрении Сноу.

«...Я всей душой на стороне неимущих,— убежденно подчеркнул писатель.— Я никогда не забуду, что сам был бедняком. Мне кажется, что мир, где одна треть живет прекрасно, а две трети голодают и очень рано умирают,— это такой мир, с которым никто не должен соглашаться».

Исправить существующее положение, по мнению Сноу, удастся лишь при условии, если человечество избавится от угрозы войны и, следовательно, если между СССР и США наступит коренное улучшение отношений. Советско-американские отношения, подчеркивает Сноу, являются вообще «краеугольным камнем» всей мировой политики. Что касается таких стран, как Англия, Западная Германия или Франция, то их будущее в случае возникновения новой мировой войны представляется Сноу трагическим и безнадежным.

«Наше государство находится в исключительно незавидном положении, ибо мы наверняка потеряем 90% населения...

Мы — военная база, которую не так просто захватить обычными средствами, и прямая военная необходимость потребует, чтобы нас вывели из строя».

«На карту сейчас поставлено очень многое»,— заключает Сноу, и вновь возвращается к мысли о категорической необходимости решительного улучшения отношений между СССР и США, тем более что народы обеих стран не питают никакой вражды друг к другу.

ПУБЛИЦИСТИКА

ХОЛЛАНД РОБЕРТС

АМЕРИКА СРАВНИВАЕТ, АМЕРИКА ЗАДУМЫВАЕТСЯ

В бурных спорах, ведущихся сегодня в мире, особое внимание уделяется одной важнейшей, центральной проблеме. О ней пишут все газеты и журналы, ей посвящается огромное количество радиопередач, она обсуждается в каждой школе, в каждом клубе, в каждом профсоюзе, в церквах и в частных домах. Уже тысячи раз хоронили призрак, появившийся более столетия тому назад, но всякий раз он возрождается, как феникс из пепла. Более того, этот «призрак» облекается в плоть и кровь: коммунизм дает мощные всходы, как брошенное в землю семя под ласковым ветерком и лучами весеннего солнца.

Он все больше и больше занимает умы людей во всех странах. У нас, в Соединенных Штатах, некоторые важнейшие аспекты коммунизма постепенно доходят до сознания многомиллионных масс. Несмотря на постоянное замалчивание правды о коммунистическом учении, несмотря на бесконечную клевету и искажение фактов, американцы начинают ощущать его всепроникающую, животворную силу. Хотя коммунизм подвергается в США массированным, тщательно подготовленным атакам, американцы чувствуют, что он может дать им многие блага, в которых они так давно и так остро нуждаются. В капиталистическом мире все советское, коммунистическое становится эталоном для сравнения: заработная плата, продолжительность рабочего дня, медицинское обслуживание, система просвещения, мастерство балета Большого театра и ленинградского театра им. Кирова, исполнительское искусство Ростроповича, Гилельса и Ойстраха, достижения советской культуры в целом. Пожалуй, нет такого дня, чтобы американец, имеющий глаза и уши, не читал или не слышал о какой-нибудь дискуссии по поводу достижений, «пороков» и достоинств коммунизма. Из года в год в Соединенных Штатах увольняли учителей по обвинению в том, что они обучают детей коммунизму, или сочувственно к нему относятся, или хотя бы имеют о нем представление. А теперь школам и колледжам требуются преподаватели, которые могли бы рассказать о коммунизме на уроках или прочитать курс лекций о нем. Это — новейшее увлечение в области преподавания. В обоснование такого рода нововведений выдвигается следующий довод: одного только замалчивания коммунизма оказалось недостаточно, а посему необходима «прививка» от опасных мыслей. Не довольствуясь этим, различные магнаты субсидируют школы антикоммунистической пропаганды, наподобие тех, которые организует некий д-р Фред Шварц, импортированный недавно в США из Австралии в качестве нового Христа-спасителя; этот Шварц выступает в Сан-Франциско на университетских собраниях и по телевидению.

Происходит нечто странное. Излагать коммунистическое учение и участвовать в дебатах о нем приглашают всех, за исключением самих коммунистов. Так дело

обстоит в колледжах, клубах, церквах, в печати, на радио и телевидении. Коммунистов, как правило, отстраняют от преподавания и от участия в серьезных дискуссиях; они подвергаются беспрестанным нападкам, против них возбуждают преследование на основе федеральных законов и законов отдельных штатов, предусматривающих различные репрессии, от смертного приговора, как, например, в Техасе, до отказа предоставить коммунисту квартиру в муниципальном доме или правительственную стипендию. В качестве экспертов по вопросам коммунистической теории привлекают лишь заклятых врагов коммунизма.

И тем не менее интерес к коммунизму растет по всей стране. Это объясняется такими вполне очевидными причинами, как положение на Кубе и в Лаосе, во Вьетнаме и в Корее, в Африке, в Азии и во всей Латинской Америке; неустойчивость нашей экономической системы и рост безработицы; притягательная сила Программы Коммунистической партии Советского Союза, озарившей своим сиянием мир, словно новое светило,— Программы, в которой поставлена великая задача воспитания нового человека. Каким он будет, этот новый человек? Как сложится его жизнь? Весь мир — восточный и западный — начинает все больше и больше задумываться над этими вопросами. На эту тему напишут бесчисленное множество книг. Однако самые основные моменты, основные пути формирования нового человека смело намечены и сформулированы в самой Программе.

Высокая культура, моральная чистота, цветущее здоровье — таковы главные черты новых людей, членов бесклассового общества, которым они сами станут управлять. Воспитанные в духе интернационализма и подлинного гуманизма, они будут полны чувства ответственности за судьбы всего человечества. Залог тому не только новая Программа, но и успехи социалистического общества, на которых и зиждутся его великие планы.

Разве может не поражать американцев, например, проведенная в СССР отмена подоходного налога с низкооплачиваемых категорий населения (в 1965 году налоги будут отменены полностью). Итак, древняя поговорка, гласящая, что в жизни человеческой все преходяще, кроме налогов и смерти, отныне уже верна лишь наполовину. Мало того, в порядок дня поставлено развернутое наступление ученых на саму смерть; оно стало возможным благодаря тому, что всем советским гражданам обеспечено бесплатное медицинское обслуживание, а их благосостояние неуклонно растет. За каких-нибудь двадцать лет доходы советских людей увеличатся на 250 процентов. Еще более быстрым будет рост производства товаров, как и темпы строительства жилищ, культурных учреждений, предприятий бытового обслуживания. Все это прочная гарантия на будущее, какой ни одно правительство никогда еще не давало своему народу.

Другой гарантией прекрасной новой жизни и расцвета культуры в Советском Союзе является постепенное сокращение рабочего дня, которое следует за ростом производства. Советские люди уже перешли на сорокачасовую рабочую неделю, а с ростом производительности труда и дальнейшей автоматизацией производства рабочий день и рабочая неделя еще больше сократятся. В результате трудящиеся смогут в избытке располагать свободным временем для пополнения своего образования, для культурного роста. И люди, живущие в капиталистических странах, с волнением задумываются над тем, что в Советском Союзе будет самый короткий в мире рабочий день, самая высокая производительность труда и самая высокая заработная плата. Каждому становится ясно, что советская экономика, над которой не тяготеет бремя долгов и депрессий, своими достижениями открывает новую эру в истории человечества.

Благодаря успехам, достигнутым СССР в строительстве социализма, советские люди обрели прочную уверенность в завтрашнем дне, какой не испытывает ни один народ в капиталистическом мире. Эту уверенность я ощущал везде — на улицах и в концертных залах, в жилых домах Москвы и на широких проспектах Ташкента. Она чувствуется в ясных и бодрых голосах детей, в сосредоточенности людей, углубленных в повседневную работу и повышающих валовую продукцию страны до небывалого в мире уровня, в жизнерадостности молодежи, которая по вечерам заполняет зрительные залы Большого театра и многих тысяч других театров и Домов культуры, а летом проводит отпуск в туристских лагерях на озере Байкал или загорает на теплом песке черноморского побережья. Такую бодрость духа я обнаружил у советских людей еще

в 1934 году, когда беседовал с ленинградскими студентами. Каждый из них совершеино ясно представлял себе, что́ именно он должен делать, чтобы способствовать процветанию своей родины и занять в обществе достойное место, которое в то же время даст ему возможность для дальнейшего роста. Во время своих поездок по СССР в 1959, 1960 и 1961 гг. я вновь и вновь убеждался, что уверенность в прекрасном будущем характерна для всех советских людей, с которыми я беседовал и которых мне довелось увидеть.

Именно этим твердым убеждением, что жизнь будет день ото дня становиться все счастливее и краше, проникнута новая Программа КПСС. Вера в будущее, присущая советским людям, укрепилась еще больше, и прочной основой для нее послужили поистине грандиозные успехи социалистического строительства.

Советские люди знают, что в стране с каждым годом будет производиться все больше мяса, молока, фруктов, овощей. Рост производства этих продуктов наблюдается уже сейчас, и отсюда ясно, что страна придет к изобилию. Каждый, кто приезжает в Горький, Харьков, Омск, Алма-Ату, может убедиться, что в магазинах появляется все больше изящной одежды, обуви и тканей, что люди одеваются все лучше и лучше. В домах и магазинах все чаще видишь современную мебель и электрические приборы, быстро увеличивается выпуск радиоприемников и телевизоров, прекрасных фотоаппаратов и часов. Литературы в Советском Союзе всегда издавалось много. Не так давно я видел в книжных магазинах Самарканда толпы покупателей, и легко предвидеть, что спрос на книги будет постоянно возрастать.

Однако, как ни важен материальный базис, новый советский человек не может удовлетвориться лишь им одним. Перед советскими людьми будут открываться все новые и новые возможности для всестороннего развития их талантов в любой области культуры. Создаются условия, которые подготовят почву для «поэтов грядущего», воспетых Уолтом Уитменом в «Листьях травы». А это гарантия того, что в коммунистическом обществе гений не будет обречен на прозябание, что «ни один Мильтон не останется безгласным и безвестным», ни один таджикский или сибирский цветок не «распустится лишь для того, чтобы отцвести вдали от глаз людских и попусту растратить свой аромат».

Приведу интересный и свежий пример, доказывающий, что мы, американцы, признаем превосходство советской системы просвещения.

Недавно в Америке были переведены шесть учебников математики, по которым занимаются советские школьники, проявившие особые способности к этому предмету. Хотя книги предназначены для подростков в возрасте от 14 лет, несколько американских колледжей заказало их для своих студентов. Тем самым было опровергнуто избитое утверждение, будто советская система образования остановилась в своем развитии из-за полнейшей стандартизации. По примеру советских школ в школах США вскоре будут созданы специальные математические классы для подростков. Создание в СССР таких специальных классов и школ для детей, отличающихся незаурядными способностями к различным точным наукам (а также одаренностью в различных областях искусства), обеспечивает быстрое развитие теоретической мысли.

В настоящее время многие общественные деятели США, а также педагоги и родители серьезно обеспокоены времяпровождением и настроениями американских детей. Появилось немало горьких статей и книг, авторы которых стремятся привлечь внимание широких кругов общественности к проблемам детской преступности, к уродливому формированию молодежи как одному из следствий социального загнивания и разложения. В Советском Союзе, напротив, сама жизненная обстановка побуждает каждого гражданина посвящать себя полезному труду и учебе. Каждый человек в меру своих способностей и интересов может повышать свой уровень как в производственной области, так и в чисто интеллектуальной — в науке и технике, в искусстве и литературе. Принятая XXII съездом Программа КПСС и в этом отношении открывает новые перспективы. Совершенно бесплатное образование, широкая сеть школ для взрослых, дворцов пионеров, домов культуры, целая армия талантливых педагогов и руководителей — все это дает советским трудящимся неограниченные возможности заполнять свой досуг разнообразной культурной деятельностью, общественной работой, творческими исканиями.

Советский человек, для которого широко раскрыты все пути к знанию, будет вызывать, да и сейчас уже вызывает, зависть в тех странах, где жажда знаний остается неудовлетворенной. Чернокожие юноши и девушки и их родители, будь то в штате Миссисипи или в Южной Африке, с жадностью обратят свои взоры к светлым классам узбекских школ, где дети с различным цветом кожи сидят рядом, где расовая дискриминация и неравноправие женщин кажутся неправдоподобной, давно забытой нелепостью, о которой можно прочитать только в книжках.

Приезжая в Советский Союз, я не раз бывал в Библиотеке имени В. И. Ленина; ее огромные залы всегда были заполнены молодежью. Шоферы, ожидавшие нас в машинах, пока мы осматривали институты, заводы или колхозы, иной раз так углублялись в книгу, что не замечали нашего возвращения. Вероятно, у нас, в США, тоже есть шоферы, читающие в ожидании пассажира, но я, признаться, таких не видел...

В советском обществе претворяется в жизнь широчайшая программа физической подготовки и спорта. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый подросток будет уметь плавать, грести, играть в такие игры, как баскетбол и волейбол, кататься на лыжах и на коньках, совершать туристические походы для отдыха и укрепления здоровья. Замечательные успехи советских спортсменов, завоевавших первенство на Олимпийских играх, несомненно, предвещают, что в недалеком будущем все советские люди станут обладать превосходным здоровьем, которое в наше время удел немногих счастливцев. Результатом этого явится дальнейшее увеличение продолжительности жизни — ведь советское государство заботится о долголетии всех своих граждан, обеспечивая им здоровую и счастливую старость.

В журнальной статье, посвященной такой обширной теме, как новая Программа КПСС, можно упомянуть лишь о некоторых предусмотренных ею путях совершенствования общества. Понадобится немало статей и книг хотя бы для того, чтобы наметить новые взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые сложатся после того, как с остатками мужского превосходства будет полностью покончено и с плеч женщины окончательно свалится бремя домашних дел. Величайшая забота обо всех, кто нуждается в помощи,— о самых маленьких, об инвалидах и глубоких стариках,— не может не взволновать в наши дни все человечество. Ведь это дальнейшее развитие той идеи, что не существует человека, оторванного и независимого от всех остальных, подобно Робинзону на своем острове, что многообразные связи и отношения объединяют всех членов общества, и, следовательно, люди должны жить по принципу: «Все за одного, один за всех».

Совершенно ясно, что с развитием просвещения и механизации сельского хозяйства будет постепенно исчезать разница между городом и деревней, между культурным уровнем городского и сельского жителя. В связи с освоением космоса кругозор каждого советского юноши и каждой советской девушки приобретает космическую широту. Отныне человек уже не прикован к Земле, вскоре он устремится к другим планетам, а затем достигнет и звезд. Стираются грани между умственным и физическим трудом. Я встречался в СССР с рабочими, которые учатся на инженеров и агрономов. Рядовой человек становится философом, овладевая основами марксистско-ленинской теории.

Новая Программа Коммунистической партии — колоссальный импульс к борьбе за истинно человеческие условия существования для всех людей на земном шаре. В этом плане ее воздействие еще только начинает сказываться. За границей люди зачастую сперва обращают внимание на какой-либо из разделов Программы, касающихся удовлетворения самых неотложных нужд, и лишь постепенно начинают постигать ее как единое целое, видеть сложную внутреннюю взаимосвязь между отдельными частями, понимать, что перемены, которые она возвещает, представляют собой итог многовековой борьбы человечества, кульминационный пункт этой борьбы. Программа КПСС предусматривает гигантский скачок в том направлении, в котором слепо, ощупью двигался Платон, описывая в своей «Республике» общество, основанное на новых началах. Она представляет собой воплощение той мечты, о которой Томас Мор рассказал нам в своей «Утопии», а Беллами — в книге «Через сто лет». Будь сейчас жив Роберт Оуэн, он обнаружил бы в каждой советской деревне, в каждом советском городе разительные перемены, преследующие ту цель, ради которой он в 1825 году основал в Индиане свою утопическую колонию «Новая гармония».

Если бы выдающийся борец за мир философ Бертран Рассел обратил сюда свои взоры, то именно здесь он нашел бы ответ на роковой вопрос, поставленный им в его новой книге «Есть ли у человека будущее?».

Мыслители и поэты с древних времен писали и мечтали о золотом веке, когда все будет решаться по воле народа и каждый станет заботиться о благе ближнего своего. Ни в древности, ни в средние века, ни при капитализме общество не могло приблизиться к этому идеалу: человека низводило до уровня животного рабство, пригибали к земле суеверия, сковывали цепи социального неравенства и эксплуатации. Только сейчас, в эпоху расцвета научного социализма, стало возможным воплотить здесь, на земле, великую мечту о братстве между людьми.

Важнейшие события прошлого, изменявшие психологию человека, были в основном результатом действия сил природы и общества, над которыми люди не имели никакого — или почти никакого — контроля. Благодаря научному планированию, осуществляемому в СССР, общество получило возможность сознательно направлять процесс формирования человека, меняя условия, которые делают человека таким, каков он есть. Коммунистической партией Советского Союза впервые в истории разработан великий план, осуществление которого окажет преобразующее воздействие на все человечество. Мы живем в эпоху становления нового коммунистического человека, который изменит лик земли и покорит небеса.

В коммунистическом обществе условия жизни будут таковы, что все люди станут честными и правдивыми, каждый будет прежде всего помышлять о благе общества, всякий труд, всякое мышление станут творческими.

Достижимы ли все эти цели? Не превышает ли это человеческие возможности — за двадцать лет поднять огромную страну на такой высокий уровень, за какую-нибудь треть человеческой жизни осуществить задачу, которая оказывалась непосильной для всех философов и государственных деятелей, начиная с древности и кончая нашей эпохой?

Люди, овладевшие учением диалектического материализма и наблюдавшие великие перемены, которые произошли в СССР и во всех социалистических странах с момента их возникновения, понимают, что это не пустые мечты. Им ясно, что новая Программа КПСС — практическое руководство, с помощью которого задачу формирования нового человека сможет решить не только беззаветно смелый советский народ, но и весь род людской.

г. САН-ФРАНЦИСКО

К Всемирному конгрессу за всеобщее разоружение и мир

Долг каждого из нас

(Открытое письмо редактору)

В связи с предстоящим Всемирным конгрессом за всеобщее разоружение и мир редакция обратилась к известному английскому писателю Джону Брейну с просьбой поделиться своими мыслями о проблеме разоружения, которая волнует миллионы людей всего мира. Ниже мы печатаем ответ Джона Брейна.

Дорогой друг,

Каковы бы ни были наши политические взгляды, нет ничего более значительного для всех людей, чем мир во всем мире.

Вряд ли нужно говорить о том, что современный мир разделен. Мы должны спокойно признать этот факт, мы должны научиться жить в этом мире. Война, а тем более атомная, не выход, ибо она означает уничтожение. Возможно, кто-нибудь и сможет спастись во время этой войны, но мне кажется, что живые будут завидовать мертвым.

В некоторых кругах на Западе распространено убеждение, что мир сохраняется благодаря страху. Может быть, это и так, но я не хочу прожить свою жизнь в страхе, ибо он отравляет душу не меньше, чем радиоактивные вещества тело. Даже если мир не превратится в бескрайную могилу, он может стать огромным сумасшедшим домом.

Больше всего меня тревожит опасность, угрожающая моему пятилетнему сыну. Недавно в «Санди таймс» была напечатана карикатура, на которой один мальчик спрашивает другого: «Кем ты будешь, если вырастешь?» Помню, некоторые читатели говорили, что карикатура эта безвкусна, а по-моему, она слишком близка к истине, чтобы оставлять нас спокойными. В прежние времена родителей смущало, как объяснить детям факты жизни, а сегодня мы озабочены тем, как объяснить им факты смерти. Мы обязаны говорить детям правду, и нет возможности смягчить ее ужас. Вернее, есть лишь одна возможность — каждый из нас должен делать все, чтобы сохранить мир.

Мир во всем мире не просто идеал, не отвлеченная мечта, а первейшая необходимость, главное условие сохранения жизни человечества. Но его нельзя обеспечить без разоружения.

Я уже сказал, что мир разделен. Иногда я задумываюсь над природой этого раздела, ибо не чувствую никакой вражды к советскому народу. Правда, у меня нет желания стать коммунистом, но ведь это к делу не относится.

Всю свою жизнь я приучал себя мыслить конкретно, а не абстрактно. Когда я думаю об СССР, то вспоминаю людей, которых видел там, особенно детей. Дети невинны,

об этом не приходится спорить. А обдуманное и умышленное уничтожение невинных не что иное, как убийство. Не имеет значения, русский это ребенок, английский или американский: в известном смысле у детей нет национальности.

*Много раз за последнее время я приходил в отчаяние, почти со страхом открывал газету или включал телевизор. Мне казалось, что моя и Ваша страны обречены на взаимное уничтожение, что все связи разрушены. Потом, читая одну журнальную статью, я натолкнулся на слова, которые вселили в меня бодрость. Статья эта была написана Уильямом Герхарди в защиту сэра Чарльза Сноу *.*

Мне хочется закончить свое письмо этими словами, взятыми из «Трех сестер». Возможно, я мог бы просто процитировать их, поскольку уверен, что Вы тоже поймете их смысл и они найдут у Вас отклик. Это слова, которые мы слышим, к сожалению, недостаточно часто, слова, повторять которые можно до бесконечности. Чехов говорит, что любовь сильнее ненависти и, главное, что мы живем не только для себя: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь».

Пусть государственные деятели в Женеве также помнят эти слова и действуют в их духе.

С пожеланием мира и дружбы

искренне Ваш
ДЖОН БРЕЙН

г. ЙОРКШИР

* Известный романист и ученый активно выступающий за развитие англо-советских литературных связей.

Рисунок австралийского художника НОЭЛА КУНАЙЕНА.

ЭУДЖЕН БАРБУ

РОДИНА

Однажды весной, когда я сидел под нависшими скалами Хоробеле, похожими на разинутую пасть чудовища, и слушал пробуждающуюся под изумрудными глыбами льда Яломицу, мне открылась Родина. Я исколесил страну вдоль и поперек, видел крытые дранкой древние церквушки, словно забытые у обочины пыльной дороги, любовался с вершин Фэгэраш сказочными голубыми краями, которым недостает только песни, слушал грохот морского прибоя, но никогда еще, как в тот мартовский день, я не ощущал с такой сладкой болью безграничную любовь к родной земле, которая заставила меня написать о ней книгу.

Весенние потоки сбегали в долину, залитую ярким солнцем. Голубое безоблачное небо делало это утро еще прекраснее. Прозрачные воды Яломицы бежали в неведомую даль по руслу из белых валунов, напоминая пятнистую шкуру леопарда. Словно хитрый и жестокий зверь, рвущийся на свободу, пробивалась река сквозь лед, в плену которого ее держала зима. По пути она разрушала земляные преграды с упорством, заменявшим ей силу. Падая в верховьях на гранитные уступы, река сносила в долину стволы вековых деревьев и вдалеке, вырвавшись наконец на свободу, пела ликующий победный гимн.

Горная тропинка привела меня в хижину, укрывающуюся под таинственным пологом еловых ветвей. Там мне удалось подслушать, как падает снег, сброшенный игривыми белками, как жалобно стонет заблудившийся ветер, с тихим шорохом падают на землю сосновые иглы и с треском разрушаются горы. И мне вспомнились в тот час широкие просторы мунтенских равнин, по которым я проезжал на телеге, плеск бурливого Олта, оцепенение скованного льдом озера в сиянии луны и чудные зимние ночи, когда, сидя у печи, слышишь, как за стеной трещат от мороза деревья.

Тогда я понял, что пришло время доверить бумаге все, что видели мои глаза, все, от чего трепетом восторга наполнялось сердце. Через несколько недель я отправился в долгое путешествие, которое не окончено и поныне. И я увидел, что Румынии — это не только сказочные края, воспламенившие мое воображение. Повсюду, даже в самых глухих углах, такие же, как я, люди возводили новые города, боролись со страшным наследием прошлого. Заброшенные села, полуразрушенные бомбардировками города, остановившиеся заводы — таков был скорбный итог войны. Мне посчастливилось быть очевидцем героических дел республиканской власти, власти вчерашних угнетенных,— очевидцем возрождения Родины. Я не стану утверждать, что все уже сделано. Трудностей хватит, вероятно, не на один день, но важно подчеркнуть главное — у нас родился дух новой жизни. И эту непреклонную волю построить новую страну свободных людей мы ощущаем на каждом шагу.

Такое же восхищение, как перед каменной стеной Хоробеле, испытал я на высоте десятков метров над другими горами, воздвигнутыми из бетона, камня и железа: в Биказе, проплывая в стальной клетке над плотиной; в Хунедоаре на крыше нового блюминга, опаленный сполохами электросварки; на строительных лесах прокатного стана в Романе или на мраморных балконах Дворца «Скынтеи». Я люблю прозрачное безлюдье гор, задумчивую грусть пустынного моря на закате, могучую песню волн, шелест ржи. Но я не меньше люблю и трудовую песню столицы — грохот завода, гудение огня, удары молотов, запах дыма...

СЕЯТЕЛЬ

Рядом с несравненной, воспетой поэтами красотой нашей Родины родилась величавая красота человеческого труда. Как ни хороши золотые грезы на лоне природы, все же я не знаю более прекрасной росы, чем капельки пота на лбу металлурга, и более приятной, поистине святой усталости, чем усталость человека, воздвигшего дом.

Вокруг нас растет новая Румыния; социализм воздвигает в этих краях огромный храм на колоннах из металла, храм, в котором жгут уголь в честь бога со стальными руками, носящего имя Труд. Его служители забыли невидимого и всемогущего творца, обитающего где-то в верхних этажах неба (ведь он и сам давно забыл о них), и больше заботятся о том, что происходит здесь, на этой щедрой для усердных земле.

Лицо всей страны порозовело от кирпичей новостроек — повсюду свежий ветер полощет их красные флаги. Поезжайте в отсталую прежде Молдову, край пастухов и земледельцев,— и перед вами откроется поразительная картина: вокруг на целые километры поднимаются в небо дымящие трубы. Спуститесь в Добруджу, безрадостный край суховеев,— и вы услышите знакомый скрежет экскаваторов. Загляните в Олтению — и вы увидите там лес нефтяных вышек. Поднимитесь в заповедные горы Дорней — тишина прорезана там звоном электрических пил, заглушающих пение птиц. Пройдите по вчера еще неведомым тропинкам — и вы увидите, как люди опрокидывают на бетонные плиты расплавленный асфальт. Кто-то, как сказочный сеятель с лукошком, прошел повсюду и разбросал в этих краях целые города.

Я не стану перечислять здесь успехи страны. Да в этом и нет нужды. Существует точная и более убедительная статистика. Я хочу сказать, что, восторгаясь плодами нашего труда, с волнением думаешь о том, что в основе этих чудесных достижений лежит новая философия труда, гордая мысль свободного человека.

Писателей, журналистов упрекают за то, что мы слишком редко упоминаем в своих репортажах имена передовиков. Должен сказать, что это не всегда бывает удобно. Хотя лентяи еще не перевелись и в Румынии, но ведь энтузиастов так много, что, упомянув только некоторых из них, мы будем несправедливы к остальным.

Главное, что произошло за эти годы,— изменилось сознание людей. Я убежден, что при любом государственном строе могут существовать первоклассные рабочие, выпускающие продукцию замечательного качества; но социализм отличается именно высокой сознательностью трудящегося, который знает, что производит для себя, а не набивает чужие карманы. За время странствий по Румынии я встречался со многими соотечественниками и могу с уверенностью сказать, что решительно у всех я встречал общий интерес к будущему нашей Родины, лицо которой изменяется не по дням, а по часам. Мне хотелось, чтобы читатели послушали, как котельщик из Орадя беспокоится об исчезновении ценных пород дикого зверя и взволнованно говорит о необходимости охраны родной фауны. С изумлением слушал я рассказ одного мастера о том, как он с товарищами нашел средство улучшить качество продукции, что принесло несколько миллионов экономии. Паровозный механик изложил целую экономическую теорию, которая заставила меня призадуматься. Речь шла о действенных мерах по увеличению общественного достояния. В другой раз один рядовой профсоюзный работник рассказал мне, как он отучает молодых рабочих от пивной, заражая их страстью к рыбной ловле.

Можно со всей решительностью сказать: для трудящихся нашей страны социализм стал общим делом. Я видел, как сотни людей ликовали, услыхав о завершении, например, строительства металлургического завода, и горячо аплодировали пуску новой домны...

Только тот, кто видел единые усилия всех подлинных патриотов страны, может спокойно сказать: да, здесь существует великий подъем строителей социализма, это не какая-нибудь кратковременная вспышка энтузиазма.

Я не хочу сказать, что за одну ночь Румыния превратилась в обетованную землю с молочными реками и кисельными берегами. Меня огорчили невспаханные земли тех крестьян, которые еще не поняли преимуществ коллективизации, но это не мешает мне с гордостью заявить: еще немного терпения — и вы не узнаете Румынию. Меня не страшит будущее. Наша вековая грязь будет похоронена под бетоном, наши землянки распадутся под ударами кирок, и над ними вознесутся ввысь гранитные массивы городов.

Друзья мои, по нашим краям прошел Сеятель.

РОЖДАЕТСЯ ИДЕЯ

Много раз клялся я не писать репортажей. Но вот приближается Первое мая, и я снова брожу по заводским цехам или, положив блокнот на колено, торопливо пишу заметки под столь знакомый гул машин.

Я уже не раз бывал на «Семэнэтоаре», и каждый мой визит завершался каким-нибудь открытием, хотя внешне ничто, кажется, не изменилось. Трудовой процесс идет как заведено. Люди встают в 6 утра, в 7 приходят в цех и работают до трех, потом моются и расходятся по домам или обедают в заводской столовой. После работы — клуб, иногда какое-нибудь собрание, а вечером спектакль...

Первое время завод представляется тебе Вавилоном, где звучит разноязыкий хор инструментов. Создается впечатление, что реальность все время ускользает от тебя, и ты ничего не понимаешь, хотя стремишься разобраться во всем и до конца. Нужно терпение, пытливый глаз и умение найти ключ к сердцу человека...

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

Не раз наблюдая за происходящим в стране, я спрашивал себя: что приводит в движение огромный мотор нашей социальной жизни? Каким образом с теми же природными богатствами и почти с теми же людьми мы в рекордные сроки воздвигаем целые города, строим заводы и школы, театры и стадионы? Быть может, это своего рода экономическое чудо? Жилые дома, театры, спортзалы, созданные в кратчайшие сроки, потребовали огромных средств. Откуда же берутся эти деньги? Кто их дает? Мы, конечно. Но почему же прежде на наши деньги не делалось ничего подобного?

Не буду повторять известных вам истин, но мысль эта глубоко волнует меня.

В фундамент нового общества вложено много пота, бессонных ночей и упорства. Но нам есть чем гордиться. Я заметил, что жители Бухареста изменили привычный маршрут ежедневных прогулок. Люди не стремятся больше на шоссе Киселева, такое красивое в эти апрельские дни, а идут в центр столицы, где вырос новый маленький город. Перед нами многоэтажные корпуса, магазины, освещенные неоном, огромный театральный зал за Дворцом республики. Вокруг царит невообразимый шум. Падают последние леса, люди переезжают в новые квартиры, и я ищу слова, чтобы выразить свои чувства. Надо идти туда, где берут начало эти свершения, на заводы, к людям, которые своей энергией, своим ежечасным трудом ускоряют преобразование страны...

ЗАВОД

Апрельское утро. В воздухе с щебетом проносятся ласточки. Молодая листва задорно шелестит от нескромного прикосновения ветерка, кисти маляров сочно шлепают по стенам. Все кажется прекрасным в этот яркий солнечный день. На улицах гоняют мяч мальчишки, проносятся полные автобусы, город шумит, город зовет. На «Семэнэтоаре» местный радиоузел оповещает: «Товарищи, сейчас вам споет Дорина Драгич. Слушайте внимательно». Это кажется мне таким простым, дружеским, человечным! В душе возникают те же чувства, которые я испытал немного позднее — входя на завод. Мне показалось тогда, что я попал в большую семью.

У заводских ворот несколько молодых парней фотографируются группой, как туристы. Они у себя дома. Им нравится этот поросший зеленой травой радиофицированный двор, где можно уютно посидеть. Здесь — вторая смена. Сейчас всего 10.30, не прошло и четырех часов с начала первой смены, но молодежь пришла сюда, чтобы сыграть в баскетбол, почитать в клубе или просто поговорить. Под большой, как перронный навес, крышей стоят велосипеды и мотоциклы рабочих. Целый гараж. Повсюду цветы (уже посажено 90 тысяч виол), деревья, слышится веселый говор молодежи. За стенами цехов гудят машины. Канул в вечность угнетающий вид заводов с мрачными закоптелыми стенами и захламленными дворами. Здесь настоящий сад, как в санатории... Но я, кажется, увлекся.

В помещении профкома толпятся люди. Профком связан со всеми цехами. Непрерывно звонит телефон, и только внушительный вид увешанного аппаратурой фоторепортера помогает нам пробиться вперед.

— Мы хотели бы кое-что узнать о социалистическом соревновании.

— С удовольствием. Присаживайтесь.

Мы садимся и просматриваем газеты на столе. Вот заметка о «Семэнэтоаре» на испанском языке — об этом заводе уже столько написано!

— Девиз коллектива завода теперь,— говорит нам собеседник,— сегодня работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Главные пункты соревнования — увеличение числа новаторских предложений, технический прогресс при максимальной экономии.

Как видите, слова звучат вначале несколько абстрактно. Я убежден, что любой трудовой день обогащает ценным опытом каждого рабочего в отдельности и весь за-

вод в целом, но хочу проникнуть в самую сущность вопроса. Как, например, рождаются изобретения? Ведь даже самые лучшие решения не вылупливаются, как цыплята из яйца. Ответ я получил позднее от товарища Братеша в редакции заводской газеты.

— Новаторство на «Семэнэтоаре» стало массовым явлением. Мы не успеваем рассматривать предложения. Наше техническое бюро буквально затоплено ими.

— Хорошо, но в чем причина такого потока?

— Немного терпения, и вы поймете. Надо вникнуть в психологию людей. Заводу нашему всего десять лет — ведь это не так много. Когда рабочие с других предприятий пришли сюда, их встретили старые заброшенные цеха, крысы. А теперь вчерашние ученики стали квалифицированными рабочими. Вначале они говорили: «Мы с «Фишера», «Мы с «Лэзерэску» и так далее. Сегодня же они с гордостью заявляют: «Мы с «Семэнэтоаре». Они слились в одну большую семью, и каждый хочет подставить свое плечо, чтобы дела завода шли как можно лучше. Это очень важно. Чувство, что человек работает для себя, вселяет в него энтузиазм, а отсюда уже недалеко до мысли, как сделать получше да побыстрее.

ЧЕЛОВЕК

В техническом бюро завода тепло и уютно. Множество людей приходит в библиотеку. В этом беспрерывном потоке мы встречаемся с передовиками, новаторами. Я коротко, по-телеграфному представлю их вам. Герхард Кратус — коммунист, награжден Орденом труда II степени, 45 лет, автор 107 изобретений, многие из которых уже внедрены в производство, а часть изучается. Основная профессия — формовщик.

Николае Синдие — коммунист, 31 год, работает на «Семэнэтоаре» 10 лет. Скромно сообщает, что он автор всего 6 изобретений. «Но каких!» — вмешивается кто-то из окружающих. С 1959 года изобретения Синдие принесли заводу 700 тысяч лей экономии. Профессия — слесарь.

Николае Варбиу — коммунист, 40 лет, автор 14 изобретений, награжден Медалью труда, формовщик. Быстро подсчитав, говорит, что помог заводу сэкономить 200 тысяч лей.

Георге Мокенашу — 35 лет, он автор четырех изобретений. Два последних, внедренные в этом году, приносят предприятию экономию в 120 тысяч лей. Только после долгих стараний нам удается заставить этого скромного молчаливого человека говорить о себе.

Теперь, познакомив вас с новаторами, подведем итог и объясним их успехи. На призыв партии «Будем жить, учиться и работать по-социалистически» откликнулись 5 бригад на «Семэнэтоаре».

Что значит — жить, учиться и работать по-социалистически? Ответ черпаем в нескольких примерах, приведенных нашими собеседниками. Вот история Николае Неделюша. Неделюш просил включить его в бригаду, борющуюся за звание коллектива социалистического труда. Но заявление было отвергнуто. Почему? Человек, как говорится, «зашибал». Вы думаете, на этом заканчивается рассказ о Неделюше? Нет. Те же самые люди, не пожелавшие работать вместе с Неделюшем, помогли ему завоевать их доверие. Терпеливо и настойчиво убеждали они его тратить деньги не на выпивку, а на приобретение необходимой одежды. На первых порах было нелегко. Все началось с «культурной обработки». Неделюша приглашали в театр, в кино, и он понял, что существуют другие способы провести досуг, кроме выпивки. Все это может показаться незначительным случаем, способным вызвать улыбку у некоторых скептиков, но кто знает рабочих, тот поймет, на какую душевную теплоту они способны и сколь вместе с тем суровы, когда дело касается принципов.

Для завершения этого небольшого рассказа я должен сказать, что Неделюш взялся за ум. Я даже не спросил, принят ли он теперь в бригаду Тудора Бэлана, ответ был и так ясен.

Сплоченность коллектива проявилась и при других обстоятельствах. Приведу несколько небольших, но многозначительных примеров. Когда Штефан Ристаке получил квартиру, все члены бригады перевозили его на новое место жительства. На свадьбу Валентина Вагнера явилась его бригада в полном составе. О том, как весело и дружно отпраздновали эту свадьбу, на заводе говорят и по сей день.

Предел мечтаний бригады Тудора Бэлана — звание бригады новаторов. С мая 1959 года члены бригады внесли 8 рационализаторских предложений и, по-видимому, на этом не остановятся.

Чем объяснить их изобретательский пыл? Двое членов бригады учатся на рабфаке, пятеро — в вечерней школе и еще пять повышают свою квалификацию на технических курсах.

Каждую субботу на «Семэнэтоаре» устраивается «обзор печати», на котором помимо политических событий обсуждается ход социалистического соревнования.

На заводе организован музыкальный лекторий, работает литературный кружок. Государственная филармония устраивает в цехах симфонические концерты.

Если бы меня спросили, как живут, учатся и работают по-социалистически, я в качестве ответа привел бы (и сделаю это с разрешения читателей) двадцать вопросов анкеты, проведенной недавно на «Семэнэтоаре». Вот некоторые из них. Планируете ли вы свой досуг? Сколько собраний бывает у вас в неделю? Участвуете ли в конкурсе «Любите книгу»? Состоите ли вы членом бригады социалистического труда? Собираете ли книги для личной библиотеки? Работаете ли в настоящее время над каким-нибудь изобретением? Учитесь ли в каком-либо государственном учебном заведении? Занимаетесь ли спортом? Посетили ли за последний месяц какой-нибудь музей или выставку? Участвовали ли в культпоходе? Любите ли вы слушать симфонические концерты? Удалось ли вам за последний месяц побывать в театре? Посещаете ли курсы техминимума? Участвуете ли в заводской художественной самодеятельности? Часто ли ходите в гости к товарищам по работе? Участвуете ли в работе районного Дома культуры молодежи? Занимаетесь ли в сети политпросвещения? Любите ли кого-нибудь? (На последний пункт я приведу и ответы. 10 человек из 20 опрошенных ответили — да, 10 других — нет. Принимайте меры, товарищи с «Семэнэтоаре», ведь за окнами «цветет май»! Правда, любовь нельзя планировать, но все же не будьте безучастны!)

Прошу прощения за длинный перечень вопросов, но в нем столько поэзии, что я не удержался и привел его почти полностью.

Выводы всегда отдают назиданием. Подводить черту, восклицая «учитесь у них!» — это уже несколько избитый прием. Поэтому просто повторяю сказанное вначале: я глубоко взволнован. Вокруг нас ежесекундно происходит что-то новое. Журналист должен чувствовать пульс этой новой жизни. Я озаглавил свой репортаж о заводе — «Рождается идея». И мне хочется сказать молодым литераторам: вот где глубинный источник вдохновения. Довольно просиживать стулья! Глядя на гордые леса наших строек, на поднимающиеся вокруг корпуса новых зданий, эти яркие свидетельства роста народного благосостояния, я понял глубокий смысл двух слов, начертанных во всех цехах «Семэнэтоаре»: «Труд и творчество».

КАК МЫ ЖИВЕМ

ГОРОД

Я иду пешком по улицам Бухареста. Сегодня сырой, холодный вечер. Все сравнивают такие вечера с лондонскими, но это банально донельзя. Увы, мы любим штамп. Это избавляет нас от необходимости думать. Легче сказать уже сказанное другим. И все же сегодня хороший вечер. Туман, фиолетовые огни. Мелодично шумит мелкий дождь, в воздухе — приятная свежесть. Самое подходящее время для пеших прогулок «куда глаза глядят».

Вот если бы здесь была широкая река с гранитными набережными и огромными мостами... Сколько музыки таится в шуме дождя и плеске текущей воды... Вы скажете, что вступление слишком длинно. Не согласен. Я хочу поговорить о городе, где мы живем. Ведь он будет сценой, огромной сценой, на которой развернется действие моего репортажа.

Круглая площадь. Черная статуя, словно закутанная в мокрый клеенчатый плащ. Симфония труда, стук молотков, человеческие голоса. Передо мной строится здание. Слева — высокий башенный кран. Откуда-то сверху, из царства ночного ветра, доносится голос каменщика. Каменщик чего-то требует. Он бежит по шатким дощатым мосткам. Мне страшно, как бы не поскользнулся, а он беспечен, словно ребенок. Ниже светится огонек. Первый в этих еще сырых стенах. Когда штукатурка сгладит неровности кирпичной кладки, в доме будет светло и уютно.

В один из таких вот вечеров какая-нибудь женщина станет накрывать на стол. Я представляю, как поднимается пар от горячих блюд, слышу, как льется в стакан вода... Я знаю песни, которые будут петь в этом доме, и слова любви, нашептываемые сквозь сон.

В этих кубах из камня и стекла — пока еще холодном запутанном каркасе,— в этих комнатах, которые еще недостроены, будут произнесены хорошие слова. Я ощущаю приятное тепло, которое разольется завтра по квартирам, могу вообразить легкое колебание штор над батареями центрального отопления. Приветствую тебя, безвестный строитель, толкающий тачку с цементом, приветствую тебя, незнакомец, шагающий по шатким мосткам! Быть может, эта страница попадет к тебе в руки. Знай, что я видел тебя и вместе с тобой радовался плодам твоего труда.

Но теперь отпусти меня, я пойду дальше. Мне предстоит еще обойти полгорода. До свидания!

Улица. Асфальт, стены, окна — одни темные, как пустые глазницы, другие светлые, призывные. Словно ребенок, играя, вырезал в черном картоне ровные квадратики. В глубине улицы вспыхивает и гаснет красная неоновая кобра. Я как будто слышу шипение нагретых трубок под дождем. Внизу, в лужах, все эти красоты ломаются,

попираемые беспощадными шагами прохожих. Деревья закутались в непромокаемые нейлоновые плащи. Магазины, магазины... Нагромождение витрин.

Заглядываю внутрь одного из магазинов. Толкотня, очереди у касс. Публика самая разнообразная. Сегодня здесь не увидишь господ в шубах с бобровыми воротниками, покупавших духи для любовниц. Над платками и шляпками женщин возвышается несколько крестьянских папах. Ближе — группа рабочих. Разница в одежде сгладилась. Куда исчезли несчастные, стоявшие когда-то у дверей магазинов? Где нищие? Где протянутые в отчаянии руки калек?

Улица. Взглянем на нее. Она расскажет нам о многом. Весело проходит шумная ватага молодежи. Несут магнитофон. Сегодня пятница, но это неважно. Где написано, что танцевать можно только в субботу?

Фойе центральных кинотеатров ломятся от народа. Заглядываю в стеклянные двери. Люди встречаются, женщинам целуют руку, с мужчинами раскланиваются. На углу красивая цыганка предлагает цветы. Гудят автомобили, звенят трамваи, с мирным шорохом катят троллейбусы. Город живет.

НАШ ДОМ

Я заходил в книжные магазины, чтобы полюбоваться яркими праздничными обложками книг. Произведения авторов всего мира, словно соединившись в великом братстве, красовались на стендах. Меня радовала сутолока у прилавков. Продавщица одного из отделов сказала мне, что не успокоится, пока не убедит райсовет отдать магазину еще один этаж.

— Нам тесно,— жалуется она,— смотрите, сколько народу.

Здесь всего только книжный магазин, но, чтобы проникнуть в него, люди должны выдержать небольшое сражение. Вспотевшие продавцы пожимают плечами.

— Нет этой книги, распродана. Пишите в издательство, пусть переиздают.

Как мы живем?

А вот как!

«Анна Каренина» со стенда книжного магазина перекочевала на стол монтера Павла Галеша. Он совершенно не ожидал, что этим вечером его покой нарушит журналист, да еще в сопровождении фотокорреспондента. Мы застали Галеша в вестибюле дома на бульваре Магеру, как раз напротив кинотеатра «Родина». Одетый по-домашнему, небритый, он спустился, чтобы поговорить с лифтером, пока нет жены, которая пошла в магазин за покупками. Тут же оказались управдом и шестеро любопытных ребят.

— Хотелось бы навестить нескольких жильцов, если это возможно,— сказали мы, предъявляя удостоверения.

Галеш и находившийся рядом Роман Ризан засуетились вокруг нас:

— Добро пожаловать. Заходите!

Я знаю гостеприимство человека, который еще не так давно был беден, а теперь обзавелся новой квартирой и мебелью. Нас зазывают наперебой. К кому же зайти сначала?

Воспользовавшись замешательством, Галеш нажимает кнопку четвертого этажа. Интервью начинается уже в лифте. Вынимаю блокнот, карандаш. Кого слушать сначала? Но вот мы у квартиры 51. Поворот ключа, дверь отворяется.

Длинный коридор, зеленые двери. На дверях дощечки, некоторые — металлические с выгравированными фамилиями. Есть и картонные.

Давайте обратимся к статистике.

— Кто живет в этом доме?

— Всего здесь 91 квартира. В них — 86 рабочих семей, 4 инженера и 1 служащий. Если не спешите, зайдем еще в пятую, где живет мой приятель, или в двадцать пятую — к главному инженеру.

— Не торопитесь, Галеш. Давайте сначала оглядимся. Сведите нас в ванную, в спальню. Мы народ любопытный. Я хочу подробно написать о квартире нынешнего рабочего. Но прежде всего позвольте пожелать мира дому сему.

— Спасибо, спасибо.

— А где, говорите, жена?

— Сейчас придет, пошла за покупками.

— Так! Это передняя. Просторно, хорошо. Это ванная. Чисто, как в аптеке. Зеркало, бритвенные принадлежности. Где вы жили до сих пор, товарищ Галеш?

— На улице Теодора Сперенциа, в подвале. Можете ли вы представить, что значит для меня эта квартира?

У моего собеседника слезы на глазах, а это уже седеющий мужчина.

Слова текут, течет и время. Мы еще ни разу не присели. Вот спальня. Веселое покрывало на диване-кровати. Ночник в колпачке из вощеной бумаги, шифоньер с двумя фарфоровыми антилопами, семейные фотографии. Маленький уютный мирок с центральным отоплением, красивыми шторами и абажуром над столом. А вот и «Анна Каренина», открытая на 274 странице. На книге — футляр для очков.

— Кто это читает?

— Мы с женой, по очереди...

— А что у вас там?

В этой комнате живет сын коммуниста Павла Галеша, студент факультета электроники. Входим. На столе пепельница с недокуренной сигаретой, книга «Курс высшей математики», две серебряные запонки. Радиоприемник, кушетка. На стене картина...

— Ну как, хорошо вам здесь?

— Хорошо!

Стоило бы и вам, читатель, послушать, как произнес он это слово!

— Когда переехали?

— 23 августа.

— Значит, и полгода не прожили?

— Вроде так...

— И все в порядке, все действует как полагается?

— Что именно?

— Краны, выключатели?..

Подвох не удался. Оказалось, что все краны и выключатели действуют исправно. Хозяин спохватывается, что забыл показать нам балкон.

— Пройдемте сюда, посмотрите, какой вид.

Над огромным бульваром качались голубые лампы, то вспыхивала, то гасла огненная змея. Свет ламп разбивался вдребезги на сыром черном асфальте...

Похоже ли это на немощеные улочки трущоб, в лучшем случае освещенные старыми газовыми фонарями, а то просто погруженные во тьму, на жалкие покосившиеся домишки? Похожи ли «апартаменты», да, именно апартаменты монтера Галеша на лачугу, слепленную из глины с навозом? Похож ли этот диван-кровать на дощатый топчан с сенником? Похоже ли сегодня на вчера?

Хозяин квартиры, 53-летний седеющий мужчина, полон горячей благодарности партии. Он пользуется нашим приходом, чтобы выразить ее. Галеш — только один из сотен тысяч людей, которые за последние 15 лет прошли путь от землянок и трущоб до нынешних светлых домов. Давно ли рабочие стали получать квартиры в центре румынской столицы?

Это целый переворот.

Звонок. Пришла жена Галеша. Большие удивленные глаза. Если б они знали, что придут гости... Галеш тогда побрился бы, а она надела бы платье понаряднее. Ничего! Вам очень идет и это голубое платье, дорогая Петруца...

Садимся за стол. Появилась бутылка вина, рюмки.

— Сердечно благодарим, но мы ведь на работе. Пить не годится...

— Ну, пожалуйста!

Разве откажешь такому человеку? Чокаемся. Открытая книга наталкивает меня на вопрос:

— Много читаете?

— Да, не без этого.

Разглаживая ладонью страницы, Галеш продолжает:

— Пить я не охотник. Вернусь с работы — и за книгу, конечно, если не идем в театр или кино.

— Что читали за последнее время?

— «Спартак», «Порт-Артур», «Наполеон» Тарле.

— А что смотрели в театре?

— «Открытые окна», «Отметка за поведение». В пятницу опять идем. Мы теперь рядом с театром. Спустился с лестницы, перешел через дорогу — и в театре...

Опять звонок. Пришли гости.

— Это приятели по работе,— объясняет Галеш.— Ничего, они посидят, пока мы не кончим.

Галеш продолжает рассказ. Женат он уже 26 лет. Жена работает на фабрике «Красный мак», и только вечером вся семья собирается здесь, в уютных теплых стенах новой квартиры. Смотрю на окна — их то и дело освещает яркое многоцветное зарево: это бульвар шлет свой привет...

В ДЕРЕВНЕ

Мне предстоит совершить короткий рейд по невидимому, необычному фронту, фронту без траншей. Рейд по фронту коллективизации. Там идет упорная длительная борьба, оружие для которой берется не в арсеналах, а черпается из философских трудов. Эта мирная борьба требует терпения, глубокой убежденности и прежде всего упорного каждодневного труда, результаты которого красноречивей всех теорий.

Смотрю на цифры. Я мог бы поехать в район Констанцы, где больше нет единоличников, или в районы Тимишоары, Галаца, где коллективизация почти полностью завершена. Я мог бы побывать наконец и в Бухарестской области, особенно в отдаленных ее районах за Кэлэраш, Драгош Вода, Раду Негру или в Гринду, где есть хозяйства с площадью до 4936 гектаров. Я слышал даже, что в Чаку есть коллективисты, получающие на трудодни по 7 тысяч килограммов зерна, не считая овощей, меда, вина, денег. Но мне хочется поехать туда, где борьба еще только началась, где всего тяжелее.

Я знаю, какие трудности приходится преодолевать коммунистам в селах, разбросанных по дунайской равнине. Не так-то легко изменить мировоззрение тысяч людей, а тут еще надо бороться с самим господом богом, который посылает засуху, ливень или град, когда ему вздумается...

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Шоссе уводит нас все дальше в глубь края. Земля здесь белесая, словно седая. Шофер Лупу недоволен: почему эти мудрецы не посадили по краям дороги деревья? Глаза устают от таких просторов. Деревья — это зелень, влага и, если хотите, разнообразие пейзажа. На фоне такого сверкающего неба молодые рощицы выглядели бы очень неплохо.

Дорога поднимается в гору. Через каждые сто метров на нас надвигаются огромные свежевыкрашенные плакаты: «Трудящиеся крестьяне! Коллективный труд обеспечит вам зажиточную жизнь».

На отлогом холме среди тополей, слегка колеблемых холодным дыханием Дуная, который незаметно, как хищник, крадется где-то справа от нас, стоит усадьба с вышкой. Какой-нибудь местный Трейнасурь * наблюдал оттуда в бинокль за работой своих батраков. Едем дальше. Россыпь низеньких глинобитных домиков. До революции водопровод и электричество были в Румынии редкостью. Народная демократия унаследовала от прошлого самую безнадежную нищету.

А теперь? Здесь, в 60 километрах от Бухареста, где кирпичные дома стали строить всего 10 лет назад, в быт уже успели проникнуть музыка и электричество. Под дорогой, по которой мы едем, проложен трубопровод, подающий воду вплоть до самой Мынэстире, где прежде развлекался монарх — да будет навеки проклято имя его.

Станча — небольшая деревушка без кинотеатра и клуба — представляется мне первой ступенью коллективизации. Коллективное хозяйство «Стягул Рошу» создано в 1956 году. На площади в 146 гектаров работают 50 семей. Руководит хозяйством 60-летний крестьянин-середняк Василе Санду. Это высокий сутулый старик с длинными висячими усами. Санду владел 5 гектарами земли, двумя лошадьми и по сравнению с другими крестьянами мог считаться зажиточным. Думал он год, думал два, ссорился с женой, а на третий решился. Санду понял, что путь к процветанию начинается с объединения рабочих рук.

Осматриваюсь. Помещение правления довольно невзрачно на вид. Но все же стены выкрашены, в углу изразцовая печь, по стенам скамейки. В прошлом году в хозяйстве построен коровник, закрома на 20 вагонов зерна, овчарня на 300 овец, кузница и 3 колодца. Мы по-хозяйски усаживаемся за стол. Мне нужны цифры. Я хочу узнать, какие выгоды принесла совместная работа этим людям, которые с такой убежденностью рассказывают мне о своих успехах.

Георге Кристя — крестьянин со скуластым лицом и задорно вздернутой бровью — смотрит на меня серьезно. Голос у него звучит торжественно, и мне нравится, как он держит кулак: словно вот-вот ударит по столу. Между бровями у Кристи залегла глубокая складка, а над ней — широкий лоб, коротко, как у древних римлян, подстриженная челка, посеребренные сединой виски.

Была ли земля? Была, да словно и не было. Что ни сажал, уносило половодье. В доме 9 детей, нищета. Работал поденно у богатеев. Вот этими черными, сожженными зноем руками Кристя сажал рис. Годы и годы простоял он по колено в воде. В глазах его словно застыла грусть. В 1958 году Кристя получил за работу 1340 килограммов пшеницы, 1140 — кукурузы, 100 килограммов подсолнечника, а также картофель, овощи, деньги. Конечно, это не так много. Я уже говорил, что в Чаку крестьяне привозят домой по 7 тонн зерновых и зарабатывают около тысячи лей в месяц. В наши дни уже никто не прячется от сборщика налогов. На столе у каждого красуется большой каравай, такой румяный и аппетитный, что его хочется поцеловать.

Иону Стану 25 лет. Если бы не молодецки сдвинутая набекрень папаха да шарфик на шее, завязанный, как у Монтана, его можно было бы принять за учителя. Стан — бывший пастух и первый бедняк на селе. Когда женился, получил от тестя небольшой клочок земли на разживу.

— Сколько,— спрашиваю я,— удавалось вам заработать? Здоровья, я вижу, вам не занимать?

— Килограммов 300 в год. Откуда тут выжмешь и на еду, и на продажу, когда такие налоги приходилось платить?

А в прошлом году? Записываю. Прежде всего Стан построил себе дом с двумя комнатами — у него теперь есть ребенок. Получил в хозяйстве 2400 килограммов пшеницы и кукурузы, не считая картофеля, гороха, овощей и денег.

---

* Помещик из повести М. Садовяну «Митря Кокор».

Правление заполнилось народом. Пришли Милиан Дима — парень лет 19, Георге Скиопу — старик, немало повидавший на своем веку, розовый, как младенец, и с черными усами, Тома Георге, Марин Горя и много других.

В то время как в Бухаресте воздвигаются многоэтажные здания, а в Сэвинешти монтажники подтягивают последние гайки машин на заводе синтетического волокна, бывшие единоличники отказываются здесь от своих кур, телят и строят коллективные коровники, конюшни.

Эти достижения представляются мне весьма существенными. Крестьяне объединяются в одну семью, они превращают скромные правления своих хозяйств в сельские парламенты, где решаются судьбы нашего крестьянства, вступившего на путь новой, зажиточной жизни.

КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ — ОТТОПЕНЬ

Лес Синешть, похожий на огромный деревянный орган, до половины засыпанный снегом, остался где-то позади. Мы снова пересекаем улицы столицы, но теперь уже в обратном направлении. Сияет солнце. Неслышными легкими шагами откуда-то издалека в город пришла весна. Выезжаем из Бухареста. Шоссе пустынно.

Хозяйство имени Первого мая похоже скорее на усадьбу с большим двором, конюшнями и вспомогательными постройками. Первой нам попадается навстречу веселая улыбающаяся женщина.

Ана Окя предлагает нам посидеть в канцелярии, пока не появится кто-нибудь из руководства. Ана охотно рассказывает о себе. Ей уже 54 года, 30 из них она прослужила в Корабии. Потом приехала сюда за сыном, да тут и осела. Сначала занималась канцелярской работой, но скоро ей надоели бумажки. Она дочь крестьянина и любит физический труд. По инициативе Аны была создана птицеферма, которая только в прошлом году дала хозяйству 114 тысяч лей чистого дохода.

Входит помощник председателя хозяйства Григоре Марку. Он очень занят, мы едва упросили его на минутку присесть. Однако, узнав, что перед ним журналисты, он сразу смягчился. Хозяйство имени Первого мая образовалось в 1956 году. Вначале в него вошло всего 16 семей. Теперь число их возросло до 67. Лишь за два года совместной работы многие коллективисты успели построить себе новые кирпичные дома. Это могут подтвердить Александру Ионеску, Константин Николае, Ион Костя, Александру Санчиу и даже сам помощник председателя. Знаменательно, что еще недавно все они были самыми бедными людьми в округе.

Деревенский беспроволочный телеграф работает безотказно. Дети разнесли по улицам весть, что во дворе правления появился автомобиль. И через несколько минут правление наполнилось народом.

Настасе Григоре — рыжий огромный детина, вспыльчивый, как порох,— шутит, что может теперь не работать хоть полтора года — столько добра скопилось у него в подвале. В доме у Григоре радиоприемник, газ. А прежде он прислуживал в Бухаресте за кусок хлеба и не имел гроша ломаного за душой.

Григоре — один из 6 коммунистов хозяйства — заражает всех своим энтузиазмом. Павел Младеняну рассказывает, что они с женой заработали в этом году 600 трудодней и на полученные 78 тысяч лей построили новый дом. А ведь при вступлении в хозяйство у них не было ни клочка земли. Бывший портной Александру Ионеску оставил свою профессию и стал свинарем.

— За одно лето я выстроил себе такие хоромы, что люди приходят посмотреть на них, как на диковину. Я бросил иглу и выращиваю свиней. Дело, конечно, нелегкое, бывает, по трое суток почти не выхожу из свинарника. Отвез домой пять тонн пшеницы и кукурузы. Часть продал. Хочу купить телевизор.

Мой шофер Лупу задумчиво смотрит на шумную толпу окруживших нас крестьян. На обратном пути он наверняка предложит нам переехать в деревню и заняться выращиванием птицы или свиней.

Закрываю блокнот. За эти дни мне удалось поговорить более чем с сотней крестьян. Я побывал в 8 коллективных хозяйствах и, полный оптимизма, возвращаюсь в Бухарест. Вчерашние бедняки, сплоченные в коллективы по 50—100 человек, стали лучшими пропагандистами социализма на селе. Повсюду я чувствовал, видел неоспоримые признаки, что завершение коллективизации в Румынии — вопрос самого ближайшего времени. * В этом году подано в три раза больше заявлений о приеме в коллективные хозяйства, чем в прошлые годы. Даже самые отсталые поняли, что единственный путь к счастливой жизни, к избавлению от вековой нищеты — это путь коллективизации.

---

* 27 апреля 1962 года румынский народ торжественно отметил завершение коллективизации сельского хозяйства.

ХВАЛА

Современному репортеру труднее всего выбрать сюжет. Будучи руководителем целой бригады этих «любопытных людей», я часто не знаю, куда направить взгляд. Наши газеты в корне отличаются от буржуазных. Ежедневно мы сообщаем читателям, что в том или ином месте нашей Родины построен еще один завод, жилой квартал или целый город со школами, заводами, стадионами и домами культуры. Сенсационным в этих прозаических сообщениях является ритм. Переплетенный в картон комплект «Скынтейи» — это настоящий альбом коммунистических достижений. Страницы его — это страницы истории, какими не мог похвалиться ни один политический строй в нашей стране.

В нашей обширной программе изложены цели, совершенно немыслимые для взяточников-парламентариев, которые, лишь очутившись в оппозиции, вспоминали о своих демагогических предвыборных обещаниях. Индустриализация Молдовы, плотина в Биказе потребовали бы десятков, а то и сотен лет, потому-то и казались химерой господам либералам и царанистам, раз в год надевавшим опинки и расшитую крестьянскую рубаху. Сейчас даже самые заядлые скептики, еще имеющие гарсоньерки в центре столицы, вдалеке от Хунедоары и Решицы, удивляются, просыпаясь от пулеметных очередей пневматических молотков, дробящих асфальт где-нибудь по соседству. Как и любой другой город, Бухарест стал строительным фронтом. Мы больше не слышим легкого шуршания проносящихся мимо ЗИЛов. Его заглушает доносящийся отовсюду стук плотничьих топоров.

Меня это наполняет гордостью. Надо быть или сумасшедшим, или слепым, чтобы не радоваться, глядя, как поднимается из руин твой собственный дом...

За время своего путешествия, которое не окончилось и теперь, я проехал сотни километров поездом, в автобусе и на пароходе. Я видел, как изменяли облик целые края, некогда заброшенные на задворки общественной жизни. На дорогах, вчера еще непроезжих, в глухих деревушках, которые не всегда обнаружишь на карте,— повсюду жизнь била ключом.

Всюду и во всем я замечал эти признаки обновления: только что замощенный сельский большак, показ узкопленочного фильма на льняной простыне, натянутой между двумя шестами, телевизионные антенны на камышовых крышах, похожие на аистов с распростертыми крыльями, и многое, многое другое.

Вот уже несколько лет я вижу, как растут леса у изъеденных временем, замызганных стен заводов, приведенных в негодность хищниками-капиталистами, как сажают деревья в запущенных, грязных дворах с разбитыми плитами.

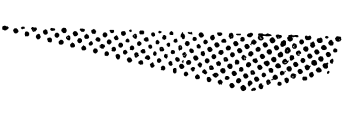
Я давно хочу отметить факт, который представляется мне полным волнующего значения. Я побывал на многих стройках и, поверьте, с волнением, признательностью и даже умилением наблюдал трогательную деталь: в жертву строительству не было принесено ни одного деревца или кустика. Я видел навесы, охранявшие от повреждения старые деревья, и архитектурные проекты, составленные с учетом окружающего зеленого убранства. Я не думаю, чтобы существовало специальное распоряжение на этот счет. Мне кажется, что речь здесь идет о молчаливом согласии, всеобщем уважении к красивому и полезному.

Откуда же возникла эта любовь ко всему, что украшает нашу жизнь?

Молодой рабочий, сначала кто-то положил тебе на стол книгу и посоветовал ее прочитать. С непривычки тебе было нелегко, но тебя терпеливо ждали. Со временем, когда ты стал любознательнее и почувствовал потребность в красоте, отображенной в стихах и музыке, красках или камне, в тебе проснулось все, что было задавлено долгим гнетущим прошлым. Тогда кто-то позаботился о развитии этой жажды к познанию и построил для тебя школы, много школ, показав, что тебе еще не поздно подняться по этим ступеням. И ты поднимался по ним, утомленный работой, и порой дремал на жестких скамейках. Но ты сжимал зубы, меньше спал и упорно учился, нагоняя потерянное время.

Кто-то подумал, что пора тебе выйти из землянок и лачуг, и раскрыл перед тобой железные ворота особняков, где прежде жили тунеядцы. Кто-то, памятуя, что рабочих годами отгоняли от дверей театров, усадил тебя в бархатные кресла, чтобы ты слушал великие строки Шекспира. Кто-то терпеливо учил тебя понимать строгие симфонии Бетховена и протянул тебе томик крылатых стихов Эминеску. Кто-то научил тебя, что жить по-человечески — это не только иметь на столе кусок хлеба и стопку водки. Кто-то отдернул черную завесу, веками скрывавшую от твоих глаз красоту, любовь и все, чего ты заслуживал. Поэтому ты щадишь деревья, сажаешь сады, создаешь города, поэтому к тебе прислушивается весь мир, к тебе, рабочий класс, гегемон.

Надо ли говорить, что этот «кто-то», открывший тебе глаза и наполнивший твой дом теплом, а разум светом, этот «кто-то» — твоя партия!



Календарь страницы литературы

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

МАТЭ ЗАЛКА — ГЕНЕРАЛ ЛУКАЧ

К 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ

В номере газеты «Известия» от 16 июня 1937 года последние строчки рубрики «На фронтах в Испании» гласили: «Район Уэски. 14 июня 8 час. вечера (от спец. корр. «Известий», передано по телефону через Барселону)... На фронте Уэски неприятельским снарядом убит один из самых доблестных бойцов интернациональных бригад генерал Лукач. Тело Лукача сегодня направляется в Валенсию, где состоится его погребение. Илья Эренбург».

С тех пор прошло двадцать пять лет За эти четверть века о Матэ Залке — генерале Лукаче — столько напечатано. Его и ласково и остроумно (и так похоже) изобразил в «Испанском дневнике» Михаил Кольцов, его так тепло показал Эрнест Хемингуэй в послесловии к фильму Ивенса. Неоднократно писал о нем Илья Эренбург, сумевший точнее всех охарактеризовать Лукача. С уважением вспоминают о командире XII интербригады в своих книгах и Луиджи Лонго и Людвиг Ренн, в первые дни обороны Мадрида находившиеся под его командованием, и с особой бережной нежностью — О. Савич. Известные поэты воспели генерала Лукача в стихах. Он стал действующим лицом нескольких объемистых романов.

Но, к сожалению, поразительно яркая жизнь Матэ Залки и героическая смерть, еще увеличившая его популярность, а главное, кажущаяся доступность, обманчивая простота его облика привлекли к нему внимание иных излишне бойких литераторов. В результате, ненужными стараниями торопливых беллетристов и поверхностных популяризаторов, его образ постепенно теряет четкость, черты его расплываются и искажаются, как это случается, когда предприимчивый фотограф по маленькой фотокарточке берется изготовить поясной портрет, беззастенчиво прибегая к ретуши, а то и раскрашивая его акварельной краской. Самое обидное, что такое изображение, сохранив приблизительное сходство с оригиналом, начинает приобретать удручающую стандартность, в нем проступают надоевшие штампы, превращающие Лукача в некоего плакатного героя. А между тем в ком, в ком, но в Лукаче не было ни малейшей иконописности, ничего трафаретного, подражательного. Вот уж кто во всем оставался самим собою, личностью.

В тех редких случаях, когда генерал Лукач заговаривал о литературе, я каждый раз (да и не я один) убеждался в оригинальности его художественного мышления и в органическом, свойственном только настоящему писателю чувстве формы, хотя, когда я перечитываю Матэ Залку, мне иногда кажется, что наименее самостоятельным в этом удивительно самобытном человеке была его литературная деятельность. Мне вспоминается один эпизод, убедительно, на мой взгляд, подтверждающий, что между творческими замыслами Матэ Залки и воплощением их в доступных мне русских изданиях существовал определенный разрыв.

Недели за две до того, как неподалеку от Уэски вражеская артиллерийская граната разорвалась впереди серого «пежо» Лукача,

штаб XII интербригады, только что способом почкования разросшейся в 45-ю интердивизию, стоял к западу от Мадрида на окраине поселка Саседон в летнем дворце какого-то маркиза, успевшего своевременно удрать к фашистам. Последнее воскресенье перед началом переброски дивизии на юг, а оттуда на Арагон генерал Лукач специальным распоряжением объявил днем всеобщего или, по его выражению, «поголовного» отдыха, и этот жаркий майский день мы, работники штаба, провели в живописнейших окрестностях Саседона. Мы карабкались по скалам, продирались, вспугивая фазанов, сквозь заросли ущелий, взбирались на все еще неприступные стены средневекового замка, откуда правили некогда округой предки нашего негостеприимного хозяина. К обеду у речки был разведен костер, на котором весьма квалифицированные в этом отношении болгары — заместитель комдива Петров * и начальник штаба Белов ** — под руководством пожилого интенданта дивизии, земляка Лукача и тоже участника гражданской войны в Сибири Отто Флаттера ***, азартно жарили только что освежеванного козленка, используя вместо вертела пастушеский посох. Кроме своих, в пикнике принимали участие приглашенные: Савич с секретаршей и переводчицей ТАССа хорошенькой испанкой Габриэлой и еще два болгарина, закадычные друзья Белова и Петрова, оба военные инженеры, знаменитые тем, что в условиях осажденного Мадрида сумели в рекордные сроки создать и наладить производство прожекторов. Все мы во главе с Лукачем, словно дети, радовались краткой передышке от ратных тревог и трудов, ясному и в столь глубоком тылу приятно безопасному небу, ослепительной ряби солнечных лучей на ледяных волнах Тахо, пахнувшему дымом нежному мясу козленка, густому терпкому вину... Внезапно, как в театре, налетел вихрь, мгновенно потемнело, низкая лиловая туча наползла на вершины, бешено заметались во все стороны молнии, оглушительнее авиационной бомбардировки непрерывно грохотал гром и хлынул такой поток, что одежда промокла вмиг, будто под душем, и дождевые струи потекли прямо по телу, наполняя сапоги. Преодолевая вброд неизвестно откуда взявшиеся горные потоки, мы с трудом добрались до дому, и тут, словно он только этого и ждал, тропический ливень вдруг прекратился.

Мне, как адъютанту Лукача, надлежало немедленно выехать в Алькала-де-Энарес, дабы от имени моего генерала связаться по прямому проводу с мадридским командованием, уточнить возможные изменения в обстановке и получить окончательные указания насчет завтрашнего, первого этапа в маршруте дивизии. Габриэла, в чьем-то чужом белом платье, доходившем ей до пят, с распущенными мокрыми волосами, похожая на приговоренную инквизицией к аутодафе молоденькую колдунью, попросила взять ее с собой — она должна была раздобыть для Савича вечернюю сводку. Когда мы возвратились, в штабе кончали ужинать. Но вместо естественной после поединка со стихиями усталости, за столом был заметен общий подъем почти праздничная приподнятость — казалось, в наше отсутствие пришла какая-то радостная весть.

— Можешь пожалеть,— своим глуховатым голосом обратился ко мне Белов,— пока ты там с девицей катался, мы выслушали замечательную штуку, такой, понимаешь ли, рассказ, любой советский писатель позавидовал бы...

Выяснилось, что в ожидании ужина Савич решил продекламировать пушкинское «19 октября 1825 года». Савич умеет читать стихи, но и без того строчка «Друзья мои, прекрасен наш союз» да и все остальные, должно быть, лучшие на свете слова о товариществе и дружбе неплохо звучали в той обстановке, среди неразлучных фронтовых друзей, принадлежавших, по меньшей мере, к десяти различным национальностям, среди товарищей по добровольно взятому оружию... Едва Савич умолк, наш комдив вскочил и порывисто обнял его, потом несколько раз, энергично ступая, прошелся взад и вперед, сел и предложил послушать, как он в высшей степени конспиративно выразился, «одно ненапечатанное произведение неизвестного автора». Импровизируя, Лукач рассказал «Яблоки», написанные — я узнал об этом впоследствии — за два года перед тем. Рассказ вызвал среди присутствовавших самый восторженный отклик. Как только стихли аплодисменты, Петров шутливо заявил Лукачу, что отныне он совершенно спокоен, ибо, когда войны на земле прекратятся, генерал Лукач не пропадет, ему есть чем заняться в мирное время. Белов назвал прочитанное «еще одним выигранным сражением», а инженер Грынчаров, несколько раз повторив недавно позаимствованное им у меня словцо «потрясающе», в знак высшего одобрения даже выстрелил в потолок из пистолета, вызвав переполох охраны.

Если б я был скептиком, я мог бы отнестись к столь бурному энтузиазму моих боевых товарищей с некоторой осторожностью — болгары, в частности, народ чрезвычайно темпераментный, а если принять во внимание общую любовь к Лукачу... Однако я не был ни скептиком, ни снобом и от души пожалел, что прозевал самодеятельный литературный вечер, единственный, кстати сказать, за шестимесячную историю бригады. Сверх того, наибольшее восхищение прочитанное Лукачем вызвало не у профессиональных революционеров, вроде Грынчарова, Белова или Петрова, а у профессионального литератора Савича

— Прелестный рассказ,— негромко заговорил он, когда я уселся с ним рядом.—

---

* Фердинанд Козовский, в настоящее время председатель президиума Народного собрания Болгарии

** Карло Луканов теперь министр иностранных дел Болгарии.

*** Ференц Мюнних, государственный министр Венгерской Народной Республики.

Великолепно сделанный. Досадно, что вас не было. Раньше мне что-то из сочинений этого «неизвестного автора» попадалось, но, представьте, впечатления не производило. И вдруг такая блестящая военная новелла, новелла первый сорт, одна из лучших, что я знаю о гражданской войне. Прямо поразительная, я бы сказал, весенняя свежесть и чистота восприятия. А как влито в форму... Оказывается, ваш генерал очень, очень большой писатель.

Впервые прочитав «Яблоки» в начале сорокового года, я был разочарован. Рассказ как рассказ, я ждал гораздо большего. Позже и Белов, и Петров, и тот же Савич в один голос повторяли, что напечатанное несравнимо бледнее того, что они слушали в Саседоне. Пытаясь разобраться, в чем дело, я не раз с тех пор перечитывал «Яблоки» и всегда ощущал одно и то же — рассказ портит плохой язык, то нарочито красноречивый, то вялый, неточный, а подчас и просто-напросто неправильный русский язык. Так мог бы написать и кто-нибудь другой, а не наш единственный в своем роде Лукач. От него я ждал выдающихся книг и при этом основывался не на одних чужих отзывах. Мне и самому довелось убедиться в исключительной писательской одаренности моего командира, которого на первых порах я по простоте душевной принимал за военного специалиста.

После того как дивизия пришла в движение, сам комдив выехал в Валенсию. Легкий «пежо» птицей летел над раскаленным асфальтом. Лукач, тяжело переносивший испанскую жару, опустил стекла с обеих сторон, снял китель и расстегнул белоснежную рубашку, но ничто не помогало. Наконец, хотя до Валенсии оставалось всего несколько десятков километров, он не выдержал и решил переждать где-нибудь в тени, «пока не спадет это чертово пекло». Вскоре мы увидели справа апельсиновые плантации, и Эмилио, свернув с шоссе, въехал по заросшей проселочной дороге в райский сад, прямо под густые темно-зеленые и словно лакированные кроны деревьев. Оставив дверцы машины открытыми, мы развалились на траве. Как и следует добросовестному шоферу, едва коснувшись земли, Эмилио заснул, а мы оба молча наслаждались оранжерейной прохладой. Полежав, Лукач привстал, вынул из чемоданчика термос, отхлебнул черного кофе, аккуратно завинтил никелированную крышку, облокотившись, полюбовался младенческим выражением лица Эмилио и, пробормотав «какой счастливец», снова откинулся на спину, заложив руки за голову. (Примерно через две недели «счастливец» был тяжело ранен одновременно с Лукачем в этом самом «пежо» и ненадолго пережил своего генерала.)

Вот тогда в апельсиновой роще Лукач и поделился со мной планом задуманного им автобиографического романа. Он собирался назвать роман «Анкета», потому что над каждой главой его вместо подзаголовка должен был стоять вопрос анкеты, заполнявшейся членом партии, содержание же главы отвечало на этот вопрос. В подробном изложении замысел показался мне необыкновенно интересным, а когда под закатным солнцем мы уже неслись к Валенсии, Лукач рассказал мне одну из глав. В ней описывались трагические приключения юного венгерского прапорщика, во время революции бежавшего из сибирских лагерей для военнопленных и вступившего в Красную Армию. Доверчиво поклявшись тайному врагу революции, что не выдаст его, молодой венгр, преисполненный еще неизжитых кастовых предрассудков, не решается в нужную минуту нарушить «слово офицера» и получает за это жестокий урок. В белогвардейском плену его опознает тот самый изменник, которого он некогда спас своим молчанием. В ответ на твердый отказ перейти к белым, прапорщика избивают шомполами, а потом отправляют на расстрел. Он спасается чудом: могильщики, обнаружив его среди трупов еще живым, перевязывают ему раны и укрывают в мертвецкой.

Лукач, уставившись в стеклянную перегородку машины, говорил быстро, без запинок, как будто считывая с невидимых страниц.

— Глава эта называется «Окончили ли вы партийную школу, или вы получили партийное самообразование?»,— устало закончил он.

Может быть, отчасти потому, что раньше Лукач показывал мне на своем теле следы тех самых побоев, шрамы от тех самых пулевых ранений, о которых говорилось в главе из так никогда и не написанного романа, она произвела на меня неотразимое впечатление. Однако главным было другое — невзирая на откровенную автобиографичность повествования, оно не было простым пересказом событий, материал подвергся строгому эстетическому отбору. Одним словом, мое ухо воспринимало хорошую художественную прозу, а индивидуальный акцент Лукача и ошибки в русском синтаксисе лишь придавали ей своеобразное экзотическое звучание. И оттого, когда уже в темноте он замолчал, я подумал о том, что рядом со мной в форме генерала испанской республиканской армии сидит несомненно очень крупный писатель.

Я и до сих пор остаюсь при том же убеждении. Но поскольку читатели судят о писателе не по чьим-то убеждениям, а по собственному восприятию оставленного им наследия, я хотел бы со всей силой подчеркнуть единственную в своем роде трагичность писательской судьбы Матэ Залки. С отроческих лет и до безвременного конца (за два месяца до гибели генералу Лукачу исполнился сорок один год) он считал литературу своим призванием, но никогда так и не смог отдаться этому призванию до конца. Начать с того, что суровый отец не только запрещал юноше писать и печататься, но с целью отвлечь его от «непрактичного» увлечения устроил восемнадцати-

летнего сына вольноопределяющимся в гусары. Вслед за тем началась первая мировая война, и пошло· сербский фронт, Карпаты, итальянский фронт, русский, в промежутках — ранения и госпитали, и наконец плен. После долгого томления за колючей проволокой, Матэ Залка начинает свою вторую жизнь: он бежит из плена, создает партизанский отряд, командует интернациональным кавалерийским полком, участвует во взятии Перекопа, потом ликвидирует всяческие банды. Лишь в 1923 году, провоевав в общей сложности десять лет без малого, он демобилизуется. Но такие два слова, как «коммунист» и «демобилизация», сочетаются плохо, и борьба, в том числе и вооруженная, продолжает отвлекать его от литературы: пишет он, так сказать, между делом, урывками. На какие только фронты не мобилизовывала партия демобилизованного красноармейца, чем только не приходилось ему заниматься. На дипломатическом фронте он сражался в качестве дипкурьера, на хозяйственном — в качестве руководящего работника треста, на культурном — в качестве директора Театра Революции, а кроме всего, он еще инспектор конницы, и время от времени ему приходится вспоминать об этом. Добросовестно выполняя любую работу, которую ему поручали, Залка не жаловался. Но в Испании он однажды сказал мне:

— Знаете, о чем я больше всего мечтаю? Не знаете? Я страстно, как девушка о женихе, мечтаю купить пуд бумаги, засесть где-нибудь в тихом углу и писать, писать, писать. Не отвлекаясь. Как люди пишут. Тем у меня наберется на целую писательскую бригаду, а времени не бывает. Все мешают, все воевать приходится. Вот и сейчас...

Можно считать удачей, что буквально за несколько дней до отъезда в Испанию он закончил «Добердо». Но как горько становится, когда вспоминаешь, что ему так и не пришлось увидеть это самое зрелое свое произведение в напечатанном виде: роман публиковался в 1937 году в мартовском, апрельском и майском номерах «Нового мира», и как-то так вышло, что Лукач не успел получить перед смертью ни один из них...

Кровью, пролитой на горячие камни возле Уэски, своей смертью за мир и счастье испанского народа он прославился больше, чем всем, что вышло из-под его пера. Имя генерала Лукача стало громче имени Матэ Залки. Раньше, чем о нем стали слагать песни и писать книги, его соратники донесли рассказы о нем до самых отдаленных уголков земли. Они говорили о нем не как о полководце, они говорили о человеке, о том, как он был добр, как любил людей и как ненавидел войну. И хотя, вопреки тому, что столько раз повторялось, имя Матэ Залки не увековечено на памятнике над его могилой и там не выгравированы русские стихи,— потому что нет и не было никакого памятника, гроб с телом генерала Лукача замурован без надписи в стене валенсийского кладбища,— за эти двадцать пять лет благодарным человечеством ему воздвигнут прочный памятник, тот самый, нерукотворный

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ

КАРАДЖАЛЕ

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

Выдающийся румынский писатель Ион Лука Караджале принадлежит к числу тех национальных гениев, чье творчество долго оставалось неизвестным за пределами его родины. В чем причина этого явления? Два случая, которые приходят мне на память, содержат, на мой взгляд, объяснение подобного рода загадки.

Я вижу себя молодым журналистом в начале тридцатых годов, в Бухаресте. Прочитав заметку о проекте организации национальной киностудии, я вообразил, что владею секретом успеха такого предприятия: первый румынский кинофильм считал я, должен быть поставлен по сюжету «Потерянного письма» Караджале — ведь имена героев этой пьесы давно стали в Румынии нарицательными, а отдельные реплики превратились в поговорки. Я пришел в контору киностудии с планом сценария и сумел даже заинтересовать своей идеей одного работавшего там писателя, но директор будущего предприятия, человек в светлом твидовом пиджаке и башмаках на двойной подошве, снисходительно усмехнулся и заявил, что мы оба витаем в облаках: «Караджале безнадежно устарел».

Это было сказано в городе, где в каждом кафе сидели типично караджалевские персонажи, а на подмостках политической жизни подвизались герои его пьес: шантажист и подделыватель подписей Кацавенку стал министром; Думитраке из «Бурной ночи» превратился в крупного капиталиста и сенатора; его бывший приказчик Кириак, выступал уже в ка-

честве депутата правительственной партии.

Мой наивный проект создать фильм по комедии Караджале не мог, конечно, осуществиться в тридцатых годах. Впрочем, тогда выяснилось, что и самоуверенный делец в твидовом пиджаке тоже витает в облаках: проектируемая киностудия прогорела, не успев выпустить ни одного фильма. Румынская кинематография родилась только после образования Народной Республики и в первые же годы своего существования экранизировала ряд произведений Караджале.

И другое воспоминание, очень далекое от первого не только по времени. Москва, январь 1952 года, вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Караджале Вечер состоялся в Московском театре сатиры, который впервые показал сцены из «Потерянного письма». Как переводчик этой пьесы, я особенно волновался за успех спектакля. Конечно, я не думал, что Караджале «устарел», но иногда мне казалось, что герои и события, выведенные в «Потерянном письме», утратят в Москве свою остроту и рискуют остаться непонятыми, тем более что юмор пьесы в известной степени основан на тонкостях языка, на метких, чисто «караджалевских» словечках, которые трудно передать в переводе. Но вот поднялся занавес, и буквально с первых же реплик полицмейстера Пристанды в зале послышался смех, а когда на сцене появился «достопочтенный» Траханаке (в этой роли блистательно выступил покойный П. Поль) и прочел письмо Кацавенку, сопровождая его своими комментариями, в зале раздались дружные аплодисменты, которые то и дело вспыхивали потом на протяжении всего вечера.

Вскоре «Потерянное письмо» было поставлено в Ленинградском театре комедии, где пьеса имела не меньший успех, чем в Москве. С 1952 по 1955 год комедия «Потерянное письмо» ставилась в крупнейших советских городах; студенты театральных вузов готовили ее к своим выпускным экзаменам; на экранах телевизоров стали появляться другие персонажи Караджале; не только в Москве, но и в столицах союзных республик вышли в свет сборники его произведений. Словом, в течение нескольких лет на наших глазах произошло рождение «русского Караджале». Снова подтвердилась старая истина о том, что своеобразная национальная форма произведения не может быть препятствием для его понимания, что искусство всегда открывает нам новые страны, если, конечно, оно настоящее. Подтвердилась и другая истина: для распространения культуры необходимы определенные социально-политические условия. Караджале, объявленный «устаревшим», только после ликвидации буржуазно-помещичьего строя занял в своей стране подобающее место

■

Нелегкой была жизнь Караджале и обстановка, в которой он создавал свои произведения. Он родился в 1852 году в семье мелкого чиновника, рано познал нужду и все трудности, уготованные человеку, решившему посвятить себя искусству. Его первая комедия «Бурная ночь», поставленная на сцене бухарестского Национального театра, была снята с репертуара после того, как автор решительно отказался внести изменения, требуемые цензурой. Враждебная кампания, начавшаяся тогда против молодого драматурга, не прекращалась в течение всей его жизни. Не помогла даже популярность, которую Караджале завоевал уже в молодые годы. Несмотря на ограниченность своих политических взглядов, Караджале в своем творчестве был непримирим и беспощаден к правящей олигархии. Караджале-сатирик всю жизнь творил под девизом: «Ничто так не ранит негодяев, как смех». И когда речь шла о негодяях, он умел находить их во всех группах и группировках румынских правящих классов. Убежденный реалист, он дал в своих произведениях верное изображение буржуазного общества конца XIX и начала XX столетия

От него не скрылась ни одна из мрачных сторон румынской действительности Его «Моменты» — короткие рассказы и памфлеты великолепно дополняют картину, нарисованную в комедиях «Бурная ночь», «Потерянное письмо», «Господин Леонида перед лицом реакции». Королевский двор и парламент, школа и семья, быт и нравы «высшего света» — словом, все то, что счи-

талось незыблемым и «святым» в буржуазном обществе, обнажалось и высмеивалось в рассказах сатирика Караджале. Только народ, простые люди не испытали на себе разящего действия его сатиры. Более того, когда Караджале описывает мир простых людей, он избирает другую художественную форму, отказывается от своего сатирического тона. Таковы рассказы «В военное время», «Грех», «Пасхальная свеча». В рассказах из крестьянской жизни Караджале становится романтиком, использует фольклорные мотивы и изображает внутренний мир своих героев с большой симпатией и художественной убедительностью.

Караджале отлично понимал, почему он подвергается систематической травле в буржуазной печати. Но были в его жизни моменты, когда ему казалось, что он побежден навсегда. В 1891 году Румынская Академия официально обвинила его в «порнографии» и «антинациональных тенденциях». Спустя несколько лет находится клеветник, который обвиняет Караджале в плагиате, и суд становится на сторону клеветника. Все это привело писателя к решению покинуть родину. Воспользовавшись неожиданно полученным наследством, Караджале в 1904 году переезжает вместе с семьей в Берлин, где и остается до конца жизни.

Но в годы своего добровольного изгнания писатель не прекращает творческой работы, а его интерес к событиям на родине и вмешательство в социально-политическую жизнь Румынии становятся даже более активными. «Почему художник должен быть чужд страстям, людям и своему времени? Почему он должен оставаться лишь беспристрастным свидетелем волнений того общества, в котором живет?» Находясь за границей, Караджале постоянно помнил об этих словах, которые написал давно, еще в первые годы своей литературной работы. И он откликается на все события, происходящие в Румынии, ведет обширную переписку со своими друзьями.

В 1907 году в Румынии вспыхнуло крестьянское восстание и правительство «чудовищной коалиции» буржуазии и помещиков, сущность которой так хорошо понял Караджале-художник, подвергло артиллерийскому обстрелу восставшие районы, убив при этом одиннадцать тысяч крестьян. «Это не следствие какой-нибудь личной ошибки или злобы,— пишет Караджале своим друзьям,— это банкротство целой системы». Взволнованный и удрученный кровавыми событиями на родине, Караджале публикует свои знаменитые заметки о крестьянском восстании, брошюру «1907 год, от весны до осени» — один из самых значительных и потрясающих документов того времени.

Умер Караджале на чужбине в 1912 году.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Рокуэлл Кент Снимок сделан в Москве в 1960 году.

А. ЧЕГОДАЕВ

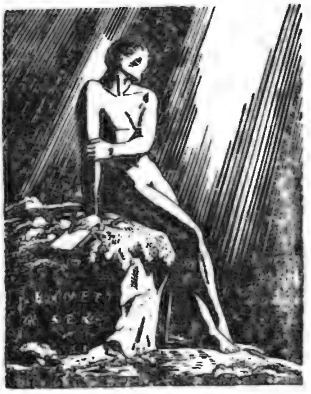
НАШ ДРУГ РОКУЭЛЛ КЕНТ

Празднование своего восьмидесятилетия, которое исполняется в июне нынешнего года, Рокуэлл Кент захотел провести в советской стране, где его имя и его творчество стали знакомы каждому, где он нашел так много верных, преданных друзей. Мы рады его видеть, мы рады дать ему все, что можем дать доброму другу и прекрасному человеку, снова сказать, как любим его, и пожелать ему счастья, здоровья и удачи.

Казалось бы, в восемьдесят лет люди склонны мирно и спокойно сидеть на одном месте, окружать себя заслуженным, иногда долгожданным уютом, в котором самый ход времени обрел бы мерное, монотонное, ничем не возмутимое течение. Но этот удивительный человек всю жизнь не знал ни мира, ни покоя. Он овладел десятком профессий — от архитектора до плотника, от ученого-географа до штурмана на парусном корабле, от романиста до политического оратора, от мастера стенных росписей до мастера книжных украшений. Он стал писателем — одним из интереснейших писателей современной Америки, он стал художником — одним из значительнейших современных живописцев Соединенных Штатов Америки и, вероятно, крупнейшим из всех когда-либо появлявшихся в этой стране художников-графиков. Он ведет жизнь, полную дальних странствий, выбирая обычно путешествия на край света — на Аляску, на Огненную Землю, в Гренландию,— но ездит также много по Европе и Америке с речами в защиту мира во всем мире, отдавая свои силы упорной, непреклонной борьбе за тот мир и покой, которых он не смог познать сам.

Кент — художник, Кент — писатель, Кент — путешественник, Кент — прогрессивный общественный деятель — все эти важнейшие стороны его человеческого облика в целостном и гармоническом единстве объединились и слились в его покоряющем всех человеческом обаянии. Он полон жизнеутверждающей силы, прочно и уверенно покоящейся на незыблемых гуманистических принципах, на вере в торжество человеческого разума. Он не строит из себя ни неприступного гения, ни парящего в эмпиреях мудреца, ни ангела: он живой и насквозь земной человек — простой, веселый, ярко остроумный, склонный к шутливому озорству, но могущий сразу стать молчаливым, нежным, застенчивым, уйти в философские размышления, в лирическое созерцание или в бурный ораторский пафос.

Таково же и его искусство — его книги, его картины, его графика,— в нем широчайший диапазон тем, образов, жанров, настроений. Не случайно в рисунках Кента к произведениям Шекспира ему одинаково удались и Макбет, и Фаль-



стаф, и Просперо. Его прекрасная книга «Курс Норд бай Ист» — об опасном и трудном плавании в Гренландию, о кораблекрушении и безлюдной гренландской тундре — написана с таким юмором, с такой шутливой насмешкой над собственными совсем не веселыми приключениями, что от этого еще увлекательнее и еще романтичнее становится эта морская эпопея, достойная Хейердала. В своих картинах маслом — Кент тонкий и возвышенный лирик, глубоко влюбленный в красоту мироздания, преклоняющийся перед грандиозностью и величием природы. В своих иллюстрациях к классическим литературным творениям — он изобретательный выдумщик, легко и ярко раскрывающий образный строй совсем различных книг, от «Декамерона» до «Моби Дика» от «Фауста» до «Листьев травы», от «Острова сокровищ» до «Гавриилиады». Он совсем другой, неожиданный и новый, в своих плакатах в защиту испанских республиканцев или в честь югославских партизан, в своих карикатурах на Гитлера и на американских фашистов, в своей откровенной, бесстрашной и безжалостной публицистике.

Мне кажется, что для Кента нет ничего мелкого и второстепенного в человеческой деятельности: он может с одинаковым увлечением председательствовать на многотысячном ежегодном митинге Национального комитета американо-советской дружбы — и купаться в снежных сугробах на уединенной ферме в Адирондакских горах вместе со своим сыном, профессором математики, которого он когда-то отдал на воспитание своему другу — эскимосу в Гренландии.

Что Кенту возраст! Еще года три назад, встречая его в Москве на аэродроме, я мог с удивлением наблюдать, как Кент не стал покорно обходить какую-то длинную и довольно высокую загородку в зале аэровокзала, а легким движением перемахнул через нее, как будто ему было 15 лет, а не 77! Да и в конфортабельном реактивном самолете не так-то просто в 80 лет лететь через Атлантический океан, как и плыть неделю на теплоходе. Но дело не только в физическом здоровье, которое Кент закалил крепко, когда строил бревенчатые дома в бухте Воскресения на Аляске или на берегах Ньюфаундленда, или когда плавал на лодке вокруг мыса Горн — на самом дальнем конце Южной Америки, или когда жил два года в эскимосском домике чуть ли не в районе залива Мелвилла на севере Гренландии. Дело, конечно, в его душевной ясности и духов-

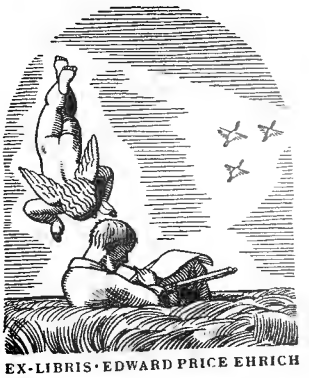
ном здоровье, надежно ограждающем его от всякой ветхости, старческого эгоизма или равнодушия к окружающему.

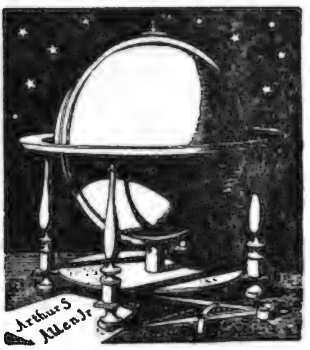
Таким он всегда был, таким, несомненно, всегда и будет.

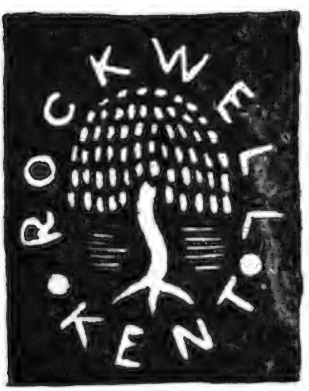
По просьбе редакции журнала «Иностранная литература» Кент прислал несколько фотографий со своих новых картин, написанных в Авгоре — его адирондакском доме, и в Вирджинии, куда он ездил в прошлом году по приглашению одного владельца поместья, чтобы написать для хозяина вид дома и парка вокруг. Кент согласился на это путешествие, так как для него большая редкость такой заказ на пейзажную живопись (да и на живопись вообще — богатые люди в Америке предпочитают обычно более модное, абстрактное искусство). Заказчик уехал путешествовать, предоставил Кенту и его жене Салли жить несколько недель в своем доме и бродить по запущенному саду и окрестным холмам, покрытым лесом. Такой сравнительно южной природы Кент никогда раньше не писал. Остался он доволен лишь одним из этих своих пейзажей (пока не знаю, каким) и хотел взять его с собою в Москву. Графические работы Кента, публикуемые в этом номере, более давние: рисунки из его гренландского дневника, рукопись которого хранится в научном архиве Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, рисунки для плакатов, для книги «Плавание к югу от Магелланова пролива», для книги «Это мое собственное», вышедшей накануне второй мировой войны. Все эти рисунки дают представ мастерстве кентовской граление о многосторонности и фики, о его глубоком и убежденном гуманизме.

Прелестны экслибрисы Кента, которые он очень любит и вкладывает в них много изобразительности и вкуса.

Новых успехов и счастья желаем мы нашему другу Рокуэллу Кенту в день его восьмидесятилетия!







Аляска. Киты в бухте Воскресения.

Вирджиния. Старый дуб

Вязы

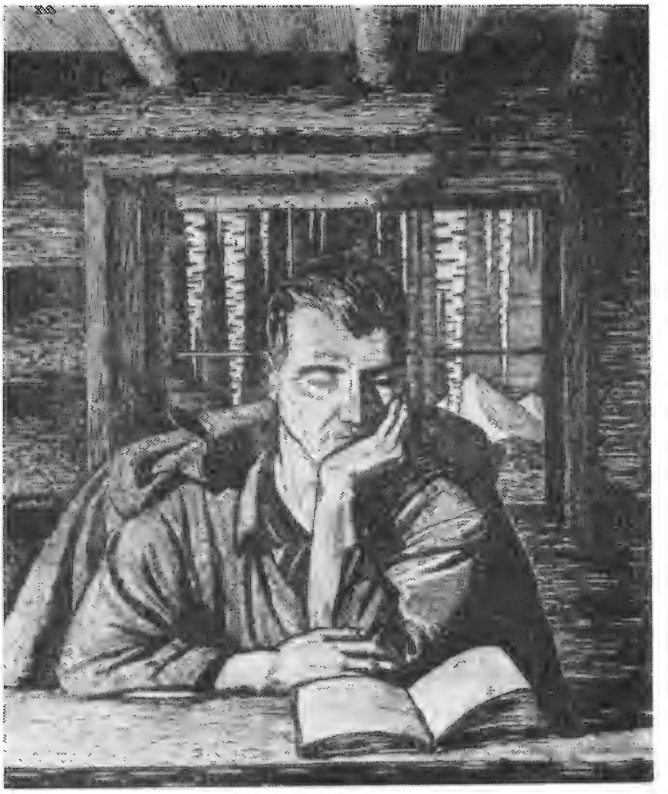
Асгор. Зимний полдень

Вирджиния. Осенний ландшафт. Вечер

Лес на Огненной Земле

Эскимоска и женщина с Пуэрто-Рико

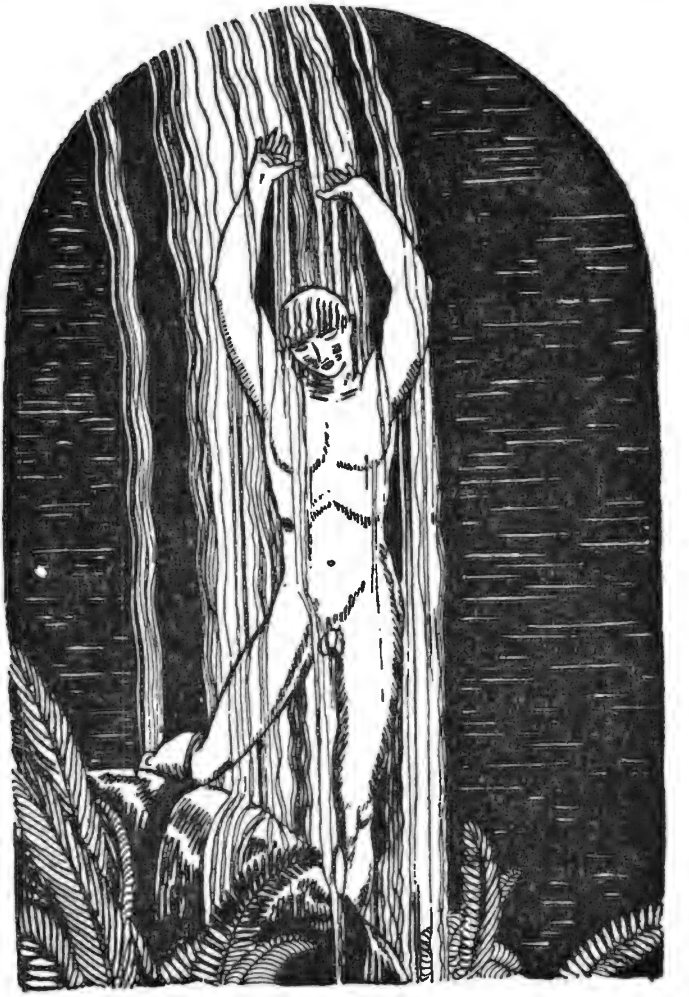
Вирджиния Тени облаков



Книга делает
дом родным

Асгор.
Верщины гор и деревья

Асгор Тени облаков

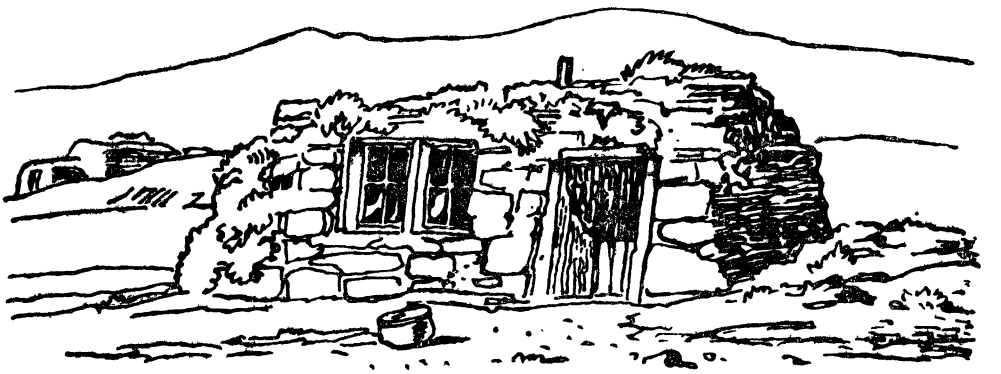


Юноша под водопадом

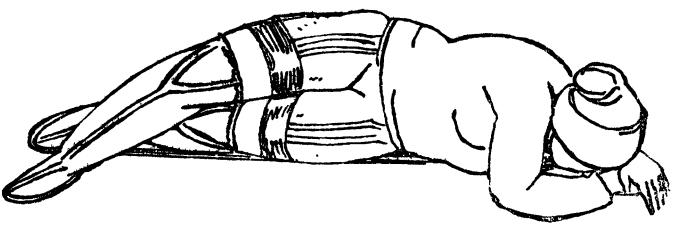
В защиту испанских детей

Американский фашизм

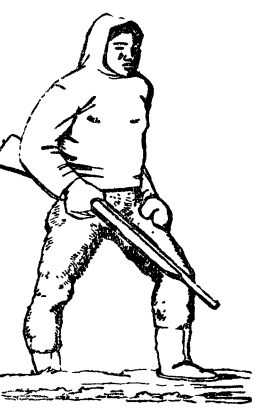
Разделка кита (Гренландский дневник)



Гренландский домик



Спящая женщина (Гренландский дневник)



Охотник

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

«Я ВЕРЮ В СВОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС»

Ф. Боносский. Долина в огне. Перевод с английского Т. Лещенко-Сухомлиной под редакцией И. Архангельской. Вступительная статья П. Балашова. Москва, Гослитиздат, 1961. 317 стр.

Ф. Боносский. Волшебный папоротник. Перевод с английского М. Беккер и И. Тихомировой. Редактор Э. Великанова. Предисловие П. Балашова. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 711 стр.

Филипп Боносский пришел в американскую литературу из рабочего движения. С юных лет познал он нужду и лишения, стоял в очередях за похлебкой для безработных, скитался по стране в товарных вагонах. Его взгляды формировались в бурные тридцатые годы — годы резкого обострения социальных конфликтов в США.

Художественное творчество для Филиппа Боносского — непосредственное продолжение той борьбы, которую он вел, участвуя в походах безработных, в забастовочных пикетах, выступая на митингах и демонстрациях. С первых же рассказов, увидевших свет в 1947 году, героями его произведений становятся люди труда, те, кто вместе с писателем делили невзгоды и вместе сражались за лучшее будущее,— те, кого Боносский с любовью и гордостью называет «солью американской земли», «фундаментом, на котором стоит страна».

В документальной повести «Брат Билл Макки» (1953) * Боносский дал яркую картину чудовищной эксплуатации и произвола на фордовских заводах в Детройте, ожесточенной борьбы рабочих за создание профсоюза. Главное действующее лицо книги Билл Макки, по словам Уильяма Фостера,— «настоящий символ неукротимого боевого духа рабочего класса, его решимости добиться своего окончательного освобождения».

В том же 1953 году из печати вышел первый роман писателя «Долина в огне», а восемь лет спустя — роман «Волшебный папоротник». Недавно обе книги появились в русском переводе.

Многое роднит эти произведения. Оба они посвящены, прежде всего, американским сталелитейщикам, оба проникнуты духом непримиримой вражды к несправедливости и лжи, господствующим в стране. Вместе с тем годы, разделяющие романы, явились для писателя периодом заметного творческого роста, более глубокого проникновения в американскую действительность.

Роман «Долина в огне» — это история духовного прозрения подростка Бенедикта Блуманиса, сына рабочего-металлурга. Чуткий, болезненно восприимчивый мальчик, столь непохожий на сверстников, одержим наивной идеей стать «святым». Дни и ночи проводит он в молитвах и душеспасительных беседах с престарелым священником Даром, утоляя «жажду... святой справедливости законов, предначертанных богом». Он убежден, что церковь — «единственное прибежище слабых и бедных», что можно «вести такую смиренную и добродетельную жизнь, которая не затронет ни машины, ни Власть». Но жизнь врывается в тишину алтарей.

Бенедикт видит, как сталелитейная компания осуществляет жестокий план захвата земель, на которых расположены лачуги метал-

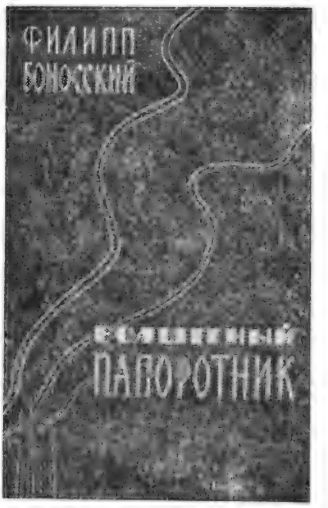
* Ф. Боносский. Брат Билл Макки. Москва, Профиздат, 1956.

лургов. Их поселок стирают с лица земли. Сотни рабочих, в том числе его отец, уволены, полицейские и солдаты устраивают кровавые побоища.

У Бенедикта растет потребность активно вмешаться в происходящие события. Перед ним все чаще встает вопрос: как бороться с торжествующим злом, от которого страдают и его семья и тысячи других людей? Он не находит ответа в религии, которая призывает к смирению: в угоду компании священник Брамбо одобряет не только выселение рабочих, но даже и снос церкви. На глазах мальчика рушатся столь дорогие для него стены храма. А в душе рушатся иллюзии и былые представления. Его мыслями, его сердцем все больше завладевают такие люди, как коммунист Добрик, соратник Уильяма Фостера. Они привлекают Бенедикта и чуткой отзывчивостью к невзгодам обездоленных, и своей решимостью бороться со злом.

Роман «Волшебный папоротник» переносит нас из 20-х годов в 50-е, из небольшого рабочего поселка в крупный промышленный центр Тюбойс. В первом романе основное внимание уделяется внутреннему миру мальчика, и описание событий дается лишь в его восприятии действительности; образы рабочих-руководителей страдают известной схематичностью. «Волшебный папоротник» рисует более широкую картину жизни современной Америки, показывает людей, стоящих на всех ступенях социальной лестницы — от опустившихся бродяг до руководителей крупнейшей стальной корпорации, от рабочих-активистов до конгрессменов.

Своим романом Боносский решительно опровергает обычные утверждения буржуазной пропаганды об «изменении» природы американского капитализма и наступлении «мира в промышленности». Не «гармония» труда и капитала характеризует жизнь в Тюбойсе, этой вотчине стального короля Тэрпена, а острая классовая борьба.



Филипп Боносский затрагивает одну из острейших проблем капиталистической Америки — социальные последствия введения автоматизации в промышленность. С болью в сердце писатель наблюдает, как научные достижения человеческой мысли в США оборачиваются против самих же создателей материальных ценностей. Установив на своих предприятиях новое автоматическое оборудование, Тэрпен выбрасывает за ворота более тысячи рабочих — их судьба его не интересует.

Боносский глубоко разбирается в расстановке социальных сил в стране, он срывает покровы с хваленой американской демократии, прикрывающей всевластие королей доллара. В романе убедительно показывается в действии сложный механизм, с помощью которого держится господство тэрпенов.

Воле Тэрпена подчиняются купленные на корню члены муниципалитета, штампующие угодные ему решения, власти штата, присылающие солдат для расправы с бастующими. Ему служит и ловкий демагог, главный директор компании Хэрствуд, и шеф ФБР Харперс, и желтый профсоюзный босс Боб Эдвардс, и платный осведомитель Эмиль Йост. В руках стального короля и промышленность, производящая общественное мнение: газеты, радио, телевидение, которые обрушивают потоки клеветы на все честное, передовое, внушают людям мысль, с циничной откровенностью высказанную Хэрствудом: «Быть с нами — значит быть американцем, патриотом; быть против нас — значит быть с ними, с предателями, агентами иностранного правительства».

Да, трудно бороться за права трудящихся в этой стране, находящейся под железной пятой тэрпенов. Боносский показывает, как атмосфера террора и запугивания порождает у многих безразличие к нуждам других людей, желание замкнуться в кругу сугубо личных интересов и даже толкает на сделки с совестью. Именно «душевная ржавчина человека в его отношении к другим,— говорит Боносский, — самый большой козырь» врагов трудящихся.

Проблема гражданского мужества, верности человека своим идеалам глубоко волнует писателя. Его самого отличает высокая принципиальность, готовность идти на любые лишения и испытания во имя правого дела. С гневом и презрением Боносский осудил отступничество тех, кто, подобно Говарду Фасту, перебежали в лагерь реакции. И в своем романе он развенчивает профсоюзных руководителей, поддавшихся корысти и малодушию.

Председатель окружной профсоюзной организации сталелитейщиков Рой Мелден в 30-е годы был коммунистом. Но сейчас его поведение определяет страх — страх перед ФБР, где хранится досье о его «красном» прошлом, страх потерять высокооплачиваемый пост, страх перед острыми классовыми столкновениями. В момент наибольшего накала борьбы между рабочими и компанией Мелден идет на предательскую сделку с Тэрпеном. Он складывает оружие, хотя металлурги, поддержанные горняками, полны решимости продол-

жать забастовку. У рабочих есть возможность заставить Тэрпена отступить, но отступает Мелден. Он подписывает коллективный договор, санкционирующий увольнение более тысячи человек.

Пока у руководства рабочего движения будут стоять откровенно продавшиеся профбоссы типа Эдвардса или малодушные оппортунисты типа Мелдена, американские трудящиеся неизбежно будут терпеть поражение — такова мысль, пронизывающая роман.

Огромная пропагандистская машина монополий занимается — и часто не без успеха — духовным разложением американцев. В одном из публичных выступлений Ф. Боносский с горечью отмечал, что среди значительной части молодого поколения США распространены пессимизм, отчаяние, неверие в человека. Но писатель, тесно связанный с трудовым народом, убежден, что дух рабочего класса остается здоровым. «Я верю в свой рабочий класс, — говорит Боносский,— и буду верить в него, в какие бы тупики его ни заводили». И в своих произведениях он рисует таких людей, чьи души не затронула ржавчина, чья жизнь без остатка отдана борьбе за счастье трудовой Америки. Это — старый рабочий Джо Жемайтис, умирающий со словами «главное — бороться», секретарь местной организации коммунистической партии, соратник Дебса и Фостера, Джон Стиннер и его жена Элизабет, неутомимая активистка Рут Жемайтис и другие.

Особенно удался автору образ старого негра, коммуниста Кэлвина Буна. Проникновенно показывает Боносский его глубокую человечность, его нравственное превосходство над расистами вроде сенатора Шеппарда, его нетерпимое отношение к компромиссам. Кэлвин Бун — один из лучших в американской литературе образов негра — борца за освобождение своего народа и всех трудящихся США.

Надо иметь большое гражданское мужество, чтобы так писать о коммунистах в стране, где коммунистическая партия подвергается разнузданной травле и жестоким преследованиям. Коммунисты в романах Боносского изображены как верные сыны американского народа, подлинные патриоты, как люди благородных и чистых помыслов, борцы за демократию и свободу. Тем самым Боносский смело бросает вызов антикоммунизму, возведенному в США в ранг государственной политики.

Сложную психологическую эволюцию переживает главный герой романа Лео Жемайтис. Это честный человек. Но ему не хватает стойкости и политической закалки. В сложный момент жизни он оступился, смалодушничал и вышел из коммунистической партии. Скитаясь по стране, он пытался продолжать борьбу в одиночку. Но вся логика его жизни, горячее стремление отдать свои силы делу рабочего класса приводят его к старым боевым товарищам. Попав вместе с ними в тюрьму, он просит вновь принять его в ряды коммунистов. Лео рассказывает им запомнившуюся ему с детства сказку о волшебном папоротнике — нашедший его может загадать желание, и оно исполнится, если желание будет касаться не самого загадывающего, а других людей.

В эту сказку о волшебном папоротнике, наделяющем человека способностью дарить другим людям радость и находить в этом счастье для самого себя, Боносский вкладывает глубокую социальную идею: «Таков по существу смысл коммунизма... Только в счастье других людей залог нашего собственного благополучия».

Это подлинно гуманистическое представление о счастье, о смысле жизни Боносский противопоставляет бездушному эгоизму и культу наживы, процветающему «в этой стране, где над всем господствуют деньги».

У обоих романов сходный финал: стачки заканчиваются поражением, боевые руководители брошены в тюрьмы; Боносский не преуменьшает всей сложности борьбы против капитала в самой мощной империалистической державе. Но в то же время писатель глубоко верит в конечное торжество дела социального освобождения трудящихся. Юный Бенедикт приходит в тюрьму навестить Добрика... Лео Жемайтис в тюрьме вступает в коммунистическую партию, лишая себя тем самым надежды оправдаться на суде. В этих глубоко символичных сценах выражена вера Боносского в неодолимую силу передовых идей, которые нельзя упрятать за решетку.

И. ГЕЕВСКИЙ

ОБРАЗ ПОЭТА

Владислав Броневский. Избранное. Перевод с польского. Составители Т. Агапкина и В. Хорев. Под редакцией Н. Асеева, М. Живова, Б. Слуцкого. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961.

Жизнь Владислава Броневского трагедийна и блистательна. Она подобна сказке о сосне, которая рванулась из леса, объятого пожаром, и зашагала своими корнями, несущими огромные глыбы земли. Шла эта сосна по Ирану, Ираку, Палестине, вдыхала запахи ливанских кедров и эвкалиптов, но нигде не внедрилась в эту легендарную почву, а питалась соками той почвы, которую унесла с собой.

И вернулась, наконец, та сосна в родную, израненную, полуобожженную пущу и снова окунулись ее корни в милую сладостную землю, имя которой — Отчизна.

Александр Блок сказал бы о Владиславе Броневском, что он был навек обручен с Польшей. Все, что любил Броневский, было для него Польшей — воды Вислы, домики Плоцка, поэзия Мицкевича, музыка Шопена, улыбка жены, смех дочери. Он любил родину беспредельной, непомерной, неистовой любовью, и это сделало его поэтом, но не только поэтом Польши — поэтом мира, потому что горе Польши стало мировым, всеплапетным горем.

Это было в 1935 году. Мы сидели с Броневским в ложе варшавского драматического театра. Давали трагедию Словацкого «Кордиан». «Кордиан» — ранняя работа великого поэта, зеленая до оскомины, полная весьма ощутимых перекличек с Байроном, Гете, Шекспиром. Герой трагедии — молодой человек... пятнадцати лет, помесь Вертера с Чайльд-Гарольдом, разочарован в жизни. Он мечется, ищет приложения своим силам и, конечно, путешествует. Вот он в Лондоне. Вот на вершине Альп. Нигде ничего интересного. Возвращается в Польшу. В это время Николай I после коронации посещает Варшаву. Тайное общество освобождения Польши готовит покушение на императора. Кордиан, как член общества, получает задание: совершить цареубийство. Он вполне подготовил себя к этой террористической акции, но в последний момент, уже на балу, где присутствует царь, Кордиана вдруг пронзает мысль: вправе ли человек убивать человека, даже если речь идет о деспоте. Покушение не реализовано. Идея терпит крах.

Пока шла пьеса, Броневский шепотом рассказывал мне ее содержание, время от времени подчеркивая наиболее яркие места в самом стихе. Когда же мы вы-

шли на улицу, Броневский сказал:

— Не знаю, что хотел выразить этой пьесой Словацкий: поэты Польши говорили тогда намеками. Но выразил он, желая этого или нет, великую мысль: родину может освободить только народ, а не отдельные его представители, вдобавок оторванные от народного массива.

— А может быть, Словацкий именно это и хотел сказать?

— Не думаю. Да это и не важно. Я считал и до сих пор считаю, что великое творение — всегда чудо. Поэтому произведение искусства может быть глубже, мудрее, умнее своего создателя. Иногда оно раскрывается много позже времени своего создания, когда поэт не мог и догадываться об идеях, которыми дышит его поэма. Очень может быть, что «Кордиан» и есть такая поэма.

В другой раз шли мы с Броневским мимо генерального штаба, перед зданием которого статуя Понятовского указывала саблей путь к Москве. На памятнике неизвестными лицами был вывешен самодельный плакат: «Спасите молодежь предместий!» Броневский долго молчал, потом произнес:

— Я сделал в своей жизни немало ошибок. Некоторые из них ужасны. Я был, например, легионером второй бригады Пилсудского. Это — самая красивая бригада в мире, потому что она состояла из поэтов, художников и артистов. И вот в составе этой бригады я сражался против Советской России. Красная Армия подошла уже к Праге — предместью Варшавы. Но тут произошло то, что у нас принято называть «Чудом на Висле»,— в решающем бою Красная Армия потерпела поражение и отступила. Националистическая Польша ликовала. И я вместе с ней. Потом, когда маршал Пилсудский превратился в рыцаря американского просперити, для меня стало ясно, что проигранное тогда Красной Армией сражение было для Польши несчастьем.

Это не просто фраза. Дума о Советской России глубоко засела в мозгу Броневского. Вспомним его стихотворение «Магнитогорск, или Разговор с Яном».

Мне что? Меня не сломать им! Дудки!
Пусть держат хоть до будущих святок.
А вот Ян — у него катар желудка,
и скоро пойдет ему седьмой десяток.
. . . . . .
Сижу и считаю часы. Яну что до кровати —
задремал на полу, прислонившись к стенке,
на лысине его, как на циферблате,
четверть пятого показывают стрелки.
Застонав, проснулся: спать жестко,
расправил сутуловатые плечи.
«Знаешь,— говорит,— в Магнитогорске
сегодня задуют две первые печи...»
Рассвет был серый, и полз он лениво,
в смертном испуге над городом замер он,
и я подумал: «Как жизнь красива
даже в этой паршивой тринадцатой камере...»
И еще думал о Яне,
о многом, о разном,
мысли связать далось нелегко мне.
И пылали над нами в застенке грязном
огромные магнитогорские домны.

(Перевод М. Живова)

Казалось бы, какое дело до магнитогорских домен легионеру второй бригады? Но поэт уже понял, что коммунизм это единственное, что может навсегда спасти Польшу от всех ее бед и злосчастий. В то время это

еще было только мечтой. Когда разразилась вторая мировая война, когда хищные тевтоны средневековья схватили в свои волосатые лапы «панну Польшу», начался самый тяжелый, самый трагический период в истории польского народа. Полный разгром польского войска. Освенцим, Треблинка, Майданек... Броневский в отчаянии. Броневский пишет стихотворение «Польский солдат».

Голову свесив, вздыхая
от боли,
плетется солдат из
немецкой неволи.
Дороги забиты войсками
чужими,
и польская осень сияет
над ними.
В тени под березой он сел
у дороги,
глядит на свои онемевшие
ноги.
Разбит его полк, немцам
отдали Раву,
но он-то ведь дрался —
и дрался наславу,
с простою винтовкой на
танки полез он,
что ж, танки прошли —
ведь они из железа.
Последнюю пулю пустил
под Варшавой,
побрел по руинам
тропою кровавой.
Сожжен его дом,
превращен в пепелище,
Как он отомстит,
безоружный и нищий?
. . . . . .
Орла нет на шапке. И он
безоружный.
В любимой отчизне
бездомный, ненужный.
(Перевод М. Живова)

Вместе с трагедией родины обрушилась на плечи поэта и личная драма: жена его, Мария, заключена фашистами в концлагерь.

Хочу вдыхать я
варшавский воздух,
в этом воздухе моя жена,
с дымом она улетела
к звездам.
Воздух — это она.
Есть такое местечко —
Освенцим.
Там горел огонь
крематория,
души мучеников святых и
младенцев
сегодня оттуда летят над
историей.
Что могу я?! Вздохну
уныло
и побреду, пригорюнясь.
За мною урны, за мною
могилы,
за мною далекая юность.
(«Освенцим». Перевод А. Ревича)

Если б от сердца отодрали кожицу и заставили звучать это сердце, оно заговорило бы стихами Броневского. Окровавленная душа его стала чуткой ко всем страданиям всех наций.

Из городов и местечек не
слышно криков
страданий...
повстанцы варшавского
гетто смертью героев
пали...
Слова свои в кровь
погружаю, а сердце —
в бездну рыданий,
для вас, о евреи Польши,
я польский поэт-скиталец.
(«Польским евреям». Перевод В. Бурича)

Но страшные его стихи, пахнущие прахом взорванных городов и пеплом народов, эти траурные песни, голос которых как бы клокочет от крови, хлынувшей горлом,— все-таки не безнадежны. Их нельзя оторвать от всего цикла, а цикл называется: «Примкнуть штыки». В этом цикле есть стихотворение, помеченное тремя звездочками, но истинное название его: «Пророчество».

Сын покоренной страны,
песни сын непокорной,
как буду петь я теперь,
о руинах родных
вспоминая?
Танком прополз по
отчизне сентябрь этой
осени черной,
руки ж мои безоружны,
страна безоружна родная!
Родина, я возвращюсь!
Ты воспрянешь в сиянии
славы!
О, я хочу, чтобы песнь моя
пламенем сердца
горела,
чтобы свобода восстала
из грозных развалин
Варшавы,
чтоб над стенами Кракова
красное знамя шумело.
Пеплом покрылась
Варшава — бессмертная
слава руинам!
Каждый кирпич твой
целую, что дерзко
врагами расколот.
Руку мне дай, Беларусь!
Дай мне руку свою,
Украина!
Дайте вы в путь мне,
как знамя победное,
серп ваш и молот.
(Перевод М. Живова)

Как четко и точно повторяют эти стихи слова Броневского, сказанные мне когда-то у памятника Понятовскому! Но в те годы они были для Владислава только размышлениями, только философемой, тогда как теперь, после страшного нашествия людоедов, они стали криком, истошным криком раненого человечества, криком, переходящим в боевой клич. Пока на земном шаре существует Советский Союз — нет и не может быть безнадежности. И недаром, находясь далеко от родины и еще дальше от дня победы, поэт, стоя перед гробницей Тамерлана, приходит к удивительному для его состояния выводу:

Смерть забывается.
Жизнь остается.

Много испытал после этого афоризма Броневский в своих мучительных скитаниях по Ирану, Ираку, Палестине. Но пророчество его оправдалось: жизнь победила. Правда, смерть не забыта, не должна, не может быть забытой, но жизнь восторжествовала, скиталец снова на родине, он видит Варшаву, встающую из «кровавых руин»,— и с новой силой звучит его песня в честь Октябрьской революции, которой он обязан освобождением своей обожаемой Польши:

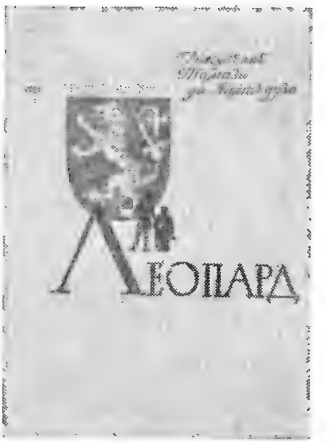
Кланяюсь русской
Революции
шапкой до земли,
по-польски,
делу всенародному,
советскому, могучему,
пролетариям, крестьянам,
войску!
(«Поклон Октябрьской революции». Перевод С. Кирсанова)

Владислав Броневский умер. Умер, когда трагедия его родины закончилась и наступило ее вешнее обновление. Погрустим же над поэзией Владислава, которая никогда более не заговорит новыми словами, но и порадуемся бессмертию, в которое она вступает.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ

Джузеппе Томази ди Лампедуза. Леопард. Перевод с итальянского Г. С. Брейтбурда. Предисловие для советского издания Марио Аликаты. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 261 стр.



Это не совсем обычный роман. Судьба у него тоже не совсем обычная.

Когда писался «Леопард», автору его было уже около шестидесяти. О том, что Джузеппе Томази герцог Пальма и князь ди Лампедуза интересуется литературой, в то время знали лишь его самые близкие друзья «Леопард» был его первым романом. Первым и последним. Джузеппе Томази умер в июне 1957 года, за год до того, как «Леопард» вышел в свет.

Роман имел шумный успех и почти сразу же был переведен на многие языки. Джузеппе Томази, который, по-видимому, никогда не мечтал о литературной славе, в один день стал знаменит. В последние годы ни в самой Италии, ни за ее пределами, никакой итальянский роман не знал такого успеха. Опубликование «Леопарда» стало своего рода сенсационным «открытием». В Италии, Франции, Англии критики ставили имя недавно еще никому не известного Томази ди Лампедузы в один ряд с именами крупнейших писателей XIX и XX веков. Сперва заговорили о Ди Роберто, Пиранделло, Бранканти. Потом замелькали такие имена, как Стендаль, Пруст, Бальзак, Мериме, Флобер, Достоевский, Джойс, Фолкнер, Музиль, Хаксли, Баррес, Чехов. Сопоставления и сравнения со столь не похожими друг на друга писателями, конечно, мало могли объяснить характер романа Томази ди Лампедузы, но кое о чем они все-таки говорили. Они свидетельствовали о некоторой растерянности критики, затруднявшейся найти место для «Леопарда» в современной итальянской литературе,— но также и о том, что критики оказались перед лицом произведения бесспорно большого и своеобразного. Луи Арагон прямо назвал «Леопарда» одним из самых значительных романов не только в современной, но и во всей мировой литературе.

В такой очень высокой оценке, данной роману Томази ди Лампедузы автором «Страстной недели», было, как мне кажется, некоторое полемическое преувеличение, но то, что «Леопард» — произведение действительно значительное, вряд ли подлежит сомнению.

Теперь о самом романе.

«Леопард» отнюдь не похож на «бестселлер», во всяком случае на то, что обычно связывают с этим понятием. В нем не содержится ни щекочущих нервы политических сенсаций, ни сладострастного копания в недрах сексуальной психологии «Леопард» не обладает ни занимательным сюжетом, ни занимательной для определенной части буржуазной «элиты» бессюжетностью. Некоторые критики даже обвиняли Томази в литературной «отсталости» и архаичности.

По признакам жанрового деления, «Леопарда» Томази ди Лампедузы надо было бы занести, вероятно, в разряд исторических романов. Действие в нем развивается на фоне значительных и чрезвычайно важных для всего итальянского народа событий — завершается национальное объединение Италии. На страницах романа часто мелькает имя Гарибальди. Он ни разу не появляется, как не появляется в «Леопарде» ни одна сколько-нибудь заметная историческая личность Рисорджименто, но главный герой романа, князь Фабрицио Салина, постоянно думает о Гарибальди, мысленно спорит с ним и даже по-своему, хотя и очень пассивно, борется против всего того, что нес с собой Гарибальди.

Первая глава романа — в «Леопарде» она едва ли не самая яркая,— озареиная светом костров повстанцев и заполненная тревожным ожиданием высадки на Сицилии гарибальдийской «тысячи», могла бы, казалось, стать превосходным началом широкой исторической эпопеи. Но этого, однако, не происходит. Дальше роман течет совсем по иному руслу.

В жанровое определение исторического романа «Леопард» до конца не укладывается. События Рисорджименто, как это убедительно показано в предисловии Марио Аликаты написанном специально для советского издания, не получили в этом произведении сколько-нибудь удовлетворительного «освещения». Однако Томази ди Лампедуза подобной задачи перед собой не ставил.

История в «Леопарде» только фон, далекий и, пожалуй, не очень активный. Но все-таки история в романе присутствует. В нем даже есть что-то вроде «философии истории» (ее развивает князь Франческо Салина). И вместе с тем автор «Леопарда» пытается заменить понятие «История» понятием «Время».

Тема Времени — первая основная тема романа.

Время мыслится Джузеппе Томази как Вечность. История — это движение и прогресс, а Время для автора — нечто и вечное и неизменное.

Полностью растворить Историю в бесконечности Вре-

мени Томази ди Лампедузе, однако, не удается.

«Леопард»—роман о судьбе одного героя. Это роман о смерти князя Франческо Салины.

Переплетаясь с темой Времени, тема Смерти проходит через весь роман. В «Леопарде» это вторая основная тема.

Князь Франческо Салина не просто главный герой «Леопарда» — это его, так сказать, идейно-эстетический фокус. Все линии в романе сходятся в образе князя Салины, старого сицилийского аристократа, нарисованного Джузеппе Томази с большой художественной силой. Действительность показана только через восприятия и ощущения жизнелюбивого и медленно умирающего героя.

Смерть гиганта Франческо Салины приобретает в романе Томази ди Лампедузы значение большого исторического символа.

Князь Франческо Салина говорит о себе: «Я представитель старого класса. Я принадлежу к несчастному поколению, живущему на гребне между новым и старым временем; и нам одинаково плохо и в том, и в другом. Кроме того, я лишен иллюзий».

Салина — пессимист и скептик. Однако вряд ли можно утверждать, что он действительно полностью лишен всяких иллюзий.

На его глазах рождается новая буржуазная Италия. Князь Салина иногда вдруг отмечает «ошеломляющее ускорение шагов истории», но все-таки он упорно не хочет верить в то, что в Италии может что-то измениться. Он думает: «Всему этому должен был бы прийти конец, однако все останется таким навсегда, разумеется, речь идет о доступном человеку «навсегда», то есть на сто, на двести лет... а потом все будет по-другому, но еще хуже. Мы — леопарды, львы; те, кто придут нам на смену, будут шакалишками, гиенами; но все мы, леопарды, шакалы и овцы. будем по-прежнему считать себя солью земли».

Иллюзии князя Салины порождены его страхом перед будущим.

Когда Танкреди, его племянник и духовный сын, присоединяется к Гарибальди, князя Салину в первый момент это несколько шокирует. Но Танкреди объясняет: «Раз мы хотим, чтобы все осталось, как есть, нужно, чтобы все изменилось», и князь принимает это как спасительное откровение. После он уже с некоторым злорадством думает о Гарибальди: «Обведут его вокруг пальца».

Князю Салине очень хочется думать, что в Италии, в которой к власти пришел Танкреди и разбогатевший парвеню Седара, все осталось так же, как в «доброе старое время». Но это не больше чем иллюзия, и в конце романа одинокому князю Франческо Салине остается только «флиртовать со смертью».

Иногда старого «леопарда» охватывает ненависть и презрение к «шакалу» Седаре. Тогда ему начинает казаться, что «возвышение этого человека и ста подобных ему, темные их интриги, упорная скупость и алчность — вот причина того ощущения смерти, которое накладывает свой отпечаток на окружающих его людей и даже на предметы. Однако он все-таки считает, что лучше уж Седара, чем Гарибальди. Только в смерти пытается князь Салина искать утешение и оправдание своей пассивности: «Как можно негодовать против тех, кому безусловно суждено умереть?» И еще: «Покуда есть смерть, есть надежда».

Но именно смерть разрушает последние иллюзии. Перед смертью князь Салина вынужден признать себя побежденным: «Он говорил, что Салины всегда останутся Салинами. Он был неправ. Последний Салина — он сам. Этот Гарибальди, этот бородатый Вулкан в конце концов победил».

Все размышления князя Салины об историческом значении событий Рисорджименто проецируются в «Леопарде» на общественную действительность сегодняшней Италии, пережившей в годы Сопротивления период своего второго «национального Возрождения». Это то, что придало роману Томази подлинную актуальность и вызвало такие страстные споры, какие редко порождают даже самые злободневные произведения. Крупнейший историк итальянской литературы Луиджи Руссо был глубоко прав, когда он назвал «Леопарда» романом «политическим». В отличие от Луи Арагона Томази ди Лампедуза связывает настоящее только с прошлым— будущего для него как бы не существует. Это, конечно, поза. Но также и позиция. Томази ди Лампедуза не желает верить в будущее и в прогресс, потому что он не верит в историческую плодотворность каких бы то ни было революций. Герой «Леопарда» думает: «Немало дел совершится, но все окажется лишь комедией, шумной и романтической, и лишь несколько капель крови останется на шутовском наряде».

В «Леопарде» Томази ди Лампедуза показал историческую обреченность князя Салины и всего того класса, к которому он принадлежит. В этом большая победа художника. Это победа Томази над самим собой — над своими социальными и классовыми предрассудками.

Томази ди Лампедуза тоже боится будущего. Ему тоже хотелось бы верить в то, что в жизни современной Италии ничего не меняется, что история не идет вперед, и что существует только со всем примиряющая смерть. Но он уже не может верить в это так, как верил его герой. Исторические иллюзии князя Салины художественно осознаны в «Леопарде» как иллюзии.

Томази ди Лампедуза не хочет думать о будущем, но он не желает и судорожно цепляться за уходящее в прошлое. И то и другое представляется ему в равной мере бессмысленным. Отсюда та грустная, горькая и пессимистическая ирония, окутывающая в «Леопарде» даже его главного героя, которому Томази искренне и глубоко симпатизирует. Она составляет главную прелесть романа, и ею в значительной мере определяется его эсте-

тическая ценность. Ничего, как всякая ирония, не утверждая, она очень многое отрицает. Об этом хорошо сказал в своем предисловии к «Леопарду» Марио Аликата:

«Если Томази ди Лампедуза не дал нам большое эпическое полотно исторических событий 1860 года, то он создал великолепную фигуру, в которой наиболее полно отражены ощущения тревоги и обреченности, а вместе с тем и сознание неизбежности собственного конца, присущее господствующим классам старой капиталистической Европы. А этого более чем достаточно, чтобы рекомендовать книгу советскому читателю».

Р. ХЛОДОВСКИЙ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ДВА ЦВЕТА МИРА

William E. B. Du Bois. Worlds of Color. Mainstream Publishers, New York, 1961.

Есть книги, значение которых не сразу охватываешь умом. Их смысл раскрывается постепенно, по мере того как возвращаешься к ним еще и еще, всякий раз находя там удивительный запас знаний, чувств, веры в будущее.

Такие книги заставляют вспомнить иные, читанные ранее, которые размещаются тогда в истинной перспективе. Теперь немыслимо уже рассматривать многочисленные, принадлежащие самым разным авторам, произведения об американских неграх, не соотнося их с трилогией Уильяма Дюбуа «Черное пламя». Приходят в соответствие имена, книги и поступки писателей. Одни, как Ричард Райт, покидают дело, в которое верили, и, отчаявшись, умирают на чужбине, другие, как Уильям Дюбуа, в нелегкий для свободолюбивых американцев час связывают свою судьбу с коммунистами.

Созданное старейшим писателем, ученым, общественным деятелем замечательное историко-художественное полотно ярко и правдиво отражает целую эпоху, пути и перепутья мучительной борьбы американских негров за равноправие с Гражданской войны 1861—1865 гг. до середины пятидесятых годов нашего столетия.

Тесно сплетается с драматическими событиями тех долгих лет жизнь Мануэля Мэнсарта, мелкобуржуазного интеллигента-негра и его семьи, разбросанной по всей стране.

В романе «Цвет мира», заключительном томе «Черного пламени» *, указан точный отправной пункт действия — 1936 год. Первая мировая война, кризис и рузвельтовский новый курс потрясли стареющего Мэнсарта, президента колледжа для цветных в штате Джорджия. Рухнули привычные представления, «весь тот несложный, крошечный мирок с добрым боженькой, злыми людьми и сонмом парящих ангелов... Что же это такое, «негритянская проблема», над которой он бился всю жизнь?» В поисках ответа Мэнсарт решает предпринять поездку за границу. И уже в Англии, увидев разительное несоответствие между заверениями милого хозяина дома, сэра Джона Риверса, будто «аристократия — лучшее средство прогресса человечества», и ужасающим обликом лондонского Ист-энда, Мэнсарт приходит к убеждению, что людей разделяет нечто большее, чем цвет кожи. Путешествуя по Рейну, он спрашивает у случайного попутчика что-то насчет Гейне и скалы Лорелеи, но тот рявкает в ответ: «Сегодня ни один настоящий немец не поет песню этого еврея!»

Мэнсарт все внимательнее всматривается в большой, переменчивый и не очень понятный для него мир, с горечью ощущая узость недавних своих представлений о нем.

В октябре 1936 года Мэнсарт записывает в дневнике: «Я — в России, там, где развертывается величайший в мировой истории эксперимент организованного общества...» Еще будучи во Франции, герой трилогии познакомился — впервые в жизни — с русским коммунистом, и из разговоров с ним совершенно в ином свете, чем прежде, предстала Мэнсарту Октябрьская революция.

Пройдет еще немало времени, потребуются еще испытание второй мировой войны, волна антиколониальных революций и «холодная война» с сопутствующим ей маккартизмом, словно раковая болезнь разъедающим души и умы людей,— прежде чем наш герой, постигнет великую правду эпохи. Иногда даже создается впечатление, что автор намеренно, боясь впасть в упрощение, сдерживает политическое развитие действующих лиц (это относится не только к Мэнсарту), неоднократно возвращаясь к тому, что уже внутренне решено ими для себя, и как бы подчеркивая истинность этого убеждения.

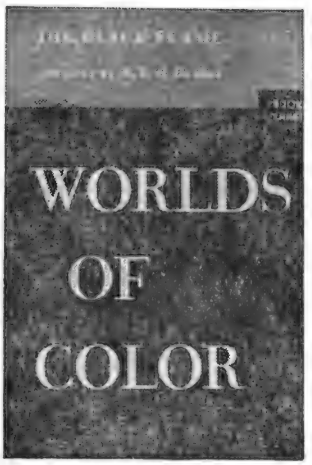
Большей социальной зоркостью обладает Жан Дюбиньон — негритянка с бе-

* Рецензии на I и II тома трилогии см. в «Иностранной литературе» № 2, 1958 г. и № 3, 1961 г.

лой кожей, секретарь, друг, а затем и жена Мэнсарта. Она давно поняла: капиталисты превращают негров в конкурентов белым трудящимся на рынке рабочей силы — значит, необходимо единство действий. И вот она преодолевает «цветной барьер» — устраивается на фабрику, вступает в «белый» профсоюз, стараясь изнутри воздействовать на его лидеров, которые не хотят допустить негров в организацию. Справедливо заметил американский критик С. Финкельстайн в своей статье о романе, что Дюбуа «без обиняков говорит о предрассудках, расовых предубеждениях и оппортунизме части рабочего класса».

В 1949 году Жан в Париже на Всемирном конгрессе сторонников мира; вернувшись в колледж, где преподавала, она имела «неосторожность» высказать свои взгляды на дело Розенбергов и заключение в тюрьму видного общественного деятеля Бена Дэвиса. Заработала машина: вызов в федеральный суд, обвинение в заговоре против власти. Но вашингтонский фарс окончился плачевно для его устроителей. Лжесвидетель, нанятый в последнюю минуту, не сумел опознать ту, с которой встречался якобы на «тайных собраниях».

Совершенно естественно возникает в романе африканская тема. К Черному континенту обращают взор многие американские негры — персонажи книги: земля далеких их предков обретает свободу. Адельберг, внук Мэнсарта, потеряв в Корее руку и едва не помешавшись от ужасов войны, бежит от неласковой родины в Париж. Случай сводит молодого человека с участниками африканских национально - освободительных движений. Преградить в Африку путь империалистам, донести до сознания белых рабочих всего земного шара, что «именно в Африке пытаются теперь ковать цепи угнетения для них самих»,— вот то настоящее дело, к которому стоит приложить руки, и, пережив



цепь романтических приключений, Адельберг вместе со своей любимой девушкой вьетнамкой Дао Ту отправляется в Гану.

Уильям Дюбуа не просто писатель, на протяжении долгих и трудных лет он — деятельный участник общественной жизни. Оттого, верно, так счастливо соединяются в романе публицистичность с чем-то глубоко личным, выстраданным и потому вдвойне по-человечески убедительным, факт с вымыслом, правда историческая с правдой художественной. Рядом с реальными людьми всевозможных взглядов и верований, в романе на равных правах существуют вымышленные персонажи — типические характеры эпохи.

Энгельс писал в «Людвиге Фейербахе»: «...каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели, а общий итог этого множества действующих по различным направлениям стремлений и их разнообразных воздействий на внешний мир — это именно и есть история». Вот почему произведения, подобные трилогии Дюбуа (которая задумана, как эпопея), не предполагают единого сюжета и выверенной, подогнанной до мелочей композиции; отсюда — и свободная форма романа (и всей трилогии), его панорамность, позволяющая показать и частное, и общее.

Вместе с реальным течением времени, с разворотом исторических событий движется и содержание романа: оно ширится, вбирает в себя все новые и новые стороны действительности. Распрямляются герои, они становятся зорче, мудрее, ставят перед собой новые, все более сложные, всечеловеческие проблемы.

Мэнсарт 50-х годов далеко не тот просветитель-интеллигент, каким он был двадцать лет назад, когда мечтал о «великой расе американских негров». Для него главное теперь — не цвет кожи, а цвет времени. Постепенно осмысливается и получает новое наполнение и труднопереводимое название заключительной части трилогии «Цвет мира» ("The Worlds of Color"). По началу оно означает взаимоотношение двух основных частей американского народа: негров и белых. Далее, к середине романа, к главам, воссоздающим международные события сороковых годов, автор размышляет о месте «цветного мира» — всех желтых и черных людей земли — в «белом мире», сотрясаемом самой страшной на памяти человечества войной,— и название приобретает новый смысл. К финалу трилогии, завершающейся 1954 годом, происходит окончательное размежевание сил, и не по цвету кожи, а по окраске дел и мыслей: никнет бледное пламя западных буржуазных цивилизаций, а, противостоя ему, возгорается Черное пламя национально-освободительных движений. Оно сливается с Красным пламенем социализма, преграждающим путь угнетению и войне. На исходе жизни Мануэль Мэнсарт приходит к выводу, что в сегодняшнем мире есть два цвета времени, два лагеря.

Он окончательно понял это во время приема, который «сильные мира сего» устроили в Рокфеллеровском центре для «обсуждения» с деятелями Африки, Вест-Индии и «черной» Америки громкой программы «Будущее Африки и черной расы» (великолепен этот характерный для Дюбуа, вымышленный, но обладающий при всем том чертами

исторической достоверности эпизод). Очаровательная хозяйка принцесса Зегю де Лоринберг — русская эмигрантка, британская шпионка, международная авантюристка, осевшая в конце концов в США,— была цинично откровенна. «Готовы ли вы,— обратилась она к присутствующим, — помочь белой расе сокрушить русских и китайских коммунистов — или предпочтете присоединиться к этому заговору против цивилизации? За мной — шестьдесят человек, которые правят Америкой и являются действительными властителями мира... Мы — хозяева жизни...» В наступившем тягостном молчании некая фигура выскочила было с заверениями в верности частному капиталу, но Мэнсарт перебил подпевалу. Его короткая страстная речь утверждала высокие принципы братского интернационализма.

...Мэнсарт не дожил до наших дней, когда по южным штатам Америки волной прокатились «сидячие забастовки» молодежи, когда в «рейдах свободы» крепла солидарность людей доброй воли всех цветов кожи, когда с новой силой развернулась схватка за отмену сегрегации и полное гражданское равноправие американских негров. Среди тех молодых людей были, верно, и внуки Мануэля: один из них сказал у постели старика: «Мы терпели триста лет. Мне это надоело... Я хочу драться!»

Перед взором умирающего Мэнсарта чередой проносятся видения. Сначала — бомбы, затмившие небеса, города в пламени и руинах, мир, содрогающийся от горя, ненависти и страха. Неужели так будет? Сыновья пожимали плечами, но Жан, приподняв Мэнсарту голову, твердо сказала: «Никогда!». И, разомкнув слабеющие веки, Мануэль заговорил снова: «То был страшный кошмар. Я вернулся из далекого путешествия. Я видел... миллионы русских, вчера еще неграмотных, а сегодня читающих вековую мудрость. Я видел миллионы китайцев, руками поднимающих родную землю, чтобы перегородить реки, которые размывают почву. Я слышал, как в Корее, Вьетнаме, Индонезии, Малайе поют птицы. Я видел Индию и Пакистан — объединенные и свободные... В Нью-Йорке...» — тут он откинулся на подушки и замолк.

Так умер Мануэль Мэнсарт — на семьдесят восьмом году своей жизни. Шел девяносто первый год от освобождения негров в Америке.

Г. ЗЛОБИН

РАЗДУМЬЯ СОВРЕМЕННИКА

Валери Петров. В меката есен. Поема. София, Български писател, 1961.

«Ясной осенью». Тонен ькая книжка в скромной обложке. Имя автора в болгарской литературе известно более двадцати лет. Это имя одного из талантливых и оригинальных поэтов сегодняшней Болгарии.

В 1949 году вышел сборник, озаглавленный «Стихотворения», вобравший лучшее из написанного до тех пор Валерием Петровым. Уже тогда сложилась та своеобразная манера, которая отличает все созданное им впоследствии и которую мы узнаем в его новой поэме по мягкой, чуть иронической улыбке, по простой и естественной интонации, по умению найти немногие, но тонкие и неожиданные детали будничной обстановки. В. Петров рисует сценку двумятремя черточками, как художник несколькими штрихами. Его увлекают цвета, их сочетания и контрасты, он заставляет нас почти зрительно представить себе зимнее зеленоватое небо и ярко-желтую вывеску на его фоне.

Живописность не противоречит лирическому складу поэзии Петрова, и в поэме «Ясной осенью» вновь проявляется его способность улавливать мимолетные, быстро сменяющиеся ощущения, настроения и чувства. Как и в других его поэмах, здесь нет сюжета, а лишь поток лирических переживаний и размышлений.

Светлым осенним днем возвращается поэт после летнего отдыха в Софию. К осенней щемящей грусти примешиваются чувство одиночества и невеселые мысли о минувшей молодости, о прошедшей или несбывшейся любви.

Осенние раздумья — тема не новая. Вряд ли поэма привлекла бы особое внимание читателя и критики, если бы содержание ее исчерпывалось этими настроениями, если бы воспоминания о молодости и любви не сливались в ней с мыслями о судьбе революции, рождая главную тему, которая зрела в душе поэта «не лето, что там лето! — целую жизнь».

Патетика, красноречие трибуна несвойственны таланту Валерия Петрова, хотя за интимными переживаниями в его произведениях всегда чувствуется отзвук больших событий эпохи. Но никогда гражданская тема не звучала у него так отчетливо, как в новой поэме, никогда не касался он так смело острых и значительных вопросов жизни своей страны. Именно эти страницы поэмы читаются с особым волнением, именно они раскрывают новую грань, новую сторону в таланте Петрова.

В первые дни после победы над фашизмом, о которых вспоминает поэт, дальнейшее развитие революции представлялось его юношескому воображению легким, простым и праздничным. Но воплотить ее дерзания в жизнь оказалось сложнее. В сложности этой борьбы внимание В. Петрова привлекает проблема ответственности каждого за судьбу революции, верности ее идеалам.

В предельной искренности, в смелости, с которой Валерий Петров ищет ответ на вопрос,— сила и правда его слов, идет ли речь об опасности утерять революционную самоотверженность годов антифашистской борьбы или о разоблачении культа личности. Не ради отклика на злободневную тему пишет об этом поэт. Здесь выражены сокровенные его мысли, продиктованные любовью к великому делу Партии.

Раздумья о путях революции и судьбе родины постепенно отодвигают на второй план и чувство одиночества, и боль, и грусть, наполнявшие душу поэта.

Шаги прохожих в вечернем сумраке, крики детей, играющих во дворе, красный огонек телевизионной вышки, маленькая звездочка спутника в небе — все сливается в реальное ощущение спокойствия, радости, счастья страны, нераздельности своей судьбы с общим счастьем людей.

Заканчивая поэму, Валерий Петров говорит, что, быть может, читатель встретит в ней созвучные ему «мысли собрата по эпохе». Он не ошибся. Мы слышим в поэме голос нашего современника, человека, тонко чувствующего и глубоко понимающего главные проблемы современной действительности.

М. ТАРАСОВА

Рисунок из журнала
«Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель»
(ГДР).

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В Государственном издательском институте Польши вышел сборник стихов Александра Твардовского.

«В произведениях Твардовского мы часто встречаем бегущие вдаль дороги,— пишет рецензент журнала «Нове ксенжки».— По ним в поисках легендариого края крестьянского счастья — «Страны Муравии» идет Никита Моргунок, дальняя дорога ждет Василия Теркина; эта дорога пролегает мимо «Дома у дороги» и уходит в новые дали, ведущие через просторы Урала, Сибири, Дальнего Востока,— широкой магистралью поэмы «За далью—даль».

Английская печать недавно опубликовала положительные отзывы о двух советских книгах, изданных на английском языке в Лондоне: «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова и «Пядь земли» Григория Бакланова.

Известный английский писатель Томас Хайнд в рецензии, опубликованной еженедельником «Обзёрвер», отмечает: «Описания войны в обеих книгах сделаны мастерски... Читатель остается потрясенным и изумленным глубокой убедительностью прочитанного».

Обложка чехословацкого издания книги Виктора Кина «По ту сторону».

По словам Хайнда, героическая эпопея битвы на Волге, воссозданная Некрасовым, целиком захватывает читателя, а показанные этим писателем русские воины — изумительны.

Положительную оценку «Пяди земли» Бакланова дает рецензент литературного приложения к газете «Таймс» — «Таймс литерари сапплмент».

Роман Константина Федина «Братья» вышел на немецком языке в издательстве «Ауфбау» (ГДР).

Сообщая о выходе в свет перевода на болгарский язык «Ледовой книги» Юхаиа Смуула, журнал «Пламк» пишет:

«Эта книга эстонского писателя Юхана Смуула заслуженно отмечена самой высокой наградой — Ленинской премией. В последние годы это одна из наиболее популярных в Советском Союзе книг. Ее обаяние — в сердечности, непосредственности повествования, в размышлениях, в поэтической интонации. Автор описывает рейс третьей советской полярной экспедиции — будучи ее участником, он наблюдал суровое мужество и проявление высокого коммунистического сознания советских людей в исключительно трудных условиях».

«Ледовая книга» — глубоко волнующее и яркое художественное произведение, наполненное здоровой, мужественной поэзией, юмором, правдиво и проникновенно раскрывающее оптимистический, жизнерадостный характер советского человека»,— пишет обозреватель еженедельника «Литературен фронт».

«Золотая роза» Константина Паустовского вышла в издательстве «Диц-ферлаг» (ГДР).

По сообщению западногерманского книготорговоого бюллетеня, в мюнхенском издательстве «Нимфенбургер-ферлаг», выпустившем в прошлом году «Далекие годы» К. Паустовского, готовятся к изданию в нынешнем году и другие книги писателя, в том числе «Беспокойная юность» и «Начало неведомого века». Бюллетень приводит оценку западногерманской критики творчества Паустовского: «Проза его находится в русле русской классической литературы».

Берлинским издательством «Культур унд фортшритт» (ГДР) выпущены на немецком языке роман Георгия Маркова «Соль земли» и роман Юрия Германа «Дело, которому ты служишь».

«Трубка» Юрия Нагибина издана на Цейлоне.

Издательство «Дейчер милитерферлаг» (ГДР) выпустило роман Аркадия Первенцева «Кочубей».

Поэмой о борьбе и труде назвал китайский писатель Фэн Му книгу Бориса Полевого «Глубокий тыл». Рецензируя роман в журнале «Вэньи бао», Фэн Му пишет: «Китайские читатели с огромным интересом прочтут новое произведение советского писателя Бориса Полевого «Глубокий тыл». Полевой — один из тех советских писателей, которого в Китае хорошо знают. Я уверен, что книга «Глубокий тыл» будет встречена нашим читателем с таким же интересом, как и ранние произведения Полевого — «Повесть о настоящем человеке», «Мы — советские люди».

Роман «Глубокий тыл» рецензент считает творческим успехом писателя. Это, по словам Фэн Му, волнующее повествование о том, как героический труд советских людей поднял из руин и пепла один из советских городов, разрушенных фашистскими варварами. В произведении живут и действуют простые советские люди с открытой душой и чистым сердцем. Жизнь закалила их, сделала стойкими и неустрашимыми, верными патриотическому и боевому долгу. Каждодневные подвиги, которые они совершают, находясь на своих постах, говорят о том, что это — люди высокой коммунистической сознательности и патриотических устремлений. Эта книга, несмотря на то, что в ней описана жизнь лишь одного города, дает ясное представление об облике всего советского народа, спасшего в годы второй мировой войны мир от коричневой чумы фашизма.

Сборник избранных стихотворений Семена Кирсанова в переводах Л. Кубишты и В. Данека вышел в Чехословакии. Несмотря на ограниченный объем сборника, советский поэт, по свидетельству критики, представлен в нем довольно полно и удачно. Чешский читатель познакомится и с лирикой С. Кирсанова, и с его политической поэзией, и со стихами философского звучания.

«Наше знание советской поэзии значительно углубится в результате знакомства с голосом поэта, движущей силой и энергией которого всегда была борьба, а не идиллия и размышления о погоде»,— пишет рецензент журнала «Хост до дому».

Итальянское издательство Гардзанти, по сообщениям римской печати, готовит издание перевода романа Галины Николаевой «Битва в пути». В итальянском издании книга будет называться «Идет битва».

Книга литературоведа В. Днепрова «Проблемы реализма» вышла в переводе на чешский язык в издательстве «Чехословацкий писатель». Рецензент еженедельника «Литерарни новины» пишет: «Книга является очень важной и актуальной... Она дает настоящий анализ реалистического метода в искусстве, его историю и современную проблематику».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ
Хроника

АЛЖИР

К УБИЙСТВУ МУЛУДА ФЕРАУНА

Бандиты ОАС убили в Алжире видного писателя Мулуда Ферауна. Откликаясь на его гибель, французская печать сообщает, что отец Ферауна — бедный феллах — уехал на работу во Францию, чтобы избавить семью от голода и лишений. Это дало возможность Ферауну, оставаясь на родине, в Алжире, выучиться грамоте и стать учителем, а впоследствии и писателем, автором известного романа «Сын бедняка».

«Кабильский писатель, пишущий на французском языке, всем своим творчеством подтвердивший возможность сосуществования двух традиций и двух культур, Мулуд Фераун был зверски убит вместе со своими французскими коллегами в тот момент, когда они работали над претворением в жизнь этой идеи...— говорится в заявлении Национального комитета французских писателей.— Честь Франции требует наказания виновных. Ни в коем случае не следует допустить, чтобы это кровавое пятно омрачало мир между страной Мулуда Ферауна и страной Жана Прево и Жака Декура».

На страницах газеты «Либерасьон» Жюль Руа пишет в связи с гибелью Мулуда Ферауна: «С ним была убита частица Алжира и частица лучшей Франции».

Мулуд Фераун.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

Мулуд Фераун в деревне Тизи-Хибель (Верхняя Кабилия, Алжир) где он родился Вместе с ним — его дети Али и Мохран, а также жена французского писателя Эмманюэля Роблеса.
(Еженедельник «Леттр франсез»)

АНГЛИЯ

ШОУ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОСЕДЕЙ

Аллан Чэпплоу — литератор, скульптор и фотограф — много лет жил по соседству с Бернардом Шоу, поддерживал с ним дружеские отношения. По личным впечатлениям и воспоминаниям других соседей, знавших писателя, Чэпплоу написал книгу «Шоу — сельский житель и Человек с большой буквы», вызвавшую живой интерес среди английских читателей.

Из мозаики впечатлений и рассказов простых людей возникает облик «Человека с большой буквы», которому не чужды бесхитростные радости, щедрого и отзывчивого, всегда готового помочь людям.

В книге, между прочим, приведен забавный диалог между Шоу и его домоправительницей Алисой Ладен. Из этого диалога видно, что повседневное общение с выдающимся сатириком нашего века заразило юмором даже чопорную домоправительницу, сторонницу консервативной партии, не разделявшую либеральных взглядов Шоу. Однажды Шоу пришел к Алисе Ладен и, размахивая чеком на 69 тысяч фунтов стерлингов, подписанным им для уплаты подоходного налога, сказал: «Посмотрите, миссис Ладен, сейчас я отошлю этот чек мистеру Криппсу» (Стаффорд Криппс тогда был министром финансов Англии). Ладен ответила: «Что ж, вы сами способствовали тому, что к власти пришло лейбористское правительство. Но прежде чем вы отошлете все свои деньги Криппсу, чтобы он их потратил бог знает на что, быть может, мы все же купим новые занавески?..»

Жители маленькой деревушки Айрт Сент Лоуренс, в Хертфордшайре, где Шоу жил с 1906 года, любили писателя. Парикмахер Фредерик Уильям Харви, который в течение пятнадцати лет обслуживал Шоу, рассказал: «Он всегда был веселый, вежливый и приветливый. Но я знал, что есть минуты, когда не надо отвлекать его разговорами. Например, когда он складывал кончики пальцев вместе, тогда, значит, он обдумывал новую пьесу: уж это я прекрасно знал».

Книга Аллана Чэпплоу, иллюстрированная фотоснимками автора, интересна тем, что на ее страницах простые люди воссоздают человечный, живой образ писателя.

В лондонском драматическом театре Олдвич с успехом идет пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад», поставленная режиссером М. Сен-Дени, который в свое время руководил постановкой в Лондоне другой пьесы великого русского писателя — «Три сестры».
На снимке: сцена из спектакля «Вишневый сад». В роли Вари — Дороти Тьютин, в роли Ани — Джуди Денч, роль Гаева исполняет Джон Гилгуд.
(Газета «Обзёрвер»)

ДВЕРЬ В «НИКУДА»

Некий Рейнер Хэппенстолл явно решил сделать себе шумную литературную карьеру, выпустив книгу «Соединяющая дверь», которую критика называет «антироманом».

Еженедельник «Таймс литерари сапплмент» встретил книгу Хэппенстолла в штыки, отмечая беспорядочные, бессмысленные фразы, бессвязные события, непонятные — то появляющиеся, то исчезающие — персонажи. В книге нет ни последовательности изложения, ни внутренней связи между действующими лицами и событиями. Впечатление такое, пишет рецензент, будто вы нашли обрывки чьей-то записной книжки с рабочими заметками. Рецензент еженедельника иронически комментирует: «Конечно, зачем слишком баловать читателя, хотя при подобном новом стиле читатель чувствует себя лишним».

А если еще учесть, что порой слова в «романе» превращены в какое-то абстрактное сочетание букв, то можно прийти к выводу, что «Соединяющая дверь» — это дверь в «никуда», в пустоту.

«Главная опасность,— пишет далее рецензент,— заключается даже не в непонятности, а в некоем параличе мышления. Разнообразны пути, лежащие перед писателями, но всякий ли раз удастся им увлечь за собой в любую сторону своих читателей? В лучшем случае, у последних пропадет желание читать. Антироман породит античитателя, приняв особую форму литературного самоубийства».

ОПЕРА «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ»

Молодому австралийскому композитору Мальколму Уильямсону, как сообщает лондонская газета «Таймс», предложено написать оперу на тему романа Грэхема Грина «Наш человек в Гаване» (роман опубликован в «Иностранной литературе» №№ 3 и 4, 1959). Предполагается, что

опера будет готова к весне 1963 года, когда ее поставит на сцене лондонский театр «Сэдлерс Уэллс».

Малькольм Уильямсон, несмотря на свой сравнительно молодой возраст (ему тридцать лет), уже пользуется довольно большой известностью. Он написал два фортепианных концерта, которые неоднократно сам исполнял. В настоящее время композитор работает над третьим фортепианным концертом. Недавно он исполнял свой первый органный концерт. Уильямсон окончил консерваторию в Сиднее, с 1952 года живет в Лондоне.

Опера «Наш человек в Гаване», по сообщению печати, с нетерпением ожидается английскими любителями музыки и литературы.

АРГЕНТИНА

МАСКА И ЛИЦО ТЕАТРА

Под красноречивым названием «Лицо и маска» буэнос-айресская газета «Коррео де ла тарде» опубликовала большой обзор театральной жизни Аргентины.

Пытаясь правдиво показать действительное положение дел в аргентинском драматическом искусстве, автор как бы сбрасывает с него официальную маску — обращает внимание читателя на то, что театральная жизнь страны по сути зашла в тупик.

Прошедшее время, пишет автор статьи, несмотря на интенсивный труд актеров и постановщиков, характеризовалось атмосферой анархии, разобщенностью творческих планов, отсутствием смелых и оригинальных творческих решений. «В Аргентине фактически не существует или почти не существует театра как такового, театра как учреждения и организации,— пишет автор статьи.— Драматическое искусство в стране не имеет перед собой ясных целей». А официальные органы, ведающие вопросами театральной культуры, хранят «мертвое молчание».

Театры пустуют, зритель не желает их посещать. По мнению автора статьи, пьесы аргентинских драматургов не удовлетворяют зрителя, поскольку они не отражают во всей полноте «драматизм жизни» аргентинца наших дней.

Говоря о «Независимом театре», который в свое время был авангардом театральной жизни страны, автор статьи подтверждает, что ныне «даже авангард молчит». В коммерческих целях ставят старые пьесы Пристли, Ануйя, Теннеси Уильямса. Качество постановок заметно упало, творческие находки исчезают, у театра возросли экономические трудности.

Автор упрекает известных аргентинских драматургов Андреса Лисаррагу, Агустина Куссани и Освальдо Драгуна в том, что ими ничего не было создано за минувший год либо было сделано очень мало.

Однако в заключение автор статьи высказывает надежду, что еще придет время, когда аргентинские драматурги принесут в аргентинский театр подлинно национальные пьесы.

БОЛГАРИЯ

ЮБИЛЕЙ «НОВЕ ВРЕМЕ»

В связи с шестидесятилетием со дня выхода в свет первой книжки журнала «Нове време», основанного Димитром Благоевым, еженедельник «Литературен фронт» отмечает большую роль этого журнала в развитии болгарской литературы. Еще в первом его номере появилась рубрика «Из жизни и литературы».

В годы фашистской диктатуры журнал был запрещен. Полицейские цензоры страшились даже его старых, хранившихся в библиотеках номеров, в которых жила творческая мысль Благоева и его сотрудников.

Поныне «Нове време» — теоретический орган партии — ведет важную работу по идейному воспитанию широких масс трудящихся Болгарии.

О борьбе болгарского народа за свою независимость в XII—XIII веках повествует новый исторический фильм «Калоян», поставленный по сценарию А. Дончева, Д. Даковского и Д. Мантова. Роль царя Калояна, сумевшего остановить продвижение западных рыцарей-крестоносцев по Балканскому полуострову, играет молодой актер Васил Стойчев (на снимке).

КНИГА О КУБИНСКИХ ДРУЗЬЯХ

«Тепло, волнующе, с бесконечной симпатией к кубинцам, к их революции и стране написана книга Ивана Аржентинского «Зеленая жемчужина»,— отмечает рецензент газеты «Работническо дело».

Автор объехал всю Кубу, встречался с людьми разных профессий, собрал много впечатлений.

Иван Аржентинский долгие годы жил в Латинской Америке и сам принимал участие в борьбе народов латиноамериканских стран. Это, по словам рецензента, помогло ему понять и ярко отразить огромные перемены в жизни трудящихся первой освободившейся от империалистического гнета страны в Латинской Америке.

АРХИВ ЛЮБЕНА КАРАВЕЛОВА

Любен Каравелов — один из крупнейших представителей болгарского Возрождения (вторая половина XIX века) — оставил огромное рукописное наследство. Сотрудники Института лите-

ратуры Д. Леков, Ц. Унджиева и Л. Минкова на протяжении нескольких лет работали над рукописями Каравелова в архивах.

Ими подготовлен к печати объемистый том, содержащий ранее не публиковавшиеся литературные, языковедческие, исторические, мемуарные записи. Значительную часть рукописного наследства Каравелова занимают художественные произведения. Все эти материалы, как сообщает печать, свидетельствуют о передовом мировоззрении Любена Каравелова, о его разносторонней деятельности, о его неразрывной связи с русской общественной мыслью.

БРАЗИЛИЯ

СМЕРТЬ КАНДИДО ПОРТИНАРИ

Как сообщает печать, знаменитый бразильский художник Кандидо Портинари умер в Рио-де-Жанейро. По медицинскому заключению, художник отравился красителями, которые он употреблял в своей работе.

Портинари родился в 1903 году в штате Сан-Паулу. С юных лет начал изучать живопись в Рио-де-Жанейро. Несколько лет он прожил во Франции и Италии, где учился у лучших мастеров, однако все его творчество оставалось глубоко национальным. Печать подчеркивает, что Портинари был подлинным сыном своего народа.

Широко известны, в частности, его фрески «Война и мир» в вестибюле здания Организации Объединенных Наций, картины в министерстве образования в Рио-де-Жанейро, в библиотеке конгресса в Вашингтоне.

Выставки его работ устраивались во многих городах мира, в том числе в Праге (см. «Иностранную литературу» № 12, 1960).

«Портинари для Бразилии был тем, кем Диего Ривера был для Мексики,— пишет газета «Нотисиас де ой».— С его смертью искусство Латинской Америки потеряло одного из наиболее выдающихся и правдивых мастеров».

ВЕНГРИЯ

ПАМЯТИ ЭМИЛЯ МАДАРАСА

«Более полувека воспевал он венгерский рабочий класс и борьбу венгерского народа, навсегда запечатлев свое имя в истории венгерского рабочего движения и венгерской социалистической литературы...» — пишет газета «Непсабадшаг» об известном венгерском поэте и прозаике Эмиле Мадарасе, умершем на 78 году жизни.

Большой путь прошел этот замечательный человек. Первые стихи его, сына сельского учителя, были напечатаны в рабочей газете «Непсава». Империалистическая война, фронт, тяжелое ранение. В период Венгерской Советской Республики Мадарас — уполномоченный политического отдела армии. В австрийском лагере для интернированных, куда попадает Эмиль, спасаясь от жестокого хортистского террора, им написано стихотворение «Чепель 1919 года», которое принесло ему славу пролетарского поэта.

С 1922 по 1946 год Мадарас жил в Советском Союзе. В переводе на русский язык впервые увидели свет многие его произведения. В каждом из них звучит страстный голос поэта-интернационалиста, патриота своей родины и верного друга Советского Союза.

Вернувшись на родину после ее освобождения, писатель работал в газетах «Уй со», «Непсава», активно участвовал в общественной и политической жизни. За последние годы в Венгрии были изданы три сборника стихов и поэм Э. Мадараса, несколько книг рассказов, сказок и роман «Синий дом».

ВЕСТ-ИНДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

«ДЕТСТВО В ТРОПИКАХ...»

«Детство в тропиках и другие стихотворения» — так озаглавил свою первую книжку стихов молодой вест-индский поэт Эдуард Люси-Смит.

Рецензент журнала «Уэст-индиан ревью» считает его талантливым поэтом, умеющим в своих стихах анализировать жизнь, создавать выразительные образы.

Эдуард Люси-Смит, как отмечает рецензент, искренне говорит с читателем.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИНТЕРЕСНОЕ НАЧАЛО

Берлинское издательство «Ауфбау-ферлаг» приступило к выпуску своего альманаха «Новые тексты».

Отзывы литературной критики отметили многообещающее начало. Читатели смогут познакомиться с выдающимися образцами немецкой прозы и с первыми набросками рождающихся романов. Альманах вводит читателя в творческие мастерские писателей, дает ему возможность наблюдать за процессом создания произведений.

В этом издании, отмечает рецензент газеты «Дер морген», представлены все жанры беллетристики, а также очерки, дневники, интервью с писателями. Таким образом, новый альманах можно назвать «истинным зеркалом многообраз-

Анна Зегерс. Дружеский шарж художника Гарольда Кретцшмара (из альманаха «Новые тексты»).

(Газета «Берлинер цейтунг»)

ной литературной действительности».

Под названием «Мечта дорогá» публикуется глава из нового романа Арнольда Цвейга. Роман, по словам рецензента газеты, показывает духовные устои германской буржуазии накануне второй мировой войны. О преодолении последствий этой войны расскажет второй том известного советскому читателю романа Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» (первый том печатается в нашем журнале), представленный одной из законченных глав. Помещена в альманахе глава из новой книги Герберта Нахбара, автора романа «Свадьба на Лённекене» (см. «Иностранную литературу» №№ 11, 12, 1961). Впервые в ГДР публикуются отрывки из «Бесед беженцев» Бертольта Брехта.

Рисунок тушью художника Вальтера Вомацки.
(Газета «Нейес Дейчланд»)

«БИТТЕРФЕЛЬДСКИЕ ПОВЕСТИ»

Молодой журналист Эрик Нейч долгое время работал на электрохимическом комбинате в районном центре Биттерфельде (округ Галле). По своим личным впечатлениям он написал несколько повестей и рассказов о самоотверженном труде рабочих комбината, их новой жизни. Сборник «Биттерфельдские повести» Эрика Нейча вышел в свет в издательстве «Миттельдейчер ферлаг», встретив положительные отзывы критики.

Характерна для творчества писателя включенная в сборник повесть «Новый», в которой говорится о только что пришедшем на комбинат рабочем, взявшемся вывести на первое место отстающую бригаду. Это произведение поднимает вопрос социалистического отношения к труду.

По оценке печати, повести Эрика Нейча ставят автора в первые ряды молодых писателей ГДР.

«Случайно или не случайно действие повестей Эрика Нейча происходит главным образом на комбинате в Биттерфельде, во дворце культуры которого в 1959 году совместная конференция писателей и рабочих (см. «Иностранную литературу» № 8, 1959 г.— *Ред.*) определила пути развития современной литературы республики. Во всяком случае, «Биттерфельдские повести» Эрика Нейча являются хорошим откликом на те решения, которые были приняты на этой конференции...» — пишет рецензент «Берлинер цейтунг».

ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕНРИХА МАННА

Газета «Нейес Дейчланд» сообщает о присуждении премий имени Генриха Манна за 1962 год.

Премию первой степени получил Гюнтер Кунерт за свое поэтическое творчество в целом. Премия второй степени присуждена Бернгарду Зегеру за роман «Дым осени», посвященный проблемам социалистического преобразования деревни.

«Произведения этих писателей,— пишет газета «Нейес Дейчланд», — явились ценным вкладом в нашу молодую, социалистическую национальную литературу».

Премии Кунерту и Зегеру вручил вице-президент Немецкой академии искусств Людвиг Ренн. При торжественном вручении присутствовала дочь Генриха Манна Леони Манн.

В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ

«Мы хотим, чтобы наши работники кинематографии создавали такие фильмы, которые показывали бы нашу современность с ее проблемами и конфликтами во всей их глубине и многообразии,— пишет газета «Нейес Дейчланд», сообщая о ближайших планах студии ДЕФА.

Особый интерес газета проявляет к выпуску фильмов, которые раскрывают процесс формирования человека нового общества, его мораль, его отношение к труду. С большим удовлетворением «Нейес Дейчланд» отмечает тесное сотрудничество работников студии с писателями республики.

На ближайшее время планируется съемка фильмов по известным литературным произведениям. Так, писатель Герберт Нахбар вместе с режиссером Гейнером Каровым работает над экранизацией своего романа «Свадьба на Лённекене». Режиссер Франк Бейер вместе с писателем Бруно Апицем готовят к постановке по роману последнего фильм «Голый среди волков». По роману Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» на студии уже идут съемки многосерийного художественного фильма. Пи-

Кадр из фильма «На солнечной стороне».
(Газета «Берлинер цейтунг»)

сатель Герберт Отто и режиссер Конрад Вольф работают над созданием фильма о немецкой молодежи. Режиссер Ральф Кирштен вместе с автором романа «Описание одного лета» Карлом-Гейнцем Якобсом готовят сценарий одноименного фильма.

«Мы хотим пожелать этому творческому содружеству известных писателей и работников кино больших успехов, — пишет «Нейес Дейчланд».— Хорошим примером объединения творческих сил является кинокомедия студии ДЕФА «На солнечной стороне», поставленная режиссером Ральфом Кирштеном по сценарию писателей Гизелы Штейнеккерт и Гейнца Калау. Коллектив актеров, участвовавших в фильме, правильно понял замысел авторов сценария: показать жизнь людей на солнечной стороне, строителей нового общества».

«ПРИВИДЕНИЯ ФРАНКОНСКОГО ЛЕСА»

...В фешенебельном пансионе во Франконском лесу собралось избранное общество. В удобных креслах и у буфетной стойки беседуют за бокалом вина полковник бундесвера, французская баронесса, американский полковник, депутат бундестага от социал-демократов, некий профессор, видный служитель церкви и швейцарский банкир — в прошлом немецкий фашист. Эти представители «высшего света» собрались сюда, чтобы обсудить план «Найтстеп» — план военного нападения на ГДР. Звенят бокалы, звучат решительные речи, распределяются роли в предстоящем «освобождении восточных братьев», и когда, казалось бы, все готово и остается лишь нажать на стартовые кнопки ракет, возвращающийся с маневров танк бундесвера задевает столб электропередачи, свет в пансионе гаснет. В полумраке все с ужасом замечают две фигуры в советской военной форме.

«Русские идут!» — этого вопля насмерть перепуганной баронессы достаточно, чтобы «грозные вершители» судеб Европы растеряли весь свой воинственный пыл и превратились в жалкую кучку ничтожных людишек, у каждого из которых одна забота — как спасти свою шкуру. «Русские», появившиеся в отеле,— это переодетые офицеры того же бундесвера, отрабатывающие операцию «психологической войны», но представители НАТО об этом забыли или этого не знают. Они сами создали миф и сами же становятся его жертвой.

Такова фабула новой сатирической комедии видного немецкого драматурга, лауреата премии Лессинга Гаральда Хаузера, поставленной недавно Народным театром в Ростоке. «Качество сатиры определяется главным образом тем, насколько точно она попадает в цель,— пишет по поводу этой постановки газета «Нейес Дейчланд».— Противнику должен быть не только нанесен удар в чувствительное место, но его надо морально уничтожить в самом его существе. Именно этого-то и достигает Хаузер своей новой комедией».

«Редко случается, чтобы немецкий зритель ждал премьеру с таким нетерпением, как это было с новой комедией Гаральда Хаузера»,— пишет выходящая в Ростоке газета «Норддейче нейсте нахрихтен».

Пресса Германской Демократической Республики единодушно отмечает, что постановка «Привидений Франконского леса» — выдающееся событие в культурной жизни страны.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«МЫ ХОТИМ МИРА!»

Один из старейших современных немецких писателей Фриц фон Унру вновь заставил говорить о себе. Не для всех в Западной Германии была приятна эта новая встреча с уже почти забытым писателем. Выступая перед западногерманской общественностью на различных встречах и в прессе, фон Унру неустанно призывает немцев активно бороться против всякого вооружения, за мир между народами.

«Мы хотим мира!» — в изданном в ФРГ под этим названием сборнике впервые опубликованы речи и обращения старого писателя. В связи с этой публикацией еженедельник «Дейче фолькскцейтунг» отмечает, что фон Унру «уже более сорока лет самоотверженно попирает всякий запрет, выступая за мир без оружия».

ПАНИКА — НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ГЕРРА ПАБЕЛЯ

В недалеком прошлом западногерманское издательство «Пабель-ферлаг» подносило западногерманскому читателю откровенно реваншистскую литературу.

«Теперь этого уже недостаточно, — сообщается в корреспонденции, опубликованной в газете «Нейес Дейчланд», — и герр Эрих Пабель изобрел нечто новое.

Естественно, что современный читатель интересуется тем, каким станет мир через двадцать—тридцать лет. Используя этот интерес, «Пабель-ферлаг» выпускает теперь «утопические» романы. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что за безобидной вывеской «утопические» скрыта пропаганда антикоммунизма. Герр Эрих Пабель сеет панику своими изданиями среди западногерманских налогоплательщиков, заставляя их голосовать за атомное оружие, нацеленное на Восток».

Два такого рода «литературных произведения» издательство особенно рекламирует: «День 0, час *X*—атака!», автор которого не постыдился избрать себе псевдоним Свифт, и «Диктатор Гамбурга» некоего Баруха-Леана. В обоих этих романах будущее человечества изображено как столкновение двух противоположных миров — «западного» (читай: капиталистического) и «новоазиатского» (читай: социалистического).

Бредовая фантастика в обоих романах не имеет границ. В ход пущены и «летающие блюдца», и «летающие шпионы», и «лучевые пушки», и «лучи, вызывающие паралич», и «новоазиатские» ракеты, и туннели между континентами, прорытые сквозь земную толщу. Половина человечества уничтожена, оставшиеся люди превращены в карликов... И чего только не придумает герр Пабель в панике!

ПИСКАТОР СТАВИТ БРЕХТА

«И даже сейчас, пять лет спустя после смерти, Брехт обогащает немецкую культуру... Источник этот поистине неиссякаем...» Подобные признания стали обычны в прессе ФРГ. Известно, что в архиве Бертольта Брехта хранится еще немало неоткрытых страниц, а издатели и режиссеры из года в год делают достоянием широкой публики нового, мало знакомого массам, а подчас вообще неведомого Брехта.

В прошлом году франкфуртским издательством «Зуркампферлаг» впервые опубликованы «Беседы беженцев» — сцены и диалоги на злободневные темы, написанные драматургом в 1940—1941 годах.

Первым режиссером, осуществившим постановку «Бесед беженцев» на сцене, стал Пискатор. Премьера в мюнхенском театре «Каммершпиле» была большим успехом Эрвина Пискатора — почитателя Брехта. Эта постановка во многом необычна.

...Финляндия 1941 года. За столиком ресторана хельсинкского вокзала сидят двое. Это немецкие эмигранты, бежавшие от коричневой чумы, ученый-физик и рабочий-металлист. Они беседуют долго и неторопливо. Собственно, в их диалоге и заключается единственное действие пьесы. Беженцы рассуждают о Германии и войне, о бедных и богатых, об ужасах концлагерей и педагогике, о паспортных формальностях и демократии. Интеллигент и пролетарий подходят ко всем явлениям со своих позиций, каждый дает им, соответственно, собственную оценку.

Театральная критика высоко оценила смелую попытку Пискатора оживить на сцене «в высшей мере недраматургический диалог». Еженедельник «Дейче фольксцейтунг» отметил, что эта трудная задача оказалась по силам опытному экспериментатору.

ГОЛЛАНДИЯ

И ЭТО В СТРАНЕ РЕМБРАНДТА...

Невероятно... но это произошло в стране Рембрандта: художнику запретили увидеть выставку своих собственных картин!

Для Голландии — члена НАТО — оказался «нежелательным лицом» президент Немецкой академии искусств профессор Отто Нагель. Сорок тысяч человек, как сообщает печать, посетили выставку картин Отто Нагеля в Амстердаме, но художнику не было разрешено прибыть даже на открытие своей выставки.

ДАНИЯ

ПОЭЗИЯ ЭСКИМОСОВ

Недавно в Дании вышла книга «Песни снежного жилья» — второе издание сборника эскимосской поэзии, впервые увидевшего свет больше тридцати лет назад. Эти стихи, по выражению рецензента газеты «Ланд ог фольк», «собраны и пересажены на датскую почву» известным полярным исследователем- этнографом Кнудом Расмуссеном.

Ученый-энтузиаст и неутомимый путешественник Расмуссен побывал в самых отдаленных уголках Гренландии и Северной Америки. Знаток эскимосских диалектов, он собрал богатейший этнографический и фольклорный материал. Два года назад издательство «Гюльдендаль» выпустило составленный им сборник сказок и мифов эскимосов Аляски — книгу, привлекшую не только новизной темы, но и незаурядным поэтическим даром самого составителя.

Рецензент «Ланд ог фольк» приветствует выход в свет нового издания «Песен снежного жилья». По словам рецензента, стихи и песни проникнуты чувством человеческого достоинства и гордости, в них передана тонкость переживаний. Они открывают душу народа, для которого, как сказал Расмуссену кто-то из эскимосов, «в минуту сильного душевного волнения петь так же естественно, как дышать».

НОВЫЕ РОМАНЫ МУЛКА РАДЖА АНАНДА

В бомбейском издательстве «Кутуб-попюлар» вышли два новых романа известного индийского писателя Мулка Раджа Ананда: «Старуха и корова» и «Дорога».

Ходжа Ахмад Аббас, отметив в еженедельнике «Блиц», что жизнь в сегодняшней Индии движется вперед быстрыми темпами, пишет: к тем писателям, которые стремятся отразить в своем творчестве происходящие перемены, относится Мулк Радж Ананд.

Как и в ранее вышедших произведениях — «Неприкасаемые», «Кули», «Через Черные воды»,— в новых романах Мулка Раджа Ананда события развертываются в индийской деревне, и, как и прежде, герои в них — потомственные крестьяне. Но теперь вместе со своими героями автор остро чувствует «дыхание перемен». Он показывает, как под влиянием этого «дыхания» меняются социальные условия жизни, переоцениваются старые ценности. «Ананд всегда изображает в своих произведениях индийское крестьянство, — продолжает рецензент, — но герои его новых романов, крестьяне и «неприкасаемые», уже не фаталисты, слепо покоряющиеся своей судьбе, как их принято изображать». Они «осмеливаются ломать окаменевшую вокруг них кору суеверий и смирения».

В книге «Старуха и корова» писатель создает образ, который, на первый взгляд, кажется традиционным, даже классическим, — покорная, как домашнее животное, молодая жена крестьянина. Однако ныне «молодая женщина превращается в человека, становится человеческой личностью вместо безвестной и беспомощной частички всесильной общины».

Роман «Дорога» как бы дополняет первую книгу. От селения к городу прокладывают новую дорогу. В строительных работах принимают участие «неприкасаемые». Этот факт вызывает негодование представителей высших каст. В бешеной злобе они поджигают лачуги «неприкасаемых». Однако вопреки всему дорога построена. Она «становится символом, показывает обездоленным выход — вперед, прочь из деревни, раздираемой кастовыми предрассудками». И, покидая селение, уходит по новой дороге герой романа — «неприкасаемый» Бхику. Он прозрел, в нем проснулось чувство собственного достоинства. Полный надежд, он отправляется вперед, на поиски справедливости.

ФИЛЬМУ ДЛЯ ДЕТЕЙ — ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПРЕЗИДЕНТА

Фильму «Цветы и счастье» одного из ведущих продюсеров Индии Б. Шантарама и режиссера Рама Габаля присуждена золотая медаль президента.

В основу фильма положен рассказ писателя П. Л. Дешпанде. Это трогательная история о бескорыстной привязанности детей к старому деревенскому портному, об их искренней дружбе. Узнав, что местный ростовщик грозит за долги отнять у бедного портного все его имущество, ребята решают помочь своему доброму другу. Своими силами они устраивают в деревне цирковое представление, а собранные деньги передают портному, спасая его от цепких лап ростовщика.

Единодушно отмечая удачу всего творческого коллектива, индийская пресса особенно высоко оценивает работу режиссера. «Рам Габаль не жертвует содержанием ради дешевых кинематографических эффектов, — пишет критик индийской газеты «Бхарат джоти».— Он находит верный ключ в работе с детьми и умело использует природные данные своих маленьких актеров (а ведь многие из них впервые перед кинообъективом), их искренность, непосредственность, наивность». По отзыву критика, все детские роли исполнены превосходно. Среди них выделяется юный Акаш Дип Матхур, «талантливое исполнение которого,— по словам рецензента еженедельника «Блиц»,— напоминает игру зрелого мастера».

Акаш Дип Матхур в фильме «Цветы и счастье».
(Еженедельник «Блиц»)

«ГОЛЛИВУДСКИЙ МУСОР»

Все чаще со страниц индийской прессы звучат голоса протеста против показа в кинотеатрах Индии продукции Голливуда, которая пагубно влияет на нравы молодежи.

«Уже ряд лет потоки голливудского мусора не перестают обрушиваться на наши кинотеатры», — пишет индийская газета «Нью эйдж». «Индия превратилась в место свалки отбросов Голливуда, — говорит критик индийского еженедельника «Блиц». — Голливудские заправилы скармливают нам киностряпню самого низкого качества, засылают к нам всякий кинохлам. С некоторых пор они считают излишним даже прикрывать свою стряпню хотя бы внешней претензией на благопристойность».

ИРЛАНДИЯ

ШОН О'КЕЙСИ ОТВЕЧАЕТ

Американский журнал «Лук» обратился к двадцати пяти видным деятелям с вопросом: каким вам видится мир через 25 лет?

«Через 25 лет наша великолепная земля либо превратится в обугленный ком, вращающийся вокруг солнца, либо мы вплотную подойдем к всеобщему миру,— пишет в ответе выдающийся ирландский драматург Шон О'Кейси.— Лично я твердо верю в мир...

Те, кто хочет войны, попадут в музей восковых фигур. Азия и Африка станут равными партнерами в созидательном труде человечества... Исчезнут классовые и расовые различия. Люди с проницательным и гибким умом и люди с умелыми руками будут уважаемыми руководителями мира. У всех достаточно досуга. Наука скорости позволит даже ирландскому рабочему побродить по берегам Саскуиханны, как сейчас он ходит по берегам Шэннона. Все увидят мир так же легко, как ныне читают книгу. Ученых окружат почетом, как некогда почетом окружали рыцарей Простой человек не будет бояться последовать за ученым в тайны живой клетки, атома, калейдоскопических движений разума. Наука, искусство, труд оздоровят тело и возвысят ум. Ученый, художник, философ, писатель — каждый из них труженик, и все они соединят свои усилия в энергию жизни. Такова моя вера, такой должна быть жизнь, так и будет в самом недалеком будущем».

ИСПАНИЯ

ФАШИСТСКАЯ КИНОПРОПАГАНДА

«Кино в Испании — не искусство, а одно из наиболее активных средств франкистской пропаганды»,— пишет К. Вивес в парижском еженедельнике «Леттр франсез».

Одной из основных тем «официальной» кинематографии по-прежнему остается гражданская война в Испании, однако ныне фильмы уже не прославляют «победу Франко», как это бывало раньше («В Алькасаре ничего нового» или «Крейсер «Балеарес»), а грозят новой гражданской войной, в случае если не прекратится недовольство в стране.

Многие фильмы воспевают колониализм, а также настоящее и прошлое Испании, причем исторические события явно фальсифицируются. Таковы «Безумство любви» (о матери Карла V), «Заря Америки» (о Христофоре Колумбе), «Шаг вперед» и «Мир никогда не наступит». Два последних фильма, по словам автора статьи, носят откровенно фашистский характер. «Мир никогда не наступит» снят по памфлету известного доносчика, директора фалангистской газеты «Пуэбло», получившего за него в 1960 году литературную премию «Планета».

Ряд фильмов пропагандирует католицизм. Например, в картине «Бунт» показана история возвращения атеиста в лоно церкви.

Появились целые серии антикоммунистических и антисоветских фильмов. Непревзойденным мастером по производству этих грязных фальшивок можно с полным правом считать Хуана де Ордуна.

Для франкистской кинопропаганды характерна также серия, прославляющая «Голубую дивизию», сражавшуюся на Восточном фронте в составе гитлеровских войск.

Все эти фильмы чрезвычайно скучны и однообразны. Недаром один из испанских критиков писал: «Иногда я спрашиваю себя, видел ли я четыре разных фильма или четыре раза один и тот же фильм».

Честные и наиболее талантливые кинематографисты — Бардем, Берланга, итальянский постановщик Феррари, живущий в Испании, — пытаются создавать свои произведения, реалистически показывающие испанскую действительность, но цензура запрещает многие фильмы, в лучшем случае картины выходят на экраны в изуродованном виде.

ИТАЛИЯ

ДВА РОМАНА

Внимание итальянских читателей и критики привлекают новые и вышедшие почти одновременно произведения двух видных писателей — роман Джованни Арпино «Туча гнева» и роман Джорджо Бассани «Сад Финци-Контини».

В основе сюжета первого из них — традиционный любовный треугольник, однако место действия и среда необычны для итальянской литературы. Дело происходит в наши дни в Турине, самом развитом в промышленном и культурном отношении городе Италии, в семье квалифицированного рабочего-коммуниста. По-новому мыслят герои романа — рабочий Марко, его жена Сперата и молодой человек Анжело, любящий Сперату.

Произведение Джованни Арпино напоминает драматургическое произведение. Действие происходит в течение нескольких часов, очень динамично, в романе преобладают диалоги, почти нет описаний.

Отдавая должное мастерским форме и стилю романа, критик Пьеро Далламано в газете «Паэзе сера» пишет, что несмотря на все достоинства произведения читателя удивляет как сам выбор темы, так и ее разрешение автором. У писателя, как показывают его последние книги, еще нет «своей» тематики; привнесение им в рабочую среду

мотивов одиночества, а также элементов иррационального — искусственно.

В романе Бассани действие происходит также, как в его известной книге «Пять феррарских историй», в городе Ферраре, в годы войны. В центре романа — богатая еврейская семья Финци-Контини, живущая своим обособленным мирком. Расистские законы нарушают эту изоляцию, семья Финци-Контини сближается с другими преследуемыми фашизмом евреями. Герой романа, Альберто, один из младших представителей этого семейства, завязывает дружбу с коммунистом Мальнати и девушкой по имени Миколь, в которую потом влюбляется...

Печать дает роману Бассани высокую оценку, отмечая серьезность затронутых проблем, глубокий психологизм и интеллектуальность. Карло Салинари в еженедельнике «Вие нуове» отмечает антирасистский характер романа и указывает на важное значение одного из его персонажей — Мальнати — «коммуниста, мысли которого устремлены в будущее, к новому миру...»

«ПИСАТЕЛИ РЕАЛЬНОСТИ»

Под таким названием вышла в Милане антология итальянской прозы от VIII века до XIX. Каждый раздел антологии сопровожден комментариями Пазолини и богато иллюстрирован репродукциями картин и гравюрами художников. Отбор текстов принадлежит Энцо Сичилиано, а общее предисловие к антологии написал Альберто Моравиа. Критика живо откликнулась на выход в свет этой книги, открывающей самим итальянцам многих писателей, которых они до сих пор не знали.

КИТАЙ

МАСТЕР РАССКАЗА

Имя писателя Тан Кэ-синя хорошо известно в Китае. «Рассказы Тан Кэ-синя,— пишет Сяо Ли в журнале «Вэньсюе пинлунь»,— привлекли большое внимание китайского читателя и литературной критики...»

Тан Кэ-синь — рабочий-писатель. Большинство его рассказов и новелл посвящено жизни тружеников заводов и фабрик. Рецензент особо отмечает такие рассказы, как «В цех пришла весна», «Мой учитель», «Гу Сяо-цзюй и его сестра»,— произведения, в которых автор вдохновенно воспел человека новой формации, показал трудовой энтузиазм рабочих.

«Рассказы, появившиеся в последние годы,— пишет Сяо Ли,— красноречиво свидетельствуют о дальнейшем идейном росте писателя, его неустанных творческих поисках новых тем, сюжетов, композиционных построений... Тан Кэ-синь встал на путь действительно реалистического, правдивого искусства, от простой регистрации жизненных фактов и событий перешел к созданию типических образов, достойных большой литературы».

ЖЕМЧУЖИНЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Деятели литературы и искусства провинции Хэнань собрали много произведений народного творчества.

Как сообщает газета «Гуанмин жибао», им удалось найти богатые мемуарные материалы о революционном движении «няньцзюней» (середина XIX века), записать тысячи народных сказаний, песен, древних мелодий, пословиц и поговорок. Обнаружено большое количество произведений искусства — уникальных гравюр, скульптур, старинных предметов культа, картин.

В новом фильме «Жена Си Вана», поставленном по рассказу писателя Ли Чжуня «История о Ли Шуан-шуан», главную роль сыграла популярная киноактриса Чжан Жуй-фан. Ли Шуан-шуан, инициативная и трудолюбивая молодая женщина, горит желанием активно участвовать в строительстве новой жизни — она работает и свинаркой, и поваром, строит деревенское водохранилище...

(Журнал «Шанхай дяньин»)

КНДР

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ФИЛЬМОВ В ГОД

Кинематографисты Корейской Народно-Демократической республики отметили пятнадцатилетие государственных студий художественных и документальных фильмов. За прошедшие годы было создано свыше тысячи двухсот фильмов, в том числе 82 художественных. Теперь на экраны КНДР ежегодно выпускается два-

Зрители Корейской Народно-Демократической Республики тепло встретили фильм «Друзья, пойдемте вместе!», рассказывающий о борьбе корейских коммунистов в период японской оккупации.

(Газета «Пхеньян синмун»)

дцать пять полнометражных художественных кинофильмов.

Среди удачных произведений последних лет газета «Пхеньян синмун» выделяет фильм «Деревня на демаркационной линии», удостоенный Народной премии. Фильм рассказывает о трагедии корейских семей, оказавшихся разделенными искусственным расколом страны, и о борьбе народа за воссоединение родины.

В повышении идейного и художественного уровня творчества корейских кинематографистов, как отмечает газета, большую роль сыграла работа над фильмами о героической борьбе корейских коммунистов против японских захватчиков в 30-х годах.

КУБА

РОЖЕ ГАРОДИ: ЗДЕСЬ НАДЕЖДЫ СТАНОВЯТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Известный французский философ-марксист Роже Гароди недавно посетил революционную Кубу. В беседе с корреспондентом еженедельника «Ой доминго» Роже Гароди, в частности, сказал:

— Народ, проголосовавший за Вторую гаванскую декларацию, представляет тех, кто выступает за подлинную демократию: не свободу иметь рабов, а освобождение от всех форм рабства, за развитие человека...

Я навсегда сохраню незабываемые впечатления об этом сплоченном народе. Это живой образ подлинной демократии. Народ идет по пути, открытом Октябрьской социалистической революцией, глубоко гуманное значение которой для всех людей становится с каждым днем все более очевидным. Меня также поразили человеческие, братские отношения между народом и его руководителями, а также деятельность Фиделя Кастро. Вторая гаванская декларация, поддержанная народными массами, которые есть не что иное, как передовой отряд всей Латинской Америки, не может не иметь очень далекие и очень глубокие последствия.

В словах, столь перекликающихся с Манифестом Коммунистической партии, написанным Марксом и Энгельсом, эта Декларация открывает перед всем американским континентом дорогу свободы. Гаванская декларация показывает, что не может быть какой-либо действенной национальной борьбы без поддержки народных масс и что национальная буржуазия уже не может руководить массовым движением... Всем народам Латинской Америки Вторая гаванская декларация предоставляет идеологическое оружие освобождения — марксизм-ленинизм...

Под солнцем кубинской революции созреют многие плоды в Латинской Америке. И самые прекрасные из них — это мечты, которые, созрев, станут действием. Нищета и недовольство выльются в революцию. И кто может запретить народам Латинской Америки думать, что кубинская революция внесла нечто существенное в их жизнь, живой и вдохновенный образ их ближайшего и неизбежного будущего?

Надежды десятков миллионов людей Куба претворяет в действительность. Куба делает реальностью свободу континента.

ПРЕМИЯ ФАЙАДУ ХАМИСУ

Как сообщает газета «Нотисиас де ой», кубинскому поэту Файаду Хамису присуждена первая премия в области поэзии на III латиноамериканском литературном конкурсе, организованном издательством «Каса де лас Америкас». Отмеченный премией сборник стихов Файада Хамиса (известного советскому читателю по стихам, опубликованным в журнале «Иностранная литература» № 12, 1960) вышел из печати под названием «За эту свободу».

В состав жюри конкурса входили видные поэты и литературоведы: Хуан Маринельо, Алехандро Ромуальдо, Рене Депестр и Роберто Фернандес Ретамар.

МЕКСИКА

Все это написано знаменитым мексиканским художником Давидом Альфаро Сикейросом в тюрьме, где он находится уже почти два года. Как известно, шестидесятипятилетний Сикейрос недавно был осужден по искусственно сфабрикованному обвинению на восемь лет тюремного заключения. Из произведений, созданных Сикейросом за последнее время, мы здесь воспроизводим его «Автопортрет», «Моя одиночка», «Визит к заключенному».

(Еженедельники «Франснувель» и «Леттр франсез»)

НОРВЕГИЯ

ФИЛЬМ, О КОТОРОМ ГОВОРЯТ

На экраны страны вышел новый фильм «Тонни», поставленный по роману Йенса Бьёрнебу «Дурной пастырь». Роман этот в свое время вызвал бурное обсуждение и даже послужил предметом судебного разбирательства (см. «Иностранную литературу» № 6, 1961). Естественно, что появление фильма ожидали с большим нетерпением. С нетерпением и с тревогой, потому что, как пишет газета «Фрихетен», «немало социальных романов стало основой для пустых развлекательных сценариев». Но в данном случае этого не произошло. «Взрывчатая сила» романа сохранилась и в фильме.

Рецензент «Фрихетен» называет «Тонни» самым сильным и самым смелым норвежским фильмом последних лет. «Это первый фильм,— говорится в рецензии,— со всей серьезностью вскрывающий ответственность, а точнее, безответственность общества и показывающий, на какое леденящее равнодушие и на какую грубую жестокость наталкивается юноша, который по той или иной причине не следует нормам поведения «хорошего общества». А Тонни однажды еще оступился в жизни... История школьника Тонни — не исключение, не из ряда вон выходящий случай. С самого начала чувствуется, что Тонни — один из многих, и это придает социальному обвинению художника особенно серьезный характер».

Этот фильм, по мнению рецензента, несомненно лучшая работа режиссера Нильса Мюллера.

Артист Пер Кристенсен создал сильный и тонкий образ Тонни — юноши, который постоянно колеблется между страхом и надеждой, возмущением и беспомощным отчаянием. Хорошо играет роль подруги Тонни артистка Лив Ульманн.

В новом фильме честно и серьезно обсуждается серьезнейшая для Норвегии проблема — проблема молодежи. Он, как предполагает рецензент «Фрихетен», несомненно явится поводом для многочисленных дискуссий.

Кадр из фильма «Тонни». В главных ролях — Лив Ульманн и Пер Кристенсен *(Газета «Фрихетен»)*

ОАР

«ЧЕРНЫЙ СОЛДАТ»

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Каире вышел из печати новый сборник рассказов талантливого египетского писателя-реалиста Юсуфа Идриса «Черный солдат».

ПЕСНИ МАДДАХОВ

Маддахами называют в Египте странствующих певцов и рассказчиков, которые бродят из деревни в деревню и поют собравшимся феллахам песни о подвигах древних арабских витязей.

Египетский ученый Мухаммед Фахми Абд аль-Латыф записал многие из этих народных песен, которые, как сообщает журнал «Аль-Адиб», выйдут отдельной книгой под названием «Литература маддахов».

ПОЛЬША

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

Варшавское издательство «Ксенжка и ведза» выпустило повесть «Дорога через мост» Ганны Адели Мирецкой. Эта книга — дебют Мирецкой в литературе.

Героиня повести — молодая польская девушка из трудовой семьи, Агнешка. До войны отец ее в течение многих лет не мог найти постоянной работы. С гитлеровской оккупацией Польши началась усиленная «германизация» ее западных земель, где жила семья Агнешки. Гитлеровцы предложили девушке принять германское подданство, поскольку мать ее была немкой. Агнешка отказалась, ее сослали на работы в Германию. После окончания войны она вышла замуж за англичанина и уехала в Англию. Там она завершила образование, пробовала свои силы в литературе.

Прошло несколько лет, и Агнешка приехала в Польшу навестить отца. Новая социалистическая действительность ее родины произвела на Агнешку неизгла-

димое впечатление. Отец обрел место в жизни, так же как и ее подруги-сверстницы. Агнешка поняла, что дальше не может жить на чужбине, вдали от родины, когда в Польше происходит так много замечательных перемен. И она бесповоротно решила остаться на родине.

Рецензент газеты «Трибуна люду» отмечает, что повесть Мирецкой несомненно привлечет внимание читателей.

ФИЛЬМ О КОММУНИСТАХ

Рассказы известного польского писателя Станислава Выгодского о польских коммунистах легли в основу сценария фильма «Другой берег», поставленного режиссером Збигневом Кузьминским. Этот фильм сделан по мотивам нескольких рассказов писателя.

Герои картины — коммунисты Павел и Стефан, их связывает многолетняя подпольная работа и крепкая мужская дружба. Действие происходит в годы 1936—1942. Коммунисты-подпольщики попадают в тюрьмы, годами не видятся. В сентябре 1939 года, когда в связи с нападением фашистской Германии на Польшу Павла и Стефана выпускают из тюрьмы, они пытаются принять участие в защите своей родины от гитлеровцев. Но Польша потерпела поражение, и только что вышедшим на свободу коммунистам снова приходится уходить в подполье. Как-то у подпольщиков возникло подозрение, что Стефан — провокатор, что он был виновником ряда предвоенных провалов, в том числе ареста Павла. Дружба Стефана с Павлом подвергается тяжелому испытанию. Но в конце концов правда торжествует — невиновность Стефана доказана.

По словам режиссера Збигнева Кузьминского, «Другой берег» — фильм прежде всего политический, который рассказывает о трудной борьбе и мужестве польских коммунистов. В него включены многие интересные эпизоды борьбы, например, побег Павла из кабинета следователя, забастовки рабочих Силезии, где происходит действие большинства рассказов Выгодского о коммунистах.

Кадр из фильма «Другой берег». В роли Павла — артист Юзеф Новак.

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

СТИХИ ТУДОРА АРГЕЗИ

Румынский писатель Александру Опря пишет нам из Бухареста:

Тудор Аргези, которому исполнилось 82 года, собрал в недавно выпущенном томе «Листья» стихи последних лет.

Тудор Аргези, стихи которого в прошлом бичевали уродства жизни буржуазно-помещичьего мира, стал в наши дни певцом всего светлого, нового и чистого, поэтому так ярко расцвел его талант. В «Песне», открывающей сборник, он восклицает: «Я стал богаче и глубже». Истоки богатства поэт видит в связи с народом: «Я соткан теплыми руками всего народа моего».

На палитре Аргези несметное количество красок. Среди его «листьев» и веселый гимн во славу земли, на которой трудовые руки собирают несметные богатства («Чудо»), и прометеево сопротивление божеству («Псалом»), тут же стихи, посвященные тайнам творчества («Поэма»).

«ПОРТО-ФРАНКО»

С новым кинофильмом «Порто-Франко» студии «Букурешть», сообщает Александру Опря, продолжается экранизация классических шедевров румынской литературы — после того как уже были поставлены картины по произведениям И. Л. Караджале и И. Славича.

Ныне кинематографисты обратились к роману «Европолис» менее известного писателя Жана Барта.

Сценарист Михня Георгиу не ограничился созданием киноверсии литературного текста. Это свободная трактовка книги, где опущены многие сентиментальные детали и усилены эпизоды, обладающие звучанием современности (Жан Барт умер в конце тридцатых годов). Кинофильм начинается с показа невероятной шумихи, поднятой в маленьком городке в устье Дуная вокруг возвращения из Америки брата хозяина кафе «Модерн», уехавшего туда, чтобы найти счастье и стать миллионером. Собственно, только родственники уехавшего считают, что он стал «миллионером»: последний возвращается без гроша в кармане и даже без надежд...

Фильм «Порто-Франко» — удача румынской кинематографии.

США

ТЕНЕССИ УИЛЬЯМС: ДЛЯ БРОДВЕЯ — ПОСЛЕДНЯЯ ПЬЕСА

В одном из театров Бродвея идет пьеса «Ночь игуаны» Тенесси Уильямса, драматурга, знакомого нашим читателям по пьесе «Орфей спускается в ад» (опубликована в «Иностранной литературе» № 7, 1960).

Действие «Ночи игуаны» происходит в Мексике 40-х годов, в небольшом приморском отеле. Игуана, фигурирующая в названии, большая ящерица тропических районов, в пьесе символизирует беззащитное существо, пойманное жестоким охотником.

Пьеса, как сообщает журнал «Варайети», пронизана мыслью, что «одинокие и слабые взаимно нуждаются друг в друге». По мнению рецензента журнала, «конечное впечатление от пьесы удивительно бодрящее, можно сказать, вдохновляющее. Она захватывает, а в заключительных сценах держит зал в молчаливом очаровании. Пьеса глубоко эмоциональна».

Поучительна предыстория этой пьесы. Прошли долгие годы, прежде чем автору удалось поставить ее на Бродвее. Вплоть до последних дней перед объявлением премьеры Уильямсу пришлось идти на «коренные изменения» и даже «менять концепцию вещи», сообщает журнал. По кассовым соображениям он должен был отдать дань дешевой занимательности. Как считает рецензент, следы нажима на автора особенно бросаются в глаза в первом акте, «перегруженном персонажами и событиями незначительного масштаба». Не потому ли драматург объявил, что «Ночь игуаны»—его последняя пьеса для Бродвея...

АРТУР МИЛЛЕР: ПИШУ ПЬЕСУ...

В течение нескольких последних лет литературная общественность США с огромным интересом ожидает появления новой пьесы Артура Миллера. Автор таких нашумевших пьес, известных и советскому зрителю, как «Смерть коммивояжера» и «Вид с моста», не очень любит рассказывать о своей работе. Корреспонденту газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» он, например, сказал следующее:

— Я пишу пьесу, постараюсь закончить ее вскоре. Но это не обещание. Если бы я дал обещание, это наложило бы некое обязательство, которое давило бы на меня. А этого я не люблю. Люди начали бы спрашивать: «Ну, где же ваша пьеса?» А я, знаете ли, не могу отщелкивать пьесы, будто они выскакивают из автомата, как только мне захочется.

ТОЛЬКО ЛИ СУД В НЮРНБЕРГЕ?

Режиссер и постановщик Стэнли Креймер прославился своим антивоенным фильмом «На берегу». Его новая работа «Суд в Нюрнберге» оценивается прогрессивной печатью как новый серьезный вклад в мировое киноискусство, как новое разоблачение не только гитлеризма, но и тех мрачных сил, которые сейчас, как и двадцать и сорок лет назад, вскармливают и взращивают реваншизм, милитаризм и воинствующую реакцию.

В этом кинопроизведении выведены американские генералы и сенаторы, которые сразу же после окончания второй мировой войны стали рекомендовать «быть помягче» с нацистами, так как «они еще могут нам пригодиться».

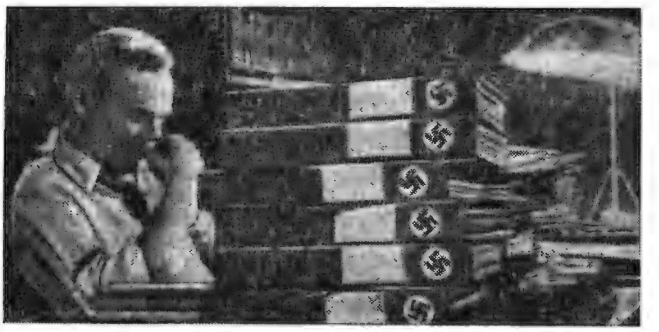
«Фильм,— пишет американская газета «Уоркер»,— является вызовом всем тем, кто положил начало «холодной войне» и продолжает ее разжигать». Картина эта, замечает Майк Ньюберри в «Уоркер», могла бы с таким же успехом называться не только «Суд в Нюрнберге», но и «Суд в Бонне», а может быть, даже и «Суд в Вашингтоне, округ Колумбия».

Ньюберри рассказывает в своей рецензии о самой сильной сцене фильма. В тюремном дворе в Нюрнберге сидят и спокойно загорают на солнышке четверо нацистских судей, среди которых министр юстиции гитлеровской Германии Эрнст Янниинг. Эти люди — виновники чудовищных злодеяний, это они приговорили к уничтожению миллионы людей, погибших в газовых камерах. Военные преступники ожидают суда американского военного трибунала. Действие происходит весной 1948 года, когда в развитии «холодной войны», разжигаемой американским империализмом, наступило обострение, вызванное провокационными мерами в Западном Берлине.

Один из загорающих на солнышке — нацист-фанатик Хан читает американскую армейскую газету «Звезды и полосы» и вдруг восклицает: «Послушайте! Президент Трумен ответил на берлинский кризис призывом к расширению сроков военного обучения. Он заявил, что со времени чехословацкого кризиса он глубоко обеспокоен вопросом о защите западных держав перед лицом угрозы с Востока».

Нацистский палач в восторге от слов Трумена. «Ведь это то же самое, что говорил Гитлер. Речь идет о неминуемой схватке между Западом и Востоком!» «Дранг нах остен», возрожденный американским президентом, воодушевляет бывших нацистов, военных преступников, почувствовавших, что им, собственно говоря, ничто не угрожает.

Газета «Уоркер» отмечает игру актеров, в частности Берта Ланкастера, Спенсера Трейси и Марлен Дитрих.



Кадр из фильма «Нюрнбергский процесс».

(Газета «Уоркер»)

ПОХОД ПРОТИВ КНИГ

Бюллетень «За свободное чтение», издаваемый Американским советом книжных издательств, уделил много места проводившейся в США кампании по чистке школьных библиотек от «антиамериканской литературы».

«Лишь читая о сотнях таких случаев, собранных в одном месте, можно представить себе, насколько последовательно и зачастую успешно из года в год велась кампания по изъятию книг из школьных библиотек, выдиранию страниц из учебников и увольнению учителей, разрешавших учащимся читать так называемую антиамериканскую или неприличную литературу»,— пишет по этому поводу еженедельник «Сэтердей ревью». Обычными объектами нападок, по данным журнала, являются произведения таких писателей, как Сэлинджер, Стейнбек, Ричард Райт. А в городе Феникс (штат Аризона) был изъят из обращения сборник рассказов Хемингуэя. В Пасифик Палисейдс (Калифорния) изъята книга «Славный волшебник из Оза» детского писателя Фрэнка Баума (умершего в 1939 году) на том основании, что автор «симпатизировал коммунистам».

В городе Ист Бейтон Руж (штат Луизиана) районное управление школ назначило цензорский комитет из трех человек для проверки всех книг, журналов и фильмов, предназначенных для учащихся.

ТУНИС

ГОРЬКИЙ НА СЦЕНЕ ТУНИССКОГО ТЕАТРА

Труппа молодых актеров Туниса поставила пьесу А. М. Горького «На дне». «Эта пьеса,— пишет критик еженедельника «Жён Африк»,— является настоящим испытанием для актеров: только истинные таланты с честью выходят из него». По словам критика, спектакль был тепло встречен зрителями.

ФИНЛЯНДИЯ

Вильё Каява.
(Газета «Кансан уутисет»)

«ПОБЕДА ПОЭТА И ЧЕЛОВЕКА»

Известный финский поэт и литературный критик Арво Туртиайнен в опубликованной газетой «Кансан уутисет» рецензии на новый сборник стихотворений видного прогрессивного поэта Вильё Каява «Десять стран света» охарактеризовал книгу как «редкостно высокий результат лирического творчества».

По словам рецензента, последние стихи Каява, как и написанные им в 30-е годы, являются образцами общественной, гражданской лирики. В них звучит и антивоенная тема. «Я считаю этот сборник победой Каява как поэта и как человека»,— подчеркивает Арво Туртиайнен.

ФРАНЦИЯ

ОАС — ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

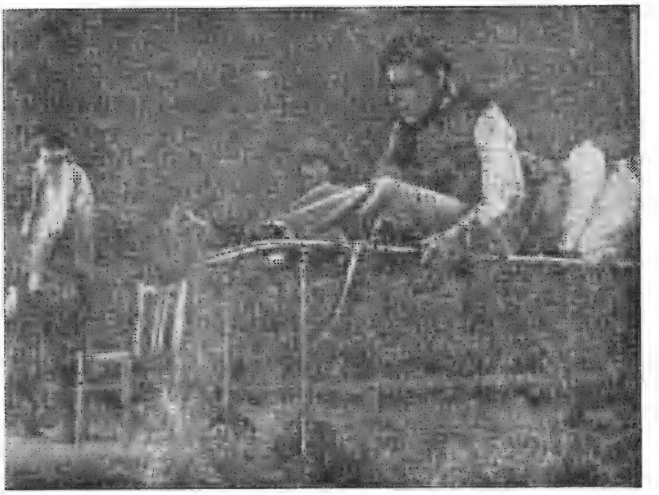
В связи с участившимися в последнее время покушениями бандитов из ОАС на деятелей французской культуры, еженедельник «Леттр франсез» пишет в редакционной статье:

«Покушение на Андре Вюрмсера, взрывы бомб в издательствах «Сей», «Ранконтр», редакциях журналов «Эспри» и «Прёв» — таков итог одной недели. Как и их идейные предшественники из «третьей империи», фашисты ОАС отдают особое предпочтение интеллигенции, журналам, издательствам, культуре. Газета «Монд» заявила, что «причины последнего покушения непонятны», поскольку, дескать, антикоммунистическая направленность журнала «Прёв» общеизвестна. Это говорит о том, что газета «Монд» забыла уроки прошлого, когда в один концлагерь бросали коммунистов, демократов, христиан и людей, чьи антикоммунистические настроения были очевидны и в силу которых они некоторое время верили, что нацизм предоставит им право на существование.

Основное сейчас не в том, что различает между собой Владимира Познера, Андре Вюрмсера, Жана-Поля Сартра, главного редактора журнала «Эспри» Жана-Мари Доменака и даже Жана-Блока Мишеля, который является одним из руководителей журнала «Прёв»... ОАС выступает против всего нашего народа, желая поставить его на колени. Никто не может отрицать теперь того факта, что мы находимся перед попыткой покончить с теми свободами, с которыми связывалось имя Франции, начиная с 1789 года».

ПЕРЕД УГРОЗОЙ ФАШИЗМА

В печати опубликовано обращение Национального комитета французских писателей к писателям Франции. «Сейчас, когда, как и в дни иностранной оккупации, над Францией нависла угроза фашизма, Национальный комитет французских писателей обращается ко всем писателям с этим воззванием. Французский народ, несмотря на препятствия, сумел продемонстрировать свою волю, положив конец ужасной войне в Алжире, и желает установить с алжирским народом отношения, основанные на взаимном доверии и дружбе Мы, писатели, должны найти слова, которые выразили бы эти чувства. Мы пытаемся это сделать. Поэтому ОАС совершает террористические акты против нас, против всех тех, кто пишет и кто распространяет напи-



...За участие в забастовке рабочий-мусорщик Огюст Жэ избит полицией. Он лежит на больничной койке, умирает. В бреду перед ним возникают сцены из его жизни — жизни бедного французского труженика... Таково вкратце содержание новой пьесы Армана Гатти «Жизнь мусорщика Огюста Жэ», поставленной театром де ля Ситэ. «Еще никогда на сцене не ставилась пьеса, которая в такой степени касалась бы всех нас! — пишет критик еженедельника «Леттр франсез».— В самом деле, кто останется равнодушным к смерти Огюста Жэ, избитого полицией?»
На снимке сцена из спектакля. *(Газета «Юманите»)*

санное, против прессы, против издательств. Французские писатели никогда не должны забывать традиций, благодаря которым наша родина завоевывала сердца людей всего мира. Они могут многое сделать для будущего своей родины, для ее истинного величия. Мы призываем их противопоставить бомбам «пластикёров» могучее оружие — свободное слово».

ЦЕЙЛОН

ПРЕМИЯ ПИСАТЕЛЮ-КОММУНИСТУ

Академия литературы и книжный трест Цейлона подвели итоги проведенного ими конкурса на лучшее литературное произведение.

Первая премия, как сообщает еженедельник «Форвард», была присуждена известному цейлонскому писателю-коммунисту, секретарю отделения Ассоциации прогрессивных писателей страны в городе Джафне Доминику Дживе за сборник рассказов на тамильском языке.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПОВЕСТЬ О ЛЮДЯХ ДЕРЕВНИ

Издательство «Ческословенски списовател» выпустило книгу «Горячее дыхание» молодого автора Яна Козака, в которую включены повесть «Мариана Радвакова» и два небольших рассказа.

«Мариана Радвакова» — повесть о новых людях села Ольшавы, вступивших на путь кооперативного ведения хозяйства. Новые люди — это сама Мариана, тракторист Янко Турок, председатель кооператива, подруги Марианы. Но есть еще и такие люди, которые не приемлют новой действительности, которые вступили в кооператив, преследуя лишь свои, узкособственнические интересы. Таков муж Марианы — Михал Радвак, выходец из кулацкой семьи. Жажда стяжательства настолько овладела им, что он уже не считается ни со здоровьем жены, ни с необходимостью нормальных условий для воспитания сына.

И случилась невероятная история, какой еще не было на памяти жителей села Ольшавы: жена ушла от мужа. Не легко и не вдруг решила Мариана разрушить семью.

Она восстала против безрадостного существования, затягивавшего ее в болото прошлого, против унижений, которым подвергал ее муж.

Словацкий еженедельник «Культура» отмечает высокие художественные достоинства повести, удачу образа Марианы.

Повесть Яна Козака, по мнению критики, ценна тем, что убедительно показывает новых людей и новые отношения, рождение новой, социалистической морали среди сельских тружеников Чехословакии.

ЮГОСЛАВИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

По сообщению газеты «Борба», в Загребе начинает выходить новый литературный ежемесячник «Форум», издающийся по инициативе отделения современной литературы Югославской Академии наук и искусств. На страницах журнала будут помещаться в основном новинки югославской беллетристики, а также статьи о культурной жизни страны.

В «Форуме», как сообщается, будут сотрудничать лауреат Нобелевской премии Иво Андрич, Мирослав Крлежа, Добрица Чосич, Оскар Давичо, Марко Ристич и другие известные писатели. Главный редактор — Марьян Маткович.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДЮЛА ИЙЕШ
ILLJÉS DYULA

(род. в 1902 г.)

Венгерский поэт, прозаик, драматург и переводчик. Дважды лауреат премии Кошута. Его перу принадлежит около 10 поэтических сборников, среди них: «Тяжелая земля» («Nehéz föld», 1928), «Скошенные ряды» («Sarjúrendek», 1929), «Новые стихи» («Üj versek», 1938—1940 гг.); исторические драмы, написанные в 50-е годы: «Пример села Озора» («Ozorai Példa»), «Пламя факела» («Fáklyaláng») и «Дожа» («Dózsa»), а также публицистические книги: «Россия» («Ovoszország», 1934), «Народ пустошей» («Pusztak népek», 1936), «Петефи» («Petöfi», 1936).

Стихотворение «На высоте триста тысяч метров» взято из газеты «Сабат фелдь», два других стихотворения — из второго сборника «Новые стихи» («Üj versek», 1961).

АНТАЛ ГИДАШ
HIDAS ANTAL

(род. в 1899 г.)

Венгерский поэт и прозаик. Лауреат премии Кошута. Ему принадлежат сборники стихов: «В стране контрреволюции» («Az ellenforradalom földjén», 1925), «Суд идет» («Folyik a pör», 1930), «Колонии кричат» («A gyarmatok kiáltanak», 1938), «Песни Советского Союза» («Dalok a Szovjetunióból», 1935), «Сад моей тетушки» («Nénem kertje», 1958), «Мартон и его друзья» («Marton es baratai», 1959) и др. Он является автором романов «Господин Фицек» («Ficzek ur», 1929), «Улица Жасмина» («Yázmin utca», 1960) и многочисленных переводов произведений советских поэтов на венгерский язык. На русском языке издано несколько его поэтических сборников.

Публикуемые стихи взяты из журнала «Корташ».

ЛАСЛО НАДЬ
NAGY LASZLO

(род. в 1925 г.)

Венгерский поэт и переводчик. Автор сборника стихов «Маевка в инее» («Deres majalis», 1957).

Стихотворение «Во ржи» публикуется по этому сборнику.

ШАНДОР ЧОРИ
CSOORI SÁNDOR

(род. в 1930 г.)

Венгерский поэт, лауреат премии Аттилы Йожефа. Автор сборников стихов: «Птица вспорхнула» («Felröppen a madar») и «Чертенок-мотылек» («Ördögpille»).

Стихотворение «Будничный закат» взято из газеты «Элет эш иродалом».

ЛАЙОШ ШИМОН
SIMON LAJOS

Венгерский поэт. Начал печататься в 50-х годах.

Стихотворение, публикуемое в этом номере, взято из газеты «Элет эш иродалом».

БЕЛА ЧЕПЕЛИ-САБО
CSEPELI-SZABÓ BÉLA

(род. в 1924 г.)

Венгерский поэт, лауреат премии Аттилы Йожефа. Ему принадлежат три поэтических сборника: «От мятежа к революции» («Lázadóbo forradalmár lettem»), «Путь в далекое» («Ut a messzeségbe»), «На окраине мира» («A világ peremén»).

Публикуемое стихотворение переведено из журнала «Корташ».

ПЬЕР КУРТАД
PIERRE COURTADE

(род. в 1915 г.)

Французский писатель и журналист. Член ЦК Французской коммунистической партии. Автор романов «Джимми» («Jimmy», 1953), «Черная река» («La rivière noire», 1953); сборников рассказов «Обстоятельства» («Les circonstances», 1946) и «Высшие животные» («Les animaux supérieurs», 1956).

Роман «Красная площадь» («La Place Rouge») вышел в 1961 году.

ЭЛЬВИО РОМЕРО
ELVIO ROMERO

Парагвайский поэт. Автор книг стихов «Просыпается пламя» («Despiertan las fogatas», 1953), «От лица к сердцу» («Da cara al corazón», 1961).

Главы, публикуемые в настоящем номере, взяты из книги «Мигель Эрнандес—судьба и поэзия» («Miguel Hernandez destino y poesía», 1958).

МАРСЕЛИНУ ДУС САНТУС
MARCELINO DOS SANTOS

(род. в 1930 г.)

Мозамбикский поэт и публицист. Раньше печатался под псевдонимом Лилинью Микайя. Автор поэмы «Хангана» («Xangana», 1955), многочисленных стихов и публицистических статей о современном Мозамбике.

Стихотворение «Земля содрогается» прислано в журнал в рукописи.

ХОЛЛАНД РОБЕРТС
HOLLAND ROBERTS

Американский публицист, президент Американо-русского института в Сан-Франциско. Член Всемирного Совета Мира. Публикуемая статья получена от автора в рукописи.

ДЖОН БРЕЙН
JOHN BRAINE

(род. в 1922 г.)

Английский писатель и публицист. Автор романов «Путь наверх» («Room at the Top», 1957), который вышел на русском языке, и «Води» («The Vodi», 1959).

Публикуемый материал написан для нашего журнала.

ЭУЖЕН БАРБУ
EUGEN BARBU

(род. в 1924 г.)

Румынский писатель. Автор романов «Яма» («Groapa», 1957) и «Северное шоссе» («Soseaua Nordului», 1959). Его повесть «Ойе и его сыновья» («Oaie i ai sai», 1958) была опубликована в № 11 нашего журнала за 1959 год.

Очерки, напечатанные в этом номере, взяты из книги «За семь дней» («Cît în 7 zile», 1960) и даются с сокращениями.

Главный редактор **А. Б. Чаковский**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П. Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Художеств редактор *М. М. Милославский*
Технический редактор *В. Л. Шачнев*
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

А 04872. Сдано в производство 6/IV 1962 г.
Подписано к печати 14/V 1962 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,5 бум. л.; печ. л. 26,03.
Зак. 690.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.